Иностранная литература

3

1963

Иностранная литература 3 1963

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — Белые крылья песни (Стихи) 4

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР — Осенний дым (Роман) 8

ПАБЛО НЕРУДА — Камни Чили (Стихи из новой книги) 57

ХАРПЕР ЛИ — Убить пересмешника... (Роман) 61

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

ФИЛИС АЛЬТМАН — В субботу к вечеру . 170
ЮС КРИГЕ — Смерть зулуса 174

ВЗОРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ

(Стихи молодых поэтов Гаити. Вступительная статья Е. Гальпериной)

РЕНЕ ФИЛОКТЕТ, ЖАН-РИШАР ЛАФОРЭ, ЛЮСЬЕН ЛЕМУАН, РОЛАН МОРИССО, ЖАК ЛЕНУАР, АНТОНИ ФЕЛПС. . . . 179

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ

ДЖОН СТЕЙНБЕК — Путешествие с Чарли в поисках Америки 187

КРИТИКА

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ — Высшая цель художника 200
А. ДЕМЕНТЬЕВ — Они «дискутируют» . . . 204
АЛЕКСАНДР ИСБАХ — Что нужно сказать людям (Заметки о книгах Антуана де Сент-Экзюпери) 210

3

МАРТ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

РОМЕН РОЛЛАН — Всегда ясно видеть . . 218

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МИЛАН ЮНГМАН — Читатель ждет «книгу жизни» (Письмо из Праги) 225
КАРЛЛЮДВИГ ОПИЦ — Новости литературного рынка ФРГ (Письмо из Гамбурга) . 227

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 229

ОЧЕРКИ

МАРИЯ МАЙЕРОВА — Вчера — сегодня — завтра 235

КАРАНДАШОМ И ТУШЬЮ

Н. ПРОЖОГИН — Репортажи художника Мхамеда Иссиахема 246

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран 252

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Тверской — Непал поэтический. ◇ К. Атарова — У колеса лотереи. ◇ И. Губанов — С любовью к человеку. ◇ Н. Павлова — Пути большой литературы . . . 254

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

О. Савич — Урок истории. ◇ А. Карельский — Генрих Бёль — публицист. ◇ Л. Степанов — Большая литература маленького острова 260

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 267

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке барельеф ДОИНЫ ЛИЕ (Румыния) «Мир».

ЯН МУДРОХ (Чехословакия) Первенец

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ

Белые крылья песни

Помни, что было!

Не сказку хочу я поведать, мы сами
Все видели это своими глазами,
И кровь по словам вновь течет, как по жилам,—
Помни, что было!
Глядишь на конверт обезумевшим взглядом...
Конверт этот — смерть, вот лежит она рядом:
Не жди теперь мужа, вздыхая уныло...
Помни, что было!
Безжалостно рушатся жизни основы.
Руины — твой дом, и, лишенная крова,
Средь улиц горящих, ребенка спасая,
Бежишь ты босая.
Как трупы убитых бросали в сараи,
Как печи дымились, людей пожирая,
От стонов земля холодела и стыла —
Помни, что было!
Зачем же деревья шумели листвою?
Ведь в дереве каждом был крест под корою,
Лесами стояли кресты да могилы...
Помни, что было!
Сквозь тьму пробивается солнце восхода,
Советский солдат нам приносит свободу.
Ты подвиг и жертвы его оценила —
Помни, что было!
Плющ стены укутал листвой своей нежной,
И раны почти затянулись надеждой,
Ты сына красивым и стройным взрастила...
Помни, что было!
Последний пожар не утих над землею,
Опять нам грозятся жестокой войною,
Зверь все еще рвется вперед что есть силы...
Помни, что было!
Своими клыками вновь хочет он впиться
В любимые, нежные детские лица.
Ты вырви клыки, их война отравила!
Помни, что было!

Чтоб крови потоков иссякли истоки,
Не капали слезы на скорбные строки,
Борись, и земля твоя даст тебе силы!
Помни, что было!
Миллионам людей по дороге с тобою!
Взгляни и увидишь — гигантской стеною
Вздымается армия мирного люда
Везде и повсюду!

Пластинка из Хиросимы

На Конгрессе матерей была прослушана пластинка, на которой был записан хор учеников одной из школ Хиросимы, разрушенной впоследствии во время атомной бомбардировки.

Я слышала песню ангелов,
Голоса доносились не с неба
И не снились во сне.
Белые крылья с черной пластинки
Из бороздок микроскопических
Взметнулись навстречу мне.

Песня пропета,
Лишь однажды звучавшая где-то,
Эти дети тоже были когда-то,
Их больше нет!
Стерли с земли их след —
И остался лишь голос.

Вокруг черной пластинки,
Опустив белые крылья,
Хор ребячий поет.
И время слезой тяжелой
По немому лицу земному
Течет...

Всем существом и частицей

Хотела б в деянии каждом я быть
Всем существом и частицей
И соком, идущим из самой земли,
В каждый листочек влиться.

Не ветерком, что играет листком,—
Хотела б я воплотиться
В широколиственном шуме лесном
Всем существом и частицей.

Хотела б, чтоб с каждой мыслью моей
Каждый мог породниться
И, как орган, в каждой ноте звучать
Всем существом и частицей.

■ ■ ■

Итогов не ищу, когда гляжу назад,
Лишь впереди найду всему мерило.
Мгновенье солнечным, но неразумным было —
В сердцах людей огни извечные горят.

Жизнь — марш. Себя лишь только в становленье
Всей новой жизни я смогу понять.
Сгореть, воскреснув вновь в стихотворенье,
Мять глину, чтобы глине душу дать.

Я отдаю себя любой минуте.
Как будто после мне и жизни нет.
Горят огни на каждом перепутье,
На путь и путников свой изливая свет.

Конец же будет, лишь когда смогу
Веленья жизни выполнить, но ныне,
Сколь ни пила бы меду и полыни,
Пред жизнью в неоплатном я долгу.

Пишу я...

Пишу я, когда тоскую,
Чернилами слез бесконечных
На подушке поэму...
Жаль, никогда не могу прочесть ее утром!

Пишу я, когда ликую
Улыбкой тайной, как птица
По небу, поэму.
Жаль, что у солнечных трелей памяти нету!

Пишу, когда кажется все мне серым,
Копотью радости и желанья
На подушке, на туче, бумаге.

Пишу, когда снова в тебе я свет обретаю,
Словно горный источник.
Пишу я улыбкой надежды,
Пишу, торжествуя, в тетради
И на обрывках разогнанных туч.

Перевод с румынского Ю. КОЖЕВНИКОВА

Любовь моя великая

Чем дольше я шагаю по земле,
Чем неровнее путь мой и труднее,
Тем кажутся теплее мысли мне,
А беглые зарницы — холоднее.

Чем дольше пью из чаши бытия,
Чем меньше в ней становится напитка,
Тем явственней поэзия моя
На дне сияет, наподобье слитка.

О ты, в горчайшей скорлупе орех,
Находка редкая в морских просторах,
Ни для кого на свете и для всех
Ты существуешь, словно ветра шорох.

Люблю тебя, и ты всегда со мной,
Люблю — единая и многоликая,
Ничья, всеобщая, мир мой земной,
Поэзия — любовь моя великая!

Как мне иначе жить

Как могут быть не дороги места,
Где радость первых сказок испытала,
Где первая любовь, нежней листа
Весеннего, во мне затрепетала?

Могу ли не дышать, не замечать
Всей прелести напевной речи длинной,
Стихи могли бы разве зазвучать
Без этих слов из воздуха и глины?

Я даже горем связана с землей,
Так как не ощущать мне землю эту?
Я связана с горами и семьей,
С чередованьями зимы и лета.

И как своих мне братьев позабыть,
Родных и не родных, когда волною
Они взметнулись, чтобы мир добыть
Для родины, замученной войною?

И как забыть молчания волну,
Когда мы вместе с вьюгою холодной
Дворцовую взломали тишину
И сделались Республикой свободной?

Как жить иначе, если не рубить
Для будущего мраморные глыбы,
Не украшать, не строить, не любить?
Иначе не могу. А вы могли бы?

Перевод с румынского В. ТУШНОВОЙ

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР

ОСЕННИЙ ДЫМ

РОМАН

Перевод с немецкого
И. МЛЕЧИНОЙ и В. СТЕЖЕНСКОГО

1

хутора, одиноко приютившегося среди оголенных полей, медленно шел человек, рядом брела лохматая собака, то и дело поглядывая на хозяина косыми слезящимися глазами.

Солнце стояло в зените. Не было ни тени, ни ветерка, и пыль, которую поднимали человек и собака, сразу опускалась на землю.

Человек и животное шли по узкой тропинке, с обеих сторон обсаженной подстриженными сливовыми деревьями. Деревья принадлежали этому человеку, поля вокруг — тоже. Деревья были очень старые, поля устало лежали под раскаленным солнцем — даже в эту позднюю летнюю пору небо было почти безоблачным. Среди жнивья извивалась пепельно-серая полоска земли. Где-то вдали стрекотали кузнечики. Из леса доносилось вещанье кукушки. Воздух был неподвижен, и на тропинке пахло пылью, сухим лошадиным пометом и нагретой солнцем древесной корой.

Высокий и грузный, лет сорока, с суровым узким лицом и землисто-серыми губами, человек шагал, выпрямившись во весь рост, а собака, сгорбившись, семенила возле него, печально опустив голову и высунув язык. Тропинка впадала в проселок, соединявший Шварцвальде с остальным миром. Это была широкая, спокойная дорога, где могли рядом ехать две телеги и еще оставалось место, чтобы прогнать гурт овец.

Человек и животное сразу как бы затерялись посреди этой дороги. Они двигались по направлению к пестрой беспорядочной горстке домов с торчащим над ними тонким шпилем церкви.

У самой деревни к ним торопливо приблизился человек, одетый, несмотря на палящее солнце, во все черное и в черном берете. Увидев путника, он тотчас остановился, осторожно обтер цветным платком лоб и выпятил толстую нижнюю губу, отчего лицо его приняло настороженное выражение.

Человек с собакой подошел к нему.

— Слишком поздно, господин пастор,— сказал он.— На двенадцатом ударе колокола все кончилось! — Серые глаза его потерянно смотрели куда-то вдаль, мимо мерцающей широты полей.— Удивительно, что как раз на двенадцатом... будто она тоже отсчитывала удары...

Пастор поспешно сунул платок в нагрудный карман и схватил собеседника за руки.

— Благословенье господне на твоем доме, хотя бог и наказывает тебя.

Путник отдернул руки и слегка кивнул.

— Надо скорей похоронить ее — при такой погоде...

— Это верно! — Пастор опять вытащил платок. Он обрадовался, что собеседник приступил к делу без околичностей.— Где она будет покоиться? В семейной могиле?

— Да. И тогда останется еще одно, последнее место — для меня!

Пастор втянул толстую нижнюю губу и прикрыл острые маленькие глазки.

— Ты живешь, сын мой. Тебе не подобают такие мысли. Господь взваливает на нас бремя страданий, чтобы просветлить и укрепить душу.

Человек, казалось, побледнел, но ответил рассеянно:

— Пойду договариваться насчет похорон. Не затягивайте особенно проповедь, но помните, что дороже у меня на свете никого не было.

Он двинулся дальше и наступил собаке на лапу. Животное взвизгнуло от боли. Только в этот момент человек заметил своего четвероногого провожатого. Прищурив глаза, он уставился на собаку, которая вертелась перед ним в пыли, и сделал нетерпеливый жест.

— Убирайся! А ну, сейчас же! Марш домой!

Собака поползла прочь, потом припустилась что было сил.

— Все понимает, как человек,— сочувственно заметил пастор, провожая глазами столбики пыли, вздымаемые мягкими собачьими лапами.

Хозяин сказал, глядя вслед собаке:

— Она была очень привязана к покойной.

Он расстался с пастором и пошел в деревню.

■

Человек пересек деревенскую улицу и направился к мелочной лавчонке. Из-за полуденной жары дверь была распахнута настежь. Рой блестящих черных мух облепил залитые солнцем ступени. Пришедший остановился у крыльца и хрипло кашлянул — ему показалось, что за прилавком на мешках с сахаром сгорбилась дремлющая фигура. Он кашлянул вторично и негромко окликнул:

— Эй, хозяин дома?

Испуганная женщина вскочила и спросонья забормотала:

— Чего надо? Сахару, хлеба? Нет хлеба, самим не хватает! — Она настороженно прислушалась, потом растерянно спросила: — Есть тут кто-нибудь? — и удивленно заморгала близорукими глазами.

Человек ответил с улицы:

— Я хочу поговорить с хозяином!

Женщина вышла из-за прилавка. Она была маленькая и тощая, с жиденькими клочьями желтоватых волос, сквозь которые просвечивала бледная кожа.

— Ох, господи, Гейзер! Чего-нибудь свеженького, для больной? Есть груши, привозные.

Ее тонкие губы растянулись в улыбке.

Человек, которого звали Гейзером, повторил нетерпеливо:

— Мне надо поговорить с хозяином!

— Болен он, дорогой Гейзер! Вода у него в ногах, постоит час у духовки — распухают, как дрожжевое тесто. Горе, да и только! И ничем не поможешь. Прямо хоть петлю на шею!

Гейзер раздраженно нахмурил широкие сросшиеся брови. Он быстро поднялся по ступенькам. Мухи лениво взлетели и тут же опустились.

Женщина внимательно вгляделась выцветшими глазами в его лицо и спросила с любопытством:

— Что-нибудь случилось? С больной?

Он ответил усталым движением опухших век и через лавку направился в комнату.

В этот момент в лавку вошла девочка. Она робко попросила четырехфунтовый хлеб.

— Хлеба тебе? — переспросила лавочница и вдруг принялась кричать во все горло: — Скажи своей матери, пусть обходится картошкой! Для вас мы хлеба не печем! Убирайся в свой кооператив, где вы покупаете все остальное! Как понадобился хлеб, так и Штанге хороши, а? Черта с два! Ничего для вас нет! Ну, чего разинула рот?

Гейзер стоял в полутемной комнате с прикрытыми ставнями и прислушивался к ругани женщины. Только брови подергивались на застывшем лице, выдавая его раздражение.

Из темноты зазвучал плаксивый мужской голос:

— Совсем из ума выжила баба. Она нас по миру пустит. Вместо того чтобы вежливо обходиться с людьми, захлопывает перед ними дверь. Подумайте, как это неразумно, не знаю, с чем и сравнить! Сорок лет мы владеем лавкой. Тридцать из них люди нуждались в нас. Теперь мы зависим от людей. Пятьдесят девятый — это не сорок девятый. А она не желает ничего понимать, и все тут!

Гейзер бросил быстрый взгляд в ту сторону, где сидел Штанге, и глухо спросил:

— Могу я на вас рассчитывать?

Человек с огромным животом и таким же задом с трудом пошевелился в кресле и положил забинтованные ноги на скамеечку.

— Это будет нелегко, дорогой Гейзер. Но я не брошу вас в беде. Покойницу надо похоронить самым достойным образом, даже если это трудно.

Слышно было, как Гейзер вздохнул:

— Ну, вот и все...

Широко расправив плечи, он прошел мимо лавочницы к выходу. Ослепленный ярким солнечным светом, в оцепенении остановился у дома, о чем-то размышляя.

Женщина тем временем открыла дверь комнаты и, не обращая внимания на Гейзера, стала попрекать мужа:

— Ты себя уморишь ни за что ни про что! Всю свою родню он похоронил без нас. А теперь, когда крестьяне отвернулись от него, и лавочник стал хорош. Подумаешь, велика честь!

С неожиданным проворством толстяк вскочил на ноги и рявкнул:

— Да, честь! И я сумею оценить ее!

Он в бешенстве топнул ногой, но тут же лицо его исказилось от боли, и он со стоном упал в кресло.

Гейзер еще немного постоял в нерешительности. Он окинул взглядом одну из разросшихся перед лавкой богатырских лип, приметил неподвижно повисший на ветке блеклый ржаной колос — след проезжавших возов с хлебом. И впервые обнаружил, что за его сорокалетнюю жизнь липы нисколько не изменились. Охваченный каким-то странным чувством, он быстро повернулся и зашагал по широкой пустой деревенской улице.

Свернув в переулок, Гейзер услышал громкие возмущенные женские голоса. Он не видел женщин, но отчетливо различал слова:

— Вот до чего дошло! Хлеба не дает! Хочет нас измором взять, толстобрюхий! Это уж слишком!

— Да плевала я на него! Сама замешу тесто — и конец!

— Думает, мы все забыли. Пусть помалкивает, мародер!

— Ржавую селедку каждое утро смазывал растительным маслом, а мы потом из уборной не вылезали. Нечего гоготать!

— А ведро джема разбавлял горшком воды. Все это правда, Миле, но теперь хватит. Обойдемся и без него! Анка, твой Шиндель прямо как в воду глядел с этой кооперативной лавкой.

Анка Шиндель, самая молодая из женщин, устало улыбнулась, скрестив руки на животе, словно защищая его. Но тут она заметила Гейзера, который с застывшим взглядом прошел мимо и исчез за воротами.

— К Гриммбергеру отправился,— сказала одна из женщин.

— Он уже был у Штанге,— робко вмешалась девочка, приходившая в лавку за хлебом; судя по всему, она была из семьи Шинделей.

— Отстрадала,— вздохнула пожилая женщина.

Анка Шиндель и еще две женщины, которые много лет назад вместе пришли из Польши, перекрестились.

Одинокое белое облако лениво наплыло на солнце и слегка приглушило свет, но тени не дало.

■

Когда Гейзер вошел, Гриммбергер был во дворе.

Слегка согнутая фигура хозяина выпрямилась. Удивительно голубые глаза под кустистыми бровями строго оглядели неожиданного гостя, но потом, казалось, смягчились. Гриммбергер подошел и молча протянул правую руку, левой он сжал плечо Гейзера, словно желая его успокоить.

— Пойдем в комнату,— сказал Гриммбергер глухим грубоватым голосом и зашагал к дому. Рослый и грузный, как Гейзер, он только держался не так прямо и был старше лет на десять; седые взъерошенные волосы его, в отличие от жирных, гладко зачесанных волос гостя, ни зимой, ни летом не знали фуражки.

Комната была затененная и прохладная. В короткий послеобеденный час там отдыхали жена и дочь Гриммбергера. Услышав шаги, дочь легонько толкнула задремавшую мать. Та вздохнула, провела рукой по волосам, зевнула и потянулась, откинув назад крепкие плечи.

— Уже пора? Конца нет этой гонке.

Гриммбергер заглянул в комнату и легким кивком дал понять женщинам, чтобы они вышли. Только после этого он широко раскрыл дверь и пропустил Гейзера. Женщины поклонились гостю. Дочь прошла, едва не задев его. В посадке головы ее было что-то строптивое. Мать, казалось, глазами спросила хозяина дома, не подать ли чего на стол. Гриммбергер едва заметно шевельнул бровями, что означало: «Это еще зачем?» Когда женщины ушли, он придвинул гостю стул:

— В ногах правды нет.

Гейзер сел и во второй раз за сегодняшний день спросил:

— Могу я на вас рассчитывать?

Гриммбергер подошел к неуклюже вычурному деревенскому шкафу, который занимал всю стену, загромождая и без того маленькую комнату.

— Это человеческий долг,— сказал он, открыл дверцу шкафа и, вынув сигару, старательно облизнул ее. Потом испытующе оглядел гостя и повторил: — Просто человеческий долг, Гейзер!

Гость кивнул.

— Похороны начнутся в двенадцать часов — она умерла в двенадцать. Хочу, чтобы она покоилась в семейной могиле. Я тоже понесу гроб.

— Вот как! А еще кто?

— Штанге и Куглер, если вы не возражаете.

— А Хаген? — Гриммбергер выплюнул откушенный кончик сигары.

Гейзер покачал головой.

— Схожу еще к Куглеру.

Гриммбергер упорно пытался отодрать прилипшие к губам табачные крошки. Лицо его казалось неподвижным. В светлых глазах лежала задумчивая тень.

— Приду, обязательно!

Гейзер встал. Он взглянул на хозяина так, словно хотел еще что-то сказать. Но молча прошел мимо громоздкого шкафа к выходу. Когда за ним закрылась дверь, Гриммбергер положил сигару обратно в шкаф. В кухне он спросил жену, в порядке ли черный костюм, и добавил:

— Она будет лежать в семейной могиле!

Дочь презрительно поглядела сбоку на отца и насмешливо сказала:

— Очень благородно со стороны Гейзера.

Отец буркнул что-то невнятное. А мать испуганно шепнула:

— Не греши, дочка. Мы тоже пойдем.

2

Когда Анка Шиндель в тот вечер вернулась домой, муж встретил ее встревоженным взглядом. У него была пылающая рыжая шевелюра и веселые веснушки до самого затылка. Он торопливо подошел к усталой жене и, ласково обхватив за плечи, шутливо сказал:

— В следующий раз мы это лучше организуем. В положении зимой легче, чем летом.

Он притянул Анку к себе и почувствовал ее отяжелевшие бедра.

Она улыбнулась ему и вздохнула:

— Кажется, ты никогда не поумнеешь.

Когда она бывала рядом с мужем, словно ноша спадала у нее с плеч. Ее согревала беспечная веселость этого человека, который даже в тридцать лет походил на большого беззаботного мальчишку. Она села на узкую скамеечку перед дверью и посмотрела вверх, на церковь, нависшую над их домом. Высокие окна церкви розовели под лучами вечернего солнца. Из-за красной кирпичной стены с кладбища доносились удары мотыг и шуршание грабель. Над самой головой женщины, под водосточным желобом, затянутым диким виноградом, поздний выводок горихвосток хрипло требовал пищи.

Шиндель тоже взглянул на церковь и задумчиво сказал:

— Могилы прихорашивают. Каждый греха боится. Таковы люди!

Он покачал головой, но в тот же миг, словно желая подбодрить себя, захлопал в ладоши и с шумом потер руки.

— Отдохни, старушка. Скотинку мы вмиг накормим.

Вот каков он был, Шиндель: называл старушкой тридцатилетнюю жену, приступом брал дом и хлев, командовал кооперативом. Дай ему волю — каждый год производил бы на свет по ребенку и снес бы церковь, потому что, как он всем говорил, она закрывала от него утреннее солнце.

Анка не могла на него долго сердиться.

Она была хороша неяркой красотой женщин, которые не носят ни шелков, ни шерсти, но их обаяние, неповторимая прелесть — в силе рук и неусыпной материнской заботе обо всем, что их окружает.

■

Анка появилась здесь в тысяча девятьсот сорок пятом году — еще девочкой, но уже со следами горьких испытаний в глазах. По широкой проселочной дороге она брела к Шварцвальде в толпе усталых, отчаявшихся людей: слишком часто на долгом пути от Одера стояли они перед закрытыми дверями. Рядом плелась девушка чуть постарше; она судорожно сжимала руку Анки и умоляюще шептала:

— Давай не расставаться, Анка. Если прогонят, я пойду с тобой.

Она говорила, как в бреду. Руки ее потели от страха. Но Анка давно уже не прислушивалась к ее словам. Она видела блеклые кроны лип над деревней, ощущала на губах и языке едкий запах сжигаемой картофельной ботвы, дым от которой низко стлался над полями, и томилась по охапке соломы, чтобы прилечь и отдохнуть. Других желаний у нее не было.

Люди остановились у дома лавочника, опустили на землю узлы и мешки. Им навстречу вышла костлявая старуха с воспаленными глазами. Оценивающим взглядом она осмотрела толпу, потом ткнула пальцем в направлении, где, прижавшись друг к другу, стояли обе девушки.

— Одни или с родными? — спросила она хрипло.

— Никого у нас нет! — ответила Анка.

Старуха кивком головы подозвала их к себе. С девушками она всегда легче управлялась. Она все сетовала, что нет уже тех, кто носил на груди нашивки «Ост». Их было много, они были так дешевы и невзыскательны. Да и кормили их, как скотину, или вовсе не кормили: они все равно обязаны были работать. Неужели так больше не будет? Дом, усадьба, широкие поля требовали рабочих рук, а сын не возвращался!

Так девушки нашли пристанище в чулане гейзеровского хутора, расположенного в стороне от деревни, среди оголенных полей.

Они проспали целые сутки — старуха не будила их — и проснулись с мыслью, что наконец-то у них есть надежное убежище.

■

Две осени подряд старуха неизменно поднимала их по утрам, окатывая студеной водой. Однажды Анка с ненавистью в голосе сказала:

— Этот дом — настоящее ястребиное гнездо!

Так гейзеровский хутор превратился в Ястребиный. Прозвище дошло до деревни, привилось там.

Теперь в сарае на хуторе лежала женщина, которая после недолгой жизни обрела, наконец, покой — вечный покой....

Той послевоенной осенью старуха не сдала положенного количества зерна. И тогда на хуторе в присутствии новоселов и советского коменданта обмолотили хлеб. Это называлось принудительным обмолотом. Таким способом, с точностью до фунта, определяли урожайность. Уже через час стало ясно, что старуха не обеднеет, даже сдав полную норму. Но с того момента она словно взбесилась, и никто не был застрахован от ее ярости. Она хотела сберечь побольше для сына, когда он приедет и начнет хозяйствовать... А зерно уже везли к воротам, и старухе казалось, что сердце ее вот-вот разорвется.

Однажды ночью в ворота постучали: возвратился сын. В гостиной до утра горел свет.

Анка пыталась уговорить подругу не подслушивать. Но та давно избавилась от прежней робости. Она тихонько выбралась из каморки и вернулась только через несколько часов. Глаза у нее блестели. Она бросилась на соломенный тюфяк и возбужденно зашептала:

— Какой мужчина, Анка! Высокий, как каланча, и борода черная да кудрявая. Взглянет — сердце замирает, такой взгляд!

Анка повернулась к стене и уже в полудреме услышала далекий, тихий голос:

— А жует медленно, и борода топорщится.

На следующий день бороды не стало. Девушка разочарованно посмотрела на гладко выбритое лицо. Она не выдержала тяжелого взгляда серых глаз и покорно опустила голову. Правда, смирение не помешало ей еще при жизни старухи перебраться из чулана в дом.

Анка осталась одна. Подруга быстро заняла место хворой старухи, но это не облегчило Анке жизнь. Пылкие клятвы, которые бывшая спутница шептала ей на проселочной дороге, рассеялись, как туман.

Только однажды, на похоронах старухи, они оказались в конце погребального шествия рядом; Гейзер без шапки одиноко шагал за гробом, который богатые крестьяне несли к семейной могиле. Когда они свернули на проселочную дорогу и увидели людей, столпившихся у околицы, бывшая подруга тихонько сказала:

— Наверно, он никогда на мне не женится!

Спустя три года рыжеволосый Шиндель увел Анку с Ястребиного хутора, увел ночью; она расплакалась в его объятиях, и этот большой ребенок не придумал ничего лучшего, как увести ее в свою жалкую каморку. Утром он показал ей заросшие пыреем поля, доставшиеся его матери по земельной реформе.

— Это наше, собственное,— сказал он.— А в скором времени начнем строить, под церковью,— так выпало по жеребьевке.

Хотя Шинделю не было и девятнадцати, он стал для Анки надежной опорой. Он огрызался, как волк, когда бабы чесали языками по их адресу. Захлопнул дверь перед носом у пастора, который пришел с наставлением: бог запрещает несовершеннолетним жить как муж и жена.

Много позже, уже после рождения первого ребенка, Анка поняла, что любит этого человека.

Подруга прежних лет осталась на Ястребином хуторе. Скоро между ними оборвались последние нити. Только один раз, несколько недель назад, когда Анка ездила за покупками в город, она, подчинившись внезапному порыву, пошла в больницу. Меньше четверти часа она просидела у постели больной, безуспешно стараясь найти в ее лице черты человека, с которым три года делила горести и заботы. И только встав, почувствовала в своей руке влажную от страха руку и как бы издалека услышала: «Прости меня!» Все словно вернулось: проселочная дорога, толпа усталых людей, блеклые кроны лип, едкий запах сжигаемой ботвы и — маленький побеленный чуланчик.

Анка Шиндель взглянула на мужа. Он стоял посреди двора, разгоряченный от работы, в расстегнутой до живота рубахе; потянувшись, он сказал с улыбкой:

— Ну, видишь, уже готово. Правда быстро?

Она сидела теперь в тени. Выводок горихвосток над головой с закатом угомонился. Окна церкви потеряли свой блеск и свинцово глядели навстречу вечеру.

Анка встала со вздохом.

— Я кое-что от тебя скрыла, — сказала она. — Я была в больнице.

Он бросил на нее косой взгляд.

— Так. А еще что?

— Я хочу пойти на похороны!

Он напряженно рассматривал отливающую ржавчиной тыльную сторону руки..

— Я — председатель,— сказал он.— Тут надо хорошенько подумать!

И раздосадованно запустил руки в волосы, чувствуя, что не нашел нужных слов.

— Пойми меня. Все это не так просто!

— Наоборот, совсем просто. Брошу на гроб три горсти земли да красные астры, она их любила.

Шиндель застегнул рубаху.

— Пойду позову детей.

Он торопливо зашагал по двору. А на улице увидел Гейзера, выходившего из трактира Куглера. Гейзер шел очень прямо, только несколько сосредоточенней, чем обычно.

3

Собака лежала перед воротами амбара. В твердой, как камень, глинистой земле она вырыла лапами ямку. Но ямка была еще недостаточно глубокая, чтобы проникнуть в амбар. Гейзеру пришлось силой оттащить собаку в конуру. В немом бешенстве он надел на нее ошейник и ударил ладонью по голове.

Гейзеру не хотелось открывать дверь амбара. В памяти его глубоко запечатлелось мертвое, задумчивое лицо с упрямой складкой между глаз, в которых, казалось, гнездился только упрек.

■

С тупой жадностью Гейзер любил эту женщину восемь лет — и ни разу не желал другой. На восьмом году она — чудом — забеременела. Он сам привез ее в Берлин, в Шарлоттенбург, и немало заплатил за аборт. Потом это повторилось еще трижды, и тогда он оставил женщину в покое. Полгода она еле таскала ноги и заметно худела. Однажды он выволок ее, в обмороке, из-под коровы, кое-как обмыл, посадил в коляску мотоцикла и повез в больницу. Когда приехали, под коляской он заметил кровь и, оторвав от себя ее крепко сжатые руки, подозвал санитаров. Каждый приемный день Гейзер приходил и молча просиживал у ее постели час и более. В одно из воскресений его вызвал врач и спросил, есть ли у больной родственники. Гейзер сказал, что, кроме него, никого. Врач скупо объяснил характер болезни. Из этого объяснения Гейзер усвоил только, что операции вызвали рак матки, который, к сожалению, не локализовался, и надежды на спасение нет. Гейзер не ощутил угрызений совести, он не чувствовал себя ответственным за сложный женский организм. В конце концов он перевез смертельно больную в деревню, уступив ее настоятельным просьбам. С тех пор они не обмолвились ни словом. Но в предсмертный час она посмотрела на него долгим, гнетущим взглядом; в глазах ее уже была печать рокового исхода. Этого взгляда Гейзер не смог выдержать.

Колокол начал отзванивать полдень. Женщина приподняла голову и прислушалась. Ровно на двенадцатом ударе голова ее упала в подушки. На лице осталось выражение напряженной задумчивости. Он подвязал ей нижнюю челюсть кухонным полотенцем и затянул узел, точно боялся, что не сумеет закрыть ей рот. В этот момент он вспомнил ночь после похорон матери. На поминках он много выпил и ночью вел себя еще более страстно, чем обычно. Она дрожала под его ласками. Когда они устали и женщина казалась ему еще меньше и слабее, чем обычно, она прошептала:

— Скажи, я тебе как жена?

Засыпая, он пробормотал равнодушно:

— Конечно. Почему ты спрашиваешь?

Она шепнула еще тише, у самого его горячего уха:

— Тогда похорони меня в вашей семейной могиле!

Сам не понимая почему, он затрясся от беззвучного смеха. Сон пропал. Он долго раздумывал над странным желанием женщины и решил, что она будет покоиться среди Гейзеров, хотя это и не полагалось.

Гейзер пересек двор, как крепостной стеной окруженный хлевами и амбарами. Дважды сгорал этот хутор. Дважды обломки строений засыпали узкую дорожку, ведущую к проселку. Но проходило не более года, и дом снова упрямо поднимался, неуклюжий и тяжеловесный, словно сторожевая башня перед боязливо съежившейся деревней. Гейзеры никогда сами не искали общения с крестьянами. Во все времена нужда вела людей к угрюмому хутору, и, хотя дорога эта часто была горька и тяжела, им приходилось идти по ней, потому что Гейзеры не только давали деньги в долг: с незапамятных времен они были третейскими судьями в деревне. Многие запутанные нити жизни целых поколений оказывались в их жестких руках. Они вили веревки из этих нитей и разрубали их, когда считали нужным.

Гейзер вошел в дом. В гостиной зажег шестирожковую люстру. Тишина вокруг казалась густой, наполненной шелестящими голосами. Его знобило. На широкие, до черноты загорелые руки, взявшие со стола тяжелую связку ключей, угрюмо смотрели со стен лица его отца и дедов, узкие лица, с одинаково серыми глазами и сросшимися бровями.

Все Гейзеры умерли естественной смертью, кроме одного, последнего, фотография которого, выделявшаяся среди остальных величиной, висела в середине комнаты. Этот последний Гейзер внимательно глядел на сына с едва заметной улыбкой в углах плотно сжатого рта, а глаза его словно говорили: «Молодец, мой мальчик, продолжай в том же духе». Отцу пришлось долго ждать, пока древний дед передал ему бразды правления. Но, заполучив их, он уже не знал удержу. Время оказалось благоприятным для него. Граф, чья обширная усадьба находилась в конце деревни, увлекся большой политикой и предоставил Гейзеру всю власть над крестьянами. Если деды все-таки чувствовали на себе пристальный глаз помещика и не решались перешагнуть определенные границы, то для него не существовало никакого сдерживающего начала. Лишь два-три раза в год в прихожей своего дома граф беседовал с крестьянами, да и то по вопросам, далеко выходящим за пределы деревенской жизни. У Гейзера были полностью развязаны руки — граф заранее одобрял все его поступки.

Когда настало время, он по тропинке двинулся к проселочной дороге с нацистским флагом в руках. Он внимательно глядел, кто шел за ним, и отмечал про себя, кого не было. В конце концов он стал бургомистром и уполномоченным нацистской партии в деревне. И если предки его прежде всего полагались на силу рук, то он рассчитывал на длину своей руки, которая с помощью графа доставала до фашистских управлений и министерств.

Под сенью черной свастики хутор его разросся, как на дрожжах. Ему удалось поставить на место наиболее влиятельных крестьян деревни и почти до самой своей смерти уберечь сына от военной службы, в то время как многие уже понесли тяжелые утраты. Но с того дня, как сыну все-таки пришлось надеть серый мундир, энергия Гейзера-старшего стала заметно иссякать. Охватывающий его по ночам страх превращался утром в бешеную ненависть. За малейшую провинность он истязал рабочих, пригнанных из разных стран. Бросал плуг в борозде и мчался в деревню, чтобы избивать людей кнутом, дубинкой — всем, что попадало под руку. В последние дни апреля сорок пятого года он страшным ударом повалил на кучу навоза девочку за то, что та пролила молоко. И оставил ее только тогда, когда худенькое тело перестало вздрагивать и уже не подавало признаков жизни.

В первые дни мая он созвал всех мужчин деревни, роздал оружие и распределил их по окрестным лесам. Вернувшиеся через несколько

дней крестьяне, которым не пришлось сделать ни единого выстрела, смогли рассказать только, что Гейзера нашли задушенным. Они точно описали место, где он лежал. Старуха взяла ручную тележку и отправилась в путь. На синей шее удушенного она обнаружила отпечатки сильных пальцев и напрасно пыталась затолкнуть ему в рот прокушенный язык. Дома она как могла принарядила покойника, а богатые крестьяне и трактирщик Куглер понесли его к семейной могиле. Не пришел только один — Хаген, самый богатый из всех; у него на это были свои причины.

Пастор сорвал свастику с гроба, бросил ее в могилу и произнес краткую гневную речь: в окрестных деревнях уже стучали пулеметы. Когда через несколько лет вернулся сын и свет в гостиной горел до утра, мать сказала:

— Мы закопали твоего отца, как собаку, сын мой!

Лицо, смотревшее с портрета на Гейзера, не выдавало никаких следов необычной смерти; тяжелые глаза и сейчас говорили: «Молодец, мальчик, продолжай в том же духе!» Только надежда на то, что пробьет, наконец, и его час, поддерживала все годы последнего Гейзера. Когда он вернулся домой и из уст матери услышал в ту ночь о событиях минувших лет, ненависть обуяла его. Он привел в свою постель подругу Анки, чтобы хоть по ночам не быть одному. Он и думать не желал о женитьбе на крестьянской дочери, хотя мать, пока была жива, непрерывно докучала ему разговорами о браке.

Гейзер не хотел быть связанным в час расплаты, которого так ждал. Он начал было налаживать отношения с двумя деревенскими богачами. Но, когда стало ясно, что те сидят меж двух стульев и, казалось, притерпелись к власти голытьбы, он отошел от них. И не ошибся. Уже в тысяча девятьсот пятьдесят втором году они уехали из деревни. Через некоторое время он получил письмо, в котором от имени графа его приглашали в Нижнюю Саксонию. Он разорвал письмо. Это был не его путь!

К Хагену, который жил в стороне от деревни, Гейзер не ходил никогда. Правда, он искал сообщников по всей округе. Но находил лишь мелюзгу, пакостников, помешавшихся на поджогах и заражении скота. Это тоже был не его путь.

Жизнь подтверждала его опасения. На брошенных хуторах возникали кооперативы. Поджигатели и вредители почти всегда попадались, а власть голытьбы становилась все крепче.

Но Гейзер хотел выжить. Он должен вести себя так, чтобы о нем не могли сказать ничего дурного, и ждать, пока пробьет час возмездия. Дважды ему казалось, что он близок к цели: в июне пятьдесят третьего и потом, когда кооперативу грозил развал. Но этого не случилось. И Гейзер мобилизовал всю энергию, чтобы оживить в себе угасающую надежду, потому что в ней одной была цель его существования. Она поддерживала его, давала силы вести переговоры с людьми, подобными Штанге, хотя охотней всего он ударил бы лавочника по лицу; благодаря ей он выносил вечно ноющего Куглера и не обращал внимания на тех, кто упрямо и настойчиво пробивался вперед.

Только к Гриммбергеру он относился по-иному. Гейзеру казалось, что в Гриммбергере еще есть какая-то сила, которая исходит от свежевспаханной земли и овладевает человеком навсегда.

■

Гейзер сунул в карман связку ключей. Погасил люстру, устало прошел по комнатам просторного дома и поднялся по лестнице на чердак. Там возле коптильни он вынул толстую доску и из-под паутины и стружки извлек старый армейский пистолет, завернутый в промасленную

тряпку. Он спрятал его во внутренний карман куртки и положил на место доску. Потом тщательно запер все комнаты и даже входную дверь. В углу двора, залитого бледным светом луны, скулила собака.

В эту ночь Гейзер перебрался в чулан. Из окошка виднелась большая часть его полей. Он твердо решил вести здесь затворническую жизнь до тех пор, пока не найдется женщина, которая снова наполнит дом теплом и уютом.

4

Вольни стоял у высокого застекленного окна. Утром, впервые за многие недели, разразился освежающий ливень. Теперь под лучами солнца справа и слева от заводской дороги, от крыш, от рельсов и стальных слитков шел пар. Пронзительный шум цехов доносился сюда несколько приглушенно. Но даже через закрытое окно проникал запах кипящей стали.

Проходя по заводской территории, рабочие торопливо оглядывали щиты с итогами соревнования. Иногда они задерживались, беспокойно проводили пальцами по толстым, слегка изгибающимся линиям на миллиметровке, скупо улыбались и говорили:

— Ручей течет в гору, прямо не верится!

Ручей — это была голубая кривая, которая ползла все выше и выше.

Женщина с седыми волосами остановилась посреди комнаты и, бросив испытующий взгляд на Вольни, спросила:

— Трудно тебе?

Вольни быстро обернулся.

— Трудно? Как на это смотреть! — Он тут же махнул рукой, в которой мял фуражку: — Чепуха! Я еще год назад собирался. Только конвертор удерживал.

Вольни быстро подошел к женщине, и это стоило ему немалых усилий: заметно было, что левое бедро его искалечено и он слегка прихрамывает.

Опершись о письменный стол, за которым теперь стояла женщина, Вольни перечислял:

— Во-первых, это необходимо. Во-вторых, я этого сам хочу. В-третьих, пора, наконец, и нашему брату впрячься в этот воз!

В такт своим словам он ударял фуражкой по раскрытой ладони. Вся фигура его выражала нетерпение, и это не укрылось от женщины. Она улыбнулась и не удержалась от вопроса:

— А ты не переоцениваешь свои силы, Вольни?

Искоса посмотрев на нее, он сердито сказал:

— Это мнение партии или товарища Ванки?

— Я только спрашиваю!

Вольни нахлобучил фуражку и стал приминать ее на голове.

— Чепуха. Я вызвался добровольно. Все остальное решено. Город жмет на все педали, а деревня ни с места. Мы идем не в ногу, понимаешь? Так не годится.

Она села и задумчиво перевела взгляд на его исхудавшее лицо с сильно выступающими скулами. Сейчас оно слегка порозовело. У рта и носа обозначились глубокие упрямые складки, видно было, как пульсируют жилки под тонкой кожей на висках. Она хотела предостеречь: «Тебе придется нелегко»,— но сказала просто:

— Если будет трудно — твой дом здесь. Ты знаешь, нам нельзя терять времени, но все-таки не поступай опрометчиво. Ты едешь к друзьям — не забывай этого, Вольни. Написал Гриммбергеру?

— Хочу сделать ему сюрприз.

— Очень хорошо. А чемодан? Все взял, что нужно?

— Думаю, что да.

К нему вернулось миролюбивое настроение. В глазах заблестели насмешливые искорки. «Не хватает только, чтобы она вытерла мне нос,— подумал он.— Прямо как наседка, всех готова держать у себя под крылышком и сердится, когда кто-нибудь хочет покинуть гнездо».

Она дала ему еще несколько советов, потом неожиданно спросила:

— А как ты представляешь себе свою работу, товарищ Вольни?

Он смущенно улыбнулся.

— Этого я не могу сказать, стоя здесь. Определится на месте.

— Ну хотя бы в общих чертах.

— В общих чертах! — Он сухо усмехнулся, опять подошел к окну и стал сосредоточенно следить за кошкой, неизвестно каким образом очутившейся между ржаво-бурыми стальными болванками. Прижавшись к земле, кошка испуганно вертела головой. Но вот она взмахнула белым кончиком хвоста и метнулась в сторону.

Вольни попытался проследить за ней, но потерял из виду. Беспокойно пошарив глазами, он, наконец, обнаружил ее у ног женщины, которая нагнулась и подобрала испуганное животное.

— Стало быть, не знаешь? — услышал он голос Ванки.

По его вздрагивающей спине она поняла, что он смеется.

— Нет, почему же. В общих чертах: буду бороться!

Она закрыла папку, поднялась с неожиданной легкостью и подошла к нему.

— Всего хорошего, Вольни. И держи нас в курсе дела.

«А упрям он, однако,— подумала она, когда за ним закрылась дверь.— Надо надеяться, он не наломает там дров». Она увидела, как Вольни пересекает заводскую дорогу. Впервые заметила, чего стоит ему ровная походка. «Другой с таким бедром хромал бы. А этот...» Она долго смотрела ему вслед.

Вольни попал в самый водоворот встречающихся смен. Он то и дело прикладывал руку к фуражке. Почти полузабытое, теплое чувство охватило его. Здесь его дом! Это правда. Всех этих людей, торопливо снующих в разные стороны, он знал если не по имени, то уж в лицо обязательно. Там, куда Вольни собирался ехать завтра, ему был знаком только один — Гриммбергер. Но уж его-то он знал давно — и знал хорошо, хотя в последние годы связь между ними оборвалась. И Вольни вновь ощутил то радостное волнение, которое не покидало его уже несколько дней.

Проходя в ворота, он взглянул на часы: четыре. Домой его не тянуло. Дела свои он все уладил и, выйдя за пределы заводской территории, пошел по черной шлаковой дорожке, которая вилась между небольшими огородами. За дощатым забором скромного садика он увидел толстозобых воробьев, прыгающих по грядкам, с которых уже был снят урожай. Давно оперившиеся птенцы все еще подлетали к родителям с разинутыми клювами. Вольни наблюдал это впервые.

— Удивительно,— пробормотал он,— кругом сколько хочешь корма, а они все разевают клювы!

Он задумчиво покачал головой.

— Избаловались, черти, вот и усложняют старикам жизнь!

Большим пальцем Вольни сдвинул фуражку со лба. Из-под козырька выбились еще густые темные волосы, не изменившиеся за его почти пятидесятилетнюю жизнь. Они наливались тяжелым блеском в часы пыток. Высыхали от крови и от ледяных струй, которыми истязаемых приводили в чувство. Вновь вырастали, закрывая шрамы. Их придавливали ненавистные каски на фронтах между Вислой и Доном.

Вольни нагнулся в шероховатой тыквенной плети, которая вытянулась из-под проволочной изгороди и цепко прижалась к шлаковой дорожке. Он поднял ее и протолкнул обратно за забор. Отяжелевшие сливовые деревья под блеклым небом словно вливали в плоды свои последние соки, и на землю медленно опускались первые пожелтевшие листья. Вольни почувствовал, как ему свело рот. Когда-то он часто ел кислые сливы, которые еще хрустели на зубах. Это воспоминание вновь вызвало в нем чувство нетерпеливого ожидания.

«Может быть, все-таки надо было взять машину,— подумал он,— мне ведь предлагали. Тогда я смог бы приехать туда еще сегодня, до наступления ночи.— Он прищурил глаза.— Чепуха! Никогда не следует спешить!»

5

Дом пастора стоял неподалеку от церкви, на холме, возвышавшемся над деревней. В нем было множество просторных комнат внизу и две маленькие, кособокие клетушки на чердаке. Одной из них пастор пользовался лишь в тех случаях, когда готовился к проповедям. Тогда он стоял у окна, смотрел через кладбище на церковь и испытывал чувство умиротворения при мысли, что здесь, наверху, он ближе к богу, чем на первом этаже дома, где он предавался земным утехам: хорошо ел, умеренно пил и вволю спал. Другие утехи были ему уже не доступны. Детей у него не было. Когда год назад после тридцати пяти лет совместной жизни умерла жена, он взял в дом экономку. Глухая, как пень, она говорила трубным басом. Ее глухота вполне устраивала пастора: он без помех мог проповедовать в собственном доме и проверять силу голоса, прежде чем подыматься на церковную кафедру.

Хотя пастор был человек общительный и двери его дома были открыты для каждого, кроме тех, кто приходил клянчить, все же каморка на чердаке, где он погружался в свои мысли, оставалась запретной для постороннего взора. Никогда еще чужая нога не переступала священного порога. Даже экономке было запрещено входить туда, и на книжных полках лежала густая пыль, скопившаяся за год его вдовства.

Раньше пастор обслуживал и близлежащие общины: Цабиц, по ту сторону железнодорожной линии, Лунквиц, на шоссе, ведущем в Гамбург, и спрятавшийся за лесом Лангенбах, маленькую деревушку в двадцать домов, о которой в народе шла такая молва:

«Сотворив мир, бог сквозь облака посмотрел на свежеиспеченную землю. Густая капля пота скатилась с его бороды. Она упала на землю и образовала длинный ручей. Вскоре туда пришли двадцать поселян и построили на берегу свои хижины. Вода в ручье оказалась такой вкусной, что они макали в нее хлеб и не желали иной пищи. Но дети и дети их детей приохотились к ячменному пиву. Тогда бог разгневался и осушил свою каплю пота. С тех пор в Лангенбахе не хватает воды».

Колодезники проклинают эту деревню, потому что там приходится рыть на глубину до тридцати метров. Но лангенбахцы довольствуются пивом, а воду оставляют для скотины. Вот почему в Лангенбахе можно встретить самых толстопузых мужчин в округе, а трактирщик Куглер с завистью глядит на своего лангенбахского коллегу, у которого, как говорят, от крана пивной бочки все руки в мозолях.

Когда пастор был помоложе и имел обыкновение приправлять свои проповеди всевозможными истинами, он сказал однажды лангенбахцам:

— Если бы вы вспоминали бога и вместо дьявольского пива пили чистую воду, которой господь так щедро благословил землю, вы могли бы на эти деньги воздвигнуть для нашего творца храм, высокий, как сто-

летний дуб. Но так как вы больше жалуете свои глотки, чем бога, которому обязаны всем, он навеки останется в Лангенбахе бесприютным и будет с ветром посылать к домам вашим горькие вздохи. Никто, однако, не может знать, надолго ли господь удовлетворится этим. И у бога терпение может истощиться, и в один прекрасный день пиво станет у вас поперек горла. А что это значит — известно каждому, кто хватал лишку. Аминь!

Уже давно пастор не произносил таких проповедей. Он редко покидал Шварцвальде, потому что в Цабице, Лунквице и Лангенбахе, где до сих пор не было церкви, уже изрядное время слово господне проповедовал другой, более молодой священнослужитель. Но, как казалось пастору, это был легкомысленный человек: он ездил на мотоцикле, читал романы, даже ходил в кино и на всех танцплощадках деревень и городов чувствовал себя как дома.

Шварцвальдевский пастор не понимал таких духовников. И, когда он встречался со своим лунквицким коллегой, что бывало не так уж часто, настоящей беседы у них не получалось.

Так пастор стал совсем одиноким. Жизнь не баловала его новыми впечатлениями. Иногда он возился в саду, но быстро уставал. Он сам щупал кур и сердился, когда они не неслись. Раньше он держал корову, выкармливал к зиме двух свиней, а в молодые годы даже брался иногда за рукоятки плуга и проводил борозды не хуже любого крестьянина. Но теперь тело его обросло старческим жирком, давало себя чувствовать повышенное давление, и иногда ему даже казалось, что сердце его — громадный, туго надутый пузырь, который вот-вот достанет до горла и лопнет...

Но изредка, в часы особо важные, ответственные, пастор чувствовал себя сильным, как в прежние времена. Он превозмогал свою старость, и движения его становились все более торопливыми. Его маленькие, еще острые глазки жадно сновали по сторонам. Он выпячивал толстую нижнюю губу, и лицо его принимало настороженное выражение. И сегодня это было именно так. Пастор стоял у окна и смотрел вниз на кладбище. Он видел согнутую в тяжелой работе спину Гриммбергера; приближающегося Куглера, который шел быстро, широко шагая и выставив из-под впалой груди странно торчащий острый живот; лавочника Штанге, похожего на обожравшегося барсука. Они копали могилу для умершей.

Сколько душ в этом уголке земли пастор крестил, конфирмовал, венчал и провожал на вечный покой! В его дневниках все точно указано. А еще больше значится вон в тех книгах. Это — добросовестные записи, своего рода свидетельства изменчивого хода истории.

Глубокую скорбь в сердце пастора рождали перемены, которые произошли за последние годы и здесь, и повсюду в стране, перемены, угрожавшие поставить весь его мир с ног на голову. С растущей тревогой он наблюдал, как люди все больше увлекались жизнью земной, забывая о потусторонней. И не без причины опасался, что в этом соревновании бог окажется оттертым на задний план.

И сегодняшним похоронам, как часто в последние годы, он посвятит в своем дневнике немало горьких слов. Пастор помнил иные крестьянские похороны. Закрыв глаза, он видит музыкантов, шагающих перед черным дубовым гробом; за гробом переливаются волны бархата и шелка, блестят цилиндры, как копченые окорока, лихо закручены вильгельмовские усы, глаза сверкают от шнапса, выпитого за упокой. Проповедь звучит, как раскаты грома. Гудят и бушуют хоралы, выливаясь за пределы нефа. Они словно тугие облака, на которых можно уверенно вознестись к небу.

Но те времена прошли, как проходит мартовский снег. Пастор не

сумел предотвратить перемен. Люди, даже самые верующие, все чаще решали свои судьбы без него. Граф бежал из деревни, даже не пожав ему на прощание руку. Два члена церковного совета исчезли среди ночи, не сообщив ему, не спросив благословения, скрылись, точно воры. Впрочем, как показало расследование, они таковыми и были.

Пастор подавил стон. Люди ускользали из-под его влияния. Он спрашивал себя, не совершил ли серьезных ошибок в последние годы, когда старость начала одолевать его.

Он бросил в окно задумчивый взгляд и заметил приближающегося Гейзера. Люди у могилы коротко поздоровались с ним и вынули по сигарете из протянутой им пачки.

«Плачевное сборище,— подумал пастор,— просто недостойное». Было самое время вмешаться, наконец, в эти события и связать разорванные нити. «Хаген должен прийти на погребение,— сказал он себе,— тогда все будет выглядеть как надо». Он надел берет, запер дверь каморки и отправился в путь. Несмотря на старость, он был еще способен принимать быстрые решения.

■

Люди на кладбище работали без передышки. Только Штанге уселся своим могучим задом на край гейзеровской семейной могилы, оперся спиной на белую мраморную доску, и кряхтя, подсунул два камня под забинтованные ноги, чтобы держать их в удобном положении. И вдруг Гейзер, цепенея, заметил в земле черную щель, бегущую от зада Штанге поперек семейной могилы. Но, прежде чем Гейзер успел вскочить, он увидел, как лавочник, взмахнув руками, провалился в яму, и услышал его визг. Штанге, почувствовав сильный удар в спину, решил, что пришла его смерть. Но это было колено Гриммбергера. Обливаясь потом, они втроем вытащили Штанге из ямы и положили плашмя на землю. Через некоторое время он поднялся на ноги. Однако на помощь его рассчитывать уже не приходилось.

Когда Штанге, жалобно причитая, покинул кладбище, наступило растерянное молчание. Гейзер первым прервал его:

— Пожалуй, надо пойти за дрогами. Втроем гроб не донести. Как вы считаете, Гриммбергер?

— Конечно, ничего другого не придумаешь.

Куглер растерянно покосился на Гейзера.

— Может, все-таки попросить еще кого-нибудь?

Гейзер не ответил. Он стоял в мрачном раздумье, его узкая верхняя губа приподнялась, обнажив зубы.

— Поторопитесь. Приходите к двенадцати, чтобы мы могли начать точно!

Он ушел. Солнце осветило его сбоку. Тень упала на обнесенные решеткой могилы семейства Хагенов напротив семейной могилы Гейзеров. Куглер пристально посмотрел ему вслед и потер ноющую спину.

— К этому парню не подступиться!

— У каждого свои заботы,— сказал Гриммбергер.— Ну, взялись, пора кончать!

Они опять опустились в могилу. Куглер болтал без умолку. Но Гриммбергер стал прислушиваться, лишь когда трактирщик сообщил о своем намерении передать Гейзеру батрака Антона, потому что большой хутор нуждается в рабочих руках.

«Скажи, пожалуйста,— думал Гриммбергер,— Антон, бедняга!» Он хорошо помнил, когда Антон впервые появился в деревне в тридцать шестом, да, точно, летом тысяча девятьсот тридцать шестого года, прямо из лечебницы. Он и сейчас еще выглядел, как прежде, ничуть не изме-

нился: маленькая голова, похожая на гранату, глаза, лишенные всякого выражения, согнутая спина, придающая ему сходство с обезьяной, свисающие руки. Сильный, как медведь, но слабоумный.

— Давай выметайся отсюда,— сказал Гриммбергер с неожиданной яростью.— Ну, пошевеливайся, или, может, помочь тебе? Могила уже и так хороша! Вот обровняю еще — и хватит! Покойница все равно была не очень-то важной персоной.

Куглер вздохнул.

— Времена меняются. Когда мы хоронили последнюю хозяйку с гейзеровского хутора...

— Да уберешься ты, наконец, или я выгребу тебя отсюда лопатой, старый болтун!

Гриммбергер ухватил Куглера за шиворот и штаны и поднял над могилой. Куглер заорал от боли:

— Ты мне шкуру защемил своими когтями!

— Это тебе не повредит,— буркнул Гриммбергер.

— Да отпусти же ты, сатана!

Но Гриммбергер изо всей силы ущипнул его еще раз — это доставило ему удовольствие. Куглер змеей извивался над краем могилы. Очутившись на земле, он принялся растирать зад и затылок.

— Что за наглость, схватить человека вот так сзади, когда он не может обороняться. У меня все тело будет в синяках!

Гриммбергер невозмутимо подровнял могилу и сказал с издевкой:

— Поторопись! А то не успеешь надеть костюм, если будешь тут долго барахтаться!

Когда Куглер скрылся, Гриммбергер оперся руками о края ямы и, легко подтянувшись, вылез на землю. Сильное тело его было очень подвижным. Он вытряс песок из непокорных волос и слегка почистил костюм.

У выхода с кладбища его остановил почтальон и вручил телеграмму. Гриммбергер в раздумье обтер руки о рубаху, вскрыл телеграмму, пробежал глазами текст. Кровь горячей волной ударила ему в лицо: «Вольни! Черт побери — Вольни!» Он мчался по деревне и лихорадочно думал: «Дома ничего не скажу, ни словечка! Жена пойдет на похороны. Девчонка запряжет лошадь. Так и будет. На вокзал поспею вовремя, если с покойницей все пройдет гладко. А с поминками ничего не получится — это ясно!»

Гриммбергер вбежал к себе во двор. Дочь через сад шла из птичника, прижав к груди большую корзину яиц. Он сразу увидел, что она еще не собралась на похороны. «Опять кочевряжится, паршивка,— подумал он.— Но этим я займусь после».

— Останешься здесь и приготовишь пролетку, поняла?

На какой-то миг она растерялась. Но тут же глаза ее улыбнулись отцу. Они были такой же, как у него, удивительной голубизны. Он взбежал по ступенькам и ворчливо пробормотал:

— Повезло тебе. Благодари создателя!

В комнате лежали приготовленные костюм и рубашка. Жена испуганно поглядела ему в лицо. Она уже приоделась, чтобы идти на похороны.

6

Хутор Хагена стоял далеко от деревни, как и хутор Гейзера, только с другой стороны, справа от проселочной дороги, которая, огибая поросший лесом холм, вела в Лангенбах. Дорога едва виднелась за густыми кронами четырех красных буков; с обеих сторон ее обступали ярко-зеле-

ные луга, расстилавшиеся перед хутором вплоть до старого господского парка. За усадьбой дорога, перерезанная быстрым ручьем, поднималась к опушке леса. Слева чернели широкие поля. Часть их принадлежала когда-то Хагену, но в результате долгих судебных распрей отошла к графу, а после сорок шестого года снова поменяла владельца. Гриммбергеру выпал тогда счастливый жребий: ему достался гектар завидной земли — участок, который на карте земельных угодий Шварцвальде именовался «Воловьей бухтой» и считался наиболее плодородным во всей округе. В сорок шестом Хаген упорно боролся за возвращение своего прежнего владения, всякими подачками и посулами пытаясь задобрить бедняков. Из этой затеи ничего не вышло: он все-таки относился к богатеям.

Младший из двух оставшихся в живых сыновей Хагена, в последний год войны потерявший руку, увидел, как с холма, на котором стояла церковь, к их дому торопливо шел пастор. Прищурив глаза, он крикнул:

— Эй, отец, к тебе гости! Облачайся в черный костюм. Посетитель важный! — Усмехнувшись, он скрылся в сарае, откуда вскоре донесся звонкий стук молотка.

Хаген высунул из окна круглую, как мяч, лысую голову и почесал курносый нос, словно почувствовал неприятный запах. Потом снял в сенях с крючка сильно поношенную, выгоревшую шляпу с обвисшими полями и, выйдя из дому, стал поджидать пастора, загородив широкой спиной блестевшую лаком дубовую дверь. Он стоял с выражением сытого довольства, скрестив руки на животе.

— Ну, что случилось, господин проповедник? — сухо спросил Хаген, выжидательно глядя на пастора, и ядовито добавил: — Может быть, хотите успокоить свою совесть?

Пастор опустил глаза, смущенно потер свои морщинистые старческие руки и не спеша заговорил:

— Мы избегаем друг друга, а надо бы действовать сообща. Вот уже четверть века мы идем порознь, а господь хочет, чтобы его овцы паслись в одном стаде. Ибо множество волков рыщет по земле, и беззащитен одинокий перед их яростью. А если мы объединимся, будем поддерживать друг друга, стоять так тесно, что и муха между нами не пролетит, будем помогать друг другу в радости и горе, вместе держать наших младенцев над купелью и провожать усопших в последний путь, как повелел нам господь с тех пор, как сотворил людей, разных по положению и достоинству,— ежели мы последуем этой его воле, то мы выживем!

Хаген снисходительно улыбнулся и вдруг взмахнул широкой белой ладонью.

— Не старайтесь, господин проповедник. Что вас сюда привело, я знаю, и что удерживает меня вдали от вас, тоже знаю. Я просил лунквицкого пастора окрестить моих внуков, а обоих сыновей венчал пастор из города, поскольку лунквицкого тогда еще не было. Если вы и переживете меня, все равно вам не удастся постоять у моего гроба. Желаю доброго пути домой, господин проповедник, и не сорвите свой голос во время сегодняшней проповеди!

Он повернулся и с шумом захлопнул дверь. Пастор потер лоб кончиками дрожащих пальцев.

Прошло в самом деле почти четверть века с того дня, когда пастор последний раз стоял у этой двери. Нелегко ему тогда было прийти сюда. Он шел по поручению графа, заставившего церковных старост исключить Хагена из церковного совета. Тем самым Хаген лишался своего последнего общественного поста в деревне. В первые февральские дни тысяча девятьсот тридцать третьего года его сняли с должности бургомистра и на его место посадили отца Гейзера. Удар следовал за ударом.

Хаген терял все свои позиции, и, когда пастор принес весть об исключении его из церковного совета, он презрительно ухмыльнулся и сказал:

— Ну вот, теперь вы, наконец, успокоитесь!

Однако он продолжал доставлять своим недругам немало забот, хотя, собственно говоря, особого вреда им никогда не причинял. Он говорил: «Мой отец приветствовал людей словами «доброе утро», «добрый день» и «добрый вечер», прикладывая при этом руку к своей шляпе. Почему же, черт побери, я должен поднимать руку иначе, чем мой отец, который двадцать лет был бургомистром?» Он говорил: «Мой отец всегда считал, что новая окраска крестьянского дома каждые несколько лет — лучшее его украшение. Мой дом покрашен недавно. Зачем же, черт возьми, мне нужны еще флаги?» Он говорил: «Когда крестьянин целый день ходит за плугом, ему вечером хочется спокойно полежать. Зачем же, черт побери, надо еще маршировать, когда мне хочется отдохнуть?» И еще он говорил: «Крестьянин плодит сыновей, чтобы передать им потом плуг. Кто же, черт побери, имеет право распоряжаться моими сыновьями для других надобностей?»

Хаген имел смелость жить так, как он считал нужным. И этого они никогда не могли ему простить. Однажды отец Гейзера сбил его на улице кулаком с ног за то, что Хаген не приветствовал флаг. Они схватили его и потащили к флагу. Но Хаген и тогда не вытянул руку в фашистском приветствии. Он остался лежать на улице в грязи. Некоторые переступали через него, другие его пинали. Люди, которые удивлялись ему, поскольку у них самих не хватало достоинства вести себя так же, в сумерки отнесли его к хутору возле четырех красных буков. Они положили его у ворот и скрылись, радуясь, что их никто не заметил. Хаген, всегда любивший быть среди людей, стал лишь изредка показываться в деревне. Когда он узнавал, что они маршируют со своими флагами, он запирал дверь и плотно закрывал ставни. Но разорить его они не могли. Хаген славился своим племенным скотом, и его деловые связи простирались от Восточной Пруссии до Фризских островов и от Тюрингского леса до Дуная.

У Хагена было четверо сыновей. Первый погиб в первый год войны, второй — во второй. Третий три года пропадал без вести, пока в конце сорок пятого не вернулся с Урала. Четвертого Хаген хотел удержать дома — ведь хозяйству нужен был помощник. Множество просьб разослал он во все концы. Когда после битвы на Волге был объявлен траур, Хаген даже вывесил из окна флаг. Черные ленты были так широки, что закрывали свастику. Флаг висел больше недели. Потом пришли они и сказали: «Траур окончен». «У меня еще нет»,— возразил Хаген. Они приказали ему снять флаг. Хаген отказался. Тогда они сами сорвали флаг. В последний год войны забрали и последнего сына. Первым же снарядом ему оторвало руку. Спустя несколько недель он написал отцу левой рукой: «Я по милосердию судьбы хоть остался жив. Моя левая рука всегда была сильнее правой. Теперь ей надо стать немножко половчее». Он вернулся домой прежде, чем закончилась война. Когда отец Гейзера начал сгонять всех в фольксштурм, то добрался и до однорукого, спрятавшегося в сарае. Он сунул ему в руку пистолет: «Это ты еще можешь. А вот ручные гранаты. Кольцо сорвешь зубами!»

После того как крестьяне нашли в лесу труп Гейзера, о его странной смерти стали ходить всякие слухи, хотя никому достоверно ничего не было известно.

Только Хаген знал, отчего умер предпоследний Гейзер. Конечно, знал это и его однорукий сын, который иногда в часы отдыха с серым, как пепел, лицом сидел на корточках в темном углу и рассматривал скрюченные пальцы левой руки.

Между Хагенами и последним Гейзером лежали могилы, через которые нельзя было перешагнуть.

Когда первые части Красной Армии достигли Шварцвальде, они добрались и до хутора Хагена. Основательно осмотрев дом и коровники, красноармейцы сказали: «Ты кулак. Никс гут». У сына они спросили, где он потерял правую руку. Тот назвал город Минск. Они спросили, что ему надо было в Минске, разве земля здесь недостаточно жирна, и какой из него теперь крестьянин с одной-то рукой. Они цокали языками и задумчиво качали головами в меховых шапках. Он стоял перед ними и молчал, мрачно глядя в землю. Один из красноармейцев сорвал с головы шапку, бросил оземь и сплюнул. Потом поднял ее, почистил на ходу и крепко выругался. Хаген, который по-русски не понимал ни слова, запинаясь, сказал: «Я приглашаю вас. Рад вашему приходу. Давайте поедим, выпьем. Устроим праздник, понимаете?»

«Никс праздник. Скотина гут, земля гут, все гут. Кулак никс гут!» Они ушли, оставив его в растерянности и недоумении. А ведь он ждал, что они снова посадят его на опустевшее бургомистерское кресло. Потом у него на квартире стоял комендант деревни. Хаген изо всех сил старался быть полезным. Он обратил внимание коменданта на хутор Гейзера, сообщил о том, что пастор служил нацистам, показал, где спрятал свое имущество граф, и во всех подробностях описал прошедшие двенадцать лет, пытаясь выставить себя в наилучшем свете. Но комендант всякий раз расстегивал пуговицы на воротнике гимнастерки и крутил шеей, будто его что-то душило. Со всех сторон Хаген наталкивался на недоверие. Все складывалось совсем не так, как он себе представлял. Он долго чувствовал себя обиженным и разочарованным. Но с годами стал зарабатывать разведением племенного скота больше, чем раньше зарабатывал любой из Хагенов. Это утешало его, хотя через двенадцать лет изворотливый ум подсказал ему, что в жизни деревни надвигаются большие перемены. Постепенно, не привлекая к себе особого внимания, он освоился с новым порядком и стал выжидать, что будет дальше. Несмотря на излишнюю полноту, Хаген был очень подвижным человеком.

7

Шиндель сидел на сеновале и смотрел в маленькое окошко, выходившее на церковную площадь. Он притаился в самом углу, боясь, как бы кто-нибудь из приглашенных на поминки гостей, которые вот-вот должны были появиться, не обнаружил его.

В его ушах раздавался жалобный колокольный звон. Он видел, как колокол медленно раскачивался на древних балках. Ему нетрудно было высчитать, когда гости подойдут к дому: он точно знал, сколько шагов от церковного двора до хутора Гейзера — это была тропа его первой любви.

Сегодня он хотел было поссориться с Анкой, но ничего из этого не вышло, ее ведь ничем не проймешь. Она нарвала букет красных астр, добавила к нему немного срезанной из цветочного горшка зелени и с самым равнодушным видом сказала: «Я иду на похороны, пусть мой председатель хоть наизнанку вывернется!»

И вот, полюбуйтесь, она уже у церковных ворот! Шиндель видел ее из своего тайника. Она стояла, хотя в ее положении надо было прилечь отдохнуть, ждала кулацких похорон и втаптывала в грязь авторитет мужа. Если бы у них не было двоих детей и они не ждали сейчас третьего, он поговорил бы с ней иначе!

Шиндель считал, что по отношению к жене сделал уже все, что мог. Долгие, долгие ночи, забыв о времени, он употреблял все свое красно-

речие на то, чтобы втолковать ей «перспективы», пока она не закрывала поцелуем его пересохшие губы. Иначе у них, пожалуй, никогда и детей бы не было. Но его горячие речи не оказывали на нее никакого воздействия. «Все дело в разуме,— говорил Шиндель.— У женщин его маловато, зато, правда, у них слишком щедрое сердце. Они поддаются его глупым порывам, вместо того чтобы пораскинуть мозгами и понять: там — кулак, а здесь — мы, кооператив!»

У Шинделя зарябило в глазах. Чем тише становился погребальный звон, тем отчетливее он слышал голоса в церковном хоре. Густой бас, со всхлипом возвещающий «вечную память», принадлежал Клейнману, да, да, члену кооператива Клейнману, который в известной мере был одним из первых строителей новой жизни. А пронзительный, резкий, напоминавший лошадиное ржание и тоже выкликавший «вечную память» голос принадлежал Амалии Клейнман, которая даже спать ложилась с Библией. Но ей и в голову не приходило попросить у бога солнечной погоды для кооперативного сена.

Шиндель узнавал и другие голоса — сиплые, визгливые, рычащие, высокие, низкие или шипящие, как у сердитых гусей. Он закрыл глаза и прижался лбом к холодной оштукатуренной стене сеновала.

Благословенны дела твои, господи,
воля твоя праведна...

Какую злую шутку сыграла с ним судьба, когда десять лет назад он вытащил жребий, обрекавший его всю жизнь днем и ночью иметь перед глазами эту церковь. И — видит бог! — Шиндель не был уверен, что в один прекрасный день не возьмет лом и не пойдет ее крушить. Во всяком случае, в такие минуты ему казалось, что он способен на все.

Открыв глаза, Шиндель увидел, как кривоногий Клейнман подскочил к дрогам, чтобы вместе с Гейзером, Куглером и Гриммбергером поднять гроб и нести к могиле: не хватало четвертого человека. Пастор, воспользовавшись замешательством, ласково погладил Анку Шиндель по руке и стал что-то ей говорить, благосклонно кивая головой.

Шиндель боялся, что потеряет самообладание. Но все обошлось. Он подумал: «Ну, подождите, господа, подождите! Партия ставит задачу сделать деревню социалистической. У меня в кармане бумага, в которой говорится, что в нашу деревню приедет рабочий, член партии, чтобы помочь нам. Неужто придется досаждать товарищу жалобами? И не подумаю! Мы поставим их на колени, и дело с концом».

Райский сад, райский сад,
как сладки плоды твои,
пойдем со мной в райский сад...

Шиндель пожалел о том, что не вызвал сюда из МТС все тракторы, они так загрохотали бы, что последняя церковная мышь поняла бы, кто тут хозяин.

Сидя на сеновале, Шиндель как бы подводил черту под своим прошлым, признаваясь в глубине души, что был слишком снисходителен. Конечно, у новоселов на полях иной раз пырей вырастал выше головы. Молодо — зелено. Не всегда еще удавалось добиться порядка. Но теперь, став председателем и отцом почти трех шпингалетов, он уже вырос из детской рубашонки. «Я не буду плакаться в жилетку городскому товарищу,— думал Шиндель.— Я докажу ему, что у нас здесь знают и выполняют решения партии. Да, да, не будь я председатель, если не подвинчу все гайки».

Шинделю надоело подсматривать из окошка сеновала. Он высунулся и обвел взглядом траурную процессию. Безучастные лица людей

оживили его надежды на будущее: в самом деле, к людям нужно лишь найти подход, и они будут на твоей стороне, а господин пастор пусть хоть мозоли себе на языке натрет! Когда Шиндель, рослый мужчина, который до сих пор не знал, куда девать свои длинные руки, поднялся, широкая улыбка стерла с его лица последние следы мрачных раздумий, и он сказал себе: «Покойница, видит бог, была не слишком почтенной персоной».

В своем определении Шиндель не ошибался. Там, внизу, тоже были недовольны ходом всей процедуры. Несмотря на договоренность, пастор произнес слишком длинную проповедь. Он вдосталь использовал удобный случай, чтобы высказать все, что накопилось у него на душе еще с предыдущих похорон. Клейнман с глубокомысленным видом грыз усы. Его Амалия жмурилась, как сонная кошка. А Куглер, спрятавшись за широкой спиной Гейзера, задумчиво почесывал те места, которым досталось сегодня утром от Гриммбергера.

Но потом, когда пастор стал восхвалять покойницу как человека, которого особенно возлюбил вседержитель и отец небесный, так рано призвав ее к себе, спешивший на станцию Гриммбергер почувствовал, что дело идет к концу. Не успел еще пастор закончить проповедь, как Гейзер наклонился к Гриммбергеру и шепнул:

— У Куглера уже накрыт стол для поминок.

Гриммбергер покачал головой.

— Не могу, должен сейчас уйти.

Серые глаза Гейзера потускнели. По какой-то непонятной ему самому причине этот отказ обидел его больше, чем все то, что было раньше. Он взглянул на пастора: из широкого рукава рясы выползла желтая старческая рука и раскрыла Библию. Гейзер, опустив голову, уставился на растрескавшуюся глинистую землю.

Пастор подошел к могиле и трижды бросил в нее комья песка:

Из праха ты возникла,
в прах обратишься...

Гриммбергер протиснулся вперед, чтобы исполнить свой долг, еще раз пожал руку Гейзеру и зашагал по кладбищу, с трудом двигая онемевшими от долгого стояния ногами.

Последней подошла к могиле Анка Шиндель. На покрытый песком гроб она бросила увитые зеленью красные астры. Среди всех участников похорон у нее одной щемило сердце, она все время размышляла о нелепой смерти своей бывшей подруги. Мимо Гейзера Анка прошла, не поздоровавшись. Мелкими, осторожными шажками пробиралась она между могил.

8

Пырей, проросший сквозь насыпанный на платформе гравий, увял от жары, и кустики одуванчиков с широкими листьями, желтевшие на насыпи, низко склонились к земле, словно ища какой-то скрытый родник. Воздух звенел от зноя. Спрятавшись в тени ветвей, молчали птицы. Из-за леса послышался хриплый гудок паровоза. Вольни увидел поднимающееся белое облачко дыма. Оно долго стояло в бескрайнем голубом небе.

Воздух был пропитан копотью и пылью. Между досками деревянного настила, который вел через рельсы к маленькому побеленному станционному зданию, ветер намел обрывки бумаги, пустые коробки из-под сигарет и желтоватый пух липового цвета.

На березовой скамейке в тени деревянной железнодорожной будки сидел какой-то сонный человечек и зевал.

Вольни поставил чемодан, окинул пытливым взглядом безлюдную привокзальную площадь и спросил:

— Поезд пришел вовремя или нет?

Человечек привстал со скамейки и неторопливо достал из жилетного кармана часы.

— Минута в минуту, дружище. Совершенно точно, минута в минуту!

Вольни понравился его добродушный, журчащий голос. Он улыбнулся. Человечек засеменил за ним, бережно держа часы на вытянутой ладони.

— Вы кого-нибудь дожидаетесь, да? Того, кто вас должен встретить? Наверно, вам нужно в Шварцвальде... Пешком туда минут сорок, не меньше. А с чемоданом, пожалуй, и час, но, конечно, каким шагом идти...

Человечек, запыхавшись, остановился. Вольни весело подмигнул ему, в глазах его мелькнули озорные искорки. Вольни вошел в лес. Глубокая тишина царила вокруг. Мягкие лучи солнца косо сочились сквозь густую листву, испещрив лесную дорогу темными и светлыми бликами. Мох у самого края дороги увял от жары и поблек, а в чаще отливал бархатистым блеском. В лесу заманчиво пахло ягодами и грибами. Маленькие холмики над кротовыми норами чернели вдоль дороги, под прошлогодними листьями, шурша, бегали какие-то робкие зверьки. Деревья шелестели листвой. В спутанных ветвях послышался треск крыльев какой-то большой испуганной птицы. Вдали пронзительно закричал сарыч. Еще не успевшее устать солнце вплетало пестрые нити в колыхающиеся кроны буков.

Со всех сторон Вольни обступило перезрелое лето, уже начинавшее слегка румяниться в ожидании щедрых на краску дней своей кончины. Вольни дышал полной грудью. Легкий румянец заиграл на его худощавом лице с торчащими скулами. Он чувствовал себя посвежевшим. Взгляд его проникал в самые сокровенные закоулки леса. Грибы боязливо таились под мхом, выдавая свое существование только едва приметными бугорками. Склоняясь к земле, Вольни осторожно извлекал их на свет божий.

Он вышел из чащи. С любовью смотрел посветлевшими глазами на поле, расстилавшееся перед ним до зубчатых краев далекого леса.

Много лет простоял Вольни у мартеновской печи, но никогда не мог унять тоски по пьянящему хмельному запаху созревших хлебов. Он нагнулся и погрузил руку в сухую землю. Растер ее между пальцами. Земля рассыпалась, как зола. Он увидел, что над тем местом, где была деревня, поднялось легкое облачко пыли, которое быстро приближалось. «Это, наверно, Гриммбергер»,— подумал Вольни. Он поспешно поднялся и вышел на середину проселочной дороги, которая вела в Шварцвальде. Смеясь, расставил руки.

Навстречу ему мчалась пролетка. Гриммбергер, стоя во весь рост, свистящим кнутом погонял каурую лошадь. Подъехав ближе, он резко натянул поводья. Казалось, лошадь закинула свою узкую с вздувшимися венами голову прямо в небо. Острый запах конского пота ударил Вольни в нос. Слегка одурманенный, сделал он несколько шагов навстречу Гриммбергеру. Тот соскочил на землю и прижал Вольни к своей тяжело дышавшей груди.

— Эрнст! Наконец-то... Долго же ты искал сюда путь!

Вольни ухватил его за пояс, попытался поднять и сказал со смехом:

— Ну и тяжел ты стал, старина, черт побери!

Гриммбергер, глухо рассмеявшись, отстранил Вольни и принялся осматривать его с головы до ног.

— Да, годы свое берут! А ты по-прежнему тощий, как доска от

забора. Придется уж мне тебя подкормить. Пошли, кобыла горячится, того и гляди, ускачет! — Он по-юношески ловко вспрыгнул в пролетку, схватил вожжи и протянул Вольни свободную руку. — Осторожнее. Лошадь чисто бешеная! Ну как, удобно? — Он подвинулся.

Вольни сел рядом. Каурая нетерпеливо била копытами и прядала ушами. Едва Гриммбергер отпустил вожжи, она рванула с места.

Вечерняя тень уже выползла из леса на поле и задела дорогу. Лошадь пошла спокойнее.

— Дай-ка мне вожжи, старина,— сказал Вольни.— Посмотрим, что из этого получится.

Гриммбергер крепче натянул вожжи, и лошадь будто начала прислушиваться к их разговору.

— Они в руках у настоящего крестьянина!

Вольни смерил его озорным взглядом.

— Ну, давай же!

Он вырвал у Гриммбергера вожжи и слегка похлопал по крупу лошади. Та беспокойно повела ушами.

— Сам ее вырастил. Понимает все, как человек! — Гриммбергер вынул из кармана кисет.— Смотри, она сразу почувствовала, что правит чужой. Осторожно, сейчас начнет взбрыкивать.— Не спуская взгляда с лошади, он прочищал пальцем трубку.— Ты еще куришь?

— Как и ты — трубку! — Вольни пошарил в кармане. Не глядя, подал трубку Гриммбергеру, и тот набил ее табаком. Вольни натянул поводья, и, когда почувствовал, что лошадь начинает слушаться, глаза его заблестели.

Они мчались к деревне мимо одинокого хутора Гейзера, сейчас уже стоявшего в тени. Пыль, поднятая копытами на проселочной дороге, устремлялась под пролетку и тут же оседала на землю. Взмыленная спина лошади в лучах заката казалась охваченной пламенем.

Гриммбергер поднес огонь к трубке Вольни.

— Прикурил?

Вольни молча кивнул. Он разгорячился от быстрой езды. Сердце его билось учащенно и радостно. Свернули в деревню.

— Поддай еще, мальчик! Поддай! Пусть она покажет, на что способна!

Гриммбергер схватил кнут и, угрюмо рассмеявшись, огрел лошадь по спине. Прижав уши, она влетела на деревенскую улицу.

■

Эмма Гриммбергер всплеснула руками.

— С ума, проклятый, спятил!

Прислонившись к распахнутой створке ворот, она возбужденно обмахивалась платком.

— Загонит лошадь!

Каурая неслась с такой быстротой, что Эмма не сразу заметила чужого человека, сидевшего рядом с ее мужем. Посреди двора пролетка остановилась. Бока лошади вздымались, с губ капали зеленоватые хлопья пены. Гриммбергер, смеясь, вылез из пролетки.

— Лошадь сама этого хотела, мать. Еще молода и страсть как норовиста. Посмотри лучше, кого я тебе привез!

Закрыв ворота, Эмма с любопытством подошла ближе, придерживая колыхающуюся на ходу грудь. Была она широкобедрой, с маленькими, всегда испуганными глазками, которые сейчас сверкали любопытством.

— Эрнст! Бог ты мой! — вскрикнула она.— Эрнст! А старик ни

слова мне не сказал. Велел только собрать на стол. Ну-ка покажись, покажись!

Она ощупывала его дрожащими от волнения руками.

— Все пока на месте, Эмма! — Вольни громко чмокнул ее в лоб.

Она замотала головой и воскликнула:

— Он все такой же пройдоха!

И, втащив Вольни на крыльцо, тяжело переваливаясь, крикнула истошным голосом:

— Хельга, доченька моя, как ты думаешь, кого я тебе веду? Ах, боже ты мой, и ведь ни слова не сказал старик!

Гриммбергер снял с лошади трензеля. Он прижался своим широким выпуклым лбом к горячей лошадиной морде и беззвучно рассмеялся.

Эмма распахнула дверь в горницу и подтолкнула Вольни через порог. Он смущенно зажмурился: у стола стояла Хельга, глаза ее улыбались. Она была крепко сложена и такого же роста, как он. Хельга взяла гостя за руки и тихо произнесла:

— Дядя Эрнст!

Он неловко погладил ее по тяжелой копне пшеничных волос и, повернув голову к Эмме, срывающимся голосом сказал:

— С ума можно сойти! Мне в пору на ней жениться, а она называет меня дядей. Что ты на это скажешь, Эмма?

Мать, спрятав руки под передником и слегка наклонив голову, любовалась его растерянностью.

— Был здесь, когда она в школу бегала. А теперь удивляешься! Накрывай на стол, доченька!

С шумом вошел в комнату хозяин, потирая руки, громко сказал:

— Побольше света для гостя! — Он зажег люстру, которая была слишком большой для этой низкой комнаты.

Эмма с дочерью захлопотали у стола.

Вольни внимательно осмотрел комнату.

— Здорово вы обставились. Все как полагается! — Он подошел к шкафу, похлопал по темному дереву.— Старинная штука, а?

— Это он все накупил,— ядовито заметила Эмма, но тут же под гневным взглядом Гриммбергера, брошенным из-под лохматых бровей, прикусила язык.

— У кулаков скупал, а? — спросил Вольни.

— Подумаешь! А мы не крестьяне, что ли?

Гриммбергер недовольно задвигал посудой, косясь на гостя, который остановился у висящей в рамке грамоты. Она была датирована тысяча девятьсот пятьдесят третьим годом. Вольни слегка провел по ней тыльной стороной руки.

— Да, да, конечно, ты крестьянин, даже мастер среди крестьян. Неплохо, старина!

— Поболтайте-ка пока одни. У нас еще дела на дворе!

Эмма взяла Вольни за руку и, усадив его за стол, ушла с дочерью.

— Поддаешь ты ей, видно, жару!

— Иначе нельзя, а то все пойдет прахом. Лежанка — это для зимы. А сейчас с работы прямо в постель. Я уже вижу, что ты, парень, слишком долго жил в городе. Крестьянский стол сам собой не накроется. Ну садись и будь как дома!

Гриммбергер придвинул к себе окорок. Короткие пальцы вцепились в сочную розовую мякоть. Он отрезал два ломтя. Его тяжелые челюсти двигались, будто он уже жевал остро пахнущее мясо. Один ломоть он положил Вольни на деревянную тарелку.

— Под крестьянской крышей не гоже голодать. Делили с тобой кусок хлеба, поделим и окорок. Ешь, дорогой, мясо сочное и питательное.

Лукаво усмехаясь, Вольни смотрел, как расправлялся со своим куском Гриммбергер. «Этот все перемелет,— думал гость, с ухмылкой глядя на жующие челюсти Гриммбергера.— У него силы, как у быка, просто пышет здоровьем». Вольни так все было интересно, что он забыл о еде. Гриммбергер самозабвенно чавкал, потом вытер ладонью лоснящиеся губы и отрезал себе второй ломоть. Хлеб он отламывал большими кусками. Время от времени осторожно закладывал в рот маринованную луковицу.

— Нынче у нас все есть. А вот когда мы перебегали к русским и ты, мой милый, уже помирать собрался, я молил бога, чтобы нашлось, чем тебя подкормить!

Вольни с любопытством прислушивался к грубоватому голосу, который все чаще срывался на хриплый шепот.

— Да, я молился, Вольни, хотя и знал, что ты не веришь в бога. Но я молился.

Он потянулся к миске, наколол ножом луковицу, задумчиво подождал, пока с нее стечет сок, но тут взглянул на Вольни, и брови его взметнулись.

— Почему же ты ничего не ешь?

Вольни вздохнул.

— Потому что с удовольствием слушаю тебя, старина!

Его насмешливый взгляд задержался на растерянном лице Гриммбергера.

— Ну ладно, а теперь ешь! — Хозяин стряхнул луковицу с кончика ножа.— Если нужно, я могу есть и за плугом! — Он поднял стакан.— За нашу встречу, Эрнст. Сколько ты здесь пробудешь?

— Никак уже надоел тебе?

Гриммбергер поперхнулся.

— С ума спятил! Оставайся здесь, сколько тебе угодно, можешь палец о палец не ударять. Я буду тебя кормить, как рождественского гуся, даже лучше.

Он оглушительно расхохотался.

— Ну, что ж, ловлю тебя на слове, старина! Остаюсь в Шварцвальде!

Смех Гриммбергера сразу оборвался.

— Это как же, насовсем?

— Может быть.

— Хочешь крестьянствовать?

— Не обязательно.

Гриммбергер снова налил стаканы доверху. Рука его дрожала.

— Тебя партия прислала?

— Вот именно, старина.

— Хочешь тут всех объединить?

— Угадал. С твоей помощью.

Гриммбергер уставился на свой стакан с прозрачной, как слеза, водкой. Медленно поднес его к губам.

— Давай выпьем, Вольни. Языки будут веселей ворочаться!

Прищурившись, Вольни взглянул на хозяина. Ему стало жарко, он снял пиджак.

— Раньше мы и без водки хорошо работали языками.— Он ободряюще кивнул.— В самом деле, мы с тобой ночи напролет болтали и не пили ни капли. Помнишь, старина?

В комнату заглянула Эмма. Вольни увидел, как Гриммбергер яростно мотнул головой. Дверь снова закрылась.

— Почему она не входит?

— У нас мужской разговор!

Гриммбергер встал. Подошел к шкафу. Половицы трещали под тяжестью его шагов. Посуда в шкафу тихо зазвенела. Он достал сигару, которую уже держал раз во рту, когда к нему заходил Гейзер. Стал отгрызать у нее кончик.

— Ее уже можно курить! — с улыбкой сказал Вольни.

Гриммбергер изумленно посмотрел на него.

— Что? Ах да!

Он подумал: «У него чертовски острый глаз, до сих пор еще видит больше, чем следует!»

Подойдя к окну, Гриммбергер распахнул его и раздраженно крикнул во двор:

— Черт побери, закройте наконец ставни! Будет тут всякий проходимец пялить глаза на стол! — Он обошел Вольни сторонкой и поглядел, сам того не замечая, на висевшую в рамке грамоту.— Жить ты тут можешь, а что касается того, другого,— избавь!

Вольни задумчиво жевал корку хлеба. «Мне нужно ему сейчас еще что-то сказать,— думал он,— но что?»

9

Гриммбергер начал свою трудовую жизнь в двадцатом году подпаском на обширных пастбищах графского поместья. Он был худым долговязым парнем и питался почти одним молоком, которое прямо парным вливал в свою всегда голодную глотку. Молоко он пил не от всякой коровы, а только от лучших, у которых, по его мнению, оно было особенно сладким. Он выбирал их среди трех сотен коров: после долгих наблюдений его удивительно ясные голубые глаза примечали малейшие особенности каждого животного. Еще тогда, под изменчивыми небесами, под дождем, росой и ветром волосы у него превратились в непокорную гриву, которая и поныне не терпела никаких головных уборов.

Уже в ту пору Гриммбергер стал самостоятельным. Его отец не смог отстоять свое маленькое хозяйство от бедствий послевоенных лет. Однажды в обед он поднялся из-за стола и, сгорбившись, с пепельно-серым лицом вышел из комнаты. Обеспокоенная его долгим отсутствием мать пошла за ним. Пронзительный крик ужаса всполошил детей, мальчика и его сестру, которая была на год старше. Они кинулись во двор. Сарай и хлев охватила стена пламени, из-за которой родители так и не вернулись. Пожарные даже не стали тушить огонь, они спасали другие дома, расположенные поблизости. Спустя несколько дней, когда пожарище остыло, брат и сестра стали разгребать его палками. Они ничего не нашли. Огонь поглотил все — отца, мать, все, все. Земля перешла к графу.

Потом сестра стала жить с кузнецом из соседней деревни. Брат нанялся к графу подпаском, но злой случай уже через два года лишил его работы. Однажды в душную грозовую ночь он заснул. Коровы паслись недалеко от железной дороги. Одна из них выбралась на полотно и попала под мчавшийся поезд. Долго стоял мальчик перед изувеченным трупом животного. В зарослях дрока он нашел оторванный рог. К его черному кончику сходились тонкие серые полоски. Мальчик сразу узнал, какую корову задавило поездом.

Староста жестоко избил его. От боли мальчик грыз траву и черную землю. Он не издал ни звука. Когда же, шатаясь, встал на ноги, то схватился за рот. Земля, которую он стер с искусанных губ, была смешана с кровью. Несколько дней подряд пролежал он на душистой золотисто-желтой овсяной соломе в углу всеми ветрами продуваемого сарая.

Сестра прислала ему узелок с колбасой и хлебом. Когда ему бросили этот узелок, он выполз из сарая и поплелся через поле в соседнюю деревню. Он подозвал собак к забору кузницы и швырнул им сестрин подарок. Собаки потащили узелок по двору, брызгая слюной. Сестра, выбежавшая из кухни, побледнела и молча пошла обратно. Возвращаясь домой, мальчик шел уже во весь рост. Но с того времени удивительно ясные голубые глаза его нередко темнели от приступов гнева.

Он попытался найти пристанище у Хагена. Однако у того было достаточно своих работников. К тому же он вел тогда жестокую и сложную тяжбу с графом и не хотел усугублять свое и без того трудное положение опрометчивым шагом. Гриммбергер все же остался у графа, потому что не мог расстаться со Шварцвальде. Несколько лет подряд он выполнял всевозможную черную работу, пока не стал конюхом. Даже женившись, Гриммбергер не оставил поместья. Каждую осень он вспахивал бесконечные километры озимых полей, вспахивал ровно и глубоко до той поры, когда земля начинала каменеть от мороза. Его высокая фигура преждевременно сгорбилась.

На фронт Гриммбергера взяли с первой партией: его строптивость постоянно вызывала раздражение у власть имущих. Он не позволил своей беременной жене проводить его до станции. Рослый, крепкий, брел он одиноко с картонным чемоданчиком в руке по обочине проселочной дороги. Жена, бежавшая за ним до самой околицы, напрасно махала платком. Гриммбергер не оглянулся. Ноги с трудом несли его мимо осенних полей, уже тронутых первым инеем и дыханием холодных туманов. Казалось, сами поля хотели удержать его. Увидев между комьями запотевшей земли серый межевой камень, он нагнулся и швырнул его в неглубокую, набитую пыреем колдобину. Влажная земля долго не отлипала от его пальцев.

На третьем году войны он приехал в отпуск. Починил крышу, смастерил дочери, которая с ликованием бегала по двору, топая своими толстыми кривыми ножками, кроватку для кукол, покрасил ее в темно-синий цвет и нарисовал на ней красные сердечки и белые маргаритки. Иногда ночью его будила жена: он так громко стонал и вскрикивал, что дочка принималась плакать. Он просыпался весь в поту.

Через несколько дней он посадил дочку себе на плечо. Жена несла его картонный чемоданчик.

Бескрайнее небо нависло над полями. Рожь доставала Гриммбергеру до плеч. Он слышал, как она шепчет, видел, как легкий ветерок ласкает колосья. В шелесте ветра ему слышались далекие непрерывные вздохи врезавшихся в жито кос. Муж и жена молча шли до самой станции. Когда взревел паровоз, Гриммбергер еще раз поцеловал девочку и передал ее жене в окно вагона. Эмма прижалась лицом к его ладони. Поезд тронулся. Гриммбергер помахал рукой. Встречный ветер высушил на его ладони слезы жены.

В то лето он повстречался с Вольни. Где-то на Украине они сидели в черной как ночь землянке. Тускло мерцала коптилка, белки их глаз светились в темноте. Гриммбергер нащупал дыру на мундире и кое-как прикрыл ее ладонью. Вольни, недавно прибывший в их роту, уставился на его руки.

— Крестьянин? — спросил он.

Гриммбергер отрицательно покачал головой.

— Батрак!

«А у него чертовски острые глаза,— подумал Гриммбергер,— даже при таком свете все видит».

Землянку все чаще сотрясали разрывы снарядов, мелкий песок сыпался с потолка. Во время еды песок попал Вольни на зубы, и он сплюнул. На рассвете им нужно было идти в окопы. Бледная луна еще

висела в небе, отбрасывая призрачные тени. Из далекого леса подул ветер и пронесся над развороченным полем. Пшеница, втоптанная в землю, задыхалась под толстой коркой пыли.

Гриммбергер верил, что сквозь тончайшие поры изувеченной почвы может пробиться запах созревающего хлеба. Он уткнулся лицом в эту чужую и все-таки близкую ему землю. А когда снова поднял голову, то увидел, что впереди на широком участке фронта мелькают серые фигуры — падают, встают, стреляют и снова падают, придвигаясь все ближе и ближе.

Он прижался горячей щекой к прикладу ручного пулемета. Тело его вздрагивало в ритме стрельбы. Лежавший подле него Вольни не спускал глаз с извивающейся пулеметной ленты. Вдруг пулемет заело. Гриммбергер отбросил его в сторону. Тяжело дыша, подбежал молодой офицер.

— Почему не стреляешь? Стреляй!

Он барабанил кулаками по спине Гриммбергера и, обезумев от страха, орал:

— Стреляй, стреляй же, говорят тебе! — От неумолкающих разрывов окоп, казалось, содрогался в пляске.— Стреляй, стреляй!

Вольни заметил, что пальцы офицера, сжатые в кулаки,— белые и узкие, а безбородое лицо, искаженное от страха,— круглое и мягкое.

Гриммбергер съежился под ударами. Но вдруг почувствовал, как кровь бросилась в сердце и в голову, ему показалось, что глаза его вот-вот выскочат из орбит. Он схватил пулемет и, прежде чем Вольни успел вмешаться, с размаху ударил офицера. Пулемет, скользнув по каске, раздробил офицеру плечо. Вольни втащил Гриммбергера в окоп, подхватил офицера и приподнял над бруствером. Почувствовав, как тело содрогнулось и стало тяжелеть, отпустил его.

Лишь потом, сидя в окопе, они заметили, что наступил рассвет, окутавший землю глубокой тишиной.

— Он мертв,— сказал Вольни.— Вероятно, попало в голову.

— Куда-нибудь да попало.

— Они бы тебя расстреляли, как бешеную собаку.

— Еще бы!

Больше об этом происшествии они не проронили ни слова. Но Гриммбергер вскоре заметил, что Вольни не спускает с него испытующего взгляда. Этот взгляд преследовал его, как совесть.

— У тебя есть жена, дети? — спросил Гриммбергер.

— Была жена. Умерла.

— Где ты работал?

— В каменоломне.

— Долго?

— Четыре года.

«В каменоломне,— думал Гриммбергер.— Значит, он один из тех, конечно! Когда я потерял голову из-за этого офицера, он сразу сообразил, что надо делать. Ну конечно, он один из...»

Теперь, когда их перебрасывали на новые позиции, Гриммбергер всегда занимал место и для Вольни. Он сам не мог бы сказать, почему это делал: будто им двигала какая-то неведомая сила. И хотя порой он не в состоянии был выносить взглядов Вольни, как бы требовавших ответа на невысказанные вопросы, его охватывало беспокойство, если он не ощущал этого пристального взора.

— Пойдем со мной сегодня вечером,— сказал Вольни.

— Куда?

— Не спрашивай, пойдем!

— Мне нужно написать письмо.

— Потом напишешь.

— Да я устал...

— Мы ненадолго.

С наступлением темноты они отправились в путь. Шли, то сворачивая в сторону, то возвращаясь назад, так что у Гриммбергера помутилось в голове. Наконец очутились в каком-то подвале. Гриммбергер не различал лиц, но чувствовал, что повсюду у стен сидели люди. Он тоже прислонился к стене: ему страшно хотелось на что-нибудь опереться. Плеча его коснулась чья-то рука. Он пошел за этой рукой, как слепой за поводырем, пока не отыскал себе места. Ему показалось, что в гуле незнакомых голосов слышится голос Вольни. Гриммбергеру стало жарко и жутко. Он расстегнул ворот мундира. Беспокойно нащупал пачку сигарет. Но чья-то рука властно и тяжело снова легла на его плечо.

И вот он совершенно отчетливо услышал голос Вольни: «Мы рыщем здесь вместо того, чтобы навести порядок в собственной стране, на наших фабриках и полях, в наших жилищах, в наших семьях. В разбитые окна наших домов рвется осенний ветер. Жены и дети становятся нам чужими. Мы рыщем здесь, как ландскнехты, в поисках врага. Но враг, которого мы ищем, скрывается в нашем собственном доме. Мы должны бороться за свою землю, а не опустошать чужую! В этом все дело!»

Гриммбергер поднес руку к глазам и не увидел ее. Но он чувствовал, как его обжигает взгляд Вольни, и знал, что каждое слово обращено к нему. «Одурачили меня,— подумал он.— Попал в ловушку. Темно, как в мешке. И торчи тут!» На лице он почувствовал отчаянный зуд. «Вот они, его дьявольские взгляды! — Гриммбергер сплюнул.— Почему именно этому парню нужно было встретиться на моем пути? Если тебя сразит пуля в окопе, память твою будут чтить в деревне и напишут имя в церкви, слева от алтаря. Если же ты не выкарабкаешься из этой истории, тебя зароют в землю, как собаку. Жене и ребенку придется нести на себе каинову печать предательства, они станут проклинать тебя, а не проливать по тебе ночами слезы».

Гриммбергеру сдавило грудь. До дурноты захотелось холодной ключевой воды. Руки его шарили в темноте и складывались так, будто держали ведро, острый кадык тяжело двигался, пересохший язык с трудом шевелился между запекшимися губами. Снова раздался монотонный гул чужих голосов, и снова Гриммбергеру показалось, будто он слышит голос Вольни. Потом откуда-то из угла потянуло свежим воздухом. Кто-то опять взял его за руку. Повинуясь ее властному пожатию, Гриммбергер встал и, пригнувшись, поплелся туда, куда его вела эта рука. Он до боли напрягал глаза, но темнота оставалась непроницаемой. Лишь по слабому дуновению ветерка чувствовалось, что где-то есть свобода, небо, усыпанное звездами, и земля, по которой можно идти, выпрямившись во весь рост.

«Если мне удастся отсюда выкарабкаться,— думал Гриммбергер,— буду вести себя осторожнее». Эти мысли были прерваны тем, что рука, державшая его, опустилась, потом легла на плечо, успокаивающе похлопала и толкнула вперед. Грубое, пахнувшее чем-то затхлым полотнище ударило по лицу. Но, раздвинув его, Гриммбергер увидел мерцание ночи, которая покрыла землю тонкой корочкой первых заморозков.

Едва держась на ногах, Гриммбергер вошел в эту ночь. Он чувствовал себя так, словно ему удалось бежать из ада. И когда рука опять легла ему на плечо, он тихо вскрикнул.

— Тебе нехорошо? — с беспокойством спросил Вольни.

— А, это ты! Ничего, ничего, все уже прошло. Слишком душно было там, внизу.

— Ты прав, нам не дают дышать. Можно совсем задохнуться, мой дорогой.

— Я думаю, не нужно было там толкаться.
— Ты так думаешь?
— Надо было лечь на тюфяк и поспать, пока еще спится.
— Это можно, еще бы!

Они вернулись в землянку порознь. И в последующие дни избегали друг друга. Но, когда Гриммбергер по вечерам видел, как уходил Вольни, им овладевало беспокойство. Он спрашивал себя: «Не боюсь ли я просто-напросто за свою шкуру? Виноват не виноват, а попадешься — отвечай»,— но потом отбрасывал эти мысли, вновь и вновь вспоминая слова, которые говорил в подвале Вольни. Чем чаще звучали в его памяти эти слова, тем все более понятными становились. Ему самому порой хотелось написать в письме или хотя бы произнести эти слова о разбитых окнах, о том, что жена и дети могут стать чужими. Но он всегда сдерживался, суеверно боясь выговорить их вслух. Зато про себя он таил эти слова и даже подкреплял их новыми догадками — ведь в душе они могли жить, не принося вреда, оберегая от безразличия и отупения. Иначе обстояло дело со словами о действительном враге. Они бередили в душе Гриммбергера старые раны. Его родители владели землей, которую он унаследовал еще мальчиком. Но обремененный долгами двор стал добычей огня, а заложенные и перезаложенные поля — добычей графа. Гриммбергер часто размышлял о том, как бы вернуть свои владения. В молодости он думал, что усердие и бережливость — вот волшебный ключ, который откроет путь к достатку. Он работал усердно, экономил, не пил даже пива и танцевал лишь тогда, когда на поляну, где играл на гармошке какой-нибудь парень, приходили девушки, разгоряченные от работы, с запахом увядших ромашек в волосах.

В танцах тогда ему не было равного, он хмелел от своей силы и ловкости, от доносившегося с лугов терпкого аромата сена, от ночи, мерцающей и искрящейся, прекрасной для каждого, но особенно для того, кто ее лучше постигал. В такие ночи мечты и желания Гриммбергера не знали предела! Склоняясь к любимой, он находил слова о жизни, которая где-то и когда-то начнется, жизни, которую можно сравнить лишь с росой на лугах, сверкающей багрянцем в лучах утренней зари, когда люди боятся ослепнуть от ее блеска, а птицы, привычные к красоте и воле, начинают петь радостно и беззаботно.

Но повседневные тяготы душили всякие мечты. Кто видел, как этот богатырского сложения человек вдавливал в землю плуг и земля скрежетала и со вздохом отваливалась в сторону, кто видел его за работой, тот и не догадывался о его мечтах. Ведь трудно, просто даже немыслимо мечтать о чем бы то ни было в эти тяжелые, мучительные часы. Напрасно жена ждала по ночам его шепота. Слова умерли. И умерла вера в то, что упорством и бережливостью он когда-нибудь вернет свои владения.

«Мы должны бороться за свою землю, а не опустошать чужую!»

О многом задумывался Гриммбергер, многое прикидывал, но то, что надо было бороться с графом за свою землю, ему никогда не приходило на ум. И Вольни казался ему опасным человеком.

«Где бороться и как?» — недоумевал Гриммбергер. Граф был далеко, земля предков отошла к графским владениям, и межи были давно перепаханы. Борьба, к которой призывал Вольни, казалась ему такой же бесплодной, как и мечты, потому что у разбитого корыта останутся бедняки, как это повелось испокон веков.

Но совсем рядом шла война. Он ее не затевал, но она влекла его и весь народ к неизведанной судьбе. Конечно, он испытывал жалость к крестьянам, чьи деревни были сожжены. Его мучили крики недоеных коров. Поля затоптанной пшеницы чудились даже во сне. Кошмаром преследовали горящие ненавистью глаза затравленных людей. И когда он задумывался над тем, что уже видел и еще увидит в этой стране,

будущее словно исчезало за черной пеленой. Судьба часто казалась ему непостижимой и жестокой, он не видел возможности изменить ход событий. Оставалось одно: стрелять быстрее и метче, чем неприятель, который подкарауливал его, следуя, как думал Гриммбергер, тому же закону: убивать, чтобы выжить!

А этот Вольни мотался по темным подвалам и говорил о войне против врага, который был не впереди, а за спиной. Такую войну Гриммбергер не мог и не хотел вести. Ему нужно было знать, где фронт, и действовать по приказу. И еще ему нужна была слабая надежда, что в конце концов что-нибудь выпадет и на его долю, может быть, усадьба на Висле или на Дону. Человеку, думал он, везде хорошо, где только есть земля, пусть хоть самая расчужая,— земля для плуга и для дома, который защитит от зимних метелей. Все страхи и мучения в конце концов окупятся полезной работой, потому что человек рожден для всякого рода дела, только не для убийства. Так, даже в часы глубокого отчаяния, Гриммбергер надеялся все же извлечь из этой войны хоть какую-то выгоду.

Его размышления были прерваны ослепительной вспышкой огня и последовавшими за ней громовыми разрывами, которые слились в сплошной грохот и гул. Землянка заходила ходуном.

Гриммбергер вскочил с нар. Схватил карабин и напялил на голову каску. Он вспомнил о Вольни. Вспышки огня отражались на блестяще-сером стволе карабина, прислоненного к нарам Вольни. В неглубокой вмятине соломенного тюфяка ждала своего хозяина каска.

«И где только шатается этот человек?» — подумал Гриммбергер, и вдруг у него мелькнула страшная мысль, что этот грохот разрывов как-то связан с Вольни, с черным как ночь подвалом и невидимыми людьми, сидевшими у стен.

Гриммбергер схватил карабин и каску Вольни, выбежал из землянки и растерянно посмотрел на пробегавших мимо солдат, подгоняемых ужасом. До него донеслись обрывки фраз: «Партизаны... склад боеприпасов... взорвали... красные собаки... обезоружили охрану...» Гриммбергер пошатнулся. В его ушах угрожающе звучали слова: «Склад боеприпасов, партизаны! Партизаны, склад боеприпасов! Партизаны! Партизаны! Партизаны!» Гриммбергер держал в руках два карабина, одна каска была у него на голове, другую он повесил на грудь. Впервые в жизни ему отказались служить ноги. Раздался пронзительный свист. Гриммбергер наскочил на стену и упал как подкошенный. Еще дважды он услышал пронзительный свист. Гриммбергер пытался встать, но это ему не удалось. Кто-то прыгнул через стену, соскользнул вниз и чуть не наступил на скорчившегося Гриммбергера. Чья-то рука откинула назад его каску. Он увидел черные горящие глаза Вольни. Гриммбергер глубоко вздохнул. Он молча сунул Вольни карабин и нахлобучил на него каску. В четвертый раз послышался резкий свист, только еще громче, еще требовательнее. Гриммбергер уперся карабином в землю и, кряхтя, встал. Они добрались до своей роты одними из последних. Взрыв склада боеприпасов ошеломил всех. В суматохе партизаны незаметно скрылись. Через полчаса рота выступила: она получила приказ расстреливать всех, кто попадется на глаза.

Грохот рвущихся снарядов затих. Только кое-где еще вспыхивали яркие языки пламени. На какие-то доли секунды они освещали сгорбившиеся избушки, покосившиеся от ветра плетни и крадущиеся серые фигуры, которые осторожно, с карабинами наперевес, прочесывали каждый уголок, каждый куст. Вольни буквально прилип к Гриммбергеру. Они еще не обменялись ни словом.

Путь им преградила небольшая речка. Мост был почти разрушен. На противоположном берегу стоял кирпичный завод, а за ним начинал-

ся лес, темный и угрожающий — деревья и кустарники слились в одну черную бесформенную массу.

Гриммбергер замешкался перед мостом, Вольни ринулся направо, в кусты. Увидев, что несколько человек пытаются перейти по мосту, он вскочил и потащил за собой Гриммбергера. Переход был не так уж труден. Они ощупью пробирались по шатавшимся бревнам. Кто-то оступился и с криком упал в воду. Хотя река была неглубокой, течение отнесло упавшего в сторону. Его захлебывающиеся крики на какое-то время остановили других солдат.

Гриммбергер, Вольни и еще двое достигли, наконец, противоположного берега и поползли вверх по склону. Гриммбергер не хотел идти дальше. Но Вольни зашипел на него: «Не отставай от меня!»

Гриммбергер оглянулся. Над рекой вился легкий туман. По шороху Гриммбергер понял, что остальные идут за ними. Он кинулся догонять Вольни, шедшего по пятам двух солдат. Вдруг ему показалось, что на кирпичном заводе блеснул слабый огонек. Потом он решил, что ошибся. Он подошел к заводу на несколько секунд позже Вольни. Снова загорелся огонек и снова погас. Гриммбергер увидел, как Вольни рванулся и исчез за дверью. Он последовал за ним и наконец обнаружил встревоживший его огонек. Это был огарок свечи, горевший под лестницей. Он освещал солому, умирающего старика и девушку, которая поддерживала ему голову; освещал Вольни, который схватил за горло одного из вошедших солдат и стукнул его головой о стену; освещал Гриммбергера, который ударом кулака оборвал крик второго солдата и глухо застонал, когда тот прокусил ему руку.

Вольни оторвал девушку от старика. На какое-то мгновение остановился и прислушался. Гриммбергер с трудом поднялся и беззвучно сказал:

— Они идут!

— В лес! — прохрипел Вольни.— В лес, девочка!

Девушка выскочила на лестницу, они за ней. Пробежали по длинному узкому коридору. Услышали поднявшуюся внизу суматоху. Из окна, с высоты двух метров, почти бесшумно спрыгнули на влажную и мягкую лужайку. У них подкашивались ноги, сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Девушка, более легкая и проворная, убежала вперед. Вольни и Гриммбергер слышали лишь удары сердца, готового выскочить из груди.

— Бросай все! — выдавил Вольни.

Он потянулся к каске. Со стороны завода затрещали первые выстрелы. Руки Вольни внезапно отбросило. Потом он рухнул на колени. Голова его стала медленно клониться к траве. Девушка добежала до леса.

Гриммбергер нагнулся над Вольни и сдавленно охнул. Отбросил в сторону каску и карабин. Заложил руку Вольни себе за шею. Отчаянным усилием приподнял его. Свистели пули, вскидывая на лугу маленькие влажные комочки земли.

— Оставь меня, старина, оставь! — прошептал Вольни.— Там лес... партизаны... Иди к ним, старина!.. Иди!

Гриммбергер заплакал. Он держал Вольни своими могучими руками. Пошатываясь, поднялся. Под градом пуль поплелся со своей ношей к лесу. Каким-то чудом добрался до опушки.

Он вполз в густую чащу, как затравленный зверь. Положил голову Вольни себе на колени и начал шептать молитву. Глупые, бессмысленные слова срывались с его губ, пока утренние лучи солнца не заиграли на макушках старых деревьев. Сумерки рассеялись, и он заснул. Ему снилось, что его держит та самая рука, которая вела его, как слепого,

в черном точно ночь подвале. Проснувшись, он увидел рядом какого-то бородатого старика. Маленькие серые глаза из-под морщинистых век ласково улыбались ему. Гриммбергер встал и послушно пошел за ним.

■

Гриммбергер решил, что Вольни расположится в мансарде, где обычно жила Хельга. В первый вечер он проводил гостя до прихожей и долго смотрел на устало поднимающиеся по лестнице сапоги, в которые были небрежно заправлены слишком широкие, помятые вельветовые штаны. Когда он наклонил кудлатую голову и стал усердно ковырять пальцем в трубке, Вольни еще раз облокотился на перила и глухо сказал:

— Мы с тобой всегда шли в одной упряжке. Надеюсь, так будет и дальше, старина!

Гриммбергер сунул в рот трубку и прикусил ее зубами. Его удивительно ясные голубые глаза подернулись тенью от нелегких дум.

Всю ночь он не мог уснуть. Лежавшая рядом жена чувствовала его волнение. Время от времени она приподнимала голову с подушки и прислушивалась к хриплому дыханию мужа. Под его судорожно сжатыми веками возникали и снова исчезали тревожные картины. Мозг сверлили неугомонные мысли, как черви, пожиравшие сон. Вместе с Вольни пришел конец покою в доме!

Едва рассвело, Гриммбергер встал с постели. Разбудил жену, поднял дочь, спавшую внизу.

— Это тоже не выход из положения,— проворчал он, увидев ее фигурку, скорчившуюся на слишком коротком кожаном диване.— Нужно нам как-то иначе разместиться.

Тихо шаркая ногами, он прошел по дому, с трудом сдерживая кашель, и бросил сердитый взгляд на жену, которая, как всегда, шумно возилась в кухне.

— Тебе обязательно надо его разбудить?

В мрачном настроении он вышел во двор. На коньке амбара загорелись первые лучи солнца. Высокое чистое небо обещало ясный день.

В открытые ворота хлева вбежал еж и скрылся под кучей хвороста. Он возвращался с ночного похода и немного запоздал.

— Опять не удалось тебе поживиться? — пробурчал Гриммбергер.

Он подошел к собачьей конуре. Цепь тихо звякнула.

— Тоже дармоедка!

Собака, позевывая, высунула голову. Гриммбергер пристально смотрел на ее разинутую пасть. Собака выползла из конуры и запрыгала вокруг хозяина. Он потрепал ее за ушами, любуясь блестящей мягкой шерстью.

— Ну ладно, ладно. Я ведь не то хотел сказать. Ах, отстань же!

Гриммбергер задумчиво почесал грудь. По двору пробежала дочь. На ее голых ногах болтались деревянные башмаки.

— Не пора ли выпускать птицу?

— Уже выпускаю!

Гриммбергер смерил ее недовольным взглядом. Все никак не проснется! Каждый раз одно и то же: вечером не загонишь, утром не поднимешь.

— У нас гребня нет в доме, что ли?

Девушка смущенно заправила спутавшиеся во сне волосы за маленькие загорелые уши.

— У меня не двадцать рук!

Она открыла калитку в сад, где до самого ручья, отделявшего хутор Гриммбергера от лугов, был устроен птичник.

Гриммбергер смотрел дочери вслед. «За ней всегда последнее слово. И вчера с похоронами тоже меня надула. Придется опять приструнить ее». Резким движением он откинул задвижку на воротах конюшни. В лицо ударил теплый воздух и знакомый запах лошадиного навоза. На мгновение Гриммбергер остановился и в раздумье потерся спиной о косяк. От бессонной ночи все тело будто налилось свинцом.

Когда Гриммбергер вышел с поильным ведром из конюшни, Вольни стоял на ступеньках крыльца, повесив на шею полотенце и заложив руки под мышки.

— Давай-ка под кран, дружок! — Голос Гриммбергера был еще хриплым.— Или боишься?

— Покачай немножко, старина. Пусть пойдет похолоднее!

Рычаг громко заскрипел. Вольни обернулся и посмотрел на птичник, где Хельга хозяйничала среди белого кипения птичьих перьев, разгоняла драчливых петухов и наполняла до краев кормушки.

— И что это тебе дает, старина? — Вольни показал глазами на птицеферму.— Я имею в виду — в год?

— Деньги, разумеется! Ну так как, встанешь под кран или нет?

Вольни глубоко вздохнул, задержал дыхание и встал под холодную струю. Гриммбергер смотрел, как вода широким потоком бежала по мускулистой спине, устремлялась на грудь и стекала по бедрам. Увидел повернутое к нему левое бедро с глубоким бледно-голубым рубцом от старой раны. Вольни поднял мокрое лицо. Глаза его блестели.

— Качни еще разок, старина, и я буду как новорожденный!

Гриммбергер бросил ему полотенце.

— Как твоя спина?

— Спина? — Вольни хотел заглянуть в глаза приятелю, но не смог. Глаза Гриммбергера, укрывшись под кустистыми бровями, избегали взгляда Вольни. Проглотив слюну, Вольни хрипло сказал: — Спина! Иногда я думаю, что лучше бы ты бросил меня тогда!

Гриммбергер широко раскрыл глаза.

— Бросил! — Он повесил ведро на рычаг водокачки и тихо добавил: — Кто же может бросить своего ближнего?..— Накачал полное ведро и уставился на бурлящую белую пену.— Даже если это будет стоить тебе жизни, все равно не сможешь! — Он снял ведро.— Вытирайся! Сентябрьский ветер не очень полезен для здоровья!

Гриммбергер направился к конюшне. Вода переливалась через край ведра, оставляя широкий блестящий след.

Вольни рассеянно взглянул на концы полотенца, которое держал в руках. Вода капала с его волос и стекала по узкой переносице. Он слегка наклонил голову, будто все еще прислушивался к словам Гриммбергера. Кожа покрылась мурашками, но ему было жарко. Он подумал: «Вот он, этот человек,— такой, как есть». Вольни быстро растерся полотенцем. Кожа начала гореть. Через широко открытые ворота конюшни он видел, как Гриммбергер постелил свежую солому, положил две охапки сена в ясли и что-то прошептал лошади на ухо, сообщая ей какую-то тайну. «И такой он тоже бывает»,— подумал Вольни. Он глубоко вздохнул и стал тихо насвистывать.

10

В этот ранний час во двор Шинделя с руганью ворвались пять разгневанных женщин, напугав сидевшего за завтраком хозяина. С болтающимися подтяжками, босиком, непричесанный, с рыжеватой, будто ржавчина, щетиной на лице, он выскочил за дверь и не поверил своим глазам: та, что решительно двинулась на него впереди остальных, маленькая и круглая, как бочка, была Амалия Клейнман.

— Посмотрите-ка на него! Заспался, как сурок, голубчик. А мы не знаем, где достать кусок хлеба!

Упершись кулаками в бедра, она все ближе подступала к растерявшемуся Шинделю.

— И он еще скалит зубы, этот тип, будто ничто его не касается!

Снова поднялся шум:

— У нас нет хлеба, председатель!

— В твоем магазине ни черта нет!

— Бросили нас на произвол судьбы!

— Придется теперь самим месить тесто!

Все кричали наперебой. Шиндель в ужасе заткнул уши. Амалия Клейнман размахивала кулачками, словно хотела еще больше подзадорить собравшихся.

— Да не орите сразу, черт вас побери! — Шиндель перешел в наступление.— Я и понятия не имею обо всех ваших бедах. А вы орете, как на птичьем базаре!

— И он называет это ораньем! Базаром! — взвизгнула Амалия Клейнман, и уши ее побагровели.

Шиндель спрыгнул с крыльца и оттолкнул ее в сторону.

— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала! Пой в своем церковном хоре сколько влезет. А здесь держи язык за зубами! Так что же случилось? Говорите по порядку!

Но Амалия Клейнман никак не могла успокоиться:

— И этот тип еще упрекает меня в том, что я верующая!

Шиндель с трудом уразумел, что волновало женщин. Штанге не мог больше печь хлеб после того, как упал в могилу. Поэтому женщины требовали, чтобы хлебом их снабжал сельский магазин; ведь одной колбасой и маслом при всем желании не проживешь. Но магазин отказался. Тогда женщины отказались выходить на работу. В конце концов в сельскохозяйственный кооператив вступаешь не для того, чтобы самой печь хлеб.

Шиндель взъерошил волосы, блестевшие на утреннем солнце, как чистая медь. Его глаза растерянно бегали по сторонам. Он увидел лицо своей Анки, которая выглядывала из-за занавески и, кажется, посмеивалась. «Во всем виноваты проклятые похороны»,— подумал Шиндель. Размышляя, как найти выход из создавшегося положения, он вдруг обернулся к Амалии Клейнман и грубо спросил:

— Твой старик ведь умеет печь хлеб?

— Он не только это умеет! — ядовито прошипела она.

— Тащи его сюда! А вы идите работать. Сегодня к обеду будет хлеб.

— Смотри, Шиндель! Не корми нас, голубчик, сказками! И не думай, что так просто от нас отделаешься. Мы опять придем сюда! — кричали женщины.

— Приступайте к работе! Можете мне поверить, я обеспечу вас хлебом. Идите, идите!

Он выпроводил их со двора, хлопая в ладоши, будто гнал гусей. Потом подставил разгоряченную голову под кран. Жена швырнула ему полотенце.

— Ты ведь знала об этом? — спросил он, насупив брови.

— Да, да, жена Штанге прогнала нашу старшую из лавки. Но я не приняла этого всерьез!

— Ну вот поэтому так и получилось! Ты вообще относишься к чему-нибудь на свете серьезно?

— Вот зеркало. Я поставлю его на окно.

Он сердито намылил щеки.

— Нет, ты ничего не хочешь слушать. Ходишь на кулацкие похоро-

ны, позволяешь пастору на глазах у всех поглаживать себе руки. А то, что лавочница прогнала мою дочь из лавки, этого ты всерьез не принимаешь. И не можешь принимать, потому что сама втаптываешь в грязь наше общее дело.

Шиндель поточил бритву о ремень; он был очень зол. Жена прошлась щеткой по одежде детей, села на крыльцо и стала заплетать старшей девочке косу. Ее спокойствие еще больше рассердило Шинделя. Он говорил громче, чем обычно. Пусть они там слышат, как Шиндель обходится с женой, когда она ему перечит. Он приложил бритву к щеке.

— Я долго терпеть не стану. В этом доме пока еще я хозяин, моя милая!

— Ты порежешься, — нежно сказала она.

Шиндель в волнении облизал губы. На языке у него остался горький привкус мыльной пены. Он сплюнул. С такой бабой лучше не связываться!

Когда из-за угла появился Клейнман, кривоногий — он много лет провел в седле,— низенький, но не такой толстый, как его Амалия, Шиндель стоял уже выбритый и приодетый.

— Неприятности? — лицемерно осведомился Клейнман.

— Мы пойдем к Штанге,— коротко пояснил Шиндель.— Пойдем и арендуем для кооператива пекарню.

Его длинный указательный палец уперся Клейнману в грудь.

— Ты будешь печь нам хлеб, дорогой.

— Ладно, для начала буду печь, но душа у меня к этому делу не лежит!

— А это и не требуется. Ты просто должен помочь, у нас прорыв. Потом найдем настоящего пекаря — и дело в шляпе.

Анка Шиндель, которая стояла в дверях и с беспокойством смотрела на исполненного решимости мужа, осторожно сказала:

— Разговаривай с людьми разумно, не руби с плеча!

Шиндель сердито отмахнулся:

— Сам знаю, что мне делать.

Он энергично двинулся вперед. Клейнман едва поспевал за ним.

На деревенской улице они пошли рядом. Синеватый нос Клейнмана вдруг принюхался и задрожал, как у зайца:

— Ну и денек сегодня выдался. Если б не знать, что осень наступает, можно подумать — разгар лета, в самом деле! Медом пахнет, как от цветущей акации. Чуешь?

Шиндель ничего не ощущал. Он сочувственно улыбнулся Клейнману, который, по его мнению, уподоблялся собаке-ищейке, растрачивая внимание на какие-то запахи. Шиндель был слишком молод, чтобы понять человека, шедшего рядом. Когда стареешь, как Клейнман, наступление осени отзывается в душе болью, рождается грусть о развеявшихся запахах лета и надежда, что оно вернется и будет не последним.

Целиком поглощенный своими мыслями, Клейнман не замечал усмешки Шинделя. Он бодро шагал, вдыхая утренний воздух; каждое пробуждающееся утро доставляло ему наслаждение. Он вылезал из постели, когда кругом все еще спали, раскуривал трубку и даже в середине лета начинал расхаживать по двору раньше, чем его серый, как куропатка, петух. Охотнее всего он возился в сараюшке, где мастерил грабли и плел корзины.

— Итак, значит, будешь печь,— больше для себя сказал Шиндель, обеспокоенный молчанием Клейнмана.

— Я же сказал! В четыре буду в пекарне. Человеку в моем возрасте нужно спать пять часов — не больше! А лежишь долго — одеяло начинает царапаться. Вы, желторотые, этого не понимаете! Если у вас спина занемеет от лежания, вы переворачиваетесь на живот. А если и так не

спится, все равно под боком есть что-то теплое. Так что вы и восемь часов можете проваляться, и десять.

Они дошли до лавки Штанге.

— Коротко и ясно, без антимоний,— сказал Шиндель и постучал в дверь.— Насчет арендной платы потом договоримся. Главное, чтобы ты начал печь сегодня! — Он постучал еще раз.— Оглохли они там, что ли? Между прочим: то, что мы сейчас делаем,— это шаг на пути к стопроцентному социализму. Не забудь об этом, дружище.

— Понятно,— пробормотал Клейнман, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. Ему не терпелось приступить к делу. Ключ в замке поворачивался удручающе долго.

— Эта сова запирает лавку, будто все мы на руку нечисты,—буркнул Клейнман, а вслух сказал громко и приветливо:— Доброе утро, матушка Штанге!

Лавочница просунула голову в дверь. Когда ее тусклые глаза увидели Шинделя, она растянула в улыбке тонкие губы.

— Хлеба не могу предложить. Я недавно уже объясняла малышке. Муж лежит в лежку, а я не управляюсь.

— Вот-вот,— прогудел Клейнман, прежде чем Шиндель успел разинуть рот.— В этом все дело! Но разговаривать лучше в лавке.

И он ринулся мимо ошеломленной лавочницы прямо в дом. Шиндель, довольный, сказал себе: «Неплохо, старик, совсем неплохо!» Он потер руки и вошел следом.

Клейнман не задержался в лавке. Кривые ноги стремительно понесли его вниз по ступенькам, к пекарне, и, прежде чем кто-нибудь успел вымолвить слово, оттуда донеслось звяканье железных листов и деловитый топот. А пока Шиндель, не зная, что сказать, беспокойно покусывал нижнюю губу, из комнаты Штанге послышался плаксивый голос:

— О господи, что там происходит?

Шиндель откашлялся:

— Мы хотим арендовать пекарню!

— Арендовать?! — дрожащим голосом проговорила лавочница и тут же захлебнулась в потоке слов:— Арендовать?! Арендовать захотели?! — Она метнулась к двери, рванула ее:— Арендовать они хотят, отец!.. Арендовать, эти...

— Пожалуйста, без оскорблений! — Шиндель поднял указательный палец.— Все можно выяснить спокойно!

В пекарне Клейнман задумчиво свистнул. Потом решительно прижал к груди мешок с мукой. Когда же он принялся высыпать муку, на него ястребом налетела лавочница.

— Ах ты пузан проклятый, я тебе покажу, как вламываться в чужие пекарни! Арендовать ему захотелось! Гол, как сокол, а туда же, арендовать!

Клейнман потонул в густом мучном тумане. Он не переставая фыркал, чихал, кашлял. Глаза его различали только шевелящиеся руки, которые низвергали на него все новые потоки муки. В ушах ее набралось уже столько, что брань лавочницы казалась ему теперь нежным воркованием. Из этого бедственного положения его выручил Шиндель. Он поспешил за лавочницей и, увидев, как она обрабатывает Клейнмана, оттащил разбушевавшуюся женщину.

— Это уже слишком! — гаркнул он.— Мы не позволим над нами издеваться.

Но взбесившаяся лавочница вырвалась из его рук.

— Арендовать! — орала она вне себя от ярости.— Ах вы голодранцы! — Она пронзительно захохотала.— Ах вы!..— Она не договорила, глаза у нее закатились, руки и ноги задергались. Шиндель едва успел подхватить ее.

— Только этого недоставало,— вздохнул он.— Берись же, Клейнман!

Клейнман невозмутимо прочищал уши, не переставая оглушительно чихать.

— Она заслуживает, чтобы мы ее вздули. Это просто припадок бешенства — и больше ничего!

— Куда нам ее положить? — хрипло прошептал Шиндель.

— На стол,— буркнул Клейнман.

Шиндель возмущенно постучал себя по лбу. Они подняли потерявшую сознание лавочницу, отнесли ее в комнату и положили на диван возле кресла, в котором сидел Штанге и весьма хладнокровно наблюдал за происходящим. Шиндель побледнел. Самочувствие его было отвратительное: он не думал, что аренда пекарни окажется таким трудным делом, и в глубине души сердился на Клейнмана за поспешность. Если бы тот не отправился прямо в пекарню — кто знает, может быть, дело приняло бы более благоприятный оборот. Но теперь рухнула последняя надежда, и Шиндель мысленно уже представлял себе, как на него набросятся женщины. «На сей раз, приятель Шиндель, из тебя пух и перья полетят»,— решил он.

Клейнман враждебно смотрел на лавочницу. Она уже учащенно дышала, и губы ее понемногу начали розоветь. Клейнман сжал кулаки и пробурчал:

— Отлупить. Отлупить и облить холодной водой.

Но тут его со вздохом перебил Штанге.

— Все уже пробовал: колотушки, воду — все. Ничего не помогает. Припадки начинаются и проходят. А через час она уже, глядишь, прыгает как ни в чем не бывало. Все дело, наверно, в крови, добрые люди. От злости сгущается кровь и давит на сердце. Но и к этому привыкаешь!

Шиндель покосился на лавочницу. Ему показалось, что веки ее дрогнули. Трезвые слова лавочника приободрили Шинделя, и он рискнул напоследок:

— Да, вот еще: что вы думаете насчет аренды?

— Сдать в аренду — горькие слова, дорогой Шиндель. Звучит так, будто собираешься покончить с делом навсегда, будто хочешь уйти в отставку,— вот как это звучит!

— Мы ничего не забираем, все останется вашим!

— Нет, нет, сдать в аренду — слишком жестокие слова. Но в одном я с вами согласен: деревне нужен хлеб, без хлеба далеко не уйдешь. И я вот что скажу: пусть Клейнман печет!

— Я? — Клейнман замахал руками у него перед носом.— Ни за какие коврижки! От твоего дракона всего можно ждать!

— Она не против твоей помощи. Сдавать в аренду ей неприятно, как и мне. Но я буду платить тебе хорошее жалованье, Клейнман!

— Не нужны ему твои деньги! — с неожиданной яростью взорвался Шиндель.— Если он будет печь, то для кооператива и как член его. А нечистые сделки нам не нужны!

— Ты мне этого не приписывай, председатель. Я хочу по-честному.— Штанге был в полном изнеможении, ему хотелось покоя. И он сдержанно сказал:— Пеки хлеб — и конец!

На улице Шиндель выбил из куртки Клейнмана остатки мучной пыли.

— Чтоб ты ни одной марки у него не брал! Не то ответишь перед общим собранием.

— Да есть у нашего брата гордость или нет?

Впервые за это утро Шиндель рассмеялся.

— А ведь она тебя чуть скалкой не огрела!

Клейнман круто повернулся, зашагал к месту своего поражения и тщательно запер за собой дверь пекарни. Через полчаса из трубы повалил черный дым, возвещая, что хлебный кризис в Шварцвальде пока миновал.

II

Шиндель издавна был противником расшатывающих нервы «боев местного значения». Он прочитал кое-какие книги и получил представление о том, как в других странах совершались революции. Если бы это зависело от него, он уже в пятьдесят втором, не долго думая, перестроил бы деревню на социалистический лад. В те тяжелые годы, когда деревня вставала на дыбы, противясь ходу истории, он частенько думал: «Людей надо принуждать к счастью. Бесконечные колебания только продлевают мучения и не приносят никакой пользы».

Шиндель испытал это на собственной шкуре. Неполных десять лет назад, когда он за четыре недели окончил партийную школу, ему тоже пришлось пережить подобные сомнения. Он велел Анке присылать ему птицеводческую газету, потому что куры и петухи были его страстью. Он знал все породы. И на его дворе гордо расхаживали леггорны, равных которым днем с огнем не сыщешь.

Когда приходила газета, он откладывал в сторону «Историю КПСС» и углублялся в тайны птицеводства. За этим занятием его застал однажды преподаватель, человек с неизменно насмешливыми глазами.

— Ну, товарищ, что ты тут изучаешь? — спросил он.

— Я изучаю...— пролепетал Шиндель, пытаясь прикрыть газету своими большими руками.

— Дай-ка посмотреть!

Шиндель виновато убрал руки, и его веснушки словно побледнели.

— Очень интересно, в самом деле,— пробормотал себе под нос преподаватель.— Хотелось бы только знать, как ты собираешься служить революции, когда душа твоя так томится по курочкам! — Он осторожно положил газету возле Шинделя и быстро вышел из комнаты.

Шиндель покосился на газету. «Это правда,— пробурчал он про себя.— Цепи собственности сковывают человека и мешают ему заниматься главным!» И отшвырнул газету в сторону.

Закончив курс, он поехал домой. Перед Анкой предстал совершенно преобразившийся Шиндель. Он не удостоил взглядом белых петухов и весь вечер с мрачным лицом задумчиво просидел в кухне.

Анка забралась в постель, полная страстного ожидания, что было совсем не удивительно после такой долгой разлуки, а он все не шел. Она подождала еще немного, и вдруг у нее мелькнула мысль: «Уж не вздумал ли мой Шиндель...»

Она нашла его в птичнике. Он высоко взмахивал топором, и вид его внушал ужас. Три обезглавленных петуха вздрагивали у его ног, четвертый в последний раз растопырил крылья и хрипло прокукарекал. Куры на шестке оголтело кудахтали и в испуге метались, налетая друг на друга. Анка схватилась за голову и набросилась на Шинделя.

— Господи, да ты совсем спятил!

Он устало опустил топор, положил ей руку на плечо и вздохнул:

— Тяжко, чертовски тяжко, но так должно быть. У кого душа томится по курочкам, тот не может заниматься главным.

Анка отступила. «Заучился и сошел с ума»,— подумала она, с тревогой наблюдая за ним. Но Шиндель был таким же, как прежде: большим, беззаботным ребенком. Только куриного бульона есть не хотел. Когда Анка слишком наседала на него, он снимал фуражку с крючка и бормотал:

— Зарезал я их, так нужно было! Но есть их? Нет уж уволь!

Поэтому не удивительно, что в решающих случаях Шиндель был склонен быстро расправляться и с людьми. «Вот Штанге, например,— говорил он себе,— достойны сожаления. Источник их доходов стал источником их забот. Поистине они не очень-то жалуют друг друга и даже дерутся. А ведь лучшая жизнь стоит у порога. Но вместо того чтобы впустить ее в дом, старуха бьется в истерике от ярости и коварно нападает на ни в чем не повинного человека. Не полезнее ли просто поставить ее перед свершившимся фактом и сказать: «Дело решенное — и все тут!» Она заорет — хорошо, будет вопить три дня — тоже хорошо, потом еще поплачет немножко — и дело в шляпе. А через год, глядишь,— щеки у такого дракона розовые, глаза спокойные, сама словно помолодевшая, дружески пожимает руки и делает вид, что ничего не случилось.

Шиндель уже не раз наблюдал это и никогда не упускал случая сказать с торжеством: «Аппетит приходит во время еды!» или с оттенком злости: «Не так страшен черт, как его малюют!»,— и обычно никто не обижался на его сентенции, в общем и целом они были весьма уместны.

О трактирщике Куглере Шиндель думал примерно так же, как и о Штанге: «Грудь у него впалая, живот становится все острее, ходит, растопырив ноги, и это доказывает, что грыжа дает о себе знать. Шея у него длинная, как у гусака, потому что он вечно вытягивает голову над стойкой и обдает нас ядом и желчью. А делает это он из боязни, что мы предъявим ему двойной счет. Дурак! Мы точно знаем, что портит человека. Мы не злопамятны. Если человек поведет себя благоразумно и заявит: «Проклятая частная собственность стала для меня обузой!»,— мы ему ничего не станем припоминать. Пускай и дальше торгует своим пивом, потому что, пока летом на земле лежит пыль, будет существовать и жажда. Но он должен работать с нами, дубовая башка! Уж мы ему оборудуем хозяйство с танцзалом и телевизором — и шут знает с чем еще. Человеку нужна новая обстановка. Ему надоело торчать в прокуренных углах. Ему незачем больше мириться с двойной бухгалтерией Куглера и слушать речи, от которых звон стоит в ушах. Да, жизнь несется вперед, а этот остропузый думает, что может остановить ее. А если где-нибудь в окружном центре или в районе заговорить о такой личности, о том, что она отравляет всю жизнь, сразу вскакивают полдесятка разных начальников и начинают шуметь: «Убеждение — вот наше оружие, товарищ!» Будто убеждение вроде картошки: посадишь ее в землю, и вот уже вылезают молодые побеги.

Как бы не так! Должны быть законы, которые подсказывают, как надо действовать в таких случаях. А ведь бывает, что надо решать еще более запутанные вопросы. Например, Хаген, эта сатана с вечной ухмылкой. А еще хуже Гейзер с его тридцатью гектарами! Враг до мозга костей, неисправимый враг! Тридцать гектаров, но к нему не подкопаешься. Поставки выполняет, положенное количество скота на гектар имеет — ничего не докажешь. Тридцать гектаров — словно неприступная скала на кооперативной земле. И ходит этот парень по деревне, как в прежние времена, прямой, словно аршин проглотил. А глаза — ах, проклятые глаза! Но из-за глаз ведь не посадишь. «Борись за него,— говорят тебе, когда ты спрашиваешь совета.— Двери новой жизни открыты для каждого». Если же ты скажешь: «Для него к нам дороги заказаны»,— на тебя посмотрят, как на больного. Но ты-то знаешь, что он всадил бы тебе кинжал меж ребер, если б мог. Тридцать гектаров — и этот парень еще сидит спокойно в своем ястребином гнезде, сидит и ждет. А наш брат вынужден терпеть все это и маяться по ночам от бессонницы».

Погруженный в эти беспокойные мысли, Шиндель ранним утром встретил Вольни. Увидев, как тот шагает вдоль высокой кирпичной сте-

ны конюшни, сразу догадался: «Не иначе, как это он, товарищ рабочий». Шиндель облегченно вздохнул. То, что еще несколько мгновений назад казалось серым и безнадежным, теперь предстало перед ним в совершенно ином свете: наконец-то у него появился соратник. Он ни секунды не сомневался в этом помощнике, потому что всегда ожидал от людей только самого хорошего. Шиндель быстро подошел к Вольни.

— Это ты? Я сразу так и подумал, товарищ! Хорошо, что ты наконец здесь! — Он потряс руку Вольни.— Мне писали, что ты приезжаешь. У нас теперь социализм уже не за горами.

Вольни с улыбкой посмотрел на Шинделя.

— Председатель?

— Уже шесть лет, товарищ. Прошел огонь, воду и медные трубы, даже в ад заглядывал.

Вольни негромко рассмеялся.

— Если мы еще долго будем стоять тут, приятель, прирастем, пожалуй, а?

— Твоя правда! — Шиндель прищелкнул языком и тряхнул головой.— Стоим, как на ярмарке!..

Они пошли рядом. Быстрые глаза Шинделя внимательно разглядывали Вольни. «Из старой гвардии,— отметил он про себя.— Сразу видно. Хромает. Значит, истязали его, сволочи». Ему захотелось сказать что-нибудь по этому поводу:

— Покалеченный ты, товарищ, как я вижу!

— Чепуха! Тогда я не был бы здесь!

— Да я про бедро говорю!

«И чего болтает»,— раздраженно подумал Вольни. Они дошли до ворот. Над аркой большими черными буквами было написано: «Сельскохозяйственный кооператив имени 7 октября». Буквы слегка расплылись. В глазах Вольни Шиндель заметил улыбку.

— Мое изобретение,— сказал он.— Название это я придумал. Раньше весь кооператив только из вывески и состоял. Да-да, нарисовал я ее кисточкой на фанере и поставил за гардероб. Жена ругалась при каждой уборке. Убери, мол, эту штуку в хлев. Как будто такие вещи можно держать в хлеву. Но с бабы какой спрос? А когда, наконец, организовали кооператив, я вытащил доску из-за гардероба. Она вся была в пыли. Так что можешь судить, сколько времени прошло. Но название, в конце концов, понравилось всем!

Вольни молча ухмыльнулся. «Ну и парень,— подумал он,— неотесанный, правда, но, видно, сердцем делу предан».

Он испытующе оглядел просторный двор, который производил солидное впечатление. Хлев, конюшня, амбар были побелены. «Все стекла вставлены,— отметил Вольни.— Крыши залатаны. Каждая машина на своем месте. Навоз собран, все в порядке — неплохо!»

— Раньше было поместье? — весело спросил Вольни.

— Некоторые утверждают, что и теперь поместье,— вздохнул Шиндель.— «Прежде был управляющий, теперь бригадир, никакой разницы»,— говорят. Сознания не хватает!

— Пройдем в хлев, в конюшню.

— Как хочешь. Только внешний вид обманчив. Не по душе здесь скотине, словно порчу напустили на нее.

— Похоже на каменные гробы?

— Да как сказать! Сыро там. Поросята от насморка не избавляются. Из иного помета дохнет до восьмидесяти процентов. Подведешь баланс — и видишь, каков итог. Я иногда даже думаю: надо снести хлева — и кончено!

— А почему вы не растите поросят на открытом воздухе? Так делают многие, например Гриммбергер.

— Гриммбергер? — насторожился Шиндель.— Разве ты его знаешь?

— Хорошо знаю! Я живу у него.

Шиндель медленно опустил взгляд и слегка отодвинулся, словно желая увеличить расстояние между собой и Вольни.

— Это нехорошо! Не нравится мне это, товарищ, честно тебе скажу. И многим из наших не понравится.

Вольни бросил на Шинделя быстрый оценивающий взгляд. «Он честен, это облегчает дело,— подумал Вольни,— и говорит то, что думает. Придется как-нибудь рассказать ему все. Я тоже представлял себе многое иначе».

— Ну, пойдем. Мне кажется, не так уж важно, где человек живет!

«Не так важно,— подумал Шиндель.— Очень ты знаешь, мой милый, что важно!» Он шел рядом с Вольни, опустив голову.

12

Гриммбергер чувствовал себя не в своей тарелке. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в девять утра, не сделав еще ничего полезного, бесцельно кружился по двору. Но сегодня все валилось у него из рук, и едва в голове вспыхивала какая-нибудь мысль, она тут же казалась ему пресной, как дождевая вода. Одно было ясно: от гостей, как от рыбы, через три дня начинает пахнуть, и кто приютит в своем доме друга, быстро его теряет.

Женщины, привыкшие к тому, что по утрам он звал их на работу и указывал, кому что делать, торчали в кухне и растерянно поглядывали через окно во двор, над которым уже поднималось сентябрьское солнце.

— Вчерашний день ищет,— пренебрежительно сказала дочь. Она встала сбоку у окна, насмешливо посмотрела в сторону отца и блаженно расправила плечи. Льняная блузка натянулась на тугой груди. Рука девушки коснулась затылка, покрытого нежными кольцами волос.

— Не стой так,— сказала мать.— Он этого терпеть не может!

— Он самого себя терпеть не может.

— Всю ночь ворочался с боку на бок. Не знаю, что и делать. Нам, пожалуй, сейчас лучше всего приняться за картошку. В конце концов скажет же он что-нибудь! — Она зажала между колен корзину с картошкой.— На лугах уже второй укос ждет, и стерню надо лущить. А он делает вид, что у нас никаких забот. Ну и осень выдалась!

Короткими толстыми пальцами Эмма держала большой нож с остро наточенным волнистым лезвием и с ужасающей быстротой обрезала кожуру, пока она длинной спиралью не падала в корзину, а голая, влажная, желтая картофелина с плеском не шлепалась в ведро с водой.

Хельга отошла от окна и села напротив матери.

— Мне дышать здесь нечем! — сказала она.

Мать подозрительно взглянула на нее.

— Это еще что значит? Почему тебе вдруг дышать нечем? Уж не собираешься ли ты принести нам в подоле?

Девушка сдавленно засмеялась.

— А если?

— С ума ты сошла, глупая девчонка! Только этого не хватало!

Девушка достала картофелину и стала резать ее на мелкие кусочки. На плите запела вода. Над раковиной монотонно жужжали черные мухи. Глаза Эммы осторожно скользнули по фигуре дочери.

— Это было бы немудрено,— прошептала она.

— Можешь не коситься. Нет ничего. В этом доме мне дышать нечем уже давно.— Хельга махнула рукой.— Только я все молчала. А ведь мне уже двадцать, и я хочу своей жизни!

— Ну вот, яйцо курицу учит. В двадцать целуются, а в тридцать видеть друг друга не могут. Будь спокойна, тебе торопиться некуда. Что у тебя есть, ты знаешь. А вот что получишь, еще неизвестно. Поначалу все они мягко стелют. Твой отец заливался, как мартовский зяблик. Я думала, мне бог знает как повезло. А конец песни — двадцать пять лет мучений! Характер узнаешь только потом.

— С моим так не будет,— мечтательно сказала Хельга и вздохнула.— Из моего я могу веревки вить.

— А это уж и вовсе не годится. Будешь вить до тех пор, пока не уморишь. Я тебе вот что скажу: женщина должна чувствовать мужа, даже когда его нет дома, понимаешь? Во всем, что бы ни делала, она должна ему подчиняться. Ощущать его взгляд за спиной, чтобы идти прямо. Как бог на небе, так мужчина в доме и в хозяйстве. Помни об этом!

Хельга затряслась от беззвучного смеха. Мать с упреком посмотрела на нее.

— Смейся, смейся! Разума у вас нет, вот в чем беда! — Она подняла голову, прислушиваясь.— Отец! Быстрее! — Запихнула корзину под плиту, сдернула фартук и торопливо свернула его.

Гриммбергер, согнувшись, вошел через кухонную дверь. Волосы его были взъерошены больше обычного. Он сердито оглядел женщин.

— А вам, я вижу, по душе с раннего утра лясы точить! Отправляйтесь на луг, понятно? — Он взял с полки кисет.— Закажу трактор с лущильником и приду следом! — Он еще раз оглядел кухню и вышел.

Теперь жена спокойно вздохнула.

— По крайней мере, хоть что-то сказал.— Она покосилась на дочь, которая, стоя у зеркала, поправляла на голове косынку.— Ну, хватит возиться. Ты слышала, у нас еще много дел.

Со двора раздался голос Гриммбергера:

— Возьмите с собой бутерброды! Горячее поедим вечером!

— Хорошо, хорошо,— пробормотала жена, а сама подумала: «Когда такой мужик бродит с опущенной головой, сердце сжимается. Но он опять прежний. Слава богу!»

■

Гриммбергера действительно охватило чувство облегчения, когда он отправился в кооператив, словно все трудности были позади. Ему показалось, будто он избавился от потрясения, вызванного заявлением Вольни о том, что тот собирается остаться в Шварцвальде.

«Не перестанешь колебаться — толку не будет,— говорил он себе.— Нужно пользоваться моментом. Если уж под твоей крышей живет друг, да еще такая важная птица, то из этого надо извлечь хоть какую-нибудь пользу. Из ничего ничего и не бывает. Я вел себя порядочно даже в такие времена, когда это было не очень-то просто. Скот втихую не забивал и черный рынок за три километра обходил. Не было гвоздей — ждал, пока появятся, или выпрямлял кривые. С проволокой для сеток было то же самое, и с цементом, и с известью, и черт его знает с чем еще. Дочь свою одевал в то, что можно было купить в городских магазинах. А другие тем временем ловили рыбку в мутной воде. То, что у меня сейчас есть, я заслужил. Жизнью за это рисковал. А когда вернулся, трудился как вол до поздней ночи, пока не падал прямо в одежде на кровать. Люди, которые нынче громкие речи произносят, так ничего и не добились. У них еще навоз нечем было убрать, а у нашего брата индюшек уже был полон двор.

А когда хозяйство процветало и можно было подумать об отдыхе, до полуночи просиживал за книгами, пока буквы не начинали прыгать

перед глазами, как блохи. Другие в это время валялись в кроватях и делали детей, что, как известно, всякий дурак умеет. И на каждые крестины варили самогон из самого лучшего зерна, а после третьего стакана оказывались под столом, голодранцы несчастные, потому что закусывать было нечем. Нет, нашему брату басни рассказывать ни к чему. Те, кто сегодня громче всех орет, тогда боялись трактора, как нечистой силы. «Вонь от дизеля въестся в зерно, а мы от этого хлебушка рак заработаем!» Как сейчас все это помню. Голова моя все помнит и ничего не забудет. Вольни дивится грамоте за образцовое ведение хозяйства. Пускай бы заглянул ко мне в ящик, увидел бы, сколько там всяких грамот и свидетельств от многих авторитетных организаций. Всю стену до потолка можно оклеить. Но мы люди не чванные. Нам, конечно, приятно, но больших церемоний не разводим. Другие получат в районе одну грамоту и будут всю жизнь этим хвастать. Между пасхой и троицей родня не меньше трех раз эту грамоту в руках мусолит, и каждому гостю суют понюхать, чем она пахнет. В конце концов красивый белый лист превращается в грязный лоскут. Ну и народ, никакого достоинства!»

Гриммбергер вошел в бывший господский дом, в котором теперь находилась контора кооператива. Уже в передней он услышал сердитый голос бухгалтера Земмеля:

— Что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Нет у меня денег!

Гриммбергер ухмыльнулся: «Конечно, нет у них денег, у этих идиотов! Да и откуда быть деньгам?» Он с любопытством открыл дверь.

Перед маленьким, раздражительным бухгалтером, с лицом сухим и желтым, как пергамент, стоял дояр Валентин Цанк, рослый человек в красно-белой полосатой куртке; рукава у него были закатаны, мускулистые руки блестели от загара. Он робко сказал:

— Мне нужны новые бидоны, бухгалтер. Иначе я бы сюда не пришел!

Бухгалтер угрюмо покосился на него. Цанк растерянно мял в руках кепку. Но вдруг он протянул ее над столом и умоляюще воскликнул:

— Или мне в шапку доить?

Земмель с пронзительным криком выбил кепку из рук Цанка.

— Убирайся отсюда со своим блином, поросенок несчастный! Нет у меня денег на бидоны! Подождешь до зимы!

Гриммбергер был в восторге. Он тихонько притворил за собой дверь, чтобы раньше времени не спугнуть драчливых петухов. Потом осторожно прислонился широкой спиной к затейливой темно-голубой изразцовой печи и с наслаждением откинул голову.

Цанк взял со стола кепку и в отчаянии воскликнул:

— Они мне нужны теперь, а не зимой. Теперь самые большие удои!

Гриммбергер подумал: «Надо почаще сюда заходить, честное слово, заменяет цирк и все прочее». Он в восхищении прикрыл глаза. На языке у него вертелись слова, которые при всем желании нельзя было сдержать, он громко сказал: — Попробуй-ка залезь голому в карман, голубчик! — и оглушительно захохотал.

Цанк резко обернулся, погрозил Гриммбергеру кепкой и крикнул:

— Не твое собачье дело!

Он рванулся в открытую стеклянную дверь, которая вела через террасу в кооперативный двор, налетел на Вольни и Шинделя и беспомощно махнул рукой в сторону конторы.

Грузное тело Гриммбергера еще сотрясалось от смеха, когда в контору вошли Вольни и Шиндель. Бухгалтер уткнулся в свои бумаги.

Шиндель подошел ближе к Гриммбергеру, а Вольни, прищурив глаза, насмешливо улыбаясь, остановился у двери.

После осмотра кооперативных строений, которые, казалось, произвели на Вольни не очень хорошее впечатление, Шиндель был раздражен.

— Что тебе надо? — спросил он запальчиво.— Что ты вообще здесь околачиваешься?

«А ну-ка, подойди,— подумал Гриммбергер.— Я тебе сейчас отплачу за все обиды, сопляк!» Но вслух спокойно сказал:

— Мне нужен на сегодня трактор с лущильником! — Он старался смотреть мимо Шинделя, на Вольни.

Шиндель, от которого не ускользнул взгляд Гриммбергера, встал так, чтобы заслонить собой Вольни. Он всем своим существом почувствовал, что здесь происходит, и твердо решил не отступать ни на шаг, припереть наконец Гриммбергера к стенке.

— Для тебя у нас нет трактора, Гриммбергер!

— У вас-то нет, в МТС есть.

— Правильно! Но где работать тракторам, решаем мы!

— МТС принадлежит государству, а я тоже служу государству!

— Языком болтать — ты всегда впереди всех!

Вольни широко раскрыл глаза. «Сильны, черт возьми,— подумал он.— Наскакивают друг на друга, как олени весной». Почувствовав ломоту в бедре, он прижался левым плечом к стене.

Кровь ударила Гриммбергеру в лицо.

— Я свои поставки сдаю с тех пор, как владею землей. Не то что ты!

— Нечего говорить о прошлом, мы живем сейчас. А сейчас мы решаем, где и что надо делать!

Ярость вдруг сдавила горло Гриммбергеру. Он беспомощно сплюнул.

Шиндель посмотрел вниз и тихо сказал:

— Не заплевывай нам пол! Вот дверь. Иди паши на своих лошадках!

Гриммбергер тяжело шагнул к Шинделю, но, поколебавшись, одумался и сказал сквозь зубы:

— Ты вздумал издеваться надо мной, ты? — Локтем он отодвинул Шинделя в сторону, уставился на Вольни, на губах которого играла насмешливая улыбка, и хрипло пробурчал:— Ну, скажи что-нибудь, Вольни. Скажи хоть одно слово!

— Я тоже не люблю, когда плюются! — тихо ответил Вольни.

Гриммбергер замер, почувствовав на своем лице обжигающий взгляд темных глаз Вольни.

До этого момента Шиндель стоял, боясь перевести дух. Теперь он облегченно вздохнул и расслабил плечи. «Ну, с этим делом управились,— подумал он.— Ответ был настоящий, черт побери, классовый ответ». Вольни устало сказал ему:

— Пойдем, покажешь мне поля!

Бухгалтер, который, словно окаменев, сидел за своим столом, после их ухода вытащил большой платок и отер лицо, хотя оно было сухим, как осенний лист.

13

Не дойдя до межи, Шиндель и Вольни повстречали запыхавшегося, вспотевшего Клейнмана.

— Как дела? — спросил Шиндель и познакомил его с Вольни.

Клейнман, часто моргая, оглядел Вольни своими светлыми глазками.

— Получилось очень удачно. Ребятишки объели корку, не дойдя до дому. Значит, вкусно!

— А лавочница?

— Закатывает глаза, стерва. По-прежнему угрожает. Но в пекарню я ее не впущу.

— Ну ладно, на сегодня хватит, отдыхай!

— Отдыхать?

— Конечно, делай, что хочешь! — Шиндель покосился на Вольни.— Я должен тебе объяснить, товарищ!

Миновав церковь, они вышли в поле, и Шиндель стал рассказывать. Он не особенно приукрашивал историю с пекарней, но ничего и не скрывал, решив про себя: «Мне предстоит идти с ним в огонь и в воду, и он должен знать обо всем».

Слушая Шинделя, Вольни упорно молчал и только время от времени глухо откашливался. Несмотря на боль в бедре, он шел быстро. Темные глаза его блестели. Он примечал все: жаворонка, взвивавшегося к небу; красноватый отсвет всходящей озими; тяжкий, упорный запах увядающей картофельной ботвы; свекольные делянки, где бархатилась высокая, с обвисшими листьями лебеда; тощую кукурузу и желтую полевую горчицу, которая гуще всего росла на еще не обработанных полях.

Неутомимые глаза Вольни все примечали, однако ни одного слова из рассказа Шинделя он не упустил. «А у этого парня левые завихрения,— подумал он,— и притом изрядные. Так я и предполагал. Силен, как лошадь, но лошадь необъезженная, черт подери!»

— Почему ты все водишь меня по дорогам? — спросил он сердито.

— Чтобы тебе было удобнее.

— Удобнее? Чепуха!

Вольни круто повернулся и пошел прямо по полю. Сухая земля зашуршала, оседая под ногами; он ступал тяжело, с трудом. Шиндель, идя сзади, думал: «Поглядите-ка на этого сумасброда, лезет напролом через поле!»

— Почему так мало промежуточных культур? — хмуро спросил Вольни.

— Погода! Сушь-то какая! Ничто не растет в этой проклятой золе!

— Погода — не ответ. А что коровам зимой жрать? Глину? Кукуруза жалкая, трава на лугах — по щиколотку. Что же ты думаешь делать?

«Неуступчив, как бык»,— решил Шиндель, прикусив от волнения нижнюю губу. Он медлил с ответом.

— Так что же ты думаешь делать?

— Тяжелый год,— выдавил из себя Шиндель.— Сорок шестой такой же был, а больше не упомню!

— Что ты намерен делать, хотелось бы мне знать!

— Я тебе рожу корма, что ли? — не выдержал Шиндель.

Вольни остановился. Он внимательно поглядел на Шинделя, и тот молча опустил голову. Шиндель чувствовал себя так, словно его ошпарили кипятком.

— Надо поговорить с людьми, посоветоваться,— тихо сказал Вольни,— мы на заводе, коли трудно приходится, всегда так делаем.

Взгляд его скользнул по полям и задержался на одиноком хуторе Гейзера.

— А там кто живет?

— Там? — Шиндель махнул рукой.— Гейзер! Враг до мозга костей!

— Как это враг?

— Кулак — тридцать гектаров!

— То есть как это враг, Шиндель? — Голос Вольни прозвучал резко и раздраженно.— Такой же враг, как Гриммбергер, а?

Шиндель невнятно пробормотал что-то и хмуро поглядел ему вслед.

Вольни прошел еще несколько шагов, к березе, которая стояла посреди поля в заросшей буйной травой ложбинке. Он опустился на землю и прислонился спиной к покрытому рубцами стволу.

— Ну, садись! — Он похлопал рукой по теплой земле.— Кажется, погода меняется. Я это обычно чувствую.

Шиндель покосился на Вольни, на его плотно сжатые побледневшие губы. По лицу Вольни скользили тонкие тени березовых ветвей. Солнечный луч, просеянный сквозь увядающую листву, бросал красноватые блики на его короткую сильную шею.

— Хочу объяснить тебе, а ты на меня напускаешься,— сказал Шиндель. Он сел рядом с Вольни, сорвал травинку и задумчиво начал грызть ее.— Гриммбергер и Гейзер — не одно и то же, я имею в виду — в классовом смысле. Но действуют они сообща. Одного поля ягода! Спелись!

— Что же тут удивительного? Куда деваться Гриммбергеру, если мы закрываем перед ним двери?

— Никто перед ним дверей не закрывал!

— А сегодня?

— Да чего там! Разве я не прав, что отказал ему в тракторе?

Вольни покачал головой.

— Не прав, председатель!

Шиндель выплюнул изгрызанную травинку. Он говорил с возрастающим волнением:

— Мы Гриммбергера лучше знаем. Землю, доставшуюся ему по реформе, он шагами вымерял. Черт возьми! Если бы мы не помешали, он вмиг превратился бы в кулака. Определенно. Норовил заграбастать все оставшиеся участки. А каждого, кто не очень-то преуспевал в хозяйстве, готов был лишить земли. Эта кулацкая душа даже из кошки деньгу вышибает.

Вольни весело рассмеялся.

— И нам не вредно бы поучиться из кошки деньгу вышибать!

— Та-а-ак! Ты это всерьез? — озадаченно воскликнул Шиндель,— ну и теория у тебя! Где это ты вычитал?

— Верно тебе говорю, Шиндель, надо нам этому поучиться! Иначе не будет от нас никакого проку. А Гриммбергера ты не раскусил.— Он коротко рассказал Шинделю, когда и где они познакомились.— Меня ранили. Вот сюда! — Он показал на бедро.— И Гриммбергер потащил меня к партизанам. А вскоре сам стал партизаном. Страшен в борьбе этот человек, непреклонен! Понимаешь?

Шиндель смотрел на Вольни как завороженный.

— Ты был солдатом?

— Из концлагеря попал прямо на фронт.

Шиндель взволнованно потер лоб.

— То, о чем ты сейчас говоришь, он забыл! Все забыл!

— Это забыть нельзя!

— Я знаю его лучше, поверь! С ним каши не сваришь!

— Мы должны увлечь его чем-нибудь, пробудить в нем интерес.

— Поживем — увидим. Но я тебе говорю: тяни быка за рога, он с места не сдвинется. А возьмешь дубинку, мигом пустится вскачь!

Вольни стряхнул с брюк рыжего муравья. У ног его улитка оставила слизистый, серебристый след. Вольни внимательно смотрел, как она, слегка покачиваясь, проползла между стебельками мелколепестника, беспокойно шевеля в воздухе рожками.

— Я предлагаю тебе переехать к Клейнману,— нарушил тишину Шиндель.— У них со старухой свой домик. Правда, вместо завтрака тебе предложат Библию, но это все же лучше, чем кулацкий хлеб.

— Я останусь там, где поселился,— сказал Вольни. Тихий шелест березовой листвы навевал сонливость.— Кстати, история с пекарней мне не нравится, председатель. Не нравится, и все тут!

— Нужен деревне хлеб или нет?

— Нужен, но...— Он посмотрел на Шинделя, заметил, что тот каблуками тяжелых ботинок, как норовистый конь копытами, прорыл две глубокие борозды в увязающей луговой дернине, и улыбнулся.

В тот вечер Вольни пришел домой усталый и с трудом дотащился до мансарды. Вместе с Шинделем он обошел все поля Шварцвальде и теперь имел полное представление о хозяйстве кооператива.

Руки и ноги у него словно налились свинцом, но голова оставалась ясной. Мысли бежали нескончаемой чередой. Ему было знакомо это состояние, когда измученное тело требует сна, а мозг ни на миг не перестает работать. И если веки все-таки закроются, тревожный сон наполнен пугающими видениями, в которых хаотично переплетаются картины дня: стада рогатого скота, молочные бидоны, загончики для поросят, луга и косогоры, пекарни, следы улиток на траве, ручьи, птицефермы, и при этом ни на секунду не затухает мысль. Тонкая пелена сна лишь прикрывает ее, но задушить не может. Вольни вздохнул, чувствуя, что ему предстоит беспокойная ночь.

Он отпер свою комнатушку и только взялся за ручку двери, как услышал за спиной громыхание жести. «Наверно, крысы,— подумал он,— или кошка». Не торопясь, повернулся на звук, и остановился, вглядываясь в сумерки. За развешенными для сушки овечьими шкурами показался Гриммбергер.

— Мышей ловишь? — с удивлением спросил Вольни.

Приподняв шкуры, Гриммбергер вынес два молочных бидона и ответил с вызывающей ухмылкой:

— Для вас! Подарок! А то Цанку придется в шапку доить.

Ошеломленный, Вольни отошел от двери.

— Крестьянин — и вдруг подарки делает! Это уж слишком, старик! Достаточно было бы и взаймы дать. А бидоны, должно быть, неплохие. Дай-ка посмотреть.

Он взял у все еще ухмыляющегося Гриммбергера бидон, внимательно оглядел его и, поставив на пол, ядовито заметил:

— Не стоит, старик. У нас в этих штуках молоко прокиснет. Право, нет смысла, дружище.

Вольни вошел в свою комнатушку и закрыл дверь. И в тот же миг услышал, как бидоны с грохотом полетели в угол, а из-за двери донесся голос Гриммбергера — казалось, так близко, что слышно было его дыхание:

— Вы еще меня вспомните! Все вы! Козу можно привести к козлу, но крестьянина в кооператив — никогда!

Едва коснувшись щекой прохладной подушки, Вольни, против ожидания, уснул глубоким, спокойным сном.

Вскоре Хельга позвала всех ужинать. Вольни не откликнулся. Девушка поднялась в мансарду, увидела, что он спит, осторожно накрыла его шерстяным одеялом и на цыпочках вышла из комнаты.

— Надо же ему что-нибудь поесть! — сказала мать.

— Не хочет — не надо,— буркнул Гриммбергер.

Он жевал вяло, без всякого аппетита. А когда взялся за трубку, женщины встали из-за стола. Гриммбергер закурил. Взгляд его то и дело возвращался к месту, где раньше сидел Вольни. «Ну и дела,— думал он,— вместо дружбы вон что получается». Гриммбергер нерешительно поднялся и пошел в конюшню кормить каурого. Делал он это очень обстоятельно. Лошадь благодарно уткнулась мягкой мордой в сено. Гриммбергер вздохнул: «Так, так, приятель... Мы с тобой пони-

маем друг друга. Ты мой единственный, настоящий...» Он часто разговаривал сам с собой бессвязными, отрывистыми фразами. Случалось, что кто-нибудь подслушивал его, тогда он испуганно замолкал.

Вернувшись домой, Шиндель уселся на табурет, кряхтя стянул запыленные сапоги, размотал портянки и с жалостью поглядел на стертые до крови ноги. Анка взяла сапоги у него из рук. Он печально кивнул и пробормотал:

— Видишь, вот он и приехал, этот Вольни!

Анка отнесла сапоги в сени. На ней была чистая блуза, туго облегавшая тяжелую грудь. Но он ничего не замечал.

— Нравится тебе,— спросила Анка из сеней,— Вольни-то?

— Он мне теперь покажет, где раки зимуют,— ответил Шиндель, меланхолически шевеля большим пальцем ноги.

Она погладила его рыжие волосы, жесткие от пыли.

— Ну не так уж все страшно!

— Поверь мне, это настоящий бык. Рога опустит и — того гляди — набросится!

Анка налила в таз теплой воды и с любовью подумала: «Как бы не так, Шиндель, упрямей тебя все равно не бывает!»

Она присела на корточки и поставила ему под ноги таз. Он посмотрел на нее сверху вниз, увидел ее белые, налившиеся груди и сказал с нежностью:

— Отдохни, старушка. За детьми присмотрю я!

Шиндель опустил ноги в воду, но тут же отдернул.

— Горячо! — прошипел он, вытянул губы и нетерпеливо свистнул.

Она встала и долила холодной воды. Он потер ноги одна о другую. «Опять ей пришлось целый день управляться одной! — подумал он.— А ведь она донашивает последние месяцы. Если б сказать об этом Вольни, он бы даже не понял. Такие люди этого не понимают. Может, у него вообще жены нет? А если есть, то какая она? Тихая и нежная, а по ночам в объятиях мягкая и теплая?»

— Почему ты ничего не рассказываешь? — спросила Анка.

— Да что там рассказывать? Трудно мне придется, очень трудно!

И тут же заговорил о Вольни, его походке, глазах, о дружбе с Гриммбергером. Старался не упустить ни одной детали и сам удивился, когда, выслушав его, Анка сказала:

— Но ты ведь хорошо о нем отзываешься! Он тебе как будто даже нравится! Тебе хочется чувствовать себя обиженным, а на самом-то деле все обстоит иначе. Забавно, правда?

(Продолжение следует)

ПАБЛО НЕРУДА

Камни Чили

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ

Перевод с испанского О. САВИЧА.

«Камни Чили» — новая книга Пабло Неруды, выпущенная им совместно с фотографом Антонио Кинтана в Аргентине. Каждому стихотворению соответствует фотография большого камня или группы камней. Стихи пронизывает единое ощущение камня, как символа длительности, как первичной материи, из которой возникает жизнь, чтобы затем кануть в нее же.

Это ощущение рождено, вероятно, грандиозностью и некоторой первобытностью американской природы и перекликается с космогонией индейцев. Неруда пишет об этом не впервые: с камней Америки, с «высот Макчу-Пикчу» начинается «Всеобщая песнь». Но раньше размышления о камне уводили поэта только назад, в глубь истории; теперь он представляет себе, как будет жить в камне после смерти.

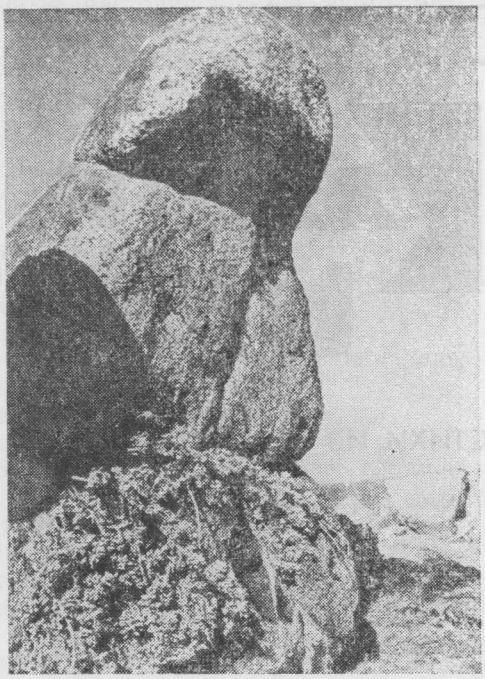
Дело тут, однако, вовсе не в одной личной судьбе. Поэт выбрал камень, потому что пейзаж его родины каменист, а Тихий океан продолжает трудиться над контурами Чили, и конца этому труду не будет. С другой стороны, камень всегда «играет» двумя образами, как гранями: это — бессердечие и стойкость, угнетение и сопротивление. В этом противопоставлении — социальный смысл книги. Однажды «большой стол из твердого камня» будет, наконец, накрыт для всех детей Чили, для всех детей земли. Пусть это случится, когда сам поэт уже станет камнем, и пусть это окажется для него «отдыхом от битвы, длительной, как время», иначе говоря, вечной победой свободы.

О. С.

Дом

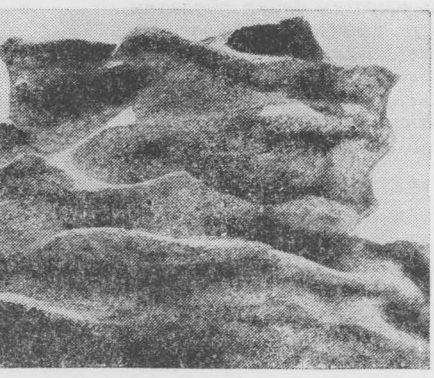
Быть может, это — дом, в котором жил я,
когда я не существовал и не было земли,
когда луной все было, или камнем, или тенью,
когда и свет недвижный не родился.
Тогда, быть может, этот камень был

мне домом, окнами или глазами.
Напоминает эта роза из гранита
о чем-то, что во мне когда-то жило
или
где жил я сам: пещеру,
космическую голову с космическими
снами,
сосуд, иль замок, иль корабль, или
рожденье.
Касаюсь стойкой напряженности
скалы,
как бастиона под ударами соленой
хляби,
и знаю: там остались трещины мои,
то складчатое вещество, что
поднялось
из глубины к моей душе.
Я знаю: камнем был я, камнем
буду; потому
касаюсь камня этого; он для меня
не умер,
он — то, чем был я, то, чем буду;
это — отдых
от битвы, длительной, как время.



Арфа

Одна лишь музыка... Ни перьев, ни волос,
ни молока, ни дыма, ни названий,
ни дня, ни ночи; но среди планет одна,
из тьмы рождаясь, музыка дрожала, словно
одеянье.
Огонь и холод вдруг сгустили каплю,
и создала вселенная свою пространную
витрину;
мохнатый пепел, лава и скользящая заря —
затвердевало все, как бы переселяясь в новый
облик;
среди небесной и недавней хляби
алмаз, оледенев, обосновался.
Тогда первоначальный звук,
единственная музыка на свете
замерзла и упала, превратившись
в звезду иль в арфу, в цитру иль в молчанье,
в камень.



А на чилийском берегу зимою, в холод,
когда неделю за неделей омывает дождь,
прислушайтесь: становится там музыкою
одиночество опять;
мне кажется тогда, что воздух, дождь и время,
что нечто с крыльями и волнами
проходит и растет. И арфа от забвенья
просыпается.

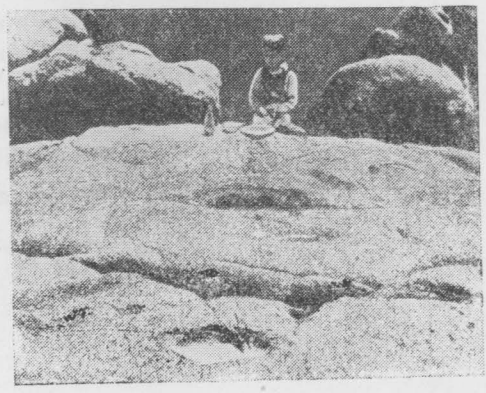
Я вернусь

Как-нибудь, мужчина иль женщина, путник,
потом, когда уж не будет меня,
вот здесь поищите меня,
между камнем и океаном,
в свете мятущейся пены.
Здесь ищите, ищите меня,
потому что сюда возвращусь я без слов,
без губ и без голоса, чистым;
сюда я вернусь, чтобы стать
движеньем воды,
ее дикого сердца;
здесь я затеряюсь, и здесь я найдусь,
здесь стану, быть может, молчаньем и камнем.

Портрет в скале

Я знал его хорошо, я годы с ним прожил;
сущность его была из камня и золота.
Это был человек усталый:
оставил он в Парагвае мать и отца,
детей и племянников,
дверь дома, и куриц,
и несколько книг раскрытых.
В дверь постучали.
Когда он открыл, полиция схватила его;
его так избивали,
что кровью он харкал во Франции, в Дании,
в Испании и в Италии—всюду, где проезжал.
Он умер. Лица его больше я не видал,
не слышал молчанья его глубочайшего больше.
Но в бурю, ночью, однажды,
когда снег, словно ткач,
горы чистой одеждой одел,
там, далеко, я ехал верхом,
я взглянул и друга увидел:
лицо его было из камня,
лоб был вызовом буре,
а ветер выл, прерывая
долгую жалобу преследуемого человека.
Там остановился изгнанник.
Живет он на родине,
превратившись в камень.

Большой стол из твердого камня



К каменному столу мы пришли,
дети Ло́ты и Ке́пе,
Китрату́э, Метре́нко,
Ранки́лько, Се́львы Оску́ра,
Юмбе́ля, Юнга́я, Осо́рно.*

* Населенные пункты Чили

Мы вместе садимся за стол,
за холодный стол всего мира,
но никто ничего не принес нам,
все уже кончилось,
все уже съедено.

Одно только блюдо ждет
на огромном твердом столе
всего мира с необъятною пустотой;
и все еще ждет одинокий ребенок.
Это он — правда сна и мечты,
это он — земная надежда.

Каменное сердце

Смотрите:
это было сердцем сирены.
Неизлечимо жестокая,
она выходила на берег,
причесывалась
и гадала на картах,
ругалась
и плевала на водоросли.
Она была воплощением
тех адских трактирщиц,
которые в сказках
убивают усталого путника.

Она убивала
своих любовников
и танцевала на волнах.

Так протекала
злодейская жизнь сирены,
но потом
свирепый любовник-моряк
погнался за ней
с гарпуном и гитарой
по всем волнам
дальше самых далеких архипелагов,
и, когда
уже в объятьях его
она склонила голову,
мореплаватель ей подарил
последний поцелуй
и справедливую смерть.

Тогда
сошли с корабля
мертвые капитаны,
обезглавленные этой
сиреной-изменницей;
ятаганом и шпагой,
вилкой и ножиком
вынули каменное сердце
из ее груди
и оставили у моря на якоре
для того, чтобы воспитывались
маленькие сирены
и научились
вести себя хорошо
с влюбленными моряками.

Ничего больше

Я с правдой был солидарен
в том, чтоб свет на земле воссоздать.

Я хотел быть общим, как хлеб,—
от борьбы я не уклонялся.

Но здесь я с тем, что любил,
с одиночеством, которое я потерял:
рядом с этим камнем я не отдыхаю.

Трудится море в молчанье моем.

ХАРПЕР ЛИ

Убить пересмешника...

РОМАН

Перевод с английского
Н. ГАЛЬ и Р. ОБЛОНСКОЙ

Юристы, наверно, тоже
когда-то были детьми.
Чарлз Лэм.

ЧАСТЬ I

Глава 1

Незадолго до того, как моему брату Джиму исполнилось тринадцать, он сломал руку в локте. Когда рука зажила, и Джим перестал бояться, что не сможет играть в футбол, он ее почти не стеснялся. Левая рука стала немного короче правой; когда Джим стоял или ходил, ладонь была повернута к боку ребром. Но ему это было все равно — лишь бы не мешало бегать и гонять мяч.

Через несколько лет, когда все это было уже дело прошлое, мы иной раз спорили о событиях, которые к этому привели. Я говорила — все пошло от Юэлов, но Джим, а он на четыре года старше меня, уверял, что все началось гораздо раньше. Началось с того лета, когда к нам приехал Дилл, сказал он,— Дилл первый придумал выманить из дому Страшилу Рэдли.

Я сказала, если добираться до корня, так все пошло от Эндрю Джексона. Если б генерал Джексон не прогнал индейцев племени Ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме,— и что бы тогда с нами было? Людям взрослым уже не пристало решать спор кулаками, и мы пошли и спросили Аттикуса. Отец сказал, что мы оба правы.

Мы южане; насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе*, и, признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдится. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона

* В 1066 г. при Гастингсе войска англо-саксонского короля Гарольда потерпели поражение, после чего норманский герцог Вильгельм I быстро завоевал страну и стал королем Англии.

Финча: он был лекарь и завзятый охотник родом из Корнуэлла, ужасно благочестивый, а главное, ужасный скряга. Саймону не нравилось, что в Англии людям, которые называли себя методистами, сильно доставалось от их более свободомыслящих братьев; он тоже называл себя методистом, а потому отправился через Атлантический океан в Филадельфию, оттуда в Ямайку, оттуда в Мобил и дальше в Сент-Стивенс. Памятуя, как сурово Джон Уэсли осуждал многоглаголание при купле-продаже, Саймон втихомолку нажил состояние на медицине, но при этом опасался, что не сможет устоять перед мирскими соблазнами — начнет, к примеру, рядиться в золото и прочую мишуру. И вот, позабыв другое наставление своего учителя — о тех, кто владеет людьми как орудиями,— он купил себе троих рабов и с их помощью завел ферму на берегу Алабамы, миль на сорок выше Сент-Стивенса. В Сент-Стивенс он вернулся только однажды, нашел себе там жену, и от них-то пошел род Финчей, причем рождались все больше дочери. Саймон дожил до глубокой старости и умер богачом.

Мужчины в нашей семье обычно так и оставались на ферме Саймона «Пристань Финча» и выращивали хлопок. Хоть «Пристань» и выглядела скромно среди окружавших ее поистине королевских владений, но давала все, что нужно для независимого существования; только лед, муку да одежду и обувь привозили пароходом из Мобила.

Распря между Севером и Югом, наверно, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков все, кроме земли; однако они остались земледельцами, и лишь в двадцатом веке семейная традиция нарушилась: мой отец Аттикус Финч поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину. На «Пристани Финча» осталась одна только их сестра Александра; она вышла замуж за тихоню, который целыми днями лежал в гамаке у реки и гадал, не попалась ли уже рыба на его удочки.

Закончив ученье, мой отец вернулся в Мейкомб и занялся адвокатской практикой. Мейкомб — это окружной центр милях в двадцати к востоку от «Пристани Финча». В здании суда у Аттикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматной доски да новенького Свода законов штата Алабама. Первые два клиента Аттикуса оказались последними, кого повесили в мейкомбской окружной тюрьме. Аттикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве, тогда великодушный закон сохранит им жизнь; но они были Хейверфорды, а кто же в округе Мейкомб не знает, что все Хейверфорды упрямы, как ослы. У этих двоих вышел спор с лучшим мейкомбским кузнецом из-за кобылы, которая забрела на чужой луг, и они отправили кузнеца на тот свет, да еще имели неосторожность сделать это при трех свидетелях, а потом уверяли, что так этому сукину сыну и надо, и воображали, будто это их вполне оправдывает. Они твердили, что не виновны в убийстве с заранее обдуманным намерением, и Аттикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам.

За первые пять лет жизни в Мейкомбе Аттикус не столько занимался адвокатской практикой, сколько практиковался в строгой экономии: все свои заработки он вложил в образование младшего брата. Джон Хейл Финч был на десять лет моложе моего отца и решил учиться на врача как раз в ту пору, когда хлопок так упал в цене, что его и выращивать не стоило; потом Аттикус поставил дядю Джека на ноги и вздохнул свободнее. Он любил Мейкомб, он был плоть от плоти округа Мейкомб, знал всех здешних жителей, и они его знали; а благодаря стараниям Саймона Финча Аттикус был если не в кровном родстве, так в свойстве чуть ли не со всеми семействами города.

Мейкомб — город старый, когда я его узнала, он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали и под ногами хлюпала рыжая глина; тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь: черным собакам приходилось плохо; на площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и костлявые мулы, впряженные в тележки, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к девяти утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в три часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота.

Люди в те годы двигались медленно. Разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали с расстановкой, не торопясь. В сутках было те же двадцать четыре часа, а казалось, что больше. Никто никуда не спешил, потому что идти было некуда, покупать нечего и денег ни гроша, и ничто не влекло за пределы округа Мейкомб. Но для некоторых это было время смутных надежд: незадолго перед тем округу Мейкомб объяснили, что ему нечего страшиться, кроме страха.

Наш дом стоял на главной улице жилой части города, нас было четверо — Аттикус, Джим, я и наша кухарка Кэлпурния. Мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой: он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый.

Кэлпурния была совсем другая. Вся из углов и костей, близорукая, и косила; и рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Кэлпурния вечно гнала меня из кухни и говорила — почему я веду себя не так хорошо, как Джим, а ведь она знала, что Джим старше; и она вечно звала меня домой, когда мне хотелось еще погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда кончались одинаково. Кэлпурния неизменно побеждала, больше потому, что Аттикус неизменно принимал ее сторону. Она жила у нас с тех пор, как родился Джим, и, сколько себя помню, я всегда ощущала гнет ее власти.

Мама умерла, когда мне было два года, так что я не чувствовала утраты. Она была из города Монтгомери, урожденная Грэм; Аттикус познакомился с нею, когда его в первый раз выбрали в законодательное собрание штата. Он был тогда уже пожилой, на пятнадцать лет старше ее. В первый год после их свадьбы родился Джим, после него через четыре года — я, а еще через два года мама вдруг умерла от разрыва сердца. Говорили, что это у Грэмов в роду. Я по ней не скучала, но Джим, наверно, скучал. Он хорошо помнил маму и иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала: лучше к нему не приставать.

Когда мне было около шести лет, а Джиму около десяти, нам летом разрешалось уходить от дома настолько, чтоб слышать, если Кэлпурния позовет: к северу — до ворот миссис Генри Лафайет Дюбоз (через два дома от нас), к югу — через три дома — до Рэдли. У нас никогда не было искушения перейти эти границы. В доме Рэдли обитало неведомое страшилище, стоило упомянуть о нем — и мы целый день были тише воды, ниже травы; а уж миссис Дюбоз была сущая ведьма.

В то лето к нам приехал Дилл.

Как-то рано утром мы с Джимом вышли играть на задворки, и вдруг в огороде у нашей соседки, мисс Рейчел Хейверфорд, среди грядок с капустой что-то зашевелилось. Мы подошли к проволочной изгороди поглядеть, не щенок ли это,— у мисс Рейчел фокстерьер должен был ощениться,— а там сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Над капустой торчала одна макушка. Мы стояли и смотрели. Потом он сказал:

— Привет!

— Сам ты привет,— вежливо ответил Джим.

— Я Чарлз Бейкер Харрис,— сказал коротенький.— Я умею читать

— Ну и что? — сказала я.

— Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо чего прочитать, так я могу...

— Тебе сколько? — спросил Джим.— Четыре с половиной?

— Скоро семь.

— Чего ж ты хвастаешь? — сказал Джим и показал на меня большим пальцем.— Вон Глазастик сроду умеет читать, а она у нас еще и в школу не ходит. А ты больно маленький для семи лет.

— Я маленький, но я уже взрослый.

Джим отвел волосы со лба, чтоб получше его разглядеть.

— Поди-ка сюда, Чарлз Бейкер Харрис. Господи, вот так имечко!

— Не смешней твоего. Тетя Рейчел говорит, тебя зовут Джереми Аттикус Финч.

Джим нахмурился.

— Я большой, мне мое имя подходит. А твое длинней тебя самого. На целый фут.

— Меня все зовут просто Дилл.— И Дилл полез под проволоку.

— Лучше бы сверху перелез,— сказала я.— Ты откуда взялся?

Дилл взялся из Меридиана, штат Миссисипи, он приехал на лето к своей тете мисс Рейчел и теперь всегда будет летом жить в Мейкомбе. Его родные все мейкомбские, мать работает в Меридиане в фотографии, она послала карточку Дилла на «Конкурс на самого красивого ребенка» и получила премию в пять долларов. Она отдала их Диллу, и он на эти деньги целых двадцать раз ходил в кино.

— У нас тут кино не показывают, только иногда в суде божественное,— сказал Джим. — А ты видал что-нибудь хорошее?

Дилл видел кино «Дракула», это открытие заставило Джима поглядеть на него почти с уважением.

— Расскажи,— попросил он.

Дилл был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны пуговицами пристегнуты к рубашке, волосы совсем белые и гладкие, как пух на утенке; он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели, вдруг он принимался хохотать во все горло; на лоб ему падала прядь волос, и он все время ее теребил.

Когда Дилл разделался с Дракулой, Джим сказал — похоже, что кино поинтереснее книжки, а я спросила, где у Дилла отец.

— Ты про него ничего не говорил.

— У меня отца нет.

— Он умер?

— Нет...

— Как же так? Раз не умер, значит, есть.

Дилл покраснел, а Джим велел мне замолчать — верный знак, что он изучил Дилла и решил принять его в компанию. После этого у нас на все лето установился свой распорядок. Распорядок был такой: мы перестраивали свой древесный домик — гнездо, устроенное в развилине огромного платана у нас на задворках; ссорились; разыгрывали в лицах подряд все сочинения Оливера Оптика, Виктора Эплтона и Эдгара Райса Бэрроуза. Тут Дилл оказался для нас просто кладом. Он играл все характерные роли, которые раньше приходилось играть мне: обезьяну в «Тарзане», мистера Крэбтри в «Братьях Роувер», мистера Деймона в «Томе Свифте». И притом мы убедились: Дилл, почти как волшебник Мерлин, — великий мастер на самые неожиданные выдумки, невероятные затеи и престранные фантазии.

К концу августа нам наскучило снова и снова разыгрывать одни и те же спектакли, и тут Дилл надумал выманить из дому Страшилу Рэдли.

Дом Рэдли совсем околдовал Дилла. Сколько мы его ни предостерегали, сколько ему ни толковали, этот дом притягивал его, как луна — море, но притягивал только до фонарного столба на углу, на безопасном расстоянии от ворот Рэдли. Тут Дилл застывал, обхватив рукой толстый столб, смотрел во все глаза и раздумывал.

Дом Рэдли стоял в том месте, где улица к югу от нас описывает крутую дугу. Если идти в ту сторону, кажется, вот-вот упрешься в их крыльцо. Но тут тротуар поворачивает и огибает их участок. Дом был низкий, когда-то крашен белой краской, с большой верандой и зелеными ставнями, но давным-давно уже облез и стал таким же грязно-серым, как и весь двор. Прогнившая дранка свисала с крыши веранды, густая листва дубов не пропускала солнечных лучей. Поредевшие колья забора, качаясь, как пьяные, ограждали двор перед домом — «чистый» двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной травой.

В этом доме обитал злой дух. Люди говорили, что он существует, но мы с Джимом никогда его не видели. Говорили, он выходит по ночам, когда нет луны, и заглядывает в чужие окна. Если вдруг похолодает и у кого-нибудь в саду померзнут азалии, значит, это он на них дохнул. Все мелкие тайные преступления, какие только совершаются в Мейкомбе,— это его рук дело. Как-то на город одно за другим посыпались непонятные и устрашающие ночные происшествия: кур, кошек и собак находили поутру жестоко искалеченными; и хотя виновником оказался Полоумный Эдди, который потом бросился в Заводь и утонул, все по-прежнему косились на дом Рэдли, словно не желая отказываться от первоначальных подозрений. Ни один негр не решался ночью пройти мимо этого дома — непременно перейдет на противоположный тротуар и начнет насвистывать для храбрости. Площадка для игр при мейкомбской школе примыкала к задворкам Рэдли; возле курятника у Рэдли росли высоченные пекановые деревья, и спелые орехи сыпались с ветвей на школьный двор, но никто к ним не притрагивался: орехи Рэдли ядовитые! Бейсбольный мяч, залетевший к Рэдли, пропадал безвозвратно, о нем никто и не заикался.

Тайна окутала этот дом задолго до того, как родились мы с Джимом. Перед семейством Рэдли были открыты все двери в городе, но оно держалось очень замкнуто — грех, в Мейкомбе непростительный. Рэдли не ходили в церковь, хотя в Мейкомбе это главное развлечение, а молились богу у себя дома; можно было пересчитать по пальцам случаи, когда миссис Рэдли днем выходила из дому, чтоб выпить чашку кофе с соседками, а на собраниях миссионерского общества ее не видали ни разу. Мистер Рэдли каждое утро в половине двенадцатого отправлялся в город и уже через полчаса возвращался, иногда с пакетом в руках: с покупками из бакалейной лавки, как догадывались соседи. Я так и не поняла, как старик Рэдли зарабатывал свой хлеб, Джим говорил, что он «скупает хлопок» (вежливый оборот, означавший «бьет баклуши»), но мистер Рэдли с женой и двумя сыновьями жили в нашем городе с незапамятных времен.

По воскресеньям двери и ставни у Рэдли были закрыты — тоже наперекор мейкомбскому обычаю: у нас закрывают двери только в холода или если кто-нибудь болен. А по воскресеньям полагается делать визиты: женщины ходят в корсетах, мужчины — в пиджаках, дети — в башмаках. Но никто из соседей в воскресный день не поднялся бы на крыльцо к Рэдли и не окликнул: «Привет!» Двери у них были сплошные. Я как-то спросила Аттикуса, были ли у них когда-нибудь стеклянные двери, и Аттикус сказал — да, но еще до того, как я родилась.

Рассказывали, когда младший сын Рэдли был подростком, он свел дружбу с Канингемами из Старого Сарэма — многочисленным и загадочным племенем, обитавшим на севере нашего округа, и впервые

за всю историю Мейкомба они сколотили что-то вроде шайки. Они не так уж много буянили, но и этого было довольно, чтобы о них судил и рядил весь город и три священника увещевали их с трех церковных кафедр: они шатались без дела возле парикмахерской, по воскресеньям ездили автобусом в Эбботсвил в кино; ходили на танцульки в известный всему округу игорный притон на берегу Алабамы — гостиницу «Капля росы и приют рыболова»; и даже пробовали пить виски. Ни один человек в Мейкомбе не отважился сказать мистеру Рэдли, что его сын связался с дурной компанией.

Однажды вечером, разойдясь больше обычного, мальчишки прикатили на главную площадь задом наперед на взятом у кого-то взаймы дрянном фордике, оказали сопротивление почтенному церковному старосте мистеру Коннеру, который пытался их задержать, и заперли его во флигеле для присяжных во дворе суда. Весь город решил, что этого им спустить нельзя; мистер Коннер заявил, что узнал всех до одного в лицо и так этого не оставит,— и вот мальчишки предстали перед судом по обвинению в хулиганстве, нарушении общественной тишины и порядка, оскорблении действием и сквернословии в присутствии женщин. Судья спросил мистера Коннера, откуда это последнее обвинение, и мистер Коннер сказал — ребята ругались так громко, что их наверняка слышали все женщины во всем Мейкомбе. Судья решил отправить мальчишек в ремесленное училище штата, куда иной раз посылали подростков просто для того, чтобы у них был кусок хлеба и крыша над головой, это была не тюрьма, и это не считалось позором. Но мистер Рэдли думал иначе. Если судья отпустит Артура, мистер Рэдли уж позаботится, чтоб Артур больше не доставлял хлопот. Зная, что у мистера Рэдли слово не расходится с делом, судья охотно отдал ему сына.

Другие мальчишки поступили в ремесленное училище и получили лучшее среднее образование, какое только можно получить в пределах нашего штата; один из них даже окончил потом высшее техническое училище в Оберне. Двери дома Рэдли были закрыты наглухо и по воскресеньям и в будни, и целых пятнадцать лет никто больше ни разу не видал младшего сына мистера Рэдли.

А потом настал день, который смутно помнил и Джим, когда несколько человек видели Страшилу Рэдли,— и о нем заговорили. По словам Джима, Аттикус не любил рассказывать о Рэдли, и, когда Джим про них спрашивал, Аттикус отвечал одно: занимайся своими делами, а в дела Рэдли не суйся, они тебя не касаются, но после того случая, говорит Джим, Аттикус покачал головой и сказал: «Гм-гм».

Почти все сведения Джим получил от нашей соседки мисс Стивени Кроуфорд, завзятой сплетницы, знавшей все подробности случившегося. По ее словам, Страшила сидел в гостиной, вырезал какие-то заметки из «Мейкомб трибюн» и наклеивал в альбом. В комнату вошел мистер Рэдли-старший. Когда отец проходил мимо, Страшила ткнул его ножницами в ногу, потом вытащил ножницы, вытер кровь о штаны и вновь принялся за свои вырезки.

Миссис Рэдли выбежала на улицу и закричала, что Артур их всех сейчас убьет, но, когда прибыл шериф, Страшила все так же сидел в гостиной и вырезал что-то из газеты. Ему было тогда тридцать три года.

Мисс Стивени сказала — мистеру Рэдли предложили отправить Страшилу на время в Таскалузу, это будет ему полезно, но старик сказал — нет, ни один Рэдли в сумасшедшем доме не сидел и сидеть не будет. Страшила не помешанный, просто он иногда бывает раздражительным. Подержать его под замком можно, а судить не за что, никакой он не преступник. Шериф не решился посадить Страшилу в тюрьму вместе с неграми, и его заперли в подвале здания суда.

Как Страшилу вновь перевели из этого подвала домой, Джим помнил очень смутно. Мисс Стивени Кроуфорд рассказывала — некоторые члены муниципалитета сказали мистеру Рэдли, что, если он не заберет Страшилу из подвала, тот зарастет плесенью от сырости и помрет. И потом, не может же Страшила весь век жить на средства округа.

Никто не знал, каким образом мистеру Рэдли удалось запугать Страшилу так, чтоб он не показывался на люди; Джим думал, что Страшила почти все время сидит на цепи, прикованный к кровати. Но Аттикус сказал — нет, не в том дело, можно и другими способами превратить человека в привидение.

Помню, изредка мне случалось видеть, как миссис Рэдли открывает парадную дверь, подходит к перилам веранды и поливает свои канны. А вот мистера Рэдли, когда он шагал в город и обратно, мы с Джимом видели каждый день. Он был худой, жилистый, глаза какие-то блеклые, даже не поймешь, какого они цвета. Торчат острые скулы, рот большой, верхняя губа тонкая, а нижняя толстая. Мисс Стивени Кроуфорд говорила, он уж до того прямой и правильный человек, что слушает одного только бога, и мы ей верили, потому что мистер Рэдли был прямой, как громоотвод.

С нами он не разговаривал. Когда он шел мимо, мы опускали глаза и говорили: «Доброе утро, сэр»,— а он в ответ только покашливал. Его старший сын жил в Пенсаколе; на рождество он приезжал домой, он был один из немногих, кто на наших глазах входил в этот дом или выходил из него. Люди говорили, с того дня, как мистер Рэдли взял Артура из подвала, дом словно вымер.

А потом настал день, когда Аттикус сказал — если мы станем шуметь во дворе, он нам задаст, и велел Кэлпурнии, чтоб мы не смели пикнуть, пока его не будет дома. Мистер Рэдли умирает.

Мистер Рэдли не торопился. Улицу по обе стороны от его дома перегородили деревянными ко́злами, тротуар посыпали соломой, все машины и повозки сворачивали в объезд. Доктор Рейнолдс всякий раз, приезжая к больному, оставлял свою машину возле нас и к дому Рэдли шел пешком. Мы с Джимом целыми днями ходили по двору на цыпочках. Наконец козлы убрали, и мы с крыльца смотрели, как мистер Рэдли отправился мимо нашего дома в последний путь.

— Вот хоронят самого подлого человека на свете,— проворчала себе под нос Кэлпурния и задумчиво сплюнула. Мы посмотрели на нее во все глаза: Кэлпурния не часто позволяла себе вслух судить о белых.

Все соседи думали — когда мистер Рэдли отправится на тот свет, Страшила выйдет на свет божий, но ошиблись: из Пенсаколы вернулся старший брат Страшилы и занял место отца. Разница была только в возрасте. Джим сказал — мистер Натан Рэдли тоже «скупает хлопок». Однако мистер Натан отвечал нам, когда мы с ним здоровались, и иногда он возвращался из города с журналом в руках.

Чем больше мы рассказывали Диллу про семейство Рэдли, тем больше ему хотелось знать, тем дольше он простаивал на углу в обнимку с фонарным столбом и тем дольше раздумывал.

— Интересно, что он там делает,— бормотал он.— Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.

— Он по ночам выходит, когда темно,— сказал Джим.— Мисс Стивени Кроуфорд говорит, раз она проснулась среди ночи, а он смотрит на нее в окошко... смотрит, а сам похож на мертвеца, голова точь-в-точь как череп. Дилл, а ты его не видал? Ты ночью не просыпался? Он ходит вот так,— и Джим зашаркал ногами по гравию.— Думаешь, почему мисс Рейчел так запирает на ночь все двери? Я сам утром сколько раз видал у нас на задворках его следы, а раз ночью слышим — он скребется в окно у заднего крыльца, Аттикус вышел, а его уже нет.

— Вот бы поглядеть, какой он,— сказал Дилл.

Джим нарисовал довольно похожий портрет Страшилы: ростом Страшила, судя по следам, около шести с половиной футов; ест он сырых белок и всех кошек, какие только попадутся, вот почему руки у него всегда в крови — ведь кто ест животных сырыми, тому век не отмыть рук. У него длинный кривой шрам через все лицо; зубы желтые, гнилые; он пучеглазый и слюнявый.

— Давайте выманим его из дому,— сказал Дилл.— Я хочу на него поглядеть.

Джим сказал:

— Что ж, если тебе жизнь надоела, поди и постучи к нему в парадную дверь, только и всего.

Наш первый налет состоялся, только когда Дилл поспорил с Джимом на книжку «Серое привидение» против двух выпусков «Тома Свифта», что Джим не посмеет сунуться в ворота Рэдли. Джим был такой: если его раздразнить, нипочем не отступит.

Джим думал три дня. Наверно, честь ему была дороже жизни, потому что Дилл его донял очень легко.

— Ты трусишь,— сказал он в первый же день.

— Не трушу, просто невежливо ломиться в чужой дом.

Назавтра Дилл сказал:

— Ты трусишь, тебе к ним во двор одной ногой и то не ступить.

Джим возразил, что он ведь сколько лет каждый день ходит в школу мимо Рэдли.

— Не ходишь, а бегом бегаешь,— сказала я.

Но на третий день Дилл добил его: он сказал Джиму, что в Меридиане люди похрабрее мейкомбских, он сроду не видал таких трусов, как в Мейкомбе.

Услыхав такие слова, Джим прошагал по улице до самого угла, прислонился к фонарному столбу и уставился на калитку, которая нелепо болталась на самодельной петле.

— Надеюсь, ты и сам понимаешь, Дилл Харрис, что он всех нас прикончит,— сказал Джим, когда мы подошли к нему.— Он выцарапает тебе глаза, и тогда не говори, что это я виноват. Помни, ты сам это затеял.

— А ты все равно трусишь,— кротко сказал Дилл.

Джим попросил Дилла усвоить раз и навсегда, что ничего он не трусит.

— Просто я никак не придумаю, как бы его выманить так, чтоб он нас не поймал.

И притом, Джим обязан помнить о своей младшей сестре.

Как только он это сказал, я поняла — он и вправду боится. Когда я один раз поспорила, что ему не спрыгнуть с крыши, он тоже вспомнил о своей младшей сестре: «Если я разобьюсь насмерть, что будет с тобой?» — спросил он тогда. Потом прыгнул с крыши, но не разбился — и больше не вспоминал, что он в ответе за свою младшую сестру, пока не оказался перед воротами Рэдли.

— Мы поспорили, а теперь ты на попятный, что ли? — сказал Дилл.— Если на попятный, то конечно...

— Дилл, такие вещи надо делать подумавши,— сказал Джим.— Дай минуту подумать... это все равно как заставить черепаху высунуть голову...

— А как ты ее заставишь? — поинтересовался Дилл.

— Надо зажечь у нее под пузом спичку.

Я сказала — если Джим подожжет дом Рэдли, я скажу Аттикусу.

Дилл сказал — поджигать черепаху гнусно.

— Ничего не гнусно, надо же ее убедить, ведь это не то что кинуть ее в огонь,— проворчал Джим.

— А почем ты знаешь, что от спички ей не больно?

— Дурак, черепахи ничего не чувствуют,— сказал Джим.

— А ты что, сам был черепахой?

— Ну, знаешь, Дилл!.. А теперь не мешай, дай подумать... Может, если мы начнем кидаться камнями...

Джим думал так долго, что Дилл пошел на уступки:

— Ладно, никакой это не попятный, ты только подойди к дому и дотронься рукой — и «Серое привидение» твое.

Джим оживился:

— Дотронуться — и все?

Дилл кивнул.

— Значит, все? — повторил Джим.— Смотри, а то я дотронусь, а ты сразу станешь орать — неправильно!

— Говорят тебе, это все,— сказал Дилл.— Он, наверно, как увидит тебя во дворе, сразу выскочит, тут мы с Глазастиком накинемся на него, собьем с ног и объясним, что мы ему ничего плохого не сделаем.

Мы перешли через улицу и остановились у ворот Рэдли.

— Ну, валяй,— сказал Дилл.— Мы с Глазастиком тут.

— Сейчас,— сказал Джим.— Не торопи меня.

Он зашагал вдоль забора до угла, потом обратно — видно, изучал несложную обстановку и решал, как лучше проникнуть во двор; при этом он хмурился и чесал в затылке.

Я смотрела, смотрела на него — и фыркнула.

Джим рывком распахнул калитку, кинулся к дому, хлопнул ладонью по стене и помчался обратно мимо нас, даже не обернулся поглядеть, что толку от его набега. Мы с Диллом мчались за ним по пятам. Благополучно добежали до нашей веранды и, пыхтя и еле переводя дух, оглянулись.

Старый дом стоял по-прежнему хмурый и унылый, но вдруг нам показалось, что в одном окне шевельнулась штора. Хлоп. Легкое, чуть заметное движение — и дом снова замер.

Глава 2

В начале сентября Дилл попрощался с нами и уехал к себе в Меридиан. Мы проводили его на пятичасовый автобус, и я ужасно скучала, но потом сообразила — через неделю мне в школу! Еще ничего в жизни я не ждала с таким нетерпением. Зимой я часами просиживала в нашем домике на платане, глядя на школьный двор, подсматривала за школьниками в бинокль Джима, изучила все их игры, не спускала глаз с красной куртки Джима, когда ребята играли в жмурки или в салки, втайне делила все их радости и неудачи. И ужасно хотела быть с ними вместе.

В первый день Джим снизошел до того, что сам отвел меня в школу, обычно это делают родители, но Аттикус сказал — Джим с удовольствием покажет мне мой класс. Наверно, тут совершилась выгодная сделка: когда мы рысцой огибали угол дома Рэдли, я услыхала необычный звук — в кармане у Джима позвякивали монетки. Перед школьным двором мы замедлили шаг, и Джим стал мне толковать, чтоб в школе я к нему не приставала, не просила разыграть главу «Тарзан и люди-муравьи», не докучала намеками на его личную жизнь и не ходила за ним хвостом в переменки. Мое место в первом классе, а место Джима — в пятом. Короче говоря, чтоб я не путалась у него под ногами.

— Что ж, нам с тобой больше нельзя играть вместе? — спросила я.

— Дома мы будем жить, как жили,— сказал Джим.— Но понимаешь, в школе не то, что дома.

Так оно и оказалось. В первое же утро наша учительница мисс Кэролайн Фишер вызвала меня и перед всем классом отлупила линейкой по ладони, а потом поставила в угол до большой перемены.

Мисс Кэролайн была молодая — двадцать один, не больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях. И лакированные туфельки на высоком каблуке, и красное платье в белую полоску. Она была очень похожа на мятную конфетку, и пахло от нее конфеткой. Она снимала верхнюю комнату у мисс Моди Эткинсон, напротив нас; и, когда мисс Моди нас с ней познакомила, Джим потом несколько дней ходил, как в тумане.

Она написала свое имя на доске печатными буквами и сказала:

— Тут написано, что меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Я из Северной Алабамы, из округа Уинстон.

Класс зашептался: у жителей тех мест характер известный, наверно, и мисс Кэролайн такая же. (Когда 11 января 1861 года штат Алабама откололся от остальных южных штатов, округ Уинстон откололся от Алабамы, в округе Мейкомб это знает каждый младенец.) В Северной Алабаме полным-полно водочных заводов, ткацких фабрик, сталелитейных компаний, республиканцев, профессоров и вообще людей без роду, без племени.

Для начала мисс Кэролайн стала читать нам вслух про кошек. Кошки вели друг с другом длинные беседы, ходили в нарядных платьицах и жили в кухне в теплом домике под печкой. К тому времени, как миссис Кошка позвонила в аптеку и заказала пилюли из сушеных мышей в шоколаде, весь класс так и корчился от смеха. Мисс Кэролайн, видно, было невдомек, что ее ученики — мальчишки в рваных рубашках и девчонки в платьях из мешковины, все, кто, едва научившись ходить, уже окапывает хлопок и задает корм свиньям,— не очень восприимчивы к изящной словесности. Дочитав до конца, она сказала:

— Какая милая сказка, не правда ли, дети?

Потом подошла к доске, огромными печатными буквами выписала на ней весь алфавит и, обернувшись к классу, спросила:

— Кто знает, что это такое?

Знали все: большинство сидело в первом классе второй год.

Наверно, мисс Кэролайн выбрала меня потому, что знала, как меня зовут; когда я стала читать все буквы подряд, меж бровей у нее появилась чуть заметная морщинка; потом она заставила меня прочитать вслух полбукваря и биржевой бюллетень из «Мобил реджистер», убедилась, что я грамотная, и посмотрела на меня уже с легким отвращением. И велела мне сказать отцу, чтобы он меня больше не учил, иначе это повредит моим школьным занятиям.

— Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн,— удивилась я.

Она улыбнулась и покачала головой.

— Аттикусу некогда меня учить,— прибавила я.— Знаете, он вечером всегда такой усталый, он только сидит в гостиной и читает.

— Если не он, так кто же тебя учил? — сказала мисс Кэролайн совсем не сердито.— Кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты.

— А Джим говорит — с пеленок. Он читал одну книжку, и там я была не Финч, а Пинч. Джим говорит, меня по-настоящему зовут Джин-Луиза Пинч, но, когда я родилась, меня подменили, а по-настоящему я...

— Не будем давать волю фантазии, деточка,— сказала она.— Итак, передай отцу, чтобы он больше тебя не учил. Учиться читать лучше на свежую голову. Скажешь ему, что теперь я возьмусь за тебя сама и постараюсь исправить зло...

— Как вы сказали, мэм?

— Твой отец не умеет учить. А теперь садись.

Я пробормотала, что прошу прощенья, села на свое место и начала думать, в чем же мое преступление. Я никогда не училась читать нарочно, просто как-то так выходило, что я каждый день без спросу рылась в газетах. А может, я научилась читать за долгие часы в церкви? Не помню, было ли такое время, когда я не умела читать псалмы. Если подумать, чтение пришло само собой, все равно как сама собой я научилась, не глядя, застегивать сзади комбинезон и не путаться в шнурках башмаков, а завязывать их бантом. Уж не знаю, когда именно строчки над движущимся пальцем Аттикуса стали делиться на слова, но, сколько себя помню, каждый вечер я смотрела на них и слушала последние новости, проекты новых законов, дневники Лоренцо Доу — все, что читал Аттикус, когда я перед сном забиралась к нему на колени. Пока я не испугалась, что мне это запретят, я вовсе не любила читать. Дышать ведь не любишь, а попробуй не дышать...

Понимая, что мисс Кэролайн мною недовольна, я решила не искушать судьбу и до конца урока смотрела в окно, а потом настала перемена, и весь первый класс высыпал во двор. Тут меня отыскал Джим, отвел в сторону и спросил, как дела. Я рассказала.

— Если б можно, я бы ушла домой. Джим, эта тетка говорит, Аттикус учил меня читать, так пускай больше не учит...

— Не горюй,— стал утешать меня Джим.— Наша учительница говорит, мисс Кэролайн преподает по новому способу. Ее этому выучили в колледже. Скоро во всех классах так будет. При этом способе по книжкам почти не учатся, вроде как с коровами: если хочешь узнать про корову, надо ее подоить, ясно?

— Ага, но я не хочу изучать коров, я...

— Как так не хочешь? Про коров надо знать, в нашем округе на них половина хозяйства держится.

Я только и спросила, не спятил ли он.

— Вот дуреха, я просто объясняю тебе, что первоклашек теперь учат по новому способу. Называется — «Десятичная система Дьюи».

Я никогда не подвергала сомнению истины, которые изрекал Джим, не усомнилась и теперь. «Десятичная система Дьюи» наполовину состояла в том, что мисс Кэролайн махала у нас перед носом карточками, на которых было выведено печатными буквами: КИТ, КОТ, ВОТ, ДОМ, ДЫМ. От нас, видимо, не требовалось никаких комментариев, и класс в молчании принимал эти импрессионистские откровения. Мне стало скучно, и я принялась писать письмо Диллу. На этом занятии меня поймала мисс Кэролайн и опять велела сказать отцу, чтоб он перестал меня учить.

— И кроме того,— сказала она,— в первом классе мы пишем только печатными буквами. А по-письменному будешь учиться в третьем классе.

Тут виновата была Кэлпурния. Наверно, иначе в ненастную погоду ей бы от меня житья не было. Она задавала мне урок: нацарапает на грифельной доске вверху все буквы подряд, положит рядом раскрытую Библию и велит переписывать главу. Если я выводила буквы похоже, она давала мне в награду кусок хлеба с маслом, густо посыпанный сахаром. Учительница она была строгая: она не часто бывала мною довольна, и я не часто получала награду.

— Все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки,— сказала мисс Кэролайн, и я не успела додумать, как еще меня обидела Кэлпурния.

Все городские ребята подняли руки, и мисс Кэролайн внимательно оглядела нас.

— Все, кто приносит завтрак с собой, достаньте его.

Неведомо откуда появились ведерки из-под патоки, и на потолке заплясали серебряные зайчики. Мисс Кэролайн ходила между рядами парт, заглядывала в ведерки и в бумажные пакеты и то одобрительно кивала, то слегка хмурилась. Возле парты Уолтера Канингема она остановилась.

— А где твой завтрак? — спросила она.

По лицу Уолтера Канингема каждый первоклассник сразу видел — у него глисты. А по его босым ногам сразу видно было, откуда это у него. Глисты бывают оттого, что ходишь босиком по хлеву и по грязи, где валяются свиньи. Будь у Уолтера башмаки, в первый день занятий он бы, конечно, их надел, а потом все равно ходил бы в школу босой до самых холодов. Зато на нем была чистая рубашка и старательно залатанный комбинезон.

— Ты сегодня забыл взять с собой завтрак? — спросила мисс Кэролайн.

Уолтер смотрел прямо перед собой. На его тощей щеке дергался мускул.

— Ты забыл сегодня завтрак? — опять спросила мисс Кэролайн.

У него опять дернулась щека.

— Угу,— пробормотал он наконец.

Мисс Кэролайн подошла к своему столу и достала кошелек.

— Вот тебе двадцать пять центов,— сказала она.— Поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.

Уолтер помотал головой.

— Нет, мэм, спасибо,— тихо сказал он.

В голосе мисс Кэролайн послышалось нетерпение.

— Поди сюда, Уолтер, и возьми деньги.

Уолтер опять помотал головой.

Когда он замотал головой в третий раз, кто-то прошептал:

— Скажи ей, Глазастик!

Я оглянулась и увидела, что почти все городские ребята и все загородные смотрят на меня. Мы с мисс Кэролайн уже дважды беседовали, и они все уставились на меня в простодушной уверенности, что из столь близкого знакомства рождается взаимопонимание.

Так и быть, надо объясниться за Уолтера. Я встала.

— Э-э... мисс Кэролайн...

— Что тебе, Джин-Луиза?

— Мисс Кэролайн, он Канингем.

И я села на место.

— Что такое, Джин-Луиза?

Мне казалось, я сказала очень ясно. Всем нам было ясно: Уолтер Канингем врет почем зря. Никакого завтрака он не забывал, никакого завтрака у него и не было. Сегодня нет, и завтра не будет, и послезавтра. Он, наверно, в жизни своей не видал трех четвертаков сразу.

Я сделала еще одну попытку.

— Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Канингемов.

— Не понимаю, Джин-Луиза. О чем ты говоришь?

— Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Канингемы никогда ничего не возьмут бесплатно — ни у прихода, ни у муниципалитета. Они ни у кого ничего не берут, обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся.

В нравах племени Канингемов — вернее, одной его ветви — я начала разбираться минувшей зимой. Отец Уолтера приходил к Аттикусу за советом. Однажды вечером они долго и скучно толковали в гостиной про ущемление прав, а потом, уходя, мистер Канингем сказал:

— Уж не знаю, мистер Финч, когда я смогу с вами расплатиться.

— Пусть вас это не заботит, Уолтер,— сказал Аттикус.

Я спросила Джима, что такое ущемление, он объяснил — когда тебе прищемят хвост, и тогда я спросила Аттикуса, сможет ли мистер Канингем когда-нибудь нам заплатить.

— Деньгами не сможет,— сказал Аттикус,— но до конца года он со мной рассчитается. Вот увидишь.

И мы увидели. Как-то утром мы с Джимом нашли на задворках гору хвороста для растопки. Потом на заднем крыльце откуда-то взялся целый мешок орехов. На рождество появилась корзинка остролиста. Весной мы нашли еще мешок молодой репы, и тут Аттикус сказал, что мистер Канингем заплатил ему с лихвой.

— Почему это он платит репой? — спросила я.

— Потому что иначе ему платить нечем. У него нет денег.

— А мы бедные, Аттикус?

Аттикус кивнул.

— Да, конечно.

Джим наморщил нос.

— Такие же бедные, как Канингемы?

— Ну, не совсем. Канингемы не горожане, а фермеры, по ним кризис ударил больнее всего.

Аттикус сказал — в городе многие люди бедны потому, что бедны фермеры. Округ Мейкомб — фермерский, докторам, адвокатам, зубным врачам каждый грош трудно достается. Ущемление прав — не единственная беда мистера Канингема. Та часть его земли, которой он имеет право распоряжаться, не спросясь совладельца, заложена и перезаложена, и жалкие гроши, которые он получает наличными, приходится отдавать в уплату процентов. Если бы мистер Канингем держал язык за зубами, его взяли бы на государственные строительные работы, но если он бросит свою землю, она пропадет, а он предпочитает голодать, но сохранить ее и притом голосовать, за кого хочет. Мистер Канингем — из породы непреклонных, сказал Аттикус.

У Канингемов нет денег заплатить юристу, вот они и платят, чем могут.

— А знаете, доктор Рейнолдс тоже так работает,— сказал Аттикус.— Когда рождается ребенок, он спрашивает с родителей меру картофеля. Мисс Глазастик, если вы подарите меня своим вниманием, я вам объясню, что значит ущемление прав. Джим иногда очень точно определяет, что к чему.

Если бы я могла так же просто и понятно объяснить все это мисс Кэролайн, я бы избежала кое-каких неприятностей и уберегла мисс Кэролайн от горького разочарования, но я не умела так хорошо объяснять, как Аттикус, поэтому я сказала:

— Мисс Кэролайн, вы Уолтера только зря срамите. У него дома нет четвертака, чтоб вам вернуть, а хворост вам ни к чему.

Мисс Кэролайн стала как вкопанная, потом схватила меня за шиворот и потащила к своему столу.

— Джин-Луиза, ты мне надоела,— сказала она.— Ты во всех отношениях плохо начинаешь, моя милая. Протяни руку.

Я думала, она сейчас плюнет мне на ладонь — в Мейкомбе только для этого и протягивают руку, это освященный веками обычай, так скрепляют у нас всякий уговор. Не совсем понимая, о чем же это мы с ней уговорились, я оглянулась на ребят, но весь класс в таком же недоумении смотрел на меня. Мисс Кэролайн взяла со стола линейку, раз пять или шесть легонько хлопнула меня по руке, а потом велела стать в угол. Тут только до ребят дошло, что мисс Кэролайн меня отлупила, и все покатились со смеху.

Мисс Кэролайн пригрозила им той же участью, и первый класс опять захохотал, отрезвило его только появление мисс Блаунт. Коренная жительница Мейкомба, пока еще не посвященная в тайны «Десятичной системы Дьюи», мисс Блаунт стала на пороге — руки в боки — и заявила:

— Если тут в классе еще кто-нибудь пикнет, всех взгрею, так и знайте! Мисс Кэролайн, из-за этого крика и шума шестой класс не может сосредоточиться на пирамидах.

В углу я стояла недолго. К счастью для мисс Кэролайн, зазвенел звонок, и все пошли завтракать. Я выходила последней и видела — мисс Кэролайн тяжело опустилась на стул и уронила голову на руки. Если б она обошлась со мной получше, я бы ее в эту минуту пожалела. Она была такая хорошенькая.

Глава 3

Я немного отвела душу — налетела во дворе на Уолтера Канингема и давай тыкать его в землю носом, но тут подошел Джим и велел его отпустить.

— Связалась с маленьким.

— Может, он еще постарше тебя,— сказала я.— Из-за него я плохо начала.

— Брось, Глазастик. За что ты его?

— У него не было завтрака.— сказала я и объяснила, как мне попало из-за Уолтерова питания.

Уолтер поднялся на ноги и молча слушал. Он слегка сжал кулаки, будто ждал — вот-вот мы оба на него накинемся. Я затопала было на него, чтоб он убирался, но Джим придержал меня за плечо. Внимательно оглядел Уолтера, потом спросил:

— Твой папа — мистер Уолтер Канингем из Старого Сарэма?

Уолтер кивнул.

Он был такой чахлый и тощий, будто отродясь не ел досыта, глаза голубые, как у Дилла Харриса, и слезятся, веки красные, а в лице ни кровинки, только кончик носа красный и мокрый. Он беспокойно теребил лямки комбинезона, дергал крючки.

Джим вдруг весело улыбнулся ему.

— Пойдем к нам завтракать, Уолтер,— сказал он.— Мы будем очень рады.

Уолтер просиял, но сразу опять насупился.

Джим сказал:

— Наш отец с твоим отцом друзья. А Глазастик — она просто шалая. Больше она тебя не тронет.

— Это еще как сказать,— возмутилась я. Чего ради Джим дает обещания, не спросясь меня? Но ведь драгоценное время уходит.— Ладно, Уолтер, я тебя лупить не буду. А ты фасоль любишь? Наша Кэл здорово стряпает.

Уолтер стоял столбом и кусал губы. Мы с Джимом уже махнули на него рукой и почти дошли до Рэдли, и тут он заорал вдогонку:

— Эй, я с вами!

Когда Уолтер нас догнал, Джим завел с ним светский разговор.

— Тут живет злой дух,— сказал он, показывая на дом Рэдли.— Слыхал про него?

— Как не слыхать,— ответил Уолтер.— В первый год в школе я чуть не помер — наелся орехов, говорят, он их нарочно отравит да и кидает через забор.

Сейчас, когда мы шли втроем, Джим вроде совсем не боялся Страшилы Рэдли. Даже расхвастался.

— Один раз я подошел к самому дому,— сказал он Уолтеру.

— Некоторые подойдут раз к самому дому, а потом мимо и то бегом бегают,— сказала я облакам в небе.

— Кто это бегает, мисс Придира?

— Ты бегаешь, когда один.

Пока мы дошли до нашего крыльца, Уолтер и думать забыл, что он Канингем. Джим побежал в кухню и сказал Кэлпурнии, чтоб поставила лишнюю тарелку: у нас гость. Аттикус поздоровался с Уолтером и завел разговор про урожай, а мы с Джимом ничего в этом не понимали.

— Я ведь почему сижу в первом классе, мистер Финч, мне каждую весну надо помогать отцу окапывать хлопок, но теперь у нас еще один подрос, тоже может работать на плантации.

— Вы за него заплатили меру картофеля? — спросила я.

Аттикус поглядел на меня и покачал головой.

Уолтер стал накладывать себе еду, и все время, к нашему с Джимом удивлению, они с Аттикусом разговаривали, как равные. Аттикус толковал что-то про фермерское хозяйство, и вдруг Уолтер прервал его и спросил, нет ли у нас в доме патоки. Аттикус позвал Кэлпурнию, и она принесла кувшин с патокой. Она стояла и ждала, пока Уолтер нальет себе. Уолтер стал лить патоку на овощное рагу и на мясо. Он бы, наверно, и в стакан с молоком налил, но тут я спросила, что это он делает.

Он быстро отставил кувшин, даже серебряная подставка звякнула, и зажал руки в коленях. И понурился.

Аттикус посмотрел на меня и опять покачал головой.

— Так ведь он весь свой завтрак утопил в патоке,— сказала я.— Он все залил...

Тут-то Кэлпурния потребовала меня в кухню.

Кэлпурния была в бешенстве, а в бешенстве она всегда начинала говорить неправильно. В спокойном состоянии она разговаривала ничуть не хуже самых грамотных людей в Мейкомбе. Аттикус говорил — Кэлпурния образованнее почти всех цветных.

Она поглядела на меня, скосив глаза, и морщинки между бровей стали заметнее.

— Может, кто ест и не так, как мы, а все одно за столом над ними не насмешничай,— яростно зашептала она.— Этот малый — твой гость, захочет — пускай хоть скатерть жует, а ты знай помалкивай — поняла?

— Да он не гость, Кэл, он просто Канингем...

— Не мели языком! Какое твое дело, кто он ни есть! Пришел в дом — значит, гость, и нечего нос задирать, смотри ты, какая важная выискалась! Родные твои, может, и получше Канингемов, да ты их только срамишь! Не умеешь вести себя за столом — ешь в кухне!

Увесистым шлепком Кэлпурния подтолкнула меня к дверям столовой. Я забрала свою тарелку и доела завтрак в кухне — хорошо хоть, не пришлось после такого унижения сидеть вместе со всеми. Кэлпурнии я сказала — ладно же, пускай только отвернется, вот пойду и брошусь в Заводь, тогда пожалеет. И потом, она уже меня сегодня втравила в беду, это все она виновата, зачем учила меня писать.

— А ну-ка помолчи,— сказала Кэлпурния.

Джим и Уолтер ушли в школу, не дождавшись меня — стоило задержаться и потом нестись одной во весь дух мимо дома Рэдли, лишь бы открыть Аттикусу глаза на злодейства Кэлпурнии.

— И вообще она любит Джима больше меня,— сказала я под конец и предложила Аттикусу сейчас же ее прогнать.

— А ты не замечаешь, что Джим доставляет ей вдвое меньше хлопот? — сурово сказал Аттикус.— Я не намерен расставаться с Кэлпурнией ни сейчас, ни после. Мы без Кэл дня прожить не можем, ты об этом когда-нибудь думала? Так вот, подумай, как она о тебе заботится, и изволь ее слушаться, поняла?

Я вернулась в школу и сидела и ненавидела Кэлпурнию, как вдруг мои мрачные мысли прервал отчаянный крик. Я подняла голову. Посреди класса стояла мисс Кэролайн, ее всю перекосило от ужаса. Видно, за перемену она немного пришла в себя и взялась учить нас дальше.

— Живая! Живая! — визжала она.

Все мальчишки разом кинулись ей на выручку. Господи, подумала я, мыши испугалась! Чарли Литл по прозвищу Коротышка, человек на редкость снисходительный и терпеливый, спросил:

— Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говорите скорей! Закрой-ка дверь,— велел он мальчишке, сидевшему за ним,— сейчас мы ее изловим. Скорей, мэм, скажите, куда она побежала?

Мисс Кэролайн показала трясущимся пальцем не на пол и не на свой стол, а на какого-то незнакомого мне верзилу. Коротышка нахмурился, но спросил мягко:

— Это вы про него, мэм? Ясно, он живой. Он вас напугал, что ли?

— Я иду мимо, а у него по волосам ползет... прямо по волосам ползет...— еле выговорила мисс Кэролайн.

Коротышка расплылся до ушей.

— Ничего страшного, мэм. Эка невидаль — вошка! Садитесь спокойно за свой стол и поучите нас еще малость.

Коротышка тоже, как многие мейкомбские жители, не знал, когда ему в следующий раз случится поесть, зато он был прирожденный джентльмен. Он взял мисс Кэролайн под локоть и отвел к учительскому столу.

— Вы не беспокойтесь, мэм,— сказал он.— Вошек бояться нечего. Сейчас я вам принесу воды попить.

Хозяина вошки весь этот переполох нимало не встревожил. Он почесал голову, нащупал непрошеную гостью и двумя пальцами извлек ее на свет божий.

Мисс Кэролайн не сводила с него расширенных от ужаса глаз. Коротышка принес ей воды в бумажном стаканчике, она с благодарностью выпила, и к ней наконец вернулся дар речи.

— Как тебя зовут, дружок? — кротко спросила она.

Верзила захлопал глазами.

— Кого, меня?

Мисс Кэролайн кивнула.

— Баррис Юэл.

Мисс Кэролайн заглянула в список.

— У меня тут числится Юэл, а имени нет. Как пишется твое имя?

— Не знаю. Дома меня зовут Баррис — и все.

— Ну хорошо, Баррис,— сказала мисс Кэролайн.— Я думаю, мы тебя на сегодня освободим от занятий. Поди домой и вымой голову.

Она достала из ящика стола толстую книгу, перелистала и с минуту читала про себя.

— Хорошее домашнее средство от... Баррис, поди домой и вымой голову дегтярным мылом. А потом протри кожу керосином.

— Для чего это?

— Чтобы избавиться от... от вшей. Понимаешь ли, Баррис, от тебя могут заразиться другие дети, ты ведь этого не хочешь, правда?

Баррис встал. Первый раз в жизни я видела, чтоб человек был такой грязный. Шея темно-серая, руки шелушатся, под ногтями траур. Умыта у него была только самая серединка лица, величиной в ладонь.

Раньше его никто не замечал — наверно, потому, что все утро класс развлекали мы с мисс Кэролайн.

— И пожалуйста, Баррис,— прибавила мисс Кэролайн,— прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну.

Верзила захохотал.

— Думаете, вы меня прогнали, хозяйка? Я сам уйду. На нынешний год я уже отучился.

Мисс Кэролайн посмотрела на него с недоумением.

— Что ты хочешь сказать?

Он не ответил, только презрительно фыркнул.

— Он из Юэлов, мэм,— объяснил кто-то из самых старших ребят, и я подумала — она все равно не поймет, не поняла же, когда я сказала про Канингемов. Но мисс Кэролайн слушала внимательно.— У нас полна школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают. В первый день — это их инспекторша заставляет, потому что грозится шерифом, а дальше она ничего не может. Она думает, в список их записала, в первый день в школу загнала — ну и по закону все в порядке. А вы потом круглый год отмечайте — мол, на уроках не был, и все...

— Но что же смотрят их родители? — удивилась мисс Кэролайн.

— Мать у них померла,— был ответ,— а отцу наплевать.

Баррису Юэлу этот разговор явно польстил.

— Я в первый класс третий год хожу,— гордо сказал он.— Коли изловчусь, так на тот год во второй переведут.

— Пожалуйста, садись, Баррис,— сказала мисс Кэролайн.

Вот тут она дала маху. До сих пор Юэл все терпел, а теперь разозлился.

— Как бы не так!

Коротышка встал.

— Отпустите его, мэм,— посоветовал он.— Он подлый парень, просто подлый. Еще заварит кашу, а у нас тут есть маленькие.

Коротышку самого-то было от земли не видать, но, когда Баррис Юэл обернулся к нему, он быстро сунул руку в карман.

— Ну-ну, полегче,— предостерег он,— а то ты у меня сдохнешь — не охнешь. Топай отсюда.

Баррис, кажется, испугался мальчонки вдвое меньше себя, и мисс Кэролайн воспользовалась его минутной растерянностью.

— Иди домой, Баррис,— сказала она.— Не то тебе придется иметь дело с директором. Так или иначе, я должна буду ему обо всем доложить.

Юэл фыркнул и лениво, нога за ногу, двинулся к выходу.

— И докладывай, черт с тобой! Нашлась училка сопливая, видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Это я сам ушел, так и запомни! Захотел — и ушел.

Он выждал еще минуту, уверился, что она плачет, и только тогда, лениво шаркая ногами, вышел вон из класса.

Мы все сгрудились вокруг учительского стола и, кто как мог, утешали мисс Кэролайн. Подлый этот Юэл... не по-честному... Таких и учить нечего... это не по-мейкомбски, мисс Кэролайн, наши так не поступают... да вы не горюйте, мэм... Мисс Кэролайн, может, вы нам еще почитаете? Вот про кошек было очень даже интересно...

Мисс Кэролайн улыбнулась, громко высморкалась, сказала: «Спасибо, мои милые», раскрыла книгу — и повергла весь первый класс в недоумение длиннейшим рассказом про жабу, которая почему-то жила в доме.

Когда мне в четвертый раз за этот день пришлось миновать дом Рэдли (и уже второй раз — галопом), настроение у меня было самое мрачное, под стать этому дому. Если весь школьный год будет так же насыщен бурными переживаниями, как первый день, это, пожалуй, даже

занятно, но если при этом целых девять месяцев нельзя будет ни читать, ни писать, так уж лучше я удеру.

Под вечер мой план был готов; когда мы побежали встречать Аттикуса, я даже не старалась перегнать Джима. Мы всегда встречали Аттикуса после работы и бежали к нему, как только он показывался из-за угла почты. Аттикус, видно, забыл, что днем я впала в немилость, и забросал меня вопросами о школе. Я отвечала нехотя, и он не стал настаивать.

Кэлпурния, видно, поняла, что у меня был тяжелый день, и позволила мне смотреть, как она собирает к ужину.

— Закрой глаза и открой рот,— сказала она.

Она не часто баловала нас хрустящими хлебцами, вечно говорила— некогда, но сегодня мы оба ушли в школу, и у нее-то день был легкий. Она знала, как я люблю хрустящие хлебцы.

— Соскучилась я,— сказала она.— В доме стало так пусто, пришлось часа в два включить радио.

— А почему? Мы с Джимом все равно дома не сидим, вот только если дождь...

— Ну да,— сказала Кэлпурния,— но если кликнуть, кто-нибудь да прибежит. Я полдня только и делаю, что вас кличу. Что ж,— прибавила она, поднимаясь с табурета,— пожалуй, я как раз успею подсушить хлебцы. А теперь беги, не мешай мне накрывать на стол.

Она наклонилась и поцеловала меня. Что это на нее нашло, подумала я на бегу. Видно, сама знает, что виновата, и хочет мириться. Всегда ко мне придиралась, а теперь поняла наконец, что это несправедливо, пожалела, а прямо сказать не хочет, потому что упрямая. За этот день я устала от незаслуженных обид.

После ужина Аттикус сел в кресло, взял газету и позвал:

— Будем читать, Глазастик?

Этого я уже не могла вытерпеть и ушла на веранду. Аттикус вышел следом.

— Что случилось, Глазастик?

Я сказала — мне нездоровится и, если он не против, я в школу больше не пойду.

Аттикус сел на качели, закинул ногу на ногу и сунул руку в кармашек для часов; он всегда уверял, что так ему лучше думается. Он молча, сочувственно ждал, и я решила укрепить свои позиции.

— Ты ведь не учился в школе — и ничего, ну и я не буду. Ты меня сам учи, вот как дедушка учил вас с дядей Джеком.

— Не могу,— сказал Аттикус.— Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сегодня магнезию, а завтра пойдешь учиться.

— Да нет, я здорова.

— Так я и думал. А что же случилось?

Слово за слово я рассказала ему про все мои злоключения.

— ...и она говорит, ты меня учил неправильно, и нам никогда-никогда больше нельзя читать. Пожалуйста, больше не посылай меня в школу, ну, пожалуйста!

Аттикус поднялся и пошел в другой конец веранды. Он долго и старательно изучал там ветку глицинии, потом вернулся ко мне.

— Прежде попробуй выучиться одному нехитрому фокусу, Глазастик,— сказал он.— Тогда тебе куда легче будет ладить с самыми разными людьми. Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения...

— Это как?

— Надо влезть в его шкуру и походить в ней.

Еще Аттикус сказал — я сегодня многому научилась, и мисс Кэро-

лайн тоже кое-чему научилась. Например, не предлагать Канингемам подаяния; но если бы Уолтер и я влезли в ее шкуру, мы бы поняли, что это она не в обиду, а по ошибке. Не может же она в один день привыкнуть ко всем мейкомбским обычаям, и не надо ее винить, если она чего-то не знает.

— Провалиться мне! — сказала я.— Вот я не знала, что ей не нравится, когда читают, а она меня винила... Слушай, Аттикус, мне совсем не надо ходить в школу! — вдруг догадалась я.— Я же тебе сказала про Барриса Юэла! Он приходит только в первый день. Инспекторша записывает его в список — и по закону все в порядке...

— Это не годится, Глазастик,— сказал Аттикус.— Иногда, в особых случаях, закон можно обойти. В твоем случае закон неумолим. Так что придется тебе ходить в школу.

— А почему Юэлу можно, а мне нельзя?

— Ну, слушай.

И Аттикус сказал — Юэлы всегда были позором для Мейкомба, уже целых три поколения. Сколько он помнит, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Вот на рождество, когда будем прибираться после праздника, он возьмет меня с собой и покажет, где и как они живут. Они живут не как люди, а как животные.

— Будь у них хоть на грош желания учиться, они всегда могли бы ходить в школу,— сказал Аттикус.— Можно, конечно, и силой их заставить, но это глупо — силой тащить таких людей, как Юэлы, туда, куда им не хочется...

— Так ведь если я завтра не пойду в школу, ты меня тоже силой потащишь.

— Довольно об этом,— сухо сказал Аттикус.— Ты такой же человек, как все, мисс Глазастик Финч. И веди себя, как положено по закону.

Он сказал — Юэлы не такие, как все, у них свои нравы. При некоторых обстоятельствах обыкновенные люди благоразумно предоставляют им кое-какие преимущества, попросту говоря — смотрят сквозь пальцы на некоторые их поступки. К примеру, позволяют Юэлам не ходить в школу. Или еще — Бобу Юэлу, отцу Барриса, разрешают стрелять дичь и расставлять силки даже не в охотничий сезон.

— Но это очень плохо, Аттикус! — сказала я.

В округе Мейкомб охота в неположенное время преследуется по закону, и все жители тоже не прощают виновникам.

— Да, конечно, это незаконно,— сказал мой отец,— и что это плохо — тоже верно. Но когда человек все пособие пропивает, его дети очень горько плачут от голода. Я не знаю у нас в округе такого землевладельца, который пожалел бы для этих детей зайца, даже если их отец и поймает его незаконно.

— А все-таки мистер Юэл нехорошо делает...

— Конечно, нехорошо, но он никогда не исправится. Разве от этого ты станешь осуждать и его детей?

— Нет, сэр,— пробормотала я. Потом сделала последнюю попытку: — Но если я буду ходить в школу, мы никогда больше не сможем читать...

— Это тебя сильно огорчает?

— Да, сэр.

Аттикус как-то по-особенному поглядел на меня, и я насторожилась.

— Ты знаешь, что такое компромисс? — спросил он.

— Это когда обходят закон?

— Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. К примеру, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?

— Да, сэр!

— Можно обойтись и без обычных формальностей,— сказал Аттикус, увидав, что я собираюсь плюнуть ему на ладонь.

Когда я уже отворила дверь, он сказал вдогонку:

— Кстати, Глазастик, в школе лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.

— А почему?

— Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

— Это как?

Мы с Джимом давно привыкли, что отец говорит языком завещаний и кодексов, и, если не понимали какого-нибудь выражения, всегда имели право перебить его и спросить, что это значит по-человечески.

— Я никогда не ходил в школу,— сказал Аттикус,— но боюсь, если мисс Кэролайн услышит, что мы с тобой каждый вечер читаем, она напустится уже на меня, а этого мне совсем не хочется.

Весь этот вечер мы с Джимом хохотали до упаду, потому что Аттикус с невозмутимым видом читал нам длинный рассказ про человека, который неизвестно почему уселся на флагшток и не хотел слезать, и после этого Джим решил всю субботу просидеть в нашем домике на платане. Он забрался туда после завтрака и не слезал до захода солнца, не слез бы и на ночь, но Аттикус перерезал коммуникации и прервал снабжение. Весь день я лазила на платан и бегала обратно в дом по поручениям Джима, таскала ему книжки, еду, питье, а когда несла на ночь одеяло, Аттикус сказал — если не обращать на Джима внимания, он слезет. И Аттикус был прав.

Глава 4

В школе дела мои и дальше шли не лучше, чем в первый день. В благих, но напрасных стараниях обучить меня «групповому действию» штат Алабама извел целые мили бумаги и вагоны карандашей, а грандиозный план никак не претворялся в жизнь. К концу моего первого учебного года то, что Джим называл «Десятичной системой Дьюи», распространилось уже на всю школу, так что мне не пришлось сравнить ее с другими методами преподавания. Но было и еще с чем сравнивать: Аттикус и дядя Джек когда-то учились дома, а знали все на свете — во всяком случае, чего не знал один, то знал другой. И ведь отца столько лет подряд выбирали в законодательное собрание штата и каждый раз единогласно, а он понятия не имел о хитроумных приемах, без которых, как полагали мои учителя, нельзя воспитать хорошего гражданина. Джима учили наполовину по «Десятичной системе», а наполовину по самой обыкновенной — просто заставляли ломать голову над трудными задачками, и он как будто неплохо действовал что в группе, что в одиночку; но по Джиму судить нельзя: еще не родился на свет человек, который придумал бы, как удержать его от чтения. Ну, а я знала только то, что вычитала из журнала «Тайм» и из всякой печатной странички, какая дома попадалась мне под руку, а в классе еле-еле тянула лямку, в которую нас впрягла новая педагогическая система, принятая округом Мейкомб, и все время мне казалось, что меня обкрадывают. Как и почему, я не понимала, но все-таки — зачем и кому это нужно, чтобы я двенадцать лет подряд умирала со скуки?

Весь этот год уроки у меня кончались на полчаса раньше, чем у Джима,— он учился до трех часов,— и я одна мчалась во весь дух мимо дома Рэдли и останавливалась только на нашей веранде, где мне уже ничто не грозило. Но однажды я на бегу заметила нечто такое, что задохнулась от неожиданности, огляделась по сторонам и повернула назад.

На самом краю участка Рэдли росли два виргинских дуба; корни их выползали на дорогу, она была вся неровная, горбатая. И вдруг в стволе одного дуба что-то блеснуло.

Из ямки, откуда выпал сучок, мне подмигивал, сверкая на солнце, комочек серебряной фольги. Я поднялась на цыпочки, еще раз торопливо оглянулась и вытащила два пакетика жевательной резинки без верхней бумажной обертки.

Я чуть было не сунула их сразу в рот, да вспомнила, где я. Побежала домой и уже на веранде осмотрела мою добычу. По виду резинка была совсем свежая. Понюхала — пахнет вкусно. Я лизнула резинку и подождала немножко. Осталась жива — и сунула всю ее в рот; это была «двойная мятная».

Пришел из школы Джим и сразу спросил, что это я жую и где столько взяла. Я сказала — нашла.

— Что найдешь, есть нельзя.

— Так ведь я не на земле нашла, а на дереве.

Джим недоверчиво хмыкнул.

— Нет, правда, — сказала я.— Вон на том дубе, который поближе к школе.

— Выплюнь сейчас же!

Я выплюнула. Все равно в жвачке почти уже не осталось никакого вкуса.

— Я полдня ее жую и еще не умерла, меня даже не тошнит.

Джим топнул ногой.

— Ты что, не знаешь, что те деревья даже трогать нельзя? Помрешь!

— Ты ведь тогда тронул стену!

— Это другое дело! Иди полощи горло сейчас же, слышишь?

— Не хочу, тогда весь вкус во рту пройдет.

— Не станешь полоскать — скажу Кэлпурнии.

Пришлось послушаться Джима — с Кэлпурнией связываться не хотелось. Почему-то с тех пор, как я пошла в школу, наши отношения совсем изменились: Кэлпурния уже не тиранила меня без всякой справедливости и не мешалась в мои дела, а только потихоньку на меня ворчала. А я иной раз шла на большие жертвы, лишь бы ее не сердить.

Близилось лето; мы с Джимом никак не могли его дождаться. Это была наша любимая пора: летом ночуешь на задней застекленной веранде на раскладушке или даже пробуешь спать в домике на платане; летом столько вкусного на огороде; и все вокруг под жарким солнцем горит тысячами ярких красок; а главное, лето — это Дилл.

В последний день учения нас отпустили из школы пораньше, и мы с Джимом шли домой вместе.

— Может, завтра приедет Дилл,— сказала я.

— Наверно, послезавтра,— сказал Джим.— Им ведь еще через Миссисипи переправляться.

Когда мы подошли к виргинским дубам на участке Рэдли, я показала пальцем на то дупло от сучка — может, хоть на сотый раз Джим поверит, что тут-то я и нашла жевательную резинку,— и вдруг опять увидела блестящую серебрушку.

— Вижу, Глазастик! Вижу...

Джим огляделся по сторонам, схватил аккуратный блестящий пакетик и сунул в карман. Мы побежали домой и на веранде стали разглядывать находку. В несколько слоев фольги от жевательной резинки была старательно завернута маленькая коробочка. В таких бывают венчальные кольца — бархатная, красная, с крохотной защелкой. Джим открыл ее. Внутри, одна на другой, лежали две начищенные до блеска монетки в пенни каждая. Джим оглядел их со всех сторон.

— Индейская голова,— сказал он.— Смотри, Глазастик, одна — тысяча девятьсот шестого года, а одна — тысяча девятисотого. Старинные!

— Тысяча девятисотого,— эхом повторила я.— Слушай, Джим...

— Погоди, дай подумать.

— Джим, по-твоему, это чей-нибудь тайник?

— Нет. Тут, кроме нас, никто и не ходит, только если кто-нибудь из больших...

— У больших тайников не бывает. Джим, ты думаешь, нам можно оставить их себе?

— Сам не знаю, Глазастик. Ведь неизвестно, кому их отдавать. Тут никто не ходит, я точно знаю... Сесил делает крюк через весь город.

Сесил Джейкобс жил в дальнем конце нашей улицы, в доме за почтой, и каждый день топал лишнюю милю, лишь бы не проходить мимо Рэдли и миссис Генри Лафайет Дюбоз. Миссис Дюбоз жила через два дома от нас; все соседи в нашем квартале сходились на том, что свет не знал другой такой мерзкой старухи. Джим ни за что не пошел бы мимо ее дома один, без Аттикуса.

— Как же нам быть, Джим?

Находку полагается хранить, пока не отыщется хозяин, и, только если не отыщется совсем, тогда она твоя. Сорвать иной раз камелию в саду мисс Моди Эткинсон, или в жаркий день глотнуть парного молока от ее коровы, или полакомиться чужим виноградом у нас вовсе не считалось нечестным, но деньги — дело другое.

— Знаешь что,— сказал Джим,— мы их сохраним до осени и тогда спросим всех ребят. Наверно, это кто-нибудь из загородных спрятал, а сегодня спешил после школы на автобус — и позабыл про них. Хозяин у них есть, уж это точно. Видишь, как он их начистил? Он их скопил.

— Ну ладно, а резинку он зачем прятал? Она ведь долго лежать не может.

— Не знаю, Глазастик. А только эти монетки, наверно, кто-то прятал со значением...

— Это как?

— Понимаешь, на них индейская голова... в общем, они от индейцев. Они заколдованные, понимаешь, и приносят счастье. И не то что на обед вдруг будет жареная курица, а настоящее — чтоб долго жить, или, там, быть всегда здоровым, или не провалиться на контрольной — в общем, вроде этого... и кто-то ими очень дорожит. Я их пока спрячу к себе в сундучок.

Но прежде чем пойти к себе, Джим еще долго глядел на дом Рэдли. Видно, опять думал.

Через два дня приехал Дилл, гордый и торжествующий: он сам ехал поездом от Меридиана до Мейкомбской узловой (эта станция только так называется, на самом деле она вовсе не мейкомбская, а округа Эббот), и там его встретила мисс Рейчел в единственном такси нашего города; и он обедал в вагоне-ресторане, и видел двух сиамских близнецов, они сошли с поезда в Бэй Сент-Луис; как мы на него ни кричали, он клялся, что все это чистая правда. Вместо ужасных голубых трусов, пристегнутых пуговицами к рубашке, он теперь носил настоящие короткие штаны и кожаный пояс; он не вырос, но стал как-то плотнее; и он сказал, что видел своего отца. Его отец выше нашего, и у него остроконечная черная борода, и он президент железнодорожной компании Луисвил-Нэшвил.

— Я немножко помогал машинисту,— сказал Дилл и зевнул.

— Так тебе и поверили,— сказал Джим.— Молчи уж лучше. Во что будем играть?

— В Тома, Сэма и Дика,— сказал Дилл.— Идем в палисадник.

Дилл хотел играть в братьев Роувер, потому что там все три роли

благородные. Ему явно надоело играть в наших представлениях характерные роли.

— Они мне надоели, — сказала я.

Мне надоела роль Тома Роувера, он посреди кино вдруг теряет память, и больше про него ничего не сказано, только в самом конце его находят где-то на Аляске.

— Придумай что-нибудь новое, Джим,— сказала я.

— Надоело мне придумывать.

Каникулы только начались, а нам уже все надоело. Что же это у нас будет за лето?

Мы поплелись в палисадник, Дилл выглянул на улицу и уставился на мрачный дом Рэдли.

— Я... чую... смерть,— сказал он. Я прикрикнула на него, но он стоял на своем:— Правда, чую.

— Это как? Кто-то умирает, а ты его можешь издали унюхать?

— Нет, не так: я понюхаю — и знаю, умрет этот человек или нет. Меня одна старушка научила.— Дилл вытянул шею и понюхал меня.— Джин... Луиза... Финч,— сказал он с расстановкой,— ты умрешь через три дня.

— Замолчи, а то я тебя так отлуплю, век будешь помнить. Вот как дам...

— Хватит тебе,— заворчал Джим.— Можно подумать, что ты веришь в жар-пар.

— А то, может, ты не веришь, — сказала я.

— Что это за жар-пар? — спросил Дилл.

— Знаешь, как бывает — идешь вечером по дороге, кругом никого нет, и вдруг попадаешь в жаркое место,— стал объяснять Джим.— Жар-пар — это если человек умер, а на небо ему не попасть, он и шатается по пустым дорогам, где никого нет, и если на него налетишь, после смерти сам будешь такой, будешь шататься по ночам и высасывать дух из живых людей...

— А как же его обойти?

— Никак не обойдешь, — сказал Джим. — Иногда он возьмет да и загородит всю дорогу. Но если непременно надо пройти, ты только скажи: «Жив, не помер, свет души, пропусти, не задуши». Тогда он не обвернется вокруг тебя и...

— Не верь ему, Дилл,— сказала я.— Кэлпурния говорит, это все просто негритянские сказки.

Джим грозно посмотрел на меня, но сказал только:

— Так что ж, будем мы сегодня играть или нет?

— Давайте кататься в колесе,— предложила я.

Джим вздохнул:

— Ты же знаешь, мне в него уже не влезть.

— Будешь толкать.

Я сбегала за дом, вытащила из-под заднего крыльца старую автопокрышку и прикатила в палисадник.

— Чур я первая,— сказала я.

Дилл сказал — лучше он будет первый, ведь он только приехал.

Джим рассудил нас: я буду первая, а Дилл покатается подольше, и я свернулась клубком внутри покрышки.

До последней минуты я не догадывалась, что Джим разозлился — как это я заспорила с ним про жар-пар — и только и ждал случая мне отплатить. Он толкнул колесо изо всей силы, и оно понеслось по тротуару. Земля, небо, дома в бешеном круговороте слились у меня перед глазами, в ушах шумело, я задыхалась. Высвободить руки и затормозить я не могла, они у меня были прижаты коленками к груди. Оставалась одна надежда — может, Джим обгонит меня, или колесо запнется о какой-

нибудь выступ на тротуаре. Я слышала — Джим с криком мчится вдогонку.

Колесо наскочило на кучу щебня, свернуло вбок, перекатилось через дорогу, с размаху стукнулось обо что-то, и я вылетела на мостовую, как пробка из бутылки. Было тошно, голова кружилась; лежа на асфальте, я затрясла головой, хлопнула ладонями по ушам, чтоб все стихло и стало на место, и услыхала крик Джима:

— Беги, Глазастик! Скорей!

Я подняла голову — передо мной было крыльцо Рэдли. Я так и застыла.

— Вставай скорей! — вопил Джим.— Беги сюда!

Уж не знаю, как я встала, ноги подкашивались.

— Захвати колесо! — орал Джим.— Тащи его сюда. Ошалела ты, что ли?

Наконец я вышла из оцепенения и побежала к ним, хоть у меня и дрожали коленки.

— А колесо?! — закричал Джим.

— Сам бери! — крикнула я в ответ.

Джим сразу замолчал.

— Поди да возьми, оно прямо за воротами. В тот раз ты даже стену тронул, помнишь?

Джим с яростью посмотрел на меня, но вывернуться не мог, побежал по тротуару, замешкался в воротах, потом ринулся во двор и вернулся с колесом.

— Видала? — он смотрел презрительно и торжествующе.— Раздва — и готово. Ей-богу, Глазастик, ты иногда ведешь себя как самая настоящая девчонка, даже противно.

Он кое-чего не знал, но я решила — не скажу.

В дверях появилась Кэлпурния и закричала:

— Лимонад пить! Идите скорей в тень, пока не изжарились живьем!

Летом так было заведено: когда солнце поднимется высоко, пить лимонад. Кэлпурния вынесла на веранду кувшин и три стакана и пошла заниматься своими делами. Я не особенно огорчалась, что Джим на меня злится. Выпьет лимонаду — и подобреет.

Джим проглотил залпом второй стакан и хлопнул себя по животу.

— Придумал! — объявил он.— Играем в новую игру, такой еще не бывало!

— Во что? — спросил Дилл.

— В Страшилу Рэдли.

Иногда я видела Джима насквозь: он придумал это, чтоб доказать мне, что он никаких Рэдли не боится, он храбрый герой, а я трусиха.

— В Страшилу Рэдли? Это как? — спросил Дилл.

Джим сказал:

— Глазастик будет миссис Рэдли...

— Это мы еще посмотрим,— начала я.— Во-первых...

— Ты чего? — сказал Дилл.— До сих пор боишься?

— А может, он выйдет ночью, когда мы все спим... — сказала я.

Джим присвистнул.

— Откуда ему знать, во что мы играем? И вообще его там, наверно, уже нет. Он умер сто лет назад, и они его запихали в каминную трубу.

— Давай с тобой играть, а Глазастик, если боится, пускай смотрит,— сказал Джиму Дилл.

Я прекрасно знала, что Страшила Рэдли сидит у себя дома, но доказать не могла, приходилось держать язык за зубами, а то опять скажут — я верю в жар-пар, а я среди бела дня про него и не думаю.

Джим распределил роли: я — миссис Рэдли, мое дело выходить и подметать крыльцо. Дилл — старик Рэдли: он ходит взад-вперед по

тротуару, а когда Джим с ним заговорит, он в ответ только кашляет. Джим, конечно, сам Страшила: он прячется под парадным крыльцом и время от времени визжит и воет.

Лето шло своим чередом и наша игра тоже. Мы ее отделывали и шлифовали, придумывали все новые диалоги и сюжетные повороты и наконец сочинили настоящую пьесу, которую разыгрывали каждый день на новый лад.

Дилл получался злодеем из злодеев: он всегда вживался в любую характерную роль и в решающие минуты, если надо, даже становился выше ростом. Он был достоин самых худших своих героев, а это были отпетые разбойники и варвары. Я без особой охоты исполняла все женские роли, какие включало в себя наше представление. На мой взгляд, оно было куда скучнее Тарзана, и все лето меня не оставляла тревога, хоть Джим и уверял, что Страшила Рэдли давно умер и ничего со мной не случится, ведь целый день и он и Кэлпурния под боком, а ночью и Аттикус дома.

Джим родился героем.

Обрывки сплетен и слухов, издавна повторявшихся в нашем квартале, мы связали в настоящую драму: миссис Рэдли когда-то была красавицей, но потом вышла замуж за мистера Рэдли и потеряла все свои деньги. Она потеряла также почти все зубы, волосы и указательный палец правой руки (это присочинил Дилл: однажды ночью, когда Страшиле не удалось поймать на обед ни одной белки и кошки, он отгрыз у матери палец); целыми днями она сидит в гостиной и плачет, а Страшила строгает ножом столы и стулья, и когда-нибудь в доме совсем не останется мебели, одни только стружки.

Потом мы все трое изображали мальчишек, попавшихся в хулиганстве; я для разнообразия играла роль судьи; Дилл уводил Джима, заталкивал его под крыльцо и тыкал в него шваброй. По ходу дела Джим вновь появлялся уже в роли шерифа, толпы горожан или мисс Стивени Кроуфорд, которая могла порассказать про семейство Рэдли больше всех в Мейкомбе.

Когда наступал черед коронного номера Страшилы, Джим прокрадывался в дом, улучив минуту, тайком от Кэлпурнии хватал из ящика швейной машины ножницы, возвращался на веранду, садился на качели и начинал резать газету. Дилл шел мимо и кашлял в сторону Джима, и Джим делал вид, что вонзает ножницы ему в бедро. С того места, где стояла я, все это вполне можно было принять за чистую монету.

Каждый день, когда мистер Натан Рэдли проходил мимо, направляясь по обыкновению в центр города, мы замолкали на полуслове и не двигались, пока он не скрывался из виду. Что бы он с нами сделал, если б заподозрил?.. Стоило появиться любому из соседей, и мы прерывали игру, но один раз я увидела — стоит напротив мисс Моди Эткинсон с садовыми ножницами в руках и, забыв про недостриженную живую изгородь, смотрит на нас во все глаза.

Однажды мы уж очень увлеклись, разыгрывая главу 25 тома второго нашего романа «Одно семейство», и не заметили, как вернулся к завтраку Аттикус — он стоял на тротуаре, похлопывал себя по колену свернутой в трубку газетой и смотрел на нас. Солнце поднялось высоко, был уже полдень.

— Что это у вас за игра? — спросил Аттикус.

— Ничего,— сказал Джим.

По его уклончивому ответу я догадалась, что наша игра — секрет, и не стала вмешиваться.

— А для чего тебе ножницы? И почему ты рвешь газету? Если это сегодняшняя, я тебя выдеру.

— Ничего.

— Что «ничего»?

— Ничего, сэр.

— Дай сюда ножницы,— сказал Аттикус.— Это не игрушка. Все это, случаем, не имеет отношения к Рэдли?

— Нет, сэр, — сказал Джим и покраснел.

— Надеюсь, что так,— коротко сказал Аттикус и ушел в дом.

— Джи-им...

— Молчи! Он пошел в гостиную, там все слышно.

Когда мы очутились в безопасности на задворках, Дилл спросил Джима: разве нам больше нельзя играть в Страшилу?

— Не знаю, Аттикус не сказал, что нельзя...

— Джим,— сказала я,— по-моему, Аттикус все равно все знает.

— Нет, не знает. А то бы он так и сказал.

Я вовсе не была в этом уверена, но Джим сказал — вся беда в том, что я девчонка, девчонки вечно воображают невесть что, поэтому их все терпеть не могут, и, если хочешь быть девчонкой, можешь убираться и играть с кем-нибудь другим.

— Ладно,— сказала я.— Можешь играть в Страшилу. Увидишь, что будет.

Что нас застал Аттикус — это была уже вторая причина, почему мне расхотелось играть. Первая появилась в тот день, когда я вкатилась в колесе во двор к Рэдли. Я трясла головой, меня мутило от воплей Джима, звенело в ушах, и все-таки я расслышала тогда еще один звук, совсем тихий, с тротуара его слышно не было. В доме кто-то смеялся.

Глава 5

Я так и знала, что дойму Джима, в конце концов ему это надоело, и, к моему великому облегчению, мы забросили игру в Страшилу. Правда, Джим уверял, что Аттикус вовсе ее не запрещал, стало быть, можно продолжать; а если бы Аттикус и запретил, есть выход: возьмем и назовем всех по-другому, и тогда нам никто ничего не сможет сказать.

Дилл очень обрадовался такому плану действий. Вообще Дилл чересчур обезьянничал, как будто мало было одного Джима. Еще в начале лета он сказал — выходи за меня замуж, но очень скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, и я его собственность — сказал, что всю жизнь будет любить одну меня, а потом и внимания не обращает. Я его два раза поколотила, но это не помогло, он только еще больше подружился с Джимом. Они с утра до вечера торчали в домике на платане, что-то затевали и выдумывали и звали меня, только когда им нужен был третий. Но я на время отошла от самых сумасбродных затей, хоть меня и могли за это обозвать девчонкой, и почти все оставшиеся летние вечера просиживала на крыльце у мисс Моди Эткинсон.

Нам с Джимом всегда позволяли бегать по двору мисс Моди при одном условии — держаться подальше от ее азалий, но отношения у нас с ней были какие-то неопределенные. Пока Джим с Диллом не начали меня сторониться, она для меня была просто соседка и соседка, только, пожалуй, добрее других.

По молчаливому уговору с мисс Моди, мы имели право играть у нее на лужайке, есть виноград (только не обрывать ветки с подпор) и пускаться в экспедиции по всему участку за домом — условия самые великодушные, и мы даже редко с нею заговаривали — боялись не-

чаянно нарушить хрупкое равновесие этих отношений; но Джим и Дилл повели себя так, что я поневоле сблизилась с мисс Моди.

Мисс Моди терпеть не могла свой дом: время, проведенное в четырех стенах, она считала загубленным. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон: когда копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон, а в пять часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы,— нарядная, красивая и величественная.

Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. Но было одно исключение. Стоило ей обнаружить у себя во дворе хоть один подорожник, и начиналась новая битва на Марне: мисс Моди устремлялась на врага с жестянкой и поливала его корни какой-то ядовитой жидкостью — мы непременно отравимся насмерть, если не будем держаться подальше, говорила она.

— А разве нельзя его просто выдернуть? — спросила я один раз, когда у меня на глазах разыгралось целое сражение с жалким росточком высотою едва в три дюйма.

— Выдернуть, детка? Ты говоришь, выдернуть? — мисс Моди подняла обмякший побег и провела по нему большим пальцем снизу вверх. Из него посыпались крохотные зернышки.— Да один такой побег может загубить целый огород. Смотри. Осенью семена подсохнут, и ветер разнесет их по всей округе!

Лицо у мисс Моди стало такое, словно речь шла по меньшей мере о чуме египетской.

Не в пример прочим жителям Мейкомба, мисс Моди всегда говорила живо и решительно. Каждого из нас она называла полным именем; когда она улыбалась, во рту у нее возле глазных зубов сверкали два крохотных золотых выступа. Однажды я стала восхищаться ими и сказала — может, когда вырасту, у меня тоже будут такие.

— Смотри! — сказала мисс Моди и, щелкнув языком, великодушно показала мне, как вынимается ее вставная челюсть, чем окончательно скрепила нашу дружбу.

Доброта мисс Моди распространялась и на Джима и Дилла в редкие минуты, когда они не были заняты своими таинственными делами; мы пожинали плоды талантов мисс Моди, прежде нам не известных. Никто во всем нашем квартале не умел печь такие вкусные пироги. С тех пор как между нами установились отношения полного доверия, она всякий раз, кроме большого пирога, пекла еще три маленьких и потом кричала через улицу:

— Джим Финч, Глазастик Финч, Чарлз Бейкер Харрис, подите сюда!

Мы тотчас являлись на зов и всегда бывали вознаграждены.

Летом сумерки долгие и тихие. Чаще всего мы с мисс Моди молча сидели вдвоем у нее на крыльце и смотрели, как заходит солнце и небо становится желтое, потом розовое, и ласточки летают совсем низко и скрываются за крышей школы.

— Мисс Моди,— сказала я раз в такой вечер,— как вы думаете, Страшила Рэдли еще жив?

— Его зовут Артур, и он жив,— сказала мисс Моди, медленно покачиваясь в большом дубовом кресле-качалке.— Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза? Прямо как в раю.

— Угу. А откуда вы знаете?

— Что именно, детка?

— Что Стра... мистер Артур еще жив?

— Какой мрачный вопрос. Впрочем, это, наверно, потому, что предмет мрачный. Я знаю, что он жив, Джин-Луиза, потому что я пока не видела, чтобы его вынесли из его дома.

— А может, он умер и его запихнули в каминную трубу.

— С чего ты взяла?

— Джим говорил.

— Гм-гм... Он с каждым днем становится все больше похож на Джека Финча.

Нашего дядю Джека Финча, брата Аттикуса, мисс Моди знала с детства. Почти ровесники, они вместе росли на «Пристани Финча». Отец мисс Моди, доктор Фрэнк Бьюфорд, был давний сосед Финчей. По профессии врач, по призванию садовод и огородник, он без памяти любил копаться в земле и потому остался бедняком. А дядя Джек этой своей страсти воли не давал, цветы растил только на подоконнике у себя в Нэшвиле и потому остался богатым. Каждый год на рождество дядя Джек приезжал к нам в гости и каждый год во все горло орал через улицу мисс Моди, чтоб она выходила за него замуж. А мисс Моди орала в ответ:

— Кричи громче, Джек Финч, чтоб на почте слышали, а то мне тебя не слыхать!

Нам с Джимом казалось, что это странный способ делать предложение, но дядя Джек вообще был со странностями. Он говорил — это он старается разозлить мисс Моди, сорок лет старается и все никак не разозлит, и мисс Моди нипочем бы за него не вышла, она только всегда его дразнит, и от ее насмешек одна защита — нападать, и все это нам казалось ясно и понятно.

— Артур Рэдли просто сидит у себя дома, только и всего,— объяснила мне мисс Моди.— Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?

— Ага, но мне все равно захотелось бы на улицу. А ему почему не хочется?

Мисс Моди прищурилась.

— Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.

— Но я не знаю, почему так. Мне никто не говорил.

Мисс Моди языком поправила вставную челюсть.

— Ты ведь знаешь, старик Рэдли был из баптистов, которые омывают ноги...

— Так ведь вы тоже из них?

— Я не такая твердокаменная, деточка. Я просто баптистка.

— А просто баптисты не моют ноги?

— Моют. У себя дома в ванне.

— А молитесь вы не так, как мы...

Наверно, мисс Моди решила, что проще объяснить приметы баптизма, чем символ веры.

— Баптисты, которые омывают ноги, всякое удовольствие считают за грех,— объяснила она.— Знаешь, один раз в субботу приехали они из лесу в город и давай кричать мне через забор, что я со своими цветами пойду прямо в ад.

— И цветы пойдут в ад?

— Да, мэм. Цветы будут гореть вместе со мной. Эти ногомойщики полагают, что я слишком много времени провожу под божьим небом и слишком мало сижу в четырех стенах над словом божиим.

Я вдруг увидела, как мисс Моди жарится в аду (а он у каждого протестанта свой), и сразу засомневалась, правду ли говорят в проповедях. Конечно, язык у мисс Моди злой, и она не так усердно занимается добрыми делами, как мисс Стивени Кроуфорд. Но только круглый дурак может доверять мисс Стивени, а мисс Моди человек надежный, это мы с Джимом знаем наверняка. Она никогда на нас не ябедничает, не лицемерит с нами, не сует нос в наши дела. Она нам друг.

Понять невозможно, почему такой разумный человек может быть осужден на вечные муки!

— Это неправильно, мисс Моди. Вы самая хорошая женщина на свете.

Мисс Моди широко улыбнулась.

— Благодарю вас, мэм,— сказала она.— Дело в том, что ногомойщики всякую женщину считают сосудом греха. Они, видишь ли, понимают Библию слишком буквально.

— И мистер Артур для того сидит дома, чтоб не видеть женщин?

— Понятия не имею.

— По-моему, это очень глупо. Если уж мистеру Артуру так хочется в рай, он бы хоть на крыльцо выходил. Аттикус говорит, бог велит любить людей, как себя...

Мисс Моди перестала раскачиваться в качалке.

— Ты еще слишком мала и не поймешь,— сказала она сурово,— но бывают люди, которые с Библией в руках опаснее, чем... чем твой отец с бутылкой виски.

— Аттикус не пьет виски! — возмутилась я.— Он сроду капли в рот не брал... ой, нет. Он сказал, что один раз попробовал виски, и ему не понравилось.

Мисс Моди рассмеялась.

— Я не то хотела сказать. Я говорю — если бы Аттикус Финч даже напился пьяным, он все равно не будет таким злым и грубым, как иные люди в самом лучшем своем виде. Просто есть такие люди, они... они чересчур много думают о том свете и потому никак не научатся жить на этом. Погляди на улицу, вон туда, и увидишь, что из этого получается.

— По-вашему, это правда — все, что говорят про Стра... про мистера Артура?

— Что именно?

Я рассказала.

— Это на три четверти негритянские сказки, а на четверть выдумки мисс Кроуфорд,— хмуро сказала мисс Моди.— Стивени Кроуфорд однажды даже рассказала мне, будто проснулась она среди ночи, а он смотрит на нее в окно. А я спросила: что же ты сделала, Стивени, подвинулась и дала ему место? Тогда она на время прикусила язык.

Еще бы не прикусить! Мисс Моди кого угодно заставит замолчать.

— Нет, девочка, это дом печали,— продолжала она.— Артура Рэдли я помню мальчиком. Что бы про него ни говорили, а со мною он всегда был вежлив. Так вежлив, как только умел.

— Вы думаете, он сумасшедший?

Мисс Моди покачала головой.

— Может, и нет, а должен бы за это время сойти с ума. Мы ведь не знаем толком, что делается с людьми. Что делается в чужом доме за закрытыми дверями, какие тайны...

— Аттикус со мной и с Джимом всегда одинаково обращается — что дома, что во дворе!

Я чувствовала, мой долг — вступиться за отца.

— О господи, девочка, да разве я о твоем отце! Я просто старалась объяснить, что к чему. Но уж раз о нем зашла речь, я тебе вот что скажу: Аттикус Финч всегда один и тот же, что у себя дома, что на улице. Я пекла торт, хочешь взять кусок с собой?

Я очень даже хотела.

Назавтра я проснулась и увидела Джима с Диллом на задворках, они о чем-то оживленно разговаривали. Я вышла к ним, а они опять свое — иди отсюда.

— Не пойду. Двор не твой, Джим Финч, двор и мой тоже. Я тоже имею право тут играть.

Дилл с Джимом наскоро посовещались.

— Если останешься, будешь делать все, как мы велим,— предупредил меня Дилл.

— Что это ты задаешься? Какой командир нашелся!

— Поклянись, что будешь делать, как велим, а то мы тебе ничего не скажем,— продолжал Дилл.

— Больно ты стал важный. Ладно уж, рассказывайте.

— Мы хотим передать Страшиле записку,— глазом не моргнув заявил Джим.

— Это как же?

Я старалась подавить невольный ужас. Мисс Моди хорошо говорить, она старая, и ей уютно сидеть у себя на крылечке. А мы — дело другое.

Джим собирался насадить записку на удочку и сунуть сквозь ставни в окно Рэдли. Если кто-нибудь пойдет по улице, Дилл зазвонит в колокольчик.

Дилл поднял руку — в ладони у него был зажат серебряный обеденный колокольчик моей матери.

— Я пойду с той стороны,— говорил Джим.— Мы вчера с улицы видели, там один ставень болтается. Может, я хоть на подоконник записку положу.

— Джим...

— Нет уж, мисс Придира, сама ввязалась, так нечего теперь на попятный!

— Да ладно, только я не хочу сторожить. Джим, знаешь, в тот раз кто-то...

— Нет, будешь сторожить. Ты обойдешь дом с тылу, а Дилл будет смотреть за улицей, если кто пойдет, он зазвонит. Поняла?

— Ладно уж. А что вы ему написали?

Дилл сказал:

— Мы его просим очень вежливо, пускай он иногда выходит из дому и рассказывает нам, что он там делает, и пускай он нас не боится, мы ему купим мороженого.

— Вы просто спятили, он нас всех убьет!

Дилл сказал:

— Это я придумал. По-моему, если он выйдет и посидит с нами немножко, ему станет веселее.

— А почем ты знаешь, что ему дома скучно?

— Попробовала бы ты сидеть сто лет взаперти и питаться одними кошками! Спорим, у него борода выросла вот до этих пор...

— Как у твоего папы?

— У моего папы нет бороды, он...— Дилл запнулся, словно припоминая.

— Ага, попался! — сказала я.— Раньше ты говорил — у твоего папы черная борода...

— А он ее летом сбрил, если хочешь знать! Могу показать тебе письмо. И еще он мне прислал два доллара...

— Ну да, рассказывай! Может, он тебе еще прислал кавалерийский мундир и саблю? Врунишка ты и больше никто!

Отродясь я не слыхала, чтоб кто-нибудь так врал, как Дилл Харрис. Среди всего прочего он семнадцать раз летал на почтовом самолете и побывал в Новой Шотландии, и видел живого слона, и его дедушка был сам бригадный генерал Джо Уилер, и он оставил Диллу в наследство свою шпагу.

— Молчите вы,— сказал Джим. Он слазил под крыльцо и выта-

щил желтое бамбуковое удилище.— Пожалуй, этим я достану с тротуара до окна?

— Если кто такой храбрый, что может пойти и дотронуться до стены, так и удочка ни к чему,— сказала я.— Пошел бы да постучал в парадное, только и всего.

— Это... другое... дело...— раздельно сказал Джим.— Сколько раз тебе повторять?

Дилл достал из кармана листок бумаги и подал Джиму. И мы осторожно двинулись к дому Рэдли. Дилл остановился на углу у фонаря, а мы с Джимом, не переходя улицу, по дальнему от дома тротуару завернули за угол. Я прошла мимо Джима и заглянула за следующий угол.

— Все спокойно,— сказала я.— Никого не видать.

Джим обернулся к Диллу, тот кивнул.

Джим привязал записку к удилищу и протянул его через палисадник к окну. Он тянулся изо всех сил, но удилище оказалось коротковато, не хватало несколько дюймов. Он все тыкал удилищем в сторону окна, наконец мне надоело смотреть издали, и я подошла к нему.

— Никак не закину записку,— пробормотал Джим.— В окно-то попадаю, а она там не отцепляется. Иди на улицу, Глазастик.

Я вернулась на свой пост и стала глядеть за угол на пустынную дорогу. Время от времени я оглядывалась на Джима, он терпеливо старался закинуть записку на подоконник. Она слетала наземь, и Джим снова тыкал удилищем в окно, и под конец я подумала — если Страшила Рэдли ее и получит, так прочитать не сможет. Я опять поглядела вдоль улицы, и вдруг зазвонил колокольчик.

Я круто обернулась — вот сейчас на меня кинется Страшила Рэдли с оскаленными клыками... но это был не Страшила, а Дилл, он тряс колокольчиком перед самым носом Аттикуса.

У Джима сделалось такое лицо, прямо смотреть жалко, и я уж ему не сказала «Говорила я тебе...» Нога за ногу он поплелся по тротуару, волоча за собой удилище.

— Перестань звонить,— сказал Аттикус.

Дилл зажал язычок колокольчика, стало тихо-тихо, я даже подумала, лучше бы он опять зазвонил. Аттикус сдвинул шляпу на затылок и подбоченился.

— Джим,— сказал он,— ты что здесь делаешь?

— Ничего, сэр.

— Не виляй. Говори.

— Я... мы только хотели кое-что передать мистеру Рэдли.

— Что передать?

— Письмо.

— Покажи.

Джим протянул ему грязный клочок бумаги. Аттикус с трудом стал разбирать написанное.

— Зачем вам нужно, чтобы мистер Рэдли вышел из дому?

— Мы думали, ему с нами будет весело...— начал Дилл, но Аттикус только взглянул на него, и он прикусил язык.

— Сын,— сказал Аттикус Джиму,— слушай, что я тебе скажу, повторять я не намерен: перестань мучить этого человека. И вы оба тоже.

Как живет мистер Рэдли — его дело, сказал Аттикус. Захочет он выйти на улицу — выйдет. Хочет сидеть дома — имеет на это право, и нечего всяким надоедам (а это еще очень мягкое название для таких, как мы) совать нос в его дела. Кому из нас понравится, если вечером перед сном Аттикус без стука вломится к нам в комнату? А ведь, в сущности, так мы поступаем с мистером Рэдли. Нам кажется, что мистер Рэдли ведет себя странно, а ему самому это вовсе не кажется странным.

Далее, не приходило ли нам в голову, что, когда хочешь что-нибудь сказать человеку, вежливее постучать в парадную дверь, а не лезть в окно? И последнее: пока нас не пригласят в дом Рэдли, мы будем держаться от него подальше и не будем играть в дурацкую игру, за которой Аттикус однажды нас застал, и поднимать на смех кого бы то ни было на нашей улице и вообще в нашем городе...

— Вовсе мы его не поднимали на смех,— сказал Джим.— Мы просто...

— Ах, значит, этим вы и занимались?

— Чем? Поднимали на смех?

— Нет,— сказал Аттикус.— Только разыгрывали историю его жизни на глазах у всех соседей.

Джим, кажется, даже возмутился.

— Не говорил я, что мы разыгрываем его жизнь! Не говорил!

Аттикус коротко усмехнулся:

— Вот сейчас и сказал. И чтоб больше вы все трое этими глупостями не занимались.

Джим смотрел на отца, разинув рот.

— Ты ведь, кажется, хочешь быть юристом? — Аттикус как-то подозрительно поджал губы, словно они у него расплывались.

Джим решил, что выкручиваться бесполезно, и промолчал. Аттикус ушел в дом за какими-то бумагами, которые он с утра забыл захватить с собой, и тогда только Джим сообразил, что попался на старую-престарую юридическую уловку. Он стоял на почтительном расстоянии от крыльца и дожидался, чтобы Аттикус вышел из дому и снова направился в город. И когда Аттикус отошел так далеко, что уже не мог услышать, Джим заорал ему вслед:

— Хотел быть юристом, а теперь еще подумаю!

Глава 6

— Хорошо,— сказал Аттикус, когда Джим спросил, можно ли нам посидеть с Диллом у пруда мисс Рейчел, ведь завтра Дилл уезжает.— Попрощайся с ним за меня, на будущий год летом мы его ждем.

Мы перепрыгнули через низенькую ограду между нашей подъездной дорожкой и двором мисс Рейчел. Джим крикнул перепелом, из темноты отозвался Дилл.

— До чего тихо, ни ветерка,— сказал Джим.— Глядите.

Он показал на восток. За садом мисс Моди вставала большущая луна.

— Даже кажется, что от нее жарко,— сказал Джим.

— Что на ней сегодня, крест? — спросил Дилл, не поднимая головы. Он мастерил из бечевки и обрывка газеты папиросу.

— Нет, просто женщина. Не зажигай эту штуку, Дилл, будет вонь на весь город.

Когда в Мейкомбе смотришь на луну, видно, что там женщина. Она сидит перед зеркалом и расчесывает волосы.

— Без тебя нам будет скучно,— сказала я Диллу.— Может, пойдем караулить мистера Эйвери?

Мистер Эйвери снимал комнату напротив миссис Генри Лафайет Дюбоз. По воскресеньям он с блюдом в руках собирал в церкви пожертвования; кроме этого он каждый вечер до девяти часов сидел на крыльце и чихал. Однажды вечером нам посчастливилось увидать одно представление — наверно, оно было единственное, сколько мы потом ни

караулили, оно не повторилось. Мы спускались с крыльца мисс Рейчел, как вдруг Дилл остановил нас:

— Ух, поглядите!

И показал через улицу. Сперва мы только и увидали заросшую глицинией веранду, а потом оказалось — из листвы бьет струя, описывает дугу и, наверно, за добрых десять футов оттуда падает на землю, в круг желтого света от уличного фонаря. Джим сказал — мистер Эйвери не попадает в яблочко, Дилл сказал — он, наверно, выпивает по бочке в день, заспорили, кто попадет дальше и ловчее, а я в этом состязании не участвовала, потому что не отличалась талантами в этой области, и опять почувствовала себя на отшибе.

Дилл потянулся, зевнул и сказал что-то чересчур небрежно:

— Придумал. Пошли гулять.

Так я ему и поверила! В Мейкомбе никто не ходит гулять просто так, без цели.

— А куда, Дилл?

Дилл мотнул головой в южном направлении.

— Ладно,— сказал Джим.

Я запротестовала было, но он сказал самым сладким голоском:

— А ты с нами не ходи, ангелочек, тебя никто не просит.

— И тебя не просят. Забыл, как...

Но Джим не любил вспоминать прежние неудачи: из всего, что сказал тогда Аттикус, он, видно, только и запомнил, как юристу нужно докапываться до правды.

— А мы ничего такого и не делаем, Глазастик, мы только дойдем до фонаря и обратно.

Мы молча брели по тротуару и прислушивались к скрипу качелей на соседских верандах, к тихим по-вечернему голосам взрослых на улице. Время от времени до нас доносился смех мисс Стивени Кроуфорд.

— Ну? — сказал Дилл.

— Ладно,— сказал Джим.— Шла бы ты домой, Глазастик.

— А вы что будете делать?

Они только собирались заглянуть в окно с оторванным ставнем — вдруг увидят Страшилу Рэдли? — а я, если не хочу идти с ними, могу сейчас же отправляться домой и держать свой длинный язык за зубами, вот и все.

— А почему это вам взбрело дожидаться нынешнего вечера?

Потому что вечером их никто не увидит, потому что Аттикус в это время по уши уйдет в книжку, и, если настанет конец света, он и то не заметит, и если Страшила Рэдли их убьет, так у них пропадут не каникулы, а учение и потому что в темном доме легче что-нибудь разглядеть темным вечером, а не средь бела дня, понятно мне это?

— Джим, ну, пожалуйста...

— В последний раз тебе говорю, Глазастик, не трепи языком или убирайся домой. Ей-богу, ты становишься самой настоящей девчонкой!

После этого у меня уже не оставалось выбора, и я пошла с ними. Мы решили подлезть под проволочную изгородь на задворках Рэдли, там не так опасно, что нас увидят. За изгородью с той стороны был большой сад и узкий деревянный сарайчик.

Джим приподнял нижнюю проволоку и махнул Диллу: пролезай. Я полезла следом и подержала проволоку, пока пролезал Джим. Он еле протиснулся.

— Только без шума,— прошептал он.— Да смотрите не наткнитесь на капусту, а то будет такой треск — мертвецы проснутся.

После таких наставлений я ползла, как черепаха. Потом увидела при свете луны, что Джим уже далеко и машет нам, и двинулась быст-

рей. Мы дошли до калитки, ведущей из сада в огород. Джим тронул ее. Калитка заскрипела.

— Плюньте на нее,— зашептал Дилл.

— Завел ты нас, Джим,— пробормотала я.— Как мы потом выберемся?

— Ш-ш. Плюй на петли, Глазастик.

Мы плевали, пока не пересохло во рту, потом Джим осторожно отворил калитку. Мы были на задворках.

С тыла дом Рэдли выглядел еще неприветливей, чем с фасада: во всю стену тянулась ветхая, полуразвалившаяся веранда, с двух сторон двери, между ними два темных окна. С одного края крышу веранды подпирал не столб, а неотесанное бревно. В углу стояла приземистая печурка; над нею висела вешалка для шляп, призрачно поблескивало зеркало, и в нем отражался лунный свет.

Джим тихо охнул и замер на одной ноге, не решаясь ступить второй.

— Чего ты?

— Куры...— шепнул он еле слышно.

Да, со всех сторон нас ждали невидимые препятствия. Дилл впереди тоже на что-то наткнулся и выдохнул: «О господи!» Мы проползли за угол дома, к окну с болтающимся ставнем. Заглянуть в окно Джим не мог — не хватало нескольких дюймов росту.

— Сейчас я тебя подсажу,— прошептал он Диллу.— Нет, погоди.

Он взял меня за руку, мы сделали из рук седло и подняли Дилла. Он ухватился за подоконник.

— Скорей,— прошептал Джим,— долго мы тебя не удержим.

Дилл стукнул меня по плечу, и мы опустили его на землю.

— Что видел?

— Ничего. Шторы. Но где-то там светится огонек.

— Пошли отсюда,— зашептал Джим.— Поворачиваем назад.

Ш-ш,— зашипел он, когда я хотела возразить.

— Попробуем с той стороны,— сказал Дилл.

— Не надо,— взмолилась я.

Дилл приостановился и пропустил Джима вперед. Джим хотел подняться на заднюю веранду, у него под ногой скрипнула ступенька. Он замер, потом осторожно передвинулся. Ступенька молчала. Через две следующих он занес ногу на веранду и чуть не потерял равновесие. Но все-таки не упал и осторожно опустился на колени. Подполз к окну, поднял голову и заглянул внутрь.

И тут я увидела тень. Тень человека в шляпе. Сперва я подумала — это дерево, но ветра не было, а стволы ходить не умеют. Веранда была залита лунным светом, и тень, четкая, будто вырезанная ножницами, направлялась к Джиму.

После меня ее увидел Дилл. Он закрыл лицо руками.

Потом тень упала на Джима, и он увидел ее. Он прикрыл голову руками и замер.

Тень остановилась в двух шагах от Джима. Подняла руки, потом опустила и замерла. Потом повернулась, опять прошла по Джиму, по веранде и скрылась за домом так же неслышно, как появилась.

Джим спрыгнул с веранды и кинулся к нам. Распахнул калитку, протолкнул в нее нас с Диллом и погнал между грядками скрипящей листьями капусты. На полдороге я споткнулась, и тут грянул выстрел.

Дилл и Джим растянулись на земле рядом со мной. Джим дышал, как загнанная лошадь.

— Через школьный двор... скорей, Глазастик!

Он придержал нижнюю проволоку; мы с Диллом перекатились на ту сторону и уже почти добежали до густой тени одинокого дуба на школьном дворе, спохватились, а Джима с нами нет. Побежали назад,

а Джим застрял в проволоке и старается вылезть из штанов. Наконец высвободился и в одних трусах побежал к дубу.

Но вот мы и за дубом. И хоть ноги больше не слушаются, Джим мигом соображает, что опасность не миновала:

— Надо скорее домой, а то нас хватятся.

Мы бежим по школьному двору, проползаем под изгородью на Олений луг, что за нашим домом, потом через вторую изгородь — к нам на задворки, на крыльцо, и тут Джим придерживает нас: можно передохнуть. Отдышавшись, мы с самым невинным видом проходим в палисадник. Выглядываем на улицу и видим — у ворот Рэдли собрались соседи.

— Пойдем туда,— сказал Джим.— А то они удивятся, где мы.

У своей калитки стоял мистер Натан Рэдли с дробовиком в руках. Перед ним на тротуаре — Аттикус, мисс Моди и мисс Стивени Кроуфорд, и в двух шагах от них мисс Рейчел и мистер Эйвери. Нас никто не заметил.

Мы тихонько подошли к мисс Моди, она оглянулась.

— А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали?

— Что случилось? — спросил Джим.

— В огород к мистеру Рэдли забрался негр, и мистер Рэдли в него стрелял.

— О-о. И попал?

— Нет,— сказала мисс Стивени,— он стрелял в воздух. Напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, у него второй ствол заряжен, и, если в огороде еще что-нибудь шелохнется, он будет бить прямо в цель, будь то собака, негр или... Джим Фи-инч!

— Что, мэм?

Тут заговорил Аттикус:

— Где твои штаны?

— Штаны, сэр?

— Да, штаны.

Что тут было говорить. Джим стоял перед всеми в одних трусах. Я тяжело вздохнула.

— Э-э... мистер Финч!

В ярком свете уличного фонаря я видела — Дилл готовится соврать: глаза у него расширились, пухлая ангельская рожица стала еще круглее.

— Что скажешь, Дилл? — спросил Аттикус.

— Я... я их у него выиграл,— туманно объяснил Дилл.

— Как так выиграл?

Дилл почесал в затылке, провел рукой по лбу.

— Мы там у пруда играли в раздевальный покер.

Мы с Джимом облегченно вздохнули. Соседям, видно, тоже все стало понятно: они так и застыли. Что это за покер такой?

Это осталось неясным, мисс Рейчел вдруг завопила, как пожарная сирена:

— О господи, Дилл Харрис! Играть у моего пруда в азартные игры? Вот я тебе покажу раздевальный покер!

Аттикус спас Дилла от немедленного увечья.

— Одну минуту, мисс Рейчел,— сказал он.— Я никогда раньше не слыхал, чтобы они занимались чем-либо подобным. Вы что же, играли в карты?

Джим очертя голову кинулся спасать положение:

— Нет, сэр, просто в спички.

Не всякий сумеет так найтись, как мой брат! Спички — штука опасная, но карты — верная погибель.

— Джим и Глазастик,— сказал Аттикус,— чтоб я больше не слышал ни о каком покере. Джим, поди с Диллом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами.

— Не бойся, Дилл,— сказал Джим, когда мы побежали прочь,— ничего она с тобой не сделает. Аттикус ее заговорит. А ты быстро сообразил. Слушай... слышишь?

Мы приостановились и услышали голос Аттикуса:

— ...ничего серьезного... все они проходят через это, мисс Рейчел...

Дилл успокоился, но нам с Джимом покоя не было. Откуда Джиму утром взять штаны?

— Я дам тебе какие-нибудь свои,— предложил Дилл, когда мы дошли до дома мисс Рейчел.

Джим сказал — спасибо, в твои мне не влезть. Мы попрощались, и Дилл ушел в дом. Потом, видно, вспомнил, что мы с ним помолвлены, выбежал опять и тут же при Джиме наскоро меня поцеловал.

— Пиши мне, ладно? — заорал он нам вдогонку.

Не останься Джим без штанов, мы бы все равно плохо спали в эту ночь. Я свернулась на своей раскладушке на задней веранде, и каждый ночной шорох казался мне оглушительным: зашуршит гравий у кого-то под ногами — это рыщет Страшила Рэдли, подгоняемый жаждой мести; засмеется где-то в темноте прохожий негр — это гонится за нами Страшила; ночные мотыльки бьются о стекло — это Страшила в бешенстве рвет проволочную изгородь; платаны надвигались на нас, живые, злобные. Долго я томилась между сном и явью, потом услышала шепот Джима:

— Трехглазка, ты спишь?

— Ты что, спятил?

— Ш-ш. У Аттикуса уже темно.

В слабом свете заходящей луны я увидела — Джим спустил ноги с кровати.

— Я пошел за штанами,— сказал он.

Я так и села.

— Не смей! Не пущу!

Джим торопливо натягивал рубашку.

— Надо.

— Только попробуй — и я разбужу Аттикуса.

— Только попробуй — и я тебя убью.

Я вцепилась в него и заставила сесть рядом со мной. Надо как-нибудь его отговорить.

— Мистер Натан утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он их принесет Аттикусу, ну и все, и ничего тут не сделаешь. Ложись.

— Это я все и сам знаю,— сказал Джим.— Потому и иду.

Меня даже затошнило. Вернуться туда одному... Как это сказала мисс Стивени: у мистера Натана второй ствол заряжен, и если в огороде шелохнется негр, собака или... Джим это понимал не хуже меня. Я чуть с ума не сошла от страха.

— Не надо, Джим, не ходи! Ну, выдерет Аттикус — это больно, но пройдет. А там тебя застрелят. Джим, ну пожалуйста!..

Джим терпеливо вздохнул.

— Понимаешь, Глазастик,— тихо сказал он,— сколько я себя помню, Аттикус меня ни разу не ударил. И мне неохота пробовать.

А ведь и правда. Аттикус только грозил нам чуть не каждый день.

— Значит, он ни разу тебя ни на чем таком не поймал.

— Может быть, но... мне неохота пробовать, Глазастик. Зря мы туда сегодня полезли.

Вот с этого часа, наверно, мы с Джимом и начали отдаляться друг от друга. Случалось, он и раньше ставил меня в тупик, но ненадолго. А этого я понять не могла.

— Ну, пожалуйста, не ходи! — упрашивала я.— Знаешь, как там будет страшно одному...

— Да замолчи ты!

— Ну, выдерет... ведь это не то, что он никогда больше не будет с тобой разговаривать или... Я его разбужу, Джим, честное слово, я...

Джим сгреб меня за ворот пижамы и чуть не задушил.

— Тогда я пойду с тобой...— еле выговорила я.

— Нет, не пойдешь, ты только наделаешь шуму.

Ну что с ним делать. Я отодвинула щеколду и держала дверь, пока он тихонько спускался с заднего крыльца. Было, наверно, часа два. Луна уже заходила, и перепутанные на земле тени становились неясными, расплывчатыми. Белый хвостик рубашки Джима то подскакивал, то нырял в темноте, точно маленький призрак, бегущий от наступающего утра. Я вся обливалась потом, но подул ветерок, и стало прохладно.

Наверно, он пошел в обход, по Оленьему лугу и через школьный двор, по крайней мере он двинулся в ту сторону. Это дальше, и волноваться еще рано. Я ждала — вот сейчас настанет время волноваться, вот грохнет дробовик мистера Рэдли. Потом как будто скрипнула изгородь. Но это только почудилось.

Потом послышался кашель Аттикуса. Я затаила дыхание. Иной раз, вставая среди ночи, мы видели — он еще читает. Он говорил, что часто просыпается по ночам, заходит поглядеть на нас, а потом читает, пока опять не заснет. Я ждала — вот сейчас он зажжет лампу — и вглядывалась, не просочится ли в коридор струйка света. Но было по-прежнему темно, и я перевела дух.

Ночные насекомые угомонились, но чуть подует ветерок — и по крыше барабанят платановые шишки, а где-то вдалеке лают собаки, и от этого в темноте совсем уж тоскливо и одиноко.

Вот и Джим возвращается. Белая рубашка перескочила через ограду и становится все больше. Вот он поднялся по ступеням, задвинул щеколду, сел на кровать. Не говоря ни слова, показал найденные штаны. Потом лег и некоторое время я слышала, как трясется его раскладушка. Скоро он затих. Больше я его не слышала.

Глава 7

Целую неделю Джим был мрачный и молчаливый. Я попробовала влезть в его шкуру и походить в ней, как посоветовал мне тогда Аттикус; если бы мне пришлось в два часа ночи пойти одной во двор к Рэдли, назавтра бы меня хоронили. Поэтому я оставила Джима в покое и старалась ему не надоедать.

Начались занятия в школе. Второй класс оказался не лучше первого, даже хуже: у нас перед носом опять махали карточками и не позволяли ни читать, ни писать. По взрывам хохота за стеной можно было судить, как подвигается дело в классе у мисс Кэролайн; впрочем, там осталась целая команда вечных второгодников, и они помогали наводить порядок. Одно хорошо: теперь у меня было столько же уроков, сколько у Джима, и обычно в три часа мы шли домой вместе.

Один раз возвращаемся мы через школьный двор домой, и вдруг Джим заявляет:

— Я тебе еще не сказал одну вещь.

За последние несколько дней он мне и двух слов кряду не сказал, надо было его подбодрить.

— Про что это? — спросила я.

— Про ту ночь.

— Ты мне про ту ночь вообще ничего не говорил.

Джим отмахнулся, как от комара. Помолчал немного, потом сказал:

— Я тогда вернулся за штанами... когда я из них вылез, они совсем запутались в проволоке, я никак не мог их отцепить. А когда вернулся...— Джим шумно перевел дух.— Когда вернулся, они висели на изгороди, сложенные... как будто ждали меня.

— Висели на...

— И еще...— Джим говорил очень ровным голосом, без всякого выражения.— Вот придем домой, я тебе покажу. Они были зашиты. Не как женщины зашивают, а как я бы сам зашил. Вкривь и вкось. Как будто...

— ...как будто кто знал, что ты за ними придешь.

Джим вздрогнул.

— Как будто кто прочитал мои мысли... и знал, что я буду делать. Ведь никто не может заранее сказать, что я буду делать, для этого надо знать меня самого, правда, Глазастик?

Он говорил очень жалобно. Я решила его успокоить:

— Этого никто не может сказать заранее, только свои, домашние. Даже я и то иногда не знаю, что ты будешь делать.

Мы шли мимо нашего дерева. В дупле от выпавшего сучка лежал клубок бечевки.

— Не трогай, Джим,— сказала я.— Это чей-то тайник.

— Не похоже, Глазастик.

— Нет, похоже. Кто-нибудь вроде Уолтера Канингема приходит сюда в большую перемену и прячет разные вещи, а мы их у него отнимаем. Знаешь, давай не будем ничего трогать и подождем два дня. Если никто не возьмет, тогда возьмем мы, ладно?

— Ладно, может, ты и права,— сказал Джим.— Может, какой-нибудь малыш прячет тут свои вещи от больших. Ты заметила, в каникулы тут ничего не бывает.

— Ага,— сказала я,— но летом мы тут и не ходим.

Мы пошли домой. На другое утро бечевка была на том же месте. На третий день Джим взял ее и сунул в карман. С тех пор все, что появлялось в дупле, мы считали своим.

Во втором классе можно было помереть со скуки, но Джим уверял, что с каждым годом будет лучше — у него сперва было так же, только в шестом классе узнаешь что-то стоящее. Шестой класс ему, видно, с самого начала понравился; он пережил короткий Египетский период — старался делаться плоским, как доска, одну руку выставлял торчком перед собой, другую заводил за спину и на ходу ставил одну ступню перед другой, а я смотрела на все это разинув рот. Он уверял, будто все древние египтяне так ходили; я сказала — тогда непонятно, как они ухитрялись еще что-то делать, но Джим сказал — они сделали куда больше американцев, они изобрели туалетную бумагу и вечное бальзамирование, и что бы с нами было, если б не они? Аттикус сказал мне — вычеркни прилагательные, и тогда все выйдет правильно.

В Южной Алабаме времена года не очень определенные: лето постепенно переходит в осень, а за осенью иногда вовсе не бывает зимы — сразу наступают весенние дни, а за ними опять лето. Та осень была долгая и теплая, даже почти не приходилось надевать куртку. Как-то в

погожий октябрьский день мы с Джимом быстро шагали знакомой дорогой, и опять пришлось остановиться перед нашим дуплом. На этот раз в нем виднелось что-то белое.

Джим предоставил мне хозяйничать, и я вытащила находку. Это были две куколки, вырезанные из куска мыла. Одна изображала мальчика, на другой было что-то вроде платья.

Я совсем забыла, что колдовство бывает только в сказках, взвизгнула и отшвырнула фигурки.

Джим мигом их поднял.

— Ты что, в уме? — прикрикнул он и стал стирать с куколок рыжую пыль.— Смотри, какие хорошие. Я таких никогда не видал.

И он протянул мне фигурки. Это были точь-в-точь двое детей. Мальчик — в коротких штанах, клок волос падает до самых бровей. Я поглядела на Джима. Прядь каштановых волос свисала от пробора вниз. Прежде я ее никогда не замечала.

Джим перевел взгляд с куклы-девочки на меня. У куклы была челка. У меня тоже.

— Это мы,— сказал Джим.

— По-твоему, кто их сделал?

— Кто из наших знакомых вырезывает?

— Мистер Эйвери.

— Он совсем не то делает. Я говорю — кто умеет вырезывать фигурки?

Мистер Эйвери изводил по полену в неделю: он выстругивал из полена зубочистку и потом жевал ее.

— И еще кавалер мисс Стивени Кроуфорд,— подсказала я.

— Верно, он умеет, но ведь он живет за городом. Ему на нас и смотреть-то некогда.

— А может, он сидит на веранде и смотрит не на мисс Стивени, а на нас с тобой. Я бы на его месте на нее не смотрела.

Джим уставился на меня не мигая, и наконец я спросила, что это он, но он ответил только — ничего, Глазастик. Дома он спрятал кукол к себе в сундучок.

Не прошло и двух недель, как мы нашли целый пакетик жевательной резинки и наслаждались ею вовсю: Джим как-то совсем забыл, что вокруг Рэдли все ядовитое.

Еще через неделю в дупле оказалась потускневшая медаль. Джим отнес ее Аттикусу, и Аттикус сказал — это медаль за письмо; еще до нашего рожденья в школах округа Мейкомб бывали состязания — кто лучше всех пишет, и победителю давали медаль. Аттикус сказал — наверно, кто-то ее потерял, мы не спрашивали соседей? Я хотела объяснить, где мы ее нашли, но Джим меня лягнул. Потом спросил — а не помнит ли Аттикус, кто получал такие медали? Аттикус не помнил.

Но лучше всех была находка через четыре дня: карманные часы на цепочке и с алюминиевым ножиком; они не шли.

— Джим, по-твоему, это такое белое золото?

— Не знаю. Покажем Аттикусу.

Аттикус сказал — если бы часы были новые, они вместе с ножиком и цепочкой стоили бы, наверно, долларов десять.

— Ты поменялся с кем-нибудь в школе? — спросил он.

— Нет, нет, сэр! — Джим вытащил из кармана дедушкины часы, Аттикус давал их ему поносить раз в неделю, только осторожно, и в эти дни Джим ходил, как стеклянный.— Аттикус, если ты не против, я лучше возьму эти. Может, я их починю.

Когда Джим привык к дедушкиным часам, ему наскучило весь день над ними дрожать и уже незачем было каждую минуту смотреть, который час.

Он очень ловко разобрал и опять собрал часы, только одна пружинка и два крохотных колесика не влезли обратно, но часы все равно не шли.

— Уф! — вздохнул он.— Ничего не выходит. Слушай, Глазастик...

— А?

— Может, надо написать письмо тому, кто нам все это оставляет?

— Вот это хорошо, Джим, мы скажем спасибо... чего ты?

Джим заткнул уши и замотал головой.

— Не понимаю, ничего не понимаю... сам не знаю, Глазастик...— Джим покосился в сторону гостиной.— Может, сказать Аттикусу... нет, не стоит.

— Давай я скажу.

— Нет, не надо. Послушай, Глазастик.

— Ну чего?

Весь вечер у него язык чесался что-то мне сказать: то вдруг повернется ко мне с блестящими глазами, то опять передумает. Передумал и на этот раз:

— Да нет, ничего.

— Давай писать письмо.— Я сунула ему под нос бумагу и карандаш.

— Ладно. Дорогой мистер...

— А почем ты знаешь, что это мужчина? Спорим, это мисс Моди... Я давно знаю, что это она.

— Э-э, мисс Моди не жует резинку! — Джим ухмыльнулся.— Ох, она иногда здорово разговаривает. Один раз я хотел угостить ее резинкой, а она говорит — нет, спасибо, резинка приклеивается к небу, и тогда становишься бес-сло-вес-ной! Красиво звучит, правда?

— Ага, она иногда очень красиво говорит. Хотя верно, откуда ей было взять часы и цепочку?

«Дорогой сэр,— стал сочинять Джим.— Мы вам очень признательны за ча... за все, что вы нам положили в дупло. Искренне преданный вам Джереми Аттикус Финч».

— Если ты так подпишешься, он не поймет, что это ты.

Джим стер свое имя и подписался просто: Джим Финч. Ниже подписалась я: Джин-Луиза Финч (Глазастик). Джим вложил письмо в конверт.

На другое утро, когда мы шли в школу, он побежал вперед и остановился у нашего дерева. Он стоял ко мне лицом, глядел на дупло, и я увидела — он весь побелел.

— Глазастик!

Я подбежала.

Кто-то замазал наше дупло цементом.

— Не плачь, Глазастик, ну, не надо... ну, не плачь, слышишь...— повторял он мне всю дорогу до школы.

Когда мы пришли домой завтракать, Джим в два счета все проглотил, выбежал на веранду и остановился на верхней ступеньке. Я вышла за ним.

— Еще не проходил...— сказал он.

На другой день Джим опять стал сторожить — и не напрасно.

— Здравствуйте, мистер Натан,— сказал он.

— Здравствуйте, Джим и Джин-Луиза,— на ходу ответил мистер Рэдли.

— Мистер Рэдли..— сказал Джим.

Мистер Рэдли обернулся.

— Мистер Рэдли... э-э... это вы замазали цементом дырку в том дереве?

— Да. Я ее запломбировал.

— А зачем, сэр?

— Дерево умирает. Когда деревья больны, их лечат цементом. Пора тебе это знать, Джим.

Весь день Джим больше про это не говорил. Когда мы проходили мимо нашего дерева, он задумчиво похлопал ладонью по цементу и потом тоже все о чем-то думал. Видно, настроение у него становилось час от часу хуже, и я держалась подальше.

Вечером мы, как всегда, пошли встречать Аттикуса с работы. Уже у нашего крыльца Джим сказал:

— Аттикус, посмотри, пожалуйста, вон на то дерево.

— Которое?

— На участке Рэдли, вон то, поближе к школе.

— Вижу, а что?

— Оно умирает?

— Нет, почему же? Смотри, листья все зеленые, густые, нигде не желтеют...

— И это дерево не больное?

— Оно такое же здоровое, как ты, Джим. А в чем дело?

— Мистер Рэдли сказал, оно умирает.

— Ну, может быть. Уж, наверно, мистер Рэдли знает свои деревья лучше, чем мы с тобой.

Аттикус ушел в дом, а мы остались на веранде. Джим прислонился к столбу и стал тереться о него плечом.

— Джим, у тебя спина чешется? — спросила я как можно вежливее. Он не ответил. Я сказала: — Пойдем домой?

— После приду.

Он стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. Когда мы вошли в дом, я увидела — он недавно плакал, на лице, где положено, были грязные разводы, но почему-то я все время ничего не слыхала.

Глава 8

По причинам, непостижимым для самых дальновидных пророков округа Мейкомб, в тот год после осени настала зима. Две недели стояли такие холода, каких, сказал Аттикус, не бывало с 1885 года. Мистер Эйвери сказал — на Розеттском камне записано: когда дети не слушаются родителей, курят и дерутся, тогда погода портится; на нас с Джимом лежала тяжкая вина — мы сбили природу с толку и этим доставили неприятности всем соседям и напортили сами себе.

В ту зиму умерла старая миссис Рэдли, но ее смерть прошла как-то незаметно, ведь соседи видели миссис Рэдли, кажется, только когда она поливала свои канны. Мы с Джимом решили, что это Страшила наконец до нее добрался, но Аттикус ходил в дом Рэдли и потом, к нашему разочарованию, сказал — нет, она умерла естественной смертью.

— Спроси его,— зашептал мне Джим.

— Ты спроси, ты старше.

— Вот поэтому ты и спрашивай.

— Аттикус,— сказала я,— ты видел мистера Артура?

Аттикус строго посмотрел на меня поверх газеты.

— Нет, не видел.

Джим не дал мне спрашивать дальше. Он сказал — Аттикус все еще не забыл нашего похода на Страшилу, так что лучше давай про это помолчим. И еще Джиму казалось — Аттикус подозревает, что в тот вечер летом дело было не только в раздевальном покере. Джим сказал — у него нет никаких оснований так думать, просто он нюхом чует.

Наутро я проснулась, поглядела в окно и чуть не умерла от страха. Я так завизжала, что из ванной прибежал Аттикус с намыленной щекой.

— Конец света! Аттикус, что делать?

Я потащила его к окну.

— Это не конец света,— сказал Аттикус.— Это идет снег.

Джим спросил, долго ли так будет. Он тоже никогда не видал снега, но знал, какой он бывает. Аттикус сказал — он знает про снег не больше Джима.

— Но думаю, если он будет такой мокрый, как сейчас, он превратится в дождь.

Когда мы завтракали, зазвонил телефон, и Аттикус вышел из-за стола. Потом вернулся и сказал:

— Звонила Юла Мэй. Цитирую: «Поскольку в округе Мейкомб снега не было с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года, в школе сегодня занятий не будет».

Юла Мэй была главная телефонистка нашего города. Она всегда передавала разные важные новости, приглашения на свадьбы, возвещала о пожаре и в отсутствие доктора Рейнолдса давала советы насчет первой помощи.

Когда Аттикус наконец велел нам успокоиться и смотреть не в окна, а в свои тарелки, Джим спросил:

— А как лепить снеговик?

— Понятия не имею,— сказал Аттикус.— Мне жаль вас огорчать, но, боюсь, снега не хватит даже на порядочный снежный ком.

Вошла Кэлпурния и сказала — вроде не тает. Мы выбежали во двор — он был покрыт тонким слоем мокрого снега.

— Не надо по нему ходить,— сказал Джим,— от этого он пропадает.

Я оглянулась — там, где мы прошли, оставались талые следы. Джим сказал — надо подождать, пускай снегу нападает побольше, мы его весь соберем и слепим снеговик. Я подставила язык под пушистые хлопья. Они обжигали.

— Джим, снег горячий!

— Нет, просто он такой холодный, что даже жжется. Не ешь его, Глазастик, не трать зря. Пускай падает.

— А я хочу по нему походить.

— Ага, придумал! Пойдем походим у мисс Моди.

И Джим запрыгал по двору. Я старалась попадать след в след. На тротуаре напротив дома мисс Моди к нам подошел мистер Эйвери. Лицо у него было розовое, из-под ремня выпирал толстый живот.

— Вот видите, что вы наделали? — сказал он.— В Мейкомбе снега не было с незапамятных времен. Погода меняется, а все из-за непослушных детей.

Я подумала — может, мистер Эйвери знает, как мы летом ждали, чтоб он повторил свое представление? Что ж, если снег послан нам в наказание, пожалуй, стоит грешить. Откуда мистер Эйвери берет свои метеорологические сведения, я не задумывалась: конечно же прямо с Розеттского камня.

— Джим Финч, а Джим Финч!

— Джим, тебя мисс Моди зовет.

— Держитесь оба посреди двора! У веранды снегом засыпало левкои, смотрите не наступите на них!

— Не наступим! — отозвался Джим.— А красиво, правда, мисс Моди?

— Да провались она, эта красота! Если ночью будет мороз, пропали мои азалии!

На старой, с широченными полями, соломенной шляпе мисс Моди

поблескивали снежинки. Она наклонилась над какими-то кустиками и окутывала их пустыми мешками. Джим спросил, для чего это.

— Чтоб они не озябли,— сказала мисс Моди.

— Как цветы могут озябнуть? У них же нет кровообращения?

— Этого я не могу тебе объяснить, Джим Финч. Я знаю одно: если ночью будет мороз, цветы замерзнут, вот я их и укрываю. Понятно?

— Да, мэм. Мисс Моди...

— Да, сэр?

— Можно мы с Глазастиком одолжим у вас снега?

— О господи, да берите весь! Там под крыльцом есть старая корзинка из-под персиков, наберите в нее и тащите.— Тут мисс Моди прищурилась.— Джим Финч, а что ты собираешься делать с моим снегом?

— Вот увидите,— сказал Джим, и мы перетащили со двора мисс Моди столько снегу, сколько могли. Это была очень мокрая и слякотная работа.

— А дальше что, Джим? — спросила я.

— Вот увидишь,— сказал он.— Бери корзинку и тащи с заднего двора в палисадник весь снег, сколько соберешь. Да смотри зря не топчи, ступай по своим следам.

— У нас будет маленький снеговичонок?

— Нет, настоящий большой снеговик. Ну давай принимайся, дела много.

Джим побежал на задворки, достал мотыгу и начал быстро-быстро рыть землю за поленницей, а всех червей откидывал в сторону. Потом сбегал в дом, принес бельевую корзину, насыпал в нее доверху земли и поволок в палисадник.

Когда мы натащили туда пять корзин земли и две корзины снегу, Джим сказал — можно начинать.

— Что-то грязь получается,— сказала я.

— Это сейчас грязь, а после будет хорошо,— ответил Джим.

Он стал лепить из земли ком, а на нем второй, все больше и больше, и получилось туловище.

— Джим, разве бывают снеговики-негры? — спросила я.

— Потом он не будет черный,— буркнул Джим.

Он принес из-за дома персиковых прутьев, сплел их по несколько штук и согнул, получились кости, их надо было облепить глиной.

— Это мисс Стивени Кроуфорд,— сказала я.— Сама толстая, а ручки тоненькие.

— Сейчас сделаю потолще.— Джим облил грязевик водой и прибавил еще земли. Поглядел, подумал и слепил толстый живот, выпирающий ниже пояса. Потом поглядел на меня, глаза у него блестели.— Мистер Эйвери ведь похож на снеговик, верно?

Потом он набрал в горсть снега и налепил сверху. Мне он позволил лепить снег только на спину, а все, что будет на виду, делал сам. Понемногу мистер Эйвери побелел.

Джим воткнул ему сучки на место глаз, носа, рта и пуговиц, и мистер Эйвери стал сердитый. Для полноты картины в руки ему дали полено. Джим отступил на шаг и оглядел свое творение.

— Прямо как живой! — сказала я.— До чего здорово, Джим!

— Правда, неплохо? — смущенно сказал Джим.

Мы не могли дождаться Аттикуса к обеду, а позвонили в суд, что у нас для него сюрприз. Он пришел и, видно, удивился, что мы всю землю из-за дома перетащили в палисадник, но сказал — мы отлично поработали!

— Я не совсем понимал, из чего ты его вылепишь,— сказал он,— но впредь я могу за тебя не волноваться, сын, ты всегда что-нибудь да придумаешь.

У Джима даже уши покраснели от такой похвалы, но Аттикус отступил на шаг, и он насторожился. Аттикус разглядывал снеговик. Весело улыбнулся, потом засмеялся.

— Не знаю, что из тебя выйдет, сын,— инженер, адвокат или художник-портретист. Но сейчас тебя, пожалуй, можно судить за публичное оскорбление. Придется этого малого замаскировать.

И Аттикус предложил Джиму поубавить брюшко снеговика, дать ему в руки вместо полена метлу и повязать фартук.

Джим объяснил, что тогда опять будет не снеговик, а грязевик.

— Ну, сделай по-другому, но что-то сделать надо,— сказал Аттикус.— Ты не имеешь права лепить карикатуры на соседей.

— Это не критикатура,— сказал Джим.— Он на самом деле такой.

— Мистер Эйвери может с тобой не согласиться.

— Придумал! — сказал Джим.

Он побежал через улицу, скрылся за домом мисс Моди и вернулся гордый и довольный. Он нахлобучил на снеговик ее широкополую соломенную шляпу, а в согнутую руку сунул садовые ножницы. Аттикус сказал — вот и прекрасно.

Из дому вышла мисс Моди и остановилась на крыльце. Поглядела через улицу. И вдруг усмехнулась.

— Джим Финч, ах ты чертенок! — крикнула она.— Подай сюда мою шляпу, сэр!

Джим поглядел на Аттикуса, Аттикус покачал головой.

— Она это не серьезно,— сказал он.— Просто она поражена твоим... искусством.

Аттикус перешел улицу, и они с мисс Моди оживленно заговорили о чем-то, размахивая руками; до меня донеслось только:

— ...выставить во дворе самого настоящего мофродита! Хорошо же ты их воспитываешь, Аттикус!

Днем снег перестал, похолодало, и к ночи сбылись худшие предсказания мистера Эйвери: Кэлпурния не переставая топила все печи, а мы все равно мерзли. Вечером Аттикус сказал — плохо наше дело — и спросил Кэлпурнию, может, ей лучше остаться у нас ночевать. Кэлпурния обвела взглядом большие окна и высокие потолки и сказала — у нее дома, наверно, теплее. И Аттикус отвез ее в автомобиле.

Перед сном Аттикус подбросил угля в печку у меня в комнате. Он сказал — сейчас шестнадцать градусов, он за всю жизнь не запомнит такого холода, а наш снеговик совсем заледенел.

Мне показалось, прошло совсем мало времени, и вдруг кто-то трясет меня за плечо. Я проснулась и увидела поверх одеяла пальто Аттикуса.

— Разве уже утро?

— Вставай, малышка.

Аттикус протянул мне мой купальный халат и пальто.

— Сперва надень халат,— сказал он.

Рядом с Аттикусом стоял Джим, весь встрепанный, его качало. Одной рукой он придерживал ворот, другую сунул в карман. Он был весь какой-то толстый.

— Быстрее, дружок,— сказал Аттикус.— Вот твои чулки и башмаки.

Я ничего не поняла, но обулась.

— Уже утро?

— Нет еще, второй час. Ну-ка, побыстрее.

Наконец до меня дошло: что-то не так.

— А что случилось?

Но теперь ему уже незачем было объяснять. Как птицы знают, что пора укрыться от дождя, так я знала, когда на нашу улицу приходила

беда. Я услышала какое-то шелковистое шуршанье, шорохи, приглушенную суету, и мне стало страшно.

— У кого это?

— У мисс Моди, дружок,— сказал Аттикус.

С веранды мы увидели, что у мисс Моди из окон столовой рвется пламя. И словно затем, чтоб мы скорей поверили своим глазам, взвыла над городом пожарная сирена — все тоньше, визгливее, и никак не умолкала.

— Все сгорит? — жалобно спросил Джим.

— Наверно,— сказал Аттикус.— Теперь вот что. Подите оба к дому Рэдли и стойте там. И не вертитесь под ногами, слышите? Видите, с какой стороны ветер?

— О-о,— сказал Джим.— Аттикус, может, надо уже вытаскивать мебель?

— Пока еще рано. Делай, что я велю. Ну, бегите. Смотри за сестрой, Джим, слышишь? Не отпускай ее ни на шаг.

И Аттикус подтолкнул нас к воротам Рэдли. Мы стояли и смотрели, нашу улицу все тесней заполняли люди и автомобили, а тем временем огонь молча пожирал дом мисс Моди.

— Ну что они так долго, что они так долго...— бормотал Джим.

Но мы понимали, в чем дело. Старая машина не заводилась на морозе, и целая толпа катила ее по улице, просто подталкивая руками. А когда шланг прикрутили к водоразборной колонке, он лопнул, струя брызнула вверх и окатила мостовую.

— Ой, Джим!..

Джим обнял меня за плечи.

— Тише, Глазастик. Подожди волноваться. Я тебе тогда скажу.

Жители Мейкомба, более или менее раздетые, через двор выносили мебель мисс Моди на улицу. Аттикус тащил тяжелую дубовую качалку, и я подумала, какой он умный, спас ту самую вещь, которую мисс Моди любит больше всего на свете.

Иногда вдруг слышались крики. Потом в окне мансарды появился мистер Эйвери. Он выкинул под окно тюфяк и бросал на него разные вещи, пока все не закричали:

— Спускайтесь, Дик! Лестница горит! Уходите оттуда, мистер Эйвери!

Мистер Эйвери стал вылезать в окно.

— Застрял...— выдохнул Джим.— Ох, Глазастик...

Мистер Эйвери не мог двинуться ни взад, ни вперед. Я уткнулась Джиму под мышку и зажмурилась. Потом Джим крикнул:

— Он выбрался, Глазастик! Он живой!

Я подняла голову. Мистер Эйвери был уже на балконе. Перекинул ноги через перила, стал съезжать по столбу вниз, но не удержался и с воплем повалился на кусты мисс Моди.

Тут я заметила, что люди пятятся от дома мисс Моди все ближе к нам. Никто уже не таскал мебель. Огонь охватил верхний этаж и дошел до самой крыши, чернели оконные рамы, а внутри все так и светилось оранжевым.

— Джим, правда, все такое рыжее, как тыква?..

— Смотри, Глазастик!

От нашего дома и от дома мисс Рейчел повалил дым, будто поднялся туман от реки, и к ним уже тянули шланги. Позади нас завопила сирена, из-за угла вывернулась пожарная машина из Эбботсвила и остановилась напротив нашего дома.

— Книжка...— сказала я.

— Какая книжка? — спросил Джим.

— Про Тома Свифта... она не моя, а Дилла...

— Подожди волноваться, Глазастик,— сказал Джим. И показал пальцем: — Гляди-ка!

Среди соседей, сунув руки в карманы пальто, стоял Аттикус. Вид у него был такой, будто он смотрит футбол. Рядом стояла мисс Моди.

— Видишь, он пока не волнуется,— сказал Джим.

— А почему он не на крыше?

— Он слишком старый, он сломает себе шею.

— Может, скажем ему, что надо вытаскивать вещи?

— Нечего к нему приставать, он сам знает, когда вытаскивать,— сказал Джим.

Эбботсвилские пожарные начали поливать водой наш дом; какой-то человек стоял на крыше и показывал, куда первым делом лить. Наш Самый Настоящий Мофродит почернел и развалился, соломенная шляпа мисс Моди так и осталась лежать на куче грязи. Садовых ножниц не было видно. Между домами мисс Моди, мисс Рейчел и нашим было так жарко, что все давно скинули пальто и купальные халаты, работали в пижамах или в ночных рубашках, заправленных в штаны. А я все стояла на одном месте и совсем закоченела. Джим обнял меня за плечи и старался согреть, но это не помогало. Я высвободилась и обхватила себя обеими руками. Начала приплясывать, и ноги понемногу согрелись.

Прикатила еще одна пожарная машина и остановилась перед домом мисс Стивени Кроуфорд. Колонка была только одна, не к чему прикрутить второй шланг, и пожарные стали поливать дом мисс Стивени из огнетушителей.

Железная крыша мисс Моди преградила путь огню. Дом с грохотом рухнул; пламя брызнуло во все стороны; на соседних крышах люди накинулись с одеялами на летящие искры и головешки.

Только когда рассвело, все начали понемногу расходиться. Мейкомбскую пожарную машину покатили обратно. Эбботсвилская уехала сама, третья осталась. Днем мы узнали — она приехала из Клерк Ферри, за шестьдесят миль.

Мы с Джимом тихонько перешли улицу. Мисс Моди стояла и смотрела на черную дыру, которая дымилась посреди ее двора, и Аттикус покачал головой — значит, говорить с ней не надо. Он повел нас домой, а сам держался за наши плечи, потому что мостовая была очень скользкая. Он сказал — мисс Моди пока поживет у мисс Стивени. Потом спросил:

— Кто хочет горячего шоколада?

Пока он разводил в кухне огонь, меня трясло от холода.

Мы принялись за какао, и тут Аттикус посмотрел на меня с удивлением, а потом глаза у него стали строгие.

— Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться,— сказал он.

— А мы не совались. Мы стояли...

— Тогда чье же это одеяло?

— Одеяло?...

— Да, мэм, одеяло. Это не наше.

Я оглядела себя. Оказывается, на плечах у меня коричневое шерстяное одеяло, и я завернулась в него, как индианка.

— Аттикус, я ничего не знаю... я...

И я обернулась к Джиму. Но Джим удивился еще больше меня. Он сказал — кто его знает, откуда взялось это одеяло, мы все делали, как велел Аттикус, стояли у ворот Рэдли, под ногами ни у кого не вертелись, даже с места не сходили...— тут Джим запнулся.

— Мистер Натан был на пожаре! — торопливо заговорил он.— Я видел, я видел, он тащил тот матрац... Аттикус, честное слово...

— Ничего, сын,— медленно усмехнулся Аттикус.— Видно, так ли, эдак ли, а весь Мейкомб вышел сегодня на улицу. По-моему, у нас в кладовой есть оберточная бумага, Джим. Достань ее, и мы...

— Нет, нет, сэр!

Джим, кажется, сошел с ума. Он начал выбалтывать подряд все наши секреты, он совсем не остерегался ни за себя, ни за меня, выложил все, как было — и про дупло, и про штаны...

— ...мистер Натан замазал дупло цементом, Аттикус, это он нарочно, чтоб мы больше ничего не находили... Аттикус, может, он и сумасшедший, только, честное слово, он нам ни разу ничего плохого не сделал, он тогда ночью мог отрезать мне голову напрочь, а он сидел и чинил мои штаны... он нам никогда ничего плохого не сделал!

— Тише, тише, сын.

Аттикус сказал это очень ласково, и я приободрилась. Он явно не понял ни слова из всего, что наболтал Джим, потому что сказал только:

— Ты прав. Оставим и это, и одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь Глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замерзнуть.

— Кому спасибо? — спросила я.

— Страшиле Рэдли. Ты так усердно смотрела на пожар, что и не заметила, как он закутал тебя одеялом.

Все во мне перевернулось, меня чуть не стошнило. Джим поднял одеяло и стал подкрадываться ко мне.

— Он потихоньку вышел из дому... из-за угла... и подошел вот так, тихо-тихо!

— Не увлекайся этим представлением, Джереми,— сухо сказал Аттикус.

Джим насупился.

— Да я и не собираюсь...— Но я видела, озорная искорка у него в глазах погасла: пришлось отказаться от новой выдумки.— Только подумай,— сказал он мне,— если б ты оглянулась, ты бы его увидела!

В полдень нас разбудила Кэлпурния. Аттикус сказал — нечего нам сегодня ходить в школу, все равно ничему не научимся, раз ночь не спали. А Кэлпурния сказала — надо хоть немного прибрать во дворе.

Шляпа мисс Моди просвечивала сквозь ледяную корку, точно муха в янтаре, а садовые ножницы пришлось выкапывать из кучи замерзшей глины. Мисс Моди мы нашли у нее на задворках, она стояла и смотрела на померзшие, обугленные азалии.

— Мы принесли ваши вещи, мисс Моди,— сказал Джим.— Нам так жалко...

Мисс Моди обернулась, и по ее лицу скользнула тень прежней улыбки.

— Я всегда хотела, чтоб дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий!

— Вы разве не огорчены, мисс Моди? — удивилась я. Аттикус говорил, у нее кроме этого дома и нет ничего.

— Огорчена? Что ты, детка, да я этот старый хлев терпеть не могла. Сама сколько раз хотела его поджечь, да только тогда меня посадили бы в сумасшедший дом.

— Но...

— Не беспокойся обо мне, Джин-Луиза Финч. Есть на свете вещи, которых ты еще не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев и... ей-богу, у меня будет лучший сад во всем штате! Вот увидите, я утру нос этим Биллингрейсам!

Мы с Джимом переглянулись.

— Как это случилось, мисс Моди? — спросил он.

— Не знаю, Джим. Наверно, в кухне загорелась сажа в трубе. Я там поздно топила, чтоб не померзли мои комнатные цветы. А к тебе, говорят, ночью приходил нежданный гость, мисс Джин-Луиза?

— Откуда вы знаете?

— Аттикус сказал мне сегодня, когда шел на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться.

Я слушала мисс Моди и только диву давалась. Почти все у нее сгорело, ее любимый сад выглядел как после побоища, а ей все равно были интересны наши с Джимом дела!

Она, видно, поняла, что я совсем сбита с толку.

— Ночью я беспокоилась только потому, что получился такой переполох и опасность для всех. Весь квартал мог сгореть дотла. Мистеру Эйвери придется неделю пролежать в постели, он изрядно поджарился. Он чересчур стар, чтоб лазить в огонь, я так ему и сказала. Как только отмою руки, а Стивени Кроуфорд отвернется, я испеку для него свой лучший пирог. Эта Стивени тридцать лет старается выведать у меня рецепт, но если она думает, что я ей его скажу, потому что живу сейчас у нее в доме, она сильно ошибается.

Я подумала — если мисс Моди не выдержит и откроет свой рецепт, у мисс Стивени все равно ничего не получится. Один раз я видела, как мисс Моди печет этот пирог: среди прочего надо положить в тесто большую чашку сахару.

День был тихий. В холодном чистом воздухе далеко разносился каждый звук. Мы даже услыхали, как на здании суда зашипели часы — собрались бить. Нос у мисс Моди был очень странного цвета, я еще никогда такого не видела и спросила, отчего это.

— Я тут стою с шести утра,— ответила она.— Наверно, отморозила.

Она подняла руки. Ладони побурели от грязи и запекшейся крови и были все в трещинках.

— Вы загубили руки,— сказал Джим.— Почему вы не позвали какого-нибудь негра? — и прибавил просто: — Или нас с Глазастиком, мы бы вам помогли.

— Благодарю вас, сэр,— сказала мисс Моди.— У вас и без меня дел по горло.— И она кивнула в сторону нашего двора.

— Это вы про Мофродита? — спросила я.— Да мы его мигом раскидаем.

Мисс Моди уставилась на меня во все глаза, ее губы беззвучно шевелились. Вдруг она схватилась за голову да как захохочет! Мы постояли-постояли и пошли, а она все смеялась.

Джим сказал — не поймешь, что это с ней — чудачка, и все.

Глава 9

— Бери свои слова обратно!

Так я скомандовала Сесилу Джейкобсу, и с этого началось для нас с Джимом плохое время. Я сжала кулаки и приготовилась к бою. Аттикус обещал меня выдрать, если еще хоть раз услышит, что я с кем-нибудь подралась: я уже слишком большая и взрослая, хватит ребячиться, и чем скорее я научусь сдерживаться, тем будет лучше для всех. А я сразу про это забыла.

Забыла из-за Сесила Джейкобса. Накануне он посреди школьного двора закричал — у Глазастика отец защищает черномазых. Я с ним спорила, а потом рассказала Джиму.

— Про что он говорил? — спросила я.

— Ни про что,— сказал Джим.— Спроси Аттикуса, он тебе объяснит.

— Аттикус, ты правда защищаешь черномазых? — спросила я вечером.

— Да, конечно. Не говори «черномазые», Глазастик, это грубо.

— В школе все так говорят.

— Что ж, теперь будут говорить все, кроме тебя.

— А если ты не хочешь, чтоб я так говорила, зачем велишь ходить в школу?

Отец молча посмотрел на меня и улыбнулся одними глазами. Хоть у нас с ним был компромисс, но я уже по горло была сыта школьной жизнью и все время старалась так или иначе увильнуть от занятий. С первых дней сентября у меня то голова кружилась, то меня ноги не держали, то живот болел. Я даже отдала пятачок сыну кухарки мисс Рейчел, чтоб он позволил мне потереться головой о его голову: у него был стригущий лишай. Однако не заразилась.

Но у меня была еще одна забота.

— Аттикус, а все адвокаты защищают чер... негров?

— Конечно, Глазастик.

— А почему же Сесил сказал — ты защищаешь черномазых? Он так это сказал... будто ты воруешь.

Аттикус вздохнул.

— Просто я защищаю негра, его зовут Том Робинсон. Он живет в том маленьком поселке, за свалкой. Он в том же приходе, что и Кэлпурния, она хорошо знает всю его семью. Кэл говорит, что они очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослая, Глазастик, и не все понимаешь, но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело. Слушаться оно будет только во время летней сессии. Джон Тейлор был так добр, что дал нам отсрочку...

— Если не следует его защищать, почему же ты защищаешь?

— По многим причинам,— сказал Аттикус.— Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза, не смогу представлять наш округ в законодательном собрании, даже не смогу больше сказать вам с Джимом — делайте так, а не иначе.

— Это как? Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться?

— Да, примерно так.

— Почему?

— Потому что я уже не смогу требовать, чтоб вы меня слушались. Такая наша работа, Глазастик: у каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это, видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного, но я тебя прошу об одном: держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся, для разнообразия, воевать не кулаками, а головой... она у тебя неплохая, хоть и противится учению.

— Аттикус, а мы выиграем дело?

— Нет, дружок.

— Так почему же...

— Нас побили еще сто лет назад, но все равно сейчас надо снова воевать,— сказал Аттикус.

— Ты говоришь прямо как дядя Айк Финч,— сказала я.

Дядя Айк Финч был единственный в округе Мейкомб еще здравствующий ветеран Южной армии. Борода у него была точь-в-точь как у генерала Худа, и он до смешного ею гордился. По меньшей мере раз

в год Аттикус вместе с нами навещал его, и мне приходилось его целовать. Это было ужасно. Аттикус и дядя Айк опять и опять рассуждали о той войне, а мы с Джимом почтительно слушали.

— Вот что я тебе скажу, Аттикус,— говаривал дядя Айк.— Миссурийский сговор * — вот что нас загубило, но если б мне пришлось начать все сначала, я бы опять пошел тем же путем, не отступил бы ни на шаг, и на этот раз мы бы им задали перцу... вот в шестьдесят четвертом, когда на нас свалился Твердокаменный Джексон... виноват, молодые люди, ошибся — в шестьдесят четвертом Старый Пожарник уже отдал богу душу, да будет ему земля пухом...

— Поди сюда, Глазастик,— сказал Аттикус.

Я залезла к нему на колени, уткнулась головой ему в грудь. Он обхватил меня обеими руками и стал легонько покачивать.

— Сейчас все по-другому,— сказал он.— Сейчас мы воюем не с янки, а со своими друзьями. Но помни, как бы жестоко ни приходилось воевать, все равно это наши друзья и наш родной край.

Я это помнила, а все-таки на другой день остановилась на школьном дворе перед Сесилом Джейкобсом.

— Берешь свои слова обратно?

— Как бы не так! — заорал он.— У нас дома говорят, твой отец позорит весь город, а этого черномазого надо вздернуть повыше!

Я нацелилась было его стукнуть, да вспомнила, что говорил Аттикус, опустила кулаки и пошла прочь.

— Струсила! Струсила! — так и звенело у меня в ушах.

Первый раз в жизни я ушла от драки.

Почему-то выходило, что, если я стану драться с Сесилом, я предам Аттикуса. А он так редко нас с Джимом о чем-нибудь просил... уж лучше я стерплю ради него, пускай меня обзывают трусихой. Я просто надивиться не могла, какая я благородная, что вспомнила просьбу Аттикуса, и вела себя очень благородно еще целых три недели. А потом пришло рождество, и разразилась беда.

Рождества мы с Джимом ждали со смешанным чувством. Елка и дядя Джек Финч — это очень хорошо. Каждый год в канун рождества мы ездили на Мейкомбскую узловую встречать дядю Джека, и он гостил у нас целую неделю.

Но была и оборотная сторона медали — неизбежный визит к тете Александре и Фрэнсису.

Наверно, надо прибавить — и к дяде Джимми, ведь он был муж тети Александры; но он никогда со мной даже не разговаривал, только один раз сказал: «Слезай с забора»,— так что я вполне могла его и не замечать. Тетя Александра его тоже не замечала. Давным-давно в порыве дружеских чувств они произвели на свет сына по имени Генри, который при первой возможности сбежал из дому, женился и произвел Фрэнсиса. Каждый год на рождество Генри с женой вручали Фрэнсиса дедушке с бабушкой и потом развлекались сами.

Как бы мы ни охали и ни вздыхали, Аттикус не позволял нам в первый день рождества остаться дома. Сколько я себя помню, рождество мы всегда проводили на «Пристани Финча». Тетя Александра отменно стряпала, это отчасти вознаграждало нас за праздник в обществе Фрэнсиса Хенкока. Фрэнсис был годом старше меня, и я избегала его из

* Миссурийским компромиссом называют соглашение 1820 года между членами конгресса США, представляющими рабовладельческий Юг, с одной стороны, и Север, стремившийся ограничить распространение рабства, с другой. Компромисс этот не устранял противоречий между системами наемного и рабского труда и, по словам Маркса, на деле оказался уступкой со стороны Севера.

принципа: он находил удовольствие во всем, что не нравилось мне, и ему были не по вкусу мои самые невинные развлечения.

Тетя Александра была родная сестра Аттикуса, но когда Джим рассказал мне про подменышей и приемышей, я решила — наверно, ее подменили в колыбели, и дедушка с бабушкой вырастили чужого ребенка, на самом деле она не Финч, а, пожалуй, Кроуфорд. Если б я когда-нибудь уверовала, будто судей и адвокатов преследуют заколдованные горы, тетю Александру я считала бы Эверестом: все годы моего детства она была тут как тут — холодная, и никуда от нее не денешься.

Настал канун рождества, из вагона выскочил дядя Джек, но нам пришлось ждать его носильщика с двумя длинными свертками. Нас с Джимом всегда смешило, когда дядя Джек чмокал Аттикуса в щеку: другие мужчины никогда не целовались. Дядя Джек поздоровался с Джимом за руку и подбросил меня в воздух, но не очень высоко: он был ниже Аттикуса; дядя Джек был младший в семье, моложе тети Александры. Они с тетей были похожи, но дядя Джек как-то лучше распорядился своим лицом, его острый нос и подбородок не внушали нам никаких опасений.

Он был один из немногих ученых людей, которых я ничуть не боялась, может быть потому, что он вел себя вовсе не как доктор. Если ему случалось оказать мне или Джиму мелкую услугу — скажем, вытащить занозу из пятки,— он всегда заранее говорил, что и как будет делать и очень ли будет больно, и для чего нужны какие щипчики. Один раз, тоже на рождество, я засадила в ногу кривую занозищу и пряталась с ней по углам, и никого даже близко не подпускала. Дядя Джек поймал меня и стал очень смешно рассказывать про одного пастора, который терпеть не мог ходить в церковь: каждый день он в халате выходил к воротам и, дымя кальяном, читал пятиминутную проповедь каждому прохожему, который нуждался в духовном наставлении. Сквозь смех я попросила — пускай дядя Джек скажет, когда начнет тащить занозу, а он показал мне зажатую пинцетом окровавленную щепку и объяснил, что выдернул ее, пока я хохотала, и что все на свете относительно.

— Это что? — спросила я про длинные узкие свертки, которые отдал дяде Джеку носильщик.

— Не твоего ума дело,— ответил он.

— Как поживает Роза Эйлмер? — спросил Джим.

Роза Эйлмер была дядина кошка. Она была рыжая и очень красивая, дядя говорил, она — одна из немногих особ женского пола, которых он в состоянии терпеть около себя сколько угодно времени. Он полез в карман и показал нам несколько фотокарточек. Карточки были замечательные.

— Она толстеет,— сказала я.

— Ничего удивительного. Она съедает все пальцы и уши, которые я отрезаю в больнице.

— Черта с два,— сказала я.

— Простите, как вы сказали?

— Не обращай на нее внимания, Джек,— сказал Аттикус.— Это она тебя испытывает. Кэл говорит, она ругается без передышки уже целую неделю.

Дядя Джек поднял брови, но смолчал. Бранные слова мне нравились и сами по себе, а главное, я рассудила — Аттикус увидит, что я научилась ругаться в школе, и больше меня в школу не пошлет.

Но за ужином, когда я попросила — передайте мне, пожалуйста, эту чертову ветчину,— дядя Джек грозно уставил на меня указательный палец.

— Я с тобой потом потолкую, миледи,— сказал он.

После ужина дядя Джек перешел в гостиную и сел в кресло. Похлопал себя по колену, это значило — залезай сюда. Приятно было его понюхать, от него пахло, как от бутылки со спиртом, и еще чем-то сладким. Он отвел у меня со лба челку и поглядел на меня.

— Ты больше похожа на Аттикуса, чем на мать,— сказал он.— И ты что-то становишься чересчур большой и умной, мне даже кажется, что ты выросла из своих штанов.

— А по-моему, они мне в самый раз.

— Тебе, я вижу, очень нравятся всякие словечки вроде «черт» и «дьявол»?

Это было верно.

— А мне они совсем не нравятся,— сказал дядя Джек.— Без абсолютной необходимости я бы на твоем месте их не произносил. Я пробуду здесь неделю и за это время не желаю ничего такого слышать. Если ты будешь бросаться такими словами, Глазастик, ты наживешь неприятности. Ты ведь хочешь вырасти настоящей леди, правда?

Я сказала — не особенно хочу.

— Ну, конечно, хочешь. А теперь идем к елке.

Мы украшали ее до ночи, и потом мне приснились два длинных узких свертка для нас с Джимом. Наутро мы их выудили из-под елки — они были от Аттикуса, дядя Джек привез их по его просьбе, и это было то самое, чего нам хотелось.

— Только не в доме,— сказал Аттикус, когда Джим прицелился в картину на стене.

— Придется тебе поучить их стрелять,— сказал дядя Джек.

— Это уж твоя работа,— сказал Аттикус.— Я только покорился неизбежному.

Мы никак не хотели отойти от елки и послушались, только когда Аттикус заговорил своим юридическим голосом. Он не позволил нам взять духовые ружья на «Пристань Финча» (а я уже подумывала застрелить Фрэнсиса) и сказал — если что будет не так, он их у нас заберет и больше не отдаст.

«Пристань Финча» находилась на крутом обрыве, и вниз, к самой пристани, вели триста шестьдесят шесть ступенек. Дальше по течению, за обрывом, еще видны были следы старого причала, где в старину негры Финча грузили на суда кипы хлопка и выгружали лед, муку и сахар, сельскохозяйственные орудия и женские наряды. От берега отходила двухколейная дорога и скрывалась в темном лесу. Она приводила к двухэтажному белому дому, внизу вокруг всего дома шла веранда, наверху — галерея. Наш предок Саймон Финч в старости выстроил этот дом, чтоб угодить сварливой жене; но верандой и галереей и оканчивалось всякое сходство этого жилища с обыкновенными домами той эпохи. Его внутреннее устройство свидетельствовало о простодушии Саймона Финча и о великом доверии, которое он питал к своим отпрыскам.

Наверху было шесть спален — четыре для восьми дочерей, одна — для единственного сына Уэлкома Финча и одна для гостей из числа родни. Как будто просто; но в комнаты дочерей можно было попасть только по одной лестнице, а к сыну и гостям — только по другой. Лестница дочерей внизу выходила в спальню родителей, так что Саймон по ночам знал о каждом шаге каждой дочери.

Кухня помещалась во флигеле, и ее соединяла с домом крытая галерейка; за домом на столбе висел ржавый колокол — он созывал негров, работавших на плантации, он же возвещал о пожаре или иной беде; крыша была плоская, говорят, в старину такие делали для вдовьих прогулок, но по этой крыше никакие вдовы не гуляли — Саймон присматривал с нее за своим надсмотрщиком, смотрел на суда, проходящие по реке, и подсматривал, как живут ближние арендаторы.

С этим домом, как со многими другими, была связана легенда времен войны с янки: одна девушка из рода Финчей, незадолго до того помолвленная, надела на себя все свое приданое, чтоб оно не попало в руки грабителей, рыскавших по всей округе; она застряла на узкой «лестнице дочерей», но ее облили водой и в конце концов протолкнули.

Мы приехали на «Пристань», тетя Александра чмокнула дядю Джека, Фрэнсис чмокнул дядю Джека, дядя Джимми молча пожал руку дяде Джеку, мы с Джимом вручили подарки Фрэнсису, а он — нам. Джим сразу почувствовал, что он уже большой, и потянулся к взрослым, а мне предоставил занимать нашего двоюродного брата. Фрэнсису минуло восемь, и он уже гладко зачесывал волосы назад.

— Что тебе подарили на рождество? — вежливо спросила я.

— То, что я просил,— сказал он.

Фрэнсис просил новые штаны до колен, ранец красной кожи, пять рубашек и галстук бабочкой.

— Очень мило, — не совсем искренне сказала я.— А нам с Джимом подарили духовые ружья, и Джиму еще химический набор...

— Наверно, игрушечный.

— Нет, настоящий. Он для меня сделает невидимые чернила, я ими буду писать Диллу письма.

Фрэнсис спросил, для чего это надо.

— Как ты не понимаешь? Он получит от меня письмо, а там пустая бумажка — он совсем одуреет!

С Фрэнсисом говорить — все равно что медленно опускаться в океан, на самое дно. В жизни не видала другого такого нудного мальчишки. Он жил в Мобиле и потому не мог ябедничать на меня учителям, зато ухитрялся все, что знал, рассказывать тете Александре, а она изливалась Аттикусу, а он иногда в одно ухо впустит, в другое выпустит, а иногда отругает меня вовсю — это уж как ему вздумается. Но только один-единственный раз я слышала, как Аттикус сердится. Он сказал:

— Сестра, я их воспитываю, как могу!

Кажется, разговор начался с того, что я щеголяю в комбинезоне, как мальчишка.

Тетю Александру просто терзала забота о моем гардеробе. Если я буду разгуливать в штанах, из меня никогда не выйдет настоящей леди; я сказала — в платье и делать-то ничего нельзя, а тетя Александра ответила — незачем мне заниматься такими делами, для которых надо носить штаны. По понятиям тети Александры, мне полагалось играть маленькими кастрюльками и чайными сервизами и носить ожерелье из искусственного жемчуга, которое она мне подарила, когда я родилась; и к тому же я должна озарять светом одинокую жизнь моего отца. Я сказала — можно ходить в штанах и все равно озарять светом, но тетя сказала — нет, надо быть как луч света, а я родилась хорошей девочкой, а теперь год от году становлюсь все хуже и непослушнее. Она без конца меня оскорбляла и пилила, и я спросила Аттикуса, но он сказал, хватит в нашей семье лучей света, и пускай я занимаюсь своими делами, а ему я, в общем, и такая гожусь.

Во время праздничного обеда меня посадили в столовой отдельно за маленький столик; Джим и Фрэнсис обедали со взрослыми. Тетя Александра еще долго сажала меня отдельно, когда Джим и Фрэнсис уже перешли за большой стол. Я часто думала, чего она боится — вдруг я встану и швырну что-нибудь на пол. Иногда мне хотелось ее попросить — пускай один раз позволит мне посидеть со всеми и сама увидит, я прекрасно умею себя вести за большим столом, ведь дома я обедаю со всеми каждый день, и ничего такого страшного не случается. Я попросила Аттикуса, может, тетя его послушается, но он сказал — нет, мы — гости, и наше место там, куда посадит хозяйка. И еще сказал —

тетя Александра не очень разбирается в девочках, у нее своих не было.

Но стряпня тети Александры искупила все: три мясных блюда, всякая зелень из кладовой — свежая, точно летом с огорода, персиковый компот, два пирога и амброзия — таков был скромный праздничный обед. После всего этого взрослые перешли в гостиную и уселись в каком-то оцепенении. Джим растянулся на полу, а я вышла во двор.

— Надень пальто,— сказал Аттикус сонным голосом, и я решила не услышать.

Фрэнсис сел рядом со мной на крыльце.

— Никогда так вкусно не обедала,— сказала я.

— Бабушка замечательно стряпает,— сказал Фрэнсис.— Она и меня научит.

— Мальчишки не стряпают.

Я вообразила Джима в фартуке Кэлпурнии и прыснула.

— Бабушка говорит, всем мужчинам следует учиться стряпать, и смотреть за своими женами, и заботиться о них, когда они не совсем здоровы,— сказал мой двоюродный брат.

— А я не хочу, чтоб Дилл обо мне заботился, лучше я сама буду о нем заботиться.

— О Дилле?

— Ага. Ты пока никому не говори, когда мы с ним вырастем большие, мы сразу поженимся. Он мне летом сделал предложение.

Фрэнсис так и покатился со смеху.

— А чем он плох? — спросила я.— Ничем он не плох.

— Это такой — от земли не видать? Бабушка говорила, он гостил летом у мисс Рейчел?

— Этот самый.

— А я про него все знаю! — сказал Фрэнсис.

— Что знаешь?

— Бабушка говорит, у него нет дома...

— Нет есть, он живет в Меридиане.

—...и его все время посылают от одних родственников к другим, вот мисс Рейчел и берет его на лето.

— Фрэнсис, ты врешь!

Фрэнсис ухмыльнулся.

— До чего ты бываешь глупая, Джин-Луиза. Хотя что с тебя спрашивать.

— Как так?

— Бабушка говорит, если дядя Аттикус позволяет тебе гонять по улицам без призору, это его дело, а ты не виновата. А я думаю, если дядя Аттикус чернолюб, ты тоже не виновата, только это позор всей семье, вот что я тебе скажу...

— Кой черт, Фрэнсис, что это ты болтаешь?

— То, что слышишь. Бабушка говорит, уже то плохо, что вы оба у него совсем одичали, а теперь он еще стал чернолюбом, так нам больше в Мейкомб и показаться нельзя. Он позорит всю семью, вот что.

Фрэнсис вскочил и побежал по галерейке в кухню. Отбежал подальше, обернулся и крикнул:

Чернолюб,
Черный пуп,
С черными связался,
Ваксы нализался!

— Врешь! — закричала я.— Не знаю, что ты там болтаешь, только сейчас я тебе заткну глотку!

Я прыгнула с крыльца. В два счета догнала его, схватила за шиворот. И сказала — бери свои слова обратно.

Фрэнсис вырвался и помчался в кухню.

— Чернолюб! — орал он.

Если хочешь поймать дичь, лучше не спеши. Молчи и жди, ей наверняка станет любопытно, и она высунет нос. Фрэнсис выглянул из дверей кухни.

— Ты еще злишься, Джин-Луиза? — осторожно спросил он.

— Да нет, ничего.

Фрэнсис вышел в галерейку.

— Возьмешь свои слова обратно, а?

Я рано себя выдала. Фрэнсис пулей умчался в кухню, и я вернулась на крыльцо. Можно и подождать. Посидела так минут пять и услышала голос тети Александры:

— Где Фрэнсис?

— Он там, в кухне.

— Он же знает, что я не разрешаю там играть.

Фрэнсис подошел к двери и завопил:

— Бабушка, это она меня сюда загнала и не выпускает!

— В чем дело, Джин-Луиза?

Я подняла голову и посмотрела на тетю Александру.

— Я его туда не загоняла, тетя, и я его там не держу.

— Нет, держит! — закричал Фрэнсис.— Она меня не выпускает!

— Вы что, поссорились?

— Бабушка, Джин-Луиза на меня злится! — крикнул Фрэнсис.

— Поди сюда, Фрэнсис! Джин-Луиза, если я услышу от тебя еще хоть слово, я скажу отцу. Кажется, ты недавно поминала черта?

— Не-е.

— А мне послышалось. Так вот, чтоб я больше этого не слышала.

Тетя Александра вечно подслушивала. Едва она ушла, Фрэнсис вышел из кухни, задрал нос и ухмыльнулся во весь рот.

— Ты со мной не шути! — заявил он.

Выбежал во двор и запрыгал там — бьет по кустикам увядшей травы, как по футбольному мячу, от меня держится подальше, только иногда обернется и усмехается. Вышел на крыльцо Джим, поглядел на нас и скрылся. Фрэнсис залез на старую мимозу, опять слез, сунул руки в карманы и стал прохаживаться по двору.

— Ха! — сказал он.

Я спросила, кого он из себя изображает — дядю Джека, что ли? Фрэнсис сказал — кажется, Джин-Луизе велено сидеть смирно и оставить его в покое.

— Я тебя не трогаю,— сказала я.

Он внимательно на меня посмотрел, решил, что меня уже утихомирили, и тихонько пропел:

— Чернолюб...

На этот раз я до крови ободрала кулак о его передние зубы. Повредив левую, я стала работать правой, но недолго. Дядя Джек прижал мне локти к бокам и скомандовал:

— Смирно!

Тетя Александра хлопотала вокруг Фрэнсиса, утирала ему слезы своим платком, приглаживала ему волосы, потом потрепала по щеке. Аттикус, Джим и дядя Джимми стояли на заднем крыльце — они вышли сюда, как только Фрэнсис начал орать.

— Кто первый начал? — спросил дядя Джек.

Фрэнсис и я показали друг на друга.

— Бабушка,— провыл Фрэнсис,— она меня обозвала потаскухой и всего исколотила.

— Это правда, Глазастик? — спросил дядя Джек.

— Ясно, правда.

Дядя Джек посмотрел на меня, и лицо у него стало точь-в-точь, как у тети Александры.

— Я ведь, кажется, предупреждал — если будешь бросаться такими словами, жди неприятностей. Говорил я тебе?

— Да, сэр, но...

— Так вот, ты дождалась неприятностей. Стой тут.

Я колебалась — не удрать ли — и опоздала: рванулась бежать, но дядя Джек оказался проворнее. Вдруг у меня под самым носом очутился муравей, он с трудом тащил по траве хлебную крошку.

— До самой смерти и говорить с тобой не буду! Терпеть тебя не могу, ненавижу, чтоб тебе сдохнуть!

Кажется, все это только придало дяде Джеку решимости. Я кинулась за утешением к Аттикусу, а он сказал — сама виновата, и вообще нам давно пора домой. Я ни с кем не простилась, залезла на заднее сиденье, а когда приехали домой, убежала к себе и захлопнула дверь. Джим хотел мне сказать что-то хорошее, я не стала слушать.

Я осмотрела следы бедствия, оказалось только семь или восемь красных пятен, и я стала думать, что и правда все на свете относительно, и тут в дверь постучали. Я спросила, кто там; отозвался дядя Джек.

— Уходи!

Дядя Джек сказал — если я буду так разговаривать, он опять меня выдерет, и я замолчала. Он вошел, я ушла в угол и повернулась к нему спиной.

— Глазастик,— сказал он,— ты меня все еще ненавидишь?

— Можете опять меня выдрать.

— Вот не думал, что ты такая злопамятная,— сказал он.— Я был о тебе лучшего мнения, ты ведь сама знаешь, что получила по заслугам.

— Ничего я не знаю.

— Дружок, ты не имеешь права ругать людей...

— Ты несправедливый,— сказала я,— несправедливый.

Дядя Джек высоко поднял брови.

— Несправедливый? Это почему же?

— Дядя Джек, ты хороший, и я, наверно, все равно даже теперь тебя люблю, только ты ничего не понимаешь в детях.

Дядя Джек подбоченился и посмотрел на меня сверху вниз.

— Отчего же это я ничего не понимаю в детях, мисс Джин-Луиза? Когда дети ведут себя так, как ты себя вела, тут особенно и понимать нечего. Ты дерзишь, ругаешься и дерешься...

— Почему ты меня не слушаешь? Я не собираюсь дерзить. Я только хочу объяснить тебе.

Дядя Джек сел на кровать. Сдвинул брови и посмотрел на меня.

— Ну, говори.

Я набрала побольше воздуху.

— Вот. Во-первых, ты меня не выслушал, не дал слова сказать, сразу накинулся. Когда мы с Джимом поссоримся, Аттикус не одного Джима слушает, меня тоже. А во-вторых, ты говорил — никогда не произносить такие слова, если они не аб-солютно необходимы. Фрэнсису аб-солютно необходимо было оторвать башку.

Дядя Джек почесал в затылке.

— Ну, рассказывай.

— Фрэнсис обозвал Аттикуса, вот я ему и задала.

— Как он его обозвал?

— Чернолюбом. Я не знаю толком, что это, только он так это сказал... ты так и знай, дядя Джек, вот хоть провалиться, не дам я ему ругать Аттикуса.

— Фрэнсис так и сказал?

— Да, сэр, и еще много всего. Что Аттикус — позор всей семьи и что мы с Джимом у него одичали...

У дяди Джека стало такое лицо — я подумала, сейчас мне опять попадет. Потом он сказал:

— Ну, посмотрим,— тут я поняла, что попадет Фрэнсису.— Пожалуй, я еще сегодня вечером туда съезжу.

— Пожалуйста, сэр, оставьте все, как есть. Пожалуйста!

— Нет уж, ничего я так не оставлю,— сказал дядя Джек.— Пускай Александра знает. Надо же додуматься... ну, погоди, доберусь я до этого мальчишки...

— Дядя Джек, обещай мне одну вещь, ну, пожалуйста! Не говори про это Аттикусу! Он... он меня один раз попросил терпеть и не злиться, что бы про него ни сказали, и... и пускай он думает — мы дрались из-за чего-нибудь еще! Дай слово, что не скажешь, ну, пожалуйста!..

— Но я не желаю, чтобы Фрэнсису это так и сошло...

— А ему и не сошло. Дядя Джек, может, ты мне перевяжешь руку? Еще немножко кровь идет.

— Конечно, перевяжу, малышка. С величайшим удовольствием. Нет на свете руки, которую мне так приятно перевязать. Не угодно ли пройти сюда?

Дядя Джек учтиво поклонился и пригласил меня в ванную. Он промыл и перевязал мне пальцы и все время смешно рассказывал про почтенного близорукого старичка, у которого был кот по имени Бульон и который, отправляясь в город, считал все трещинки на тротуаре.

— Ну, вот и все,— сказал дядя Джек.— На безымянном пальце настоящей леди полагается носить обручальное кольцо, а у тебя останется шрам.

— Спасибо, сэр. Дядя Джек...

— Да, мэм?

— Что такое потаскуха?

Дядя Джек опять принялся рассказывать что-то длинное про старика премьер-министра, который заседал в палате общин и во время самых бурных дебатов, когда все вокруг с ума сходили, поддувал кверху перышки, да так, что они не падали. Наверно, он старался ответить на мой вопрос, но выходило как-то непонятно.

Потом, когда мне уже полагалось спать, я спустилась вниз попить воды и из коридора услыхала — в гостиной разговаривали дядя Джек с Аттикусом.

— Я никогда не женюсь, Аттикус.

— Почему?

— Вдруг будут дети...

— Тебе придется многому поучиться, Джек,— сказал Аттикус.

— Знаю. Твоя дочь преподала мне сегодня первые уроки. Она сказала, что я ничего не понимаю в детях, и объяснила почему. И она совершенно права. Аттикус, она растолковала мне, как я должен был с ней обращаться... ей-богу, я ужасно жалею, что отшлепал ее.

Аттикус фыркнул:

— Она вполне заслужила трепку, так что пусть совесть тебя не слишком мучает.

Я замерла: вдруг дядя Джек возьмет и расскажет Аттикусу... Но он не стал рассказывать. Только пробормотал:

— У нее весьма богатый лексикон. Но половину бранных слов она говорит, не понимая их значения. Она меня спросила, что такое потаскуха.

— Ты объяснил?

— Нет, я рассказал ей про лорда Мелбурна.

— Когда ребенок о чем-нибудь спрашивает, Джек, ради всего святого, не увиливай, а отвечай. И не заговаривай зубы. Дети есть дети, но они замечают увертки не хуже взрослых, и всякая увертка только сбивает их с толку. Нет,— задумчиво продолжал отец,— наказать ее сегодня следовало, но только не за то. Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой. А вот вспыльчивость сама не пройдет. Девочка должна научиться держать себя в руках, да поскорее, ей предстоит несколько трудных месяцев. Впрочем, она понемногу набирается ума-разума. Джим становится старше, и она все больше берет с него пример. Ей только надо изредка помочь.

— Аттикус, а ведь ты ее никогда и пальцем не тронул?

— Признаться, нет. До сих пор довольно было пригрозить. Она изо всех сил старается меня слушаться, Джек. Это у нее далеко не всегда выходит, но она очень старается.

— Но секрет ведь не в этом,— сказал дядя Джек.

— Нет, секрет в другом: она знает, что я знаю, как она старается. А это очень важно. Плохо то, что им с Джимом скоро придется проглотить много разных гадостей. У Джима, надеюсь, хватит выдержки, но Глазастик, когда заденут ее гордость, сразу кидается в драку...

Я думала, тут дядя Джек не смолчит. Но он и на этот раз сдержал слово.

— А будет очень скверно, Аттикус? Ты как-то еще толком не рассказал.

— Хуже некуда, Джек. У нас только и есть показания негра против показаний Юэлов. Все сводится к тому, что один твердит — ты это сделал, а другой — нет, не делал. И, конечно, присяжные поверят не Тому Робинсону, а Юэлам... ты имеешь представление о Юэлах?

Дядя Джек сказал — да, припоминаю — и стал описывать Аттикусу, какие они. Но Аттикус сказал:

— Ты отстал на целое поколение. Впрочем, нынешние Юэлы ничуть не лучше.

— Так что же ты думаешь делать?

— Прежде чем меня разобьют, я рассчитываю встряхнуть присяжных и вызвать разногласия... притом у нас есть еще шансы на апелляцию. Право, сейчас еще трудно что-либо сказать, Джек. Знаешь, я надеялся, что мне никогда не придется вести такое дело, но Джон Тейлор прямо указал на меня и сказал, что тут нужен я и никто другой.

— А ты надеялся, что минует тебя чаша сия?

— Вот именно. Но как, по-твоему, мог бы я смотреть в глаза моим детям, если бы отказался? Ты и сам понимаешь, чем это кончится, Джек, и дай им бог пройти через все это и не озлобиться, а главное, не подхватить извечную мейкомбскую болезнь. Не понимаю, почему разумные люди впадают в буйное помешательство, как только дело коснется негра... просто понять не могу. Одна надежда — что Джим и Глазастик со всеми вопросами придут ко мне, а не станут слушать, что болтают в городе. Надеюсь, они мне достаточно верят... Джин-Луиза?

Я так и подскочила. Заглянула в дверь.

— Да, сэр?

— Иди спать.

Я побежала к себе и легла. Какой молодец дядя Джек, не выдал меня! Но как Аттикус догадался, что я подслушиваю? Только через много лет я поняла: он говорил для меня, он хотел, чтобы я слышала каждое слово.

Глава 10

Аттикус был слабосильный, ведь ему уже немного оставалось до пятидесяти. Когда мы с Джимом спросили, почему он такой старый, он сказал: поздно начал, и мы поняли: поэтому ему далеко до других мужчин. Он был много старше родителей наших одноклассников, и когда другие ребята начинали хвастать — а вот мой отец...— мы волей-неволей помалкивали.

Джим был помешан на футболе. Аттикус на футбол и не смотрел никогда, а если Джим пытался его затащить, неизменно отвечал:

— Для этого я слишком стар.

Ничем стоящим наш отец не занимался. Работал он в кабинете, а не в аптеке. Хоть бы он водил грузовик, который вывозил мусор на свалки нашего округа, или был шерифом, или на ферме хозяйничал, или работал в гараже — словом, делал бы что-нибудь такое, чем можно гордиться.

И ко всему, он носил очки. Левым глазом он почти ничего не видел, он говорил: левый глаз — родовое проклятие Финчей. Если надо было что-нибудь получше разглядеть, он поворачивал голову и смотрел одним правым.

Он не делал ничего такого, что делали отцы всех ребят: никогда не ходил на охоту, не играл в покер, не удил рыбу, не пил, не курил. Он сидел в гостиной и читал.

При таких его качествах мы бы уж хотели, чтоб его никто не замечал, так нет же: в тот год вся школа только и говорила про то, что Аттикус защищает Тома Робинсона, и разговоры эти были самые нелестные. Когда я поругалась с Сесилом Джейкобсом, а потом ушла, как последняя трусиха, ребята стали говорить: Глазастик Финч больше драться не будет, ей папочка не велит. Они немного ошиблись: я не могла больше драться на людях, но в семейном кругу дело другое. Всяких двоюродных и пятиюродных братьев и сестер я готова была отдубасить за Аттикуса всласть. Фрэнсис Хенкок, к примеру, испробовал это на себе.

Аттикус подарил нам духовые ружья, а учить нас стрелять не захотел. Поэтому дядя Джек дал нам первые уроки; он сказал — Аттикуса оружие не увлекает. Однажды Аттикус сказал Джиму:

— Я бы предпочел, чтобы ты стрелял на огороде по жестянкам, но знаю, ты начнешь бить птиц. Если сумеешь попасть в сойку, стреляй их сколько угодно, но помни: убить пересмешника — большой грех.

Я впервые слышала, чтоб Аттикус про что-нибудь сказал — грех, и спросила мисс Моди, почему грех.

— Твой отец прав,— сказала мисс Моди.— Пересмешник — самая безобидная птица, он только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в овинах, они только и делают, что поют для нас свои песни. Вот поэтому убить пересмешника — грех.

— Мисс Моди, наш квартал очень старый, правда?

— Он существовал, когда еще и города-то не было.

— Нет, я не про то, на нашей улице все люди старые. Всего и детей — Джим да я. Миссис Дюбоз скоро будет сто лет, и мисс Рейчел тоже старая, и вы, и Аттикус.

— Я бы не сказала, что пятьдесят лет — такая уж старость,— едко заметила мисс Моди.— Меня, кажется, еще не возят в коляске. И твоего отца тоже. Хотя, надо сказать, слава богу, что этот мой старый склеп сгорел, мне уже не под силу было содержать его в порядке... да, пожалуй, ты права, Джин-Луиза, квартал наш очень солидный. Ты ведь почти не видишь молодежи, правда?

— Вижу, мэм,— в школе.

— Я имею в виду — молодых, но уже взрослых. Вы с Джимом счастливчики, скажу я тебе. Вам повезло, что отец у вас немолодой. Будь ему тридцать, вам жилось бы совсем по-другому.

— Ясно, по-другому, ведь Аттикус ничего не может...

— Ты его не знаешь, — сказала мисс Моди.— Он еще полон жизни.

— А что он может?

— Ну, например, может так разумно и толково составить для кого-нибудь завещание, что комар носу не подточит.

— Поду-умаешь...

— Ну, хорошо, а известно тебе, что он лучший игрок в шашки во всем нашем городе? Ого, на «Пристани», когда мы были еще совсем детьми, он мог обыграть кого угодно и на том берегу и на этом.

— Да что вы, мисс Моди, мы с Джимом всегда его обыгрываем!

— Потому что он вам поддается, пора бы понимать. А известно тебе, что он умеет играть на окарине?

Есть чем хвастать! Мне стало только еще больше стыдно за Аттикуса.

— Ладно же...

— Что ладно, мисс Моди?

— Ничего. Ты, видно, не умеешь гордиться отцом. Не всякий может играть на окарине. А теперь не вертись-ка у плотников под ногами. Беги домой, я сейчас займусь азалиями, и мне некогда будет за тобой смотреть. Еще доской зашибет.

Я пошла к нам на задворки, там Джим палил в жестянку из-под консервов — самое глупое занятие, когда кругом полно соек. Я вернулась в сад и два часа сооружала крепость — на строительство пошла автопокрышка, ящик из-под апельсинов, бельевая корзина, стулья с веранды и маленький национальный флаг с коробки от жареной кукурузы, мне его дал Джим.

Когда Аттикус пришел обедать, я сидела в крепости и целилась.

— Ты куда метишь?

— В попку мисс Моди.

Аттикус обернулся и увидел мою обширную мишень — мисс Моди склонилась над кустами у себя в саду. Аттикус сдвинул шляпу на затылок и зашагал через улицу.

— Моди, — окликнул он,— хочу тебя предупредить. Тебе грозит серьезная опасность.

Мисс Моди выпрямилась и поглядела на меня. И сказала:

— Аттикус, ты просто дьявол.

Потом Аттикус вернулся и велел мне переменить позиции.

— И чтоб я больше не видел, что ты в кого бы то ни было целишься из этого оружия,— сказал он.

А хорошо, если б мой отец был просто дьявол! Я стала расспрашивать Кэлпурнию.

— Мистер Финч? Да он все на свете умеет.

— Ну что, что?

Кэлпурния почесала в затылке.

— Не знаю я толком,— сказала она.

А тут еще Джим спросил Аттикуса, будет ли он играть за методистов, и Аттикус ответил: нет, он для этого слишком стар и может сломать себе шею. Методисты хотели выкупить заложенный участок при своей церкви и вызвали баптистов сразиться в футбол. В матче должны были участвовать отцы всех мейкомбских ребят, кроме, кажется, одного Аттикуса. Джим сказал — он и смотреть-то не хочет, но где ему было утерпеть, раз играют в футбол, хотя бы и любители! Конечно, он пошел, и стоял рядом

со мной и Аттикусом, и мрачно смотрел, как отец Сесила Джейкобса забивает голы методистам.

Один раз в субботу мы с Джимом захватили свои ружья и пошли на разведку — может, подкараулим белку или кролика. Миновали дом Рэдли, отошли еще ярдов на пятьсот, и вдруг я вижу, Джим украдкой поглядывает куда-то в сторону. Повернул голову вбок и скосил глаза.

— Ты что там увидал?

— А вон пес бежит.

— Это Тим Джонсон, да?

— Угу.

Хозяин Тима, мистер Гарри Джонсон, шофер мобилского автобуса, жил на южной окраине города. Тим, пойнтер с рыжими подпалинами, был любимцем всего Мейкомба.

— Что это он?

— Не знаю, Глазастик. Давай вернемся.

— Ну-у, Джим, сейчас февраль.

— Все равно надо сказать Кэлпурнии.

Мы побежали домой и ворвались в кухню.

— Кэл, — сказал Джим,— выйди на минутку на улицу, пожалуйста.

— А зачем? Некогда мне каждый раз выходить.

— Там собака, и с ней что-то неладно.

Кэлпурния вздохнула.

— Некогда мне сейчас собачьи лапы перевязывать. В ванной есть марля, возьми сам и перевяжи.

Джим покачал головой.

— Этот пес болен, Кэл. Что-то с ним неладно.

— А что, он ловит себя за хвост?

— Нет, он делает вот так.— Джим весь сгорбился, изогнулся и стал разевать рот, как золотая рыбка.— Он вот так и идет, и, по-моему, ему это совсем не нравится.

— Ты меня не разыгрываешь, Джим Финч? — Голос у Кэлпурнии стал сердитый.

— Нет, Кэл, честное слово!

— Этот пес бежит бегом?

— Нет, он как-то трусит рысцой, только очень медленно. Он идет сюда.

Кэлпурния сполоснула руки и вышла за Джимом во двор.

— Никакого пса не видать,— сказала она.

Мы повели ее мимо дома Рэдли, и она поглядела в ту сторону, куда показал Джим. Тим Джонсон был еще очень далеко, но он шел к нам. Он двигался как-то вкривь, будто правые лапы у него короче левых. Я подумала: он как автомобиль, который забуксовал на песке.

— Он стал какой-то кривобокий, — сказал Джим.

Кэлпурния вытаращила глаза, потом сгребла нас за плечи и скорей потащила домой. Захлопнула дверь, бросилась к телефону и закричала:

— Дайте контору мистера Финча! Мистер Финч, это Кэл! Как перед богом, на нашей улице бешеная собака... да, сэр, к нам бежит, да... мистер Финч, вот вам мое честное слово... Тим Джонсон, да, сэр... хорошо, сэр... хорошо...

Она повесила трубку, мы стали спрашивать, что говорит Аттикус, а она только головой мотнула. Постучала по рычагу и сказала в трубку:

— Мисс Юла Мэй... нет, мэм, с мистером Финчем я уже поговорила, пожалуйста, больше не соединяйте... послушайте, мисс Юла Мэй, может, вы позвоните мисс Рейчел, и мисс Стивени Кроуфорд, и у кого там еще есть телефоны на нашей улице? Скажите им: идет бешеная собака! Пожалуйста, мэм!

Она послушала немного.

— Знаю, что февраль, мисс Юла Мэй, только я уж знаю, который пес здоровый, а который бешеный, не ошибусь. Пожалуйста, мэм, поторопитесь!

Потом Кэлпурния спросила Джима:

— А у Рэдли телефон есть?

Джим посмотрел в телефонной книге и сказал — нету.

— Да ведь они из дому не выходят, Кэл.

— Все равно, надо им сказать.

Она выбежала на веранду, мы с Джимом кинулись было за ней.

— Сидите дома!— прикрикнула она.

Мисс Юла уже передала предупреждение Кэлпурнии всем нашим соседям. Сколько хватал глаз, по всей улице двери были закрыты наглухо. Тима Джонсона нигде не было видно. Кэлпурния подобрала юбки и фартук и бегом кинулась к дому Рэдли. Взбежала на веранду и забарабанила в дверь. Никто не выглянул, и она закричала:

— Мистер Натан! Мистер Артур! Берегитесь, бешеный пес! Бешеный пес!

— Ей полагается стучать с заднего крыльца,— сказала я.

Джим покачал головой.

— Сейчас это неважно,— сказал он.

Напрасно Кэлпурния ломилась в дверь. Никто не откликнулся, казалось, никто ее и не слышит.

Она помчалась к заднему крыльцу Рэдли, и тут на нашу подъездную дорожку влетел черный «форд». Из него вышли Аттикус и мистер Гек Тейт.

Гек Тейт был шериф округа Мейкомб. Высокий, как наш Аттикус, только потоньше, и носатый. На нем были высокие сапоги на шнурках, с блестящими металлическими глазками, бриджи и охотничья куртка. И пояс с патронами. И в руках огромное ружье. Они с Аттикусом подошли к крыльцу, и Джим отворил дверь.

— Не выходи, сын,— сказал Аттикус. — Где он, Кэлпурния?

— Сейчас уже, наверно, где-нибудь тут,— и Кэлпурния махнула рукой вдоль улицы.

— Бегом бежит или нет? — спросил мистер Тейт.

— Нет, сэр, мистер Гек, его сейчас корчит.

— Может, пойдем ему навстречу, Гек? — сказал Аттикус.

— Лучше подождем, мистер Финч. Обычно они бегут по прямой, но кто его знает. Может быть, он повернет, как улица поворачивает, это бы дай бог, а может, двинет прямиком на задворки к Рэдли. Обождем немного.

— Не думаю, чтобы он забрался во двор к Рэдли,— сказал Аттикус. — На проволоку он не полезет. Скорее всего он двинется по мостовой...

Раньше я думала — у бешеных собак идет пена изо рта, и они очень быстро бегают, и кидаются на тебя, и хотят перегрызть тебе горло, и все это бывает в августе. Если б Тим Джонсон был такой, я испугалась бы куда меньше.

Когда на улице ни души и все затаилось и ждет чего-то, это очень страшно. Деревья застыли неподвижно, пересмешники и те смолкли, плотники со двора мисс Моди куда-то исчезли. Мистер Тейт чихнул, потом высморкался. И взял ружье на руку. Потом за стеклом своей парадной двери, точно в рамке, появилась мисс Стивени Кроуфорд. Подошла мисс Моди и стала с нею рядом. Аттикус поставил ногу на перекладину кресла и медленно потер ладонью колено. И сказал тихо:

— Вот он.

Из-за поворота показался Тим Джонсон, он плелся по тротуару, огибающему дом Рэдли.

— Смотри-ка,— прошептал Джим.— Мистер Гек говорил, они двигаются по прямой. А он по мостовой и то идти не может.

— По-моему, его просто тошнит,— сказала я.

— Стань ему кто-нибудь поперек дороги — и он кинется.

Мистер Тейт заслонил глаза ладонью и подался вперед.

— Так и есть, бешеный.

Тим Джонсон двигался черепашьим шагом, но он не играл с сухими листьями и не нюхал землю: он будто знал, куда идет, будто какая-то невидимая сила медленно подталкивала его к нам. Он передергивался, как лошадь, когда ее одолевают слепни; то раскрывал пасть, то закрывал; его кренило набок — и все равно медленно тянуло к нам.

— Он ищет места, где издохнуть,— сказал Джим.

Мистер Тейт обернулся.

— До смерти ему далеко, Джим, он еще и не начал подыхать.

Тим Джонсон доплелся до проулка перед домом Рэдли и, видно, собирал последние крохи разума, пытаясь сообразить, куда ему теперь идти. Сделал несколько неверных шагов и уперся в ворота Рэдли; хотел повернуться — не вышло.

Аттикус сказал:

— Теперь его уже можно достать, Гек. Поторопитесь, пока он не свернул в проулок — одному богу известно, кто там может оказаться за углом. Иди в дом, Кэл.

Кэлпурния отворила стеклянную дверь, заперла ее за собой на засов, опять отодвинула засов и накинула только крючок. Она старалась загородить собою нас с Джимом, но мы выглядывали у нее из-под рук.

— Стреляйте, мистер Финч.

И мистер Тейт протянул Аттикусу ружье. Мы с Джимом чуть в обморок не упали.

— Не теряйте времени, Гек,— сказал Аттикус. — Бейте.

— Мистер Финч, тут надо бить без промаха.

Аттикус сердито замотал головой.

— Не тяните, Гек! Он не станет целый день вас дожидаться...

— Мистер Финч, да вы поглядите, где он стоит! Только промахнись — и угодишь прямо в окно Рэдли. Я не такой меткий стрелок, вы это и сами знаете.

— А я тридцать лет оружия в руки не брал...

Мистер Тейт рывком сунул Аттикусу свое ружье.

— Вот и возьмите сейчас, мне будет куда спокойнее! — сказал он.

Мы с Джимом смотрели, как в тумане. Отец взял ружье и вышел на середину улицы. Он шел быстро, а мне казалось, он еле движется, точно под водой,— так тошнотворно ползло время.

Аттикус взялся за очки.

— Боже милостивый, помоги ему,— пробормотала Кэлпурния и прижала ладони к щекам.

Аттикус сдвинул очки на лоб, они соскользнули обратно, и он уронил их на землю. В тишине я услышала — хрустнули стекла. Аттикус потер рукой глаза и подбородок и сильно замигал.

У ворот Рэдли Тим Джонсон, как мог, что-то сообразил. Он наконец повернулся и двинулся дальше по нашей улице. Сделал два шага, остановился и поднял голову. И весь одеревенел.

Аттикус, кажется, еще и вскинуть ружье не успел — и в тот же миг нажал спуск.

Грохнул выстрел. Тим Джонсон подскочил, шлепнулся наземь и застыл бело-рыжим холмиком. Он даже не узнал, что случилось.

Мистер Тейт спрыгнул с крыльца и кинулся к дому Рэдли. Остановился возле собаки, присел на корточки, обернулся и постукал пальцем себе по лбу над левым глазом.

— Вы взяли чуточку вправо, мистер Финч! — крикнул он.

— Всегда этим страдал,— ответил Аттикус.— Будь у меня выбор, я бы предпочел дробовик.

Он нагнулся, поднял очки, растер каблуком в пыль осколки стекол, потом подошел к мистеру Тейту, остановился и посмотрел на Тима Джонсона.

Одна за другой отворялись двери, улица медленно оживала. Вышли из дому мисс Моди и мисс Стивени.

Джим оцепенел. Я его ущипнула, чтоб сдвинуть с места, но Аттикус нас заметил и крикнул:

— Не ходите сюда!

Потом мистер Тейт с Аттикусом вернулись к нам во двор. Мистер Тейт улыбался.

— Я велю Зибо его подобрать,— сказал он.— Не так-то много вы позабыли, мистер Финч. Говорят, этому не разучишься.

Аттикус молчал.

— Аттикус...— начал Джим.

— Что?

— Ничего.

— Любо было на тебя смотреть, Финч Без Промаха!

Аттикус круто обернулся, перед ним стояла мисс Моди. Они молча посмотрели друг на друга, и Аттикус сел в машину шерифа.

— Поди сюда,— сказал он Джиму.— Не смейте подходить к этой собаке, понял? Не смейте к ней подходить, мертвая она не менее опасна, чем живая.

— Да, сэр,— сказал Джим.— Аттикус...

— Что, сын?

— Ничего.

— Что с тобой, друг, у тебя отнялся язык? — усмехнулся мистер Тейт.— Неужели ты не знал, что отец у тебя...

— Бросьте, Гек,— прервал Аттикус.— Нам пора в город.

Они уехали, а мы с Джимом пошли к дому мисс Стивени. Сели на крыльце и стали ждать Зибо с его машиной.

Джим сидел ошеломленный и растерянный. Мисс Стивени сказала:

— Гм-гм, бешеная собака в феврале... кто бы мог подумать? Может быть, она была не бешеная, может быть, она просто так одурела? Не хотела бы я видеть физиономию Гарри Джонсона, когда он вернется из Мобила и узнает, что Аттикус Финч пристрелил его собаку. Пари держу, пес просто набрался где-то блох...

Мисс Моди сказала — мисс Стивени запела бы по-другому, если б Тим Джонсон все еще гулял по нашей улице, а выяснится все очень быстро, голову пошлют в Монтгомери.

Джим наконец раскрыл рот:

— Видела Аттикуса, Глазастик? Нет, ты видела, как он стоял?.. Вдруг его вроде как отпустило, и как будто ружье не отдельно от него, а тоже его рука... и так быстро все, раз-раз... а я, прежде чем во что-нибудь попаду, десять минут прицеливаюсь...

Мисс Моди ехидно улыбнулась.

— Ну-с, мисс Джин-Луиза,— сказала она,— ты все еще думаешь, что твой отец ничего не умеет? И все еще его стыдишься?

— Не-е...— кротко сказала я.

— В тот раз я забыла тебе сказать — Аттикус Финч не только играл на окарине, он был в свое время самый меткий стрелок на весь округ Мейкомб.

— Самый меткий стрелок...— эхом повторил Джим.

— Совершенно верно, Джим Финч. Подозреваю, что теперь ты тоже запоешь другую песенку. Надо же додуматься — вы даже не знаете,

что вашего отца еще мальчишкой прозвали Финч Без Промаха? Да ведь в те времена на «Пристани» он, бывало, если с пятнадцати выстрелов подстрелит только четырнадцать голубей, так уже горюет — ах, я патроны зря трачу!

— Он нам ни разу про это слова не сказал,— пробормотал Джим.

— Вот как? Ни разу ни слова?

— Да, мэм.

— Почему же он никогда не охотится? — удивилась я.

— Пожалуй, я могу тебе это объяснить,— сказала мисс Моди.— Что-что, а твой отец прежде всего благородная душа. Меткость — тоже дар божий, талант... Но, конечно, надо его совершенствовать, упражняться, а ведь стрелять в цель — не то что, к примеру, на фортепьяно играть. Я так думаю, в один прекрасный день он понял, что бог дал ему несправедливое преимущество над живыми существами, и тогда он отложил ружье. Наверно, решил — буду стрелять только в крайности; а вот сегодня была крайность — он и стрелял.

— По-моему, он должен гордиться,— сказала я.

— Люди в здравом уме никогда не гордятся своими талантами,— сказала мисс Моди.

Подкатил мусорщик Зибо. Он достал из машины вилы и осторожно поддел ими Тима Джонсона. Кинул его в кузов, потом полил чем-то из бидона землю в том месте, где Тим упал, и вокруг тоже.

— Покуда никто сюда не подходите! — крикнул он.

Мы пошли домой, и я сказала Джиму — вот теперь нам будет что порассказать в понедельник в школе, и вдруг Джим на меня как накинется:

— И не думай рассказывать!

— Еще чего! Непременно расскажу! Не у всех папа самый меткий стрелок в целом округе!

— По-моему,— сказал Джим,— если б он хотел, чтоб мы про это знали, он сам бы нам рассказал. Если б он этим гордился, так рассказал бы.

— Может, он просто забыл,— сказала я.

— Э, нет, Глазастик, тебе этого не понять. Аттикус и правда старый, но мне все равно, чего он там не умеет, мне все равно, пускай он ничего на свете не умеет.

Джим подобрал камень и с торжеством запустил им в гараж. Побежал за ним и на бегу крикнул через плечо.

— Аттикус — джентльмен, совсем как я!

Глава 11

Когда мы с Джимом были маленькие, мы не отходили далеко от дома, разве что в южную сторону; но когда я училась во втором классе и мы давно уже перестали мучить Страшилу Рэдли, нас стало тянуть в центр города, а дорога в ту сторону вела мимо миссис Генри Лафайет Дюбоз. Ее никак было не обойти, разве что дать добрую милю крюку. У меня с миссис Дюбоз уже бывали кое-какие столкновения, и мне вовсе не хотелось знакомиться с нею ближе, но Джим сказал — надо же когда-нибудь и вырасти.

Миссис Дюбоз жила одна с негритянкой, прислугой за все, через два дома от нас, в домике с открытой террасой, на которую надо было подниматься по крутым-прекрутым ступенькам. Она была старая-престарая и весь день проводила в постели или в кресле на колесах. Говорили, среди своих бесчисленных шалей и одеял она прячет старинный пистолет, с ним кто-то из ее родных сражался в Южной армии.

Мы с Джимом ее терпеть не могли. Идешь мимо, а она сидит на террасе и сверлит тебя злым взглядом, и непременно пристанет — а как мы себя ведем? — и начнет каркать, что из нас выйдет, когда мы вырастем,— уж конечно ничего хорошего! А ходить мимо нее по другой стороне улицы было еще хуже — тогда она начинала кричать то же самое на весь квартал.

Ей никак нельзя было угодить. Крикнешь ей самым веселым голосом: «Привет, миссис Дюбоз!» А она в ответ: «Не смей говорить мне «привет», скверная девчонка! Надо говорить: «Добрый день, миссис Дюбоз!»

Она была злая-презлая. Один раз она услыхала, что Джим называет отца просто по имени, так ее чуть не хватил удар. Свет не видал таких дерзких, нахальных дурней, как мы, сказала она, и очень жалко, что наш отец после смерти матери не женился второй раз! Наша мать была о-ча-ро-вательная женщина, и просто обидно смотреть, что Аттикус Финч так распустил ее детей! Я не помнила маму, но Джим помнил, он мне иногда про нее рассказывал, и от таких слов миссис Дюбоз он весь побелел.

После Страшилы Рэдли, бешеного пса и всяких других ужасов Джим решил — хватит нам застревать у дома мисс Рейчел, трусы мы, что ли! Будем каждый вечер бегать на угол к почте встречать Аттикуса. И уж сколько вечеров, бывало, миссис Дюбоз чего-нибудь наговорит, когда мы идем мимо, и к приходу Аттикуса Джим станет злой, как черт.

— Спокойнее, сын,— говорил ему тогда Аттикус.— Она больная и старая женщина. А ты знай держи голову выше и будь джентльменом. Что бы она тебе ни сказала, твое дело не терять самообладания.

Джим говорил, не такая уж она больная, больные так не орут. Потом мы втроем подходили к ее дому, Аттикус учтиво снимал шляпу, кланялся ей и говорил:

— Добрый вечер, миссис Дюбоз! Вы сегодня выглядите прямо как картинка.

Он никогда не говорил — что за картинка. Он рассказывал ей, какие в суде новости, и от души надеялся, что у нее завтра будет хороший день. Потом надевал шляпу, прямо перед носом миссис Дюбоз сажал меня на плечи, и мы в сумерках шагали домой. Вот в такие вечера я думала: хоть мой отец терпеть не может оружия и никогда не воевал, а все равно он самый храбрый человек на свете.

Когда Джиму исполнилось двенадцать, ему подарили деньги; они жгли ему карман, и на другой день мы отправились в город. Джим думал, ему хватит на маленькую модель парового двигателя и еще на жезл тамбур-мажора для меня.

Я давно заглядывалась на этот жезл, он был выставлен в витрине у Элмора, украшен цехинами и мишурой и стоил семнадцать центов. Ох, как я мечтала поскорей вырасти и дирижировать Оркестром учащихся средних школ округа Мейкомб! Я давно уже упражнялась в дирижерском искусстве и научилась подбрасывать палку высоко в воздух и почти что ловить ее; Кэлпурния как увидит меня с палкой в руках, так и в дом не пускает. Но я знала — будь у меня настоящий жезл, уж я его не уроню, и со стороны Джима было очень благородно сделать мне такой подарок.

Когда мы шли мимо дома миссис Дюбоз, она сидела на террасе.

— Куда это вы собрались в такую пору? — закричала она.— Верно, лодыря гоняете? Вот позвоню сейчас директору школы!

Лицо у нее стало такое, словно мы невесть что натворили, и она уже собралась катить свое кресло к телефону.

— Да ведь сегодня суббота, миссис Дюбоз,— сказал Джим.

— А хотя бы и суббота,— туманно ответила она.— Интересно, знает ли ваш отец, где вас носит?

— Миссис Дюбоз, мы ходили одни в город, еще когда были вот такими,— Джим показал ладонью фута на два от земли.

— Не лги мне! — завопила она.— Джереми Финч, Моди Эткинсон сказала мне, что ты сегодня сломал у нее виноградную лозу. Она пожалуется твоему отцу, и тогда ты пожалеешь, что родился на свет! Я не я буду, если тебя через неделю не отошлют в исправительный дом.

Джим с самого лета даже близко не подходил к винограду мисс Моди, а если бы он и сломал лозу, он знал — мисс Моди не станет жаловаться Аттикусу, и он так и сказал — это все неправда.

— Не смей мне перечить! — завопила миссис Дюбоз.— А ты,— она ткнула в мою сторону скрюченным пальцем,— ты чего это расхаживаешь в штанах, как мальчишка? Молодой леди полагается ходить в корсаже и в юбочке. Если кто-нибудь не возьмется всерьез за твое воспитание, из тебя выйдет разве что прислуга — девица Финч будет прислуживать в забегаловке, ха-ха!

Я похолодела от ужаса. Забегаловка — это было таинственное заведение на северном краю городской площади. Я вцепилась в руку Джима, но он рывком высвободился.

— Ну-ну, Глазастик,— шепнул он.— Не обращай на нее внимания, знай держи голову выше и будь джентльменом.

Но миссис Дюбоз не дала нам уйти.

— До чего докатились Финчи! Мало того, что одна прислуживает в забегаловке, так еще другой в суде выгораживает черномазых!

Джим выпрямился и застыл. Миссис Дюбоз попала в самое больное место, и она это знала.

— Да, да, вот до чего дошло — Финч идет наперекор всем традициям семьи! — Она поднесла руку ко рту, потом отняла — за рукой потянулась блестящая нить слюны.— Вот что я тебе скажу: твой отец стал ничуть не лучше черномазых и всяких белых подонков, которых он обслуживает!

Джим сделался красный как рак. Я потянула его за рукав, и мы пошли, а вслед нам неслись громы и молнии: наша семья выродилась и пала — ниже некуда, половина Финчей вообще сидит в сумасшедшем доме, но будь жива наша мать, мы бы не дошли до такого состояния.

Не знаю, что больше всего возмущало Джима, а я страшно обиделась на миссис Дюбоз: почему она всех нас считает сумасшедшими? Аттикуса ругали без конца, я почти уже привыкла. Но это впервые при мне его оскорбил взрослый человек. Не начни она бранить Аттикуса, мы бы ее крику не удивились — не впервой. В воздухе запахло летом — в тени еще холодно, но солнце пригревает, значит, близится хорошее время: кончится школа, приедет Дилл.

Джим купил модель парового двигателя, и мы пошли к Элмору за моим жезлом. Джиму его машина не доставила никакого удовольствия, он запихнул ее в карман и молча шагал рядом со мной к дому. По дороге я чуть не стукнула мистера Линка Диза — не успела подхватить жезл, и мистер Линк Диз сказал:

— Поосторожнее, Глазастик!

Когда мы подходили к дому миссис Дюбоз, мой жезл был уже весь чумазый, столько раз я его поднимала из грязи.

На террасе миссис Дюбоз не было.

В последующие годы я не раз спрашивала себя, что заставило Джима преступить отцовское «Будь джентльменом, сын» и нарушить правила застенчивого благородства, которых он с недавних пор так старательно держался. Вероятно, Джим не меньше меня натерпелся от

злых языков, поносивших Аттикуса за то, что он вступается за черномазых, но я привыкла к тому, что брат неизменно сохраняет хладнокровие — он всегда был спокойного нрава и совсем не вспыльчивый. Думаю, тому, что тогда произошло, есть единственное объяснение — на несколько минут он просто обезумел.

То, что сделал Джим, я бы сделала запросто, если бы не запрет Аттикуса: уж наверно нам не полагалось воевать с отвратительными старухами. Так вот, едва мы поравнялись с калиткой миссис Дюбоз, Джим выхватил у меня жезл и, неистово размахивая им, ворвался к ней во двор — он забыл все наставления Аттикуса, забыл, что под своими шалями миссис Дюбоз прячет пистолет и что, если сама она может промахнуться, то ее служанка Джесси, вероятно, промаха не даст.

Он немного опомнился лишь тогда, когда посбивал верхушки со всех камелий миссис Дюбоз, так что весь двор был усыпан зелеными бутонами и листьями. Тогда он стукнул моим жезлом о коленку, переломил его и швырнул обломки наземь.

К этому времени я подняла визг. Джим дернул меня за волосы, сказал — ему все равно, если удастся, он и еще раз сделает то же самое, а если я не замолчу, он все вихры у меня выдерет. Я не замолчала, и он наподдал мне ногой. Я не удержалась и упала носом на тротуар. Джим рывком поднял меня на ноги, но, кажется, ему стало меня жалко. Говорить было не о чем.

В тот вечер мы предпочли не встречать Аттикуса. Мы торчали в кухне, пока нас Кэлпурния не выгнала. Она, точно колдунья какая-то, видно, уже обо всем проведала. Она не бог весть как умела утешать, но все-таки сунула Джиму кусок поджаренного хлеба с маслом, а Джим разломил его и отдал половину мне. Вкуса я никакого не почувствовала.

Мы пошли в гостиную. Я взяла футбольный журнал, нашла портрет Дикси Хоуэлла и показала Джиму:

— Очень похож на тебя.

Кажется, ничего приятнее для него нельзя было придумать. Но это не помогло. Он сидел у окна в качалке, весь сгорбился, хмурился и ждал. Смеркалось.

Миновали две геологические эпохи, и на крыльце послышались шаги Аттикуса. Хлопнула стеклянная дверь, на минуту все стихло — Аттикус подошел к вешалке в прихожей; потом он позвал:

— Джим!

Голос у него был как зимний ветер.

Аттикус повернул выключатель в гостиной и поглядел на нас, а мы застыли и не шевелились. В одной руке у него был мой жезл, перепачканная желтая кисть волочилась по ковру. Аттикус протянул другую руку — на ладони лежали пухлые бутоны камелий.

— Джим,— сказал Аттикус,— это твоя работа?

— Да, сэр.

— Зачем ты это сделал?

Джим сказал совсем тихо:

— Она сказала, что ты выгораживаешь черномазых и подонков.

— И поэтому ты так поступил?

Джим беззвучно пошевелил губами, это значило «да, сэр».

— Я понимаю, сын, твои сверстники сильно донимают тебя из-за того, что я «выгораживаю черномазых», как ты выразился,— сказал Аттикус,— но поступить так с больной старой женщиной — это непростительно. Очень советую тебе пойти поговорить с миссис Дюбоз. После этого сразу возвращайся домой.

Джим не шелохнулся.

— Иди, я сказал.

Я пошла из гостиной за Джимом.

— Останься здесь,— сказал мне Аттикус.

Я осталась.

Аттикус взял газету и сел в качалку, в которой раньше сидел Джим. Хоть убейте, я его не понимала: преспокойно сидит и читает, а его единственного сына сейчас, конечно, застрелят из старого ржавого пистолета. Правда, бывало, Джим так меня раздразнит — сама бы его убила, но ведь, если разобраться, у меня кроме него никого нет. Аттикус, видно, этого не понимает или ему все равно.

Это было отвратительно с его стороны. Но когда у тебя несчастье, быстро устаешь: скоро я уже съежилась у него на коленях, и он меня обнял.

— Ты уже слишком большая, чтобы тебя укачивать на руках,— сказал он.

— Тебе все равно, что с ним будет,— сказала я.— Послал его на верную смерть, а он ведь за тебя заступился.

Аттикус покрепче прижал меня к себе, и я не видела его лица.

— Подожди волноваться,— сказал он.— Вот не думал, что Джим из-за этого потеряет самообладание... я думал, с тобой у меня будет больше хлопот.

Я сказала — почему это другим ребятам вовсе не надо никакого самообладания, только нам одним нельзя его терять?

— Слушай, Глазастик,— сказал Аттикус,— скоро лето, и тогда тебе придется терпеть вещи похуже и все-таки не терять самообладания... я знаю, несправедливо, что вам с Джимом так достается, но иногда надо собрать все свое мужество, и от того, как мы ведем себя в трудный час... словом, одно тебе скажу: когда вы с Джимом станете взрослыми, может быть, вы вспомните обо всем этом по-хорошему и поймете, что я вас не предал. Это дело, дело Тома Робинсона, взывает к нашей совести... Если я не постараюсь помочь этому человеку, Глазастик, я не смогу больше ходить в церковь и молиться.

— Аттикус, ты, наверно, не прав.

— Как так?

— Ну, ведь почти все думают, что они правы, а ты нет...

— Они имеют право так думать, и их мнение, безусловно, надо уважать,— сказал Аттикус.— Но чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству,— это его совесть.

Когда вернулся Джим, я все еще сидела на коленях у Аттикуса.

— Ну что, сын? — сказал Аттикус.

Он спустил меня на пол, и я исподтишка оглядела Джима. Он был цел и невредим, только лицо какое-то странное. Может быть, она заставила его выпить касторки.

— Я там у нее все убрал и извинился, но я все равно не виноват. И я буду работать у нее в саду каждую субботу и постараюсь, чтобы эти камелии опять выросли.

— Если не считаешь себя виноватым, незачем извиняться,— сказал Аттикус.— Джим, она больная и старая. Она не всегда может отвечать за свои слова и поступки. Конечно, я предпочел бы, чтобы она сказала это мне, а не вам с Глазастиком, но в жизни не все выходит так, как нам хочется.

Джим никак не мог отвести глаз от розы на ковре.

— Аттикус,— сказал он,— она хочет, чтобы я ей читал.

— Читал?

— Да, сэр. Чтоб я приходил каждый день после школы, и еще в субботу, и читал ей два часа вслух. Аттикус, неужели это надо?

— Разумеется.

— Но она хочет, чтобы я ходил к ней целый месяц.

— Значит, будешь ходить месяц.

Джим аккуратно уперся носком башмака в самую середку розы и надавил на нее. Потом наконец сказал:

— Знаешь, Аттикус, с улицы поглядеть — еще ничего, а внутри... всюду темнота, даже как-то жутко. И всюду тени, и на потолке...

Аттикус хмуро улыбнулся.

— Тебе это должно нравиться, ведь у тебя такая богатая фантазия. Вообрази, что ты в доме Рэдли.

В понедельник мы с Джимом поднялись по крутым ступенькам на террасу миссис Дюбоз. Джим, вооруженный томом «Айвенго» и гордый тем, что он уже все здесь знает, постучался во вторую дверь слева.

— Миссис Дюбоз! — крикнул он.

Джесси отворила входную дверь, отодвинула засов второй, стеклянной.

— Это вы, Джим Финч? — сказала она.— И сестру привели? Вот уж не знаю...

— Впусти обоих,— сказала миссис Дюбоз.

Джесси впустила нас и ушла в кухню.

Едва мы переступили порог, нас обдало тяжелым душным запахом, так пахнет в старых, гнилых от сырости домах, где жгут керосиновые лампы, воду черпают ковшом из кадки и спят на простынях из небеленой холстины. Этот запах меня всегда пугал и настораживал.

В углу комнаты стояла медная кровать, а на кровати лежала миссис Дюбоз. Может, она слегла из-за Джима? На минуту мне даже стало ее жалко. Она была укрыта горой пуховых одеял и смотрела почти дружелюбно.

Возле кровати стоял мраморный умывальный столик, а на нем стакан с чайной ложкой, ушная спринцовка из красной резины, коробка с ватой и стальной будильник на трех ножках.

— Стало быть, ты привел свою чумазую сестру, а? — так поздоровалась с Джимом миссис Дюбоз.

— Моя сестра не чумазая, и я вас не боюсь,— спокойно сказал Джим, а у самого дрожали коленки, я видела.

Я думала, она станет браниться, но она только сказала:

— Можешь начинать, Джереми.

Джим сел в плетеное кресло и раскрыл «Айвенго». Я придвинула второе кресло и села рядом с ним.

— Сядь поближе,— сказала Джиму миссис Дюбоз.— Вот тут, возле кровати.

Мы придвинулись ближе. Никогда еще я не видела ее так близко, и больше всего на свете мне хотелось отодвинуться.

Она была ужасная. Лицо серое, точно грязная наволочка, в уголках губ блестит слюна и медленно, как ледник, сползает в глубокие ущелья по обе стороны подбородка. На щеках от старости бурые пятна, в бесцветных глазах крохотные острые зрачки — как иголки. Руки узловатые, пальцы все в заусеницах. Она не вставила нижнюю челюсть, и верхняя губа выдавалась вперед; время от времени она подтягивала нижнюю губу и трогала ею верхнюю вставную челюсть. Тогда подбородок выдавался вперед, и слюна текла быстрее.

Я старалась на нее не смотреть. Джим опять раскрыл «Айвенго» и начал читать. Я пробовала следить глазами, но он читал слишком быстро. Если попадалось незнакомое слово, Джим через него перескакивал, но миссис Дюбоз уличала его и заставляла прочесть по буквам.

Джим читал уже, наверно, минут двадцать, а я смотрела то на закопченный камин, то в окно — куда угодно, лишь бы не видеть миссис Дюбоз. Я заметила — она все реже поправляет Джима, один раз он не дочитал фразу до конца, а она и не заметила. Она больше не слушала.

Я поглядела на кровать.

С миссис Дюбоз что-то случилось. Она лежала на спине, укрытая одеялами до подбородка. Видно было только голову и плечи. Голова медленно поворачивалась то вправо, то влево. Иногда миссис Дюбоз широко раскрывала рот, и видно было, как шевелится язык. На губах собиралась слюна, миссис Дюбоз втягивала ее и опять раскрывала рот. Как будто ее рот жил сам по себе, отдельно, раскрывался и закрывался, точно двустворчатая раковина во время отлива. Иногда он говорил «Пт...», как будто в нем закипала каша.

Я потянула Джима за рукав.

Он поглядел на меня, потом на кровать. Голова опять повернулась в нашу сторону, и Джим сказал:

— Миссис Дюбоз, вам плохо?

Она не слыщала.

Вдруг зазвонил будильник, мы в испуге застыли. Через минуту, все еще ошарашенные, мы уже шагали домой. Мы не удрали, нас отослала Джесси: не успел отзвонить будильник, а она была уже в комнате и чуть не вытолкала нас.

— Идите, идите,— сказала она.— Пора домой.

В дверях Джим было замешкался.

— Ей пора принимать лекарство,— сказала Джесси.

Дверь за нами захлопнулась, но я успела увидеть — Джесси быстро пошла к кровати.

Мы вернулись домой; было только без четверти четыре, и мы гоняли на задворках футбольный мяч, пока не пришло время встречать Аттикуса. Он принес мне два желтых карандаша, а Джиму футбольный журнал, он ничего не сказал, но, по-моему, это было нам за то, что мы сидели у миссис Дюбоз. Джим рассказал Аттикусу, как было дело.

— Она вас напугала? — спросил Аттикус.

— Нет, сэр.— сказал Джим,— но она такая противная. У нее какие-то припадки, что ли. Она все время пускает слюну.

— Она не виновата. Когда человек болен, на него не всегда приятно смотреть.

— Она очень страшная,— сказала я.

Аттикус поглядел на меня поверх очков.

— Тебе ведь не обязательно ходить с Джимом.

На другой день у миссис Дюбоз было все то же самое, и на третий тоже, и понемногу мы привыкли: все идет своим чередом, сперва миссис Дюбоз изводит Джима разговорами про свои камелии и про то, как наш отец обожает черномазых; язык у нее ворочается все медленнее, она умолкает, а потом и вовсе забывает про нас. Звонит будильник, Джесси поспешно выставляет нас, и после этого мы можем делать, что хотим.

— Аттикус,— спросила я как-то вечером,— что значит чернолюб?

Лицо у Аттикуса стало серьезное.

— Тебя кто-нибудь так называет?

— Нет, сэр, это миссис Дюбоз так называет тебя. Она каждый день обзывает тебя чернолюбом и злится. А меня Фрэнсис обозвал на рождество, раньше я этого слова даже не слыхала.

— И поэтому ты тогда на него накинулась? — спросил Аттикус.

— Да, сэр...

— Почему же ты спрашиваешь, что это значит?

Я стала объяснять — меня взбесило не это слово, а как Фрэнсис его сказал.

— Как будто он выругался сморкачом или вроде этого.

— Видишь ли, Глазастик,— сказал Аттикус,— чернолюб слово бессмысленное, так же как и сморкач. Как бы тебе объяснить... Дрянные, невежественные люди называют чернолюбами тех, кто, по их мнению, чересчур хорошо относится к неграм — лучше, чем к ним. Так называют людей вроде нас, когда стараются придумать кличку погрубее, пообиднее.

— Но ведь на самом деле ты не чернолюб, правда?

— Конечно, я чернолюб. Я стараюсь любить всех людей... Иногда обо мне очень плохо говорят... понимаешь, малышка, если кто-то называет тебя словом, которое ему кажется бранным, это вовсе не оскорбление. Это не обидно, а только показывает, какой этот человек жалкий. Так что ты не огорчайся, когда миссис Дюбоз бранится. У нее довольно своих несчастий.

Однажды, почти через месяц, Джим одолевал сэра Вальтера Скаута (так он его окрестил), а миссис Дюбоз придиралась и поправляла его на каждом слове, и вдруг в дверь постучали.

— Войдите! — визгливо закричала она.

Это был Аттикус. Он подошел к кровати и осторожно пожал руку миссис Дюбоз.

— Я возвращался с работы, вижу — дети меня не встречают,— сказал он.— Я так и подумал, что они, наверно, еще здесь.

Миссис Дюбоз ему улыбнулась. Я совсем растерялась — как же она с ним разговаривает, ведь она его терпеть не может?!

— Знаете, который час, Аттикус? — сказала она.— Ровно четырнадцать минут шестого. Будильник заведен на половину шестого. Имейте в виду.

Я вдруг сообразила: а ведь каждый день мы задерживаемся у миссис Дюбоз немного дольше, каждый день будильник звонит на пять минут позже, чем накануне, и к этому времени у нее уже всегда начинается припадок. Сегодня она шпыняла Джима почти два часа, а припадка все не было, в какую же ловушку мы попались! Вдруг настанет такой день, когда будильник вовсе не зазвонит, что нам тогда делать?

— Мне казалось, Джим должен читать ровно месяц,— сказал Аттикус.

— Надо бы еще неделю,— сказала она.— Для верности...

Джим вскочил.

— Но...

Аттикус поднял руку, и Джим замолчал. По дороге домой он сказал — уговор был читать ровно месяц, а месяц прошел, и это нечестно.

— Еще только неделю, сын,— сказал Аттикус.

— Нет,— сказал Джим.

— Да,— сказал Аттикус.

На следующей неделе мы опять ходили к миссис Дюбоз. Будильник больше не звонил, миссис Дюбоз просто говорила — хватит, отпускала нас, и когда мы возвращались домой, Аттикус уже сидел в качалке и читал газету. Хоть припадки и кончились, миссис Дюбоз была все такая же несносная; когда сэр Вальтер Скотт ударялся в нескончаемые описания рвов и замков, ей становилось скучно, и она принималась нас шпынять:

— Говорила я тебе, Джереми Финч, ты еще пожалеешь, что переломал мои камелии. Теперь-то ты жалеешь, а?

Джим отвечал — еще как жалеет.

— Ты думал, что загубил мой «горный снег», а? Так вот, Джесси говорит, куст опять покрылся бутонами. В следующий раз ты будешь знать, как взяться за дело, а? Выдернешь весь куст с корнями, а?

И Джим отвечал — да, непременно.

— Не бормочи себе под нос! Смотри мне в глаза и отвечай: «Да, мэм!» Хотя где уж тебе смотреть людям в глаза, когда у тебя такой отец.

Джим вскидывал голову и встречался взглядом с миссис Дюбоз, и совсем не видно было, что он злится. За эти недели он научился самые устрашающие и невероятные выдумки миссис Дюбоз выслушивать с таким вот вежливым и невозмутимым видом.

И вот настал долгожданный день. Однажды миссис Дюбоз сказала:

— Хватит,— и прибавила: — Теперь все. До свиданья.

Гора с плеч! Мы помчались домой, мы прыгали, скакали и вопили от радости.

Хорошая была эта весна, дни становились все длиннее, и у нас оставалось много времени на игры. Джим непрестанно занимался подсчетами величайшей важности, он знал наизусть всех футболистов во всех студенческих командах по всей Америке. Каждый вечер Аттикус читал нам вслух спортивные страницы газет. Судя по предполагаемому составу (имена этих игроков мы и выговорить-то не могли), команда штата Алабама, пожалуй, этим летом опять завоюет Розовый кубок. Однажды вечером, когда Аттикус дочитал до половины обзор Уинди Ситона, зазвонил телефон.

Аттикус поговорил по телефону, вышел в прихожую и взял с вешалки шляпу.

— Я иду к миссис Дюбоз,— сказал он.— Скоро вернусь.

Но мне давно уже пора было спать, а он все не возвращался. А когда вернулся, в руках у него была конфетная коробка. Он прошел в гостиную, сел и поставил коробку на пол возле своего стула.

— Чего ей было надо? — спросил Джим.

Мы с ним не видели миссис Дюбоз больше месяца. Сколько раз проходили мимо ее дома, но она никогда больше не сидела на террасе.

— Она умерла, сын,— сказал Аттикус.— Только что.

— А...— сказал Джим.— Хорошо.

— Ты прав, это хорошо,— сказал Аттикус.— Она больше не страдает. Она была больна очень долго. Знаешь, что у нее были за припадки?

Джим покачал головой.

— Миссис Дюбоз была морфинистка,— сказал Аттикус.— Много лет она принимала морфий, чтобы утолить боль. Ей доктор прописал. Она могла принимать морфий до конца дней своих и умерла бы не в таких мучениях, но у нее для этого был слишком независимый характер...

— Как так? — спросил Джим.

Аттикус сказал:

— Незадолго до той твоей выходки она попросила меня составить завещание. Доктор Рейнолдс сказал, что ей осталось жить всего месяца два-три. Все ее материальные дела были в идеальном порядке, но она сказала: «Есть один непорядок».

— Какой же? — в недоумении спросил Джим.

— Она сказала, что хочет уйти из жизни, ничем никому и ничему не обязанная. Когда человек так тяжело болен, Джим, он вправе принимать любые средства, лишь бы облегчить свои мучения, но она решила иначе. Она сказала, что перед смертью избавится от этой привычки,— и избавилась.

Джим сказал:

— Значит, от этого у нее и делались припадки?

— Да, от этого. Когда ты читал ей вслух, она большую часть времени ни слова не слыхала. Всем существом она ждала, когда же наконец зазвонит будильник. Если бы ты ей не попался, я все равно заставил

бы тебя читать ей вслух. Может быть, это ее немного отвлекало. Была и еще одна причина...

— И она умерла свободной? — спросил Джим.

— Как ветер,— сказал Аттикус.— И почти до самого конца не теряла сознания.— Он улыбнулся.— И не переставала браниться. Всячески меня порицала и напророчила, что ты у меня вырастешь арестантом и я до конца дней моих должен буду брать тебя на поруки. Она велела Джесси упаковать для тебя эту коробку...

Аттикус наклонился, поднял конфетную коробку и передал ее Джиму.

Джим открыл коробку. Там на влажной вате лежала белоснежная, прозрачная красавица камелия «горный снег».

У Джима чуть глаза не выскочили на лоб. Он отшвырнул цветок.

— Старая чертовка! — завопил он.— Ну что она ко мне привязалась?!

Аттикус мигом вскочил и наклонился к нему. Джим уткнулся ему в грудь.

— Ш-ш, тише,— сказал Аттикус.— По-моему, она хотела этим сказать тебе: все хорошо, Джим, теперь все хорошо. Знаешь, она была настоящая леди.

— Леди?! — Джим поднял голову. Он был красный как рак.— Она про тебя такое говорила, и, по-твоему, она — леди?

— Да. Она на многое смотрела по-своему, быть может, совсем не так, как я... Сын, я уже сказал тебе: если бы ты тогда не потерял голову, я бы все равно посылал тебя читать ей вслух. Я хотел, чтобы ты кое-что в ней понял,— хотел, чтобы ты увидел подлинное мужество, а не воображал, будто мужество — это когда у человека в руках ружье. Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь. Миссис Дюбоз победила. По ее воззрениям, она умерла, ничем никому и ничему не обязанная. Я никогда не встречал человека столь мужественного.

Джим поднял с полу коробку и кинул в камин. Поднял камелию, и когда я уходила спать, он сидел и осторожно перебирал широко раскрывшиеся лепестки. Аттикус читал газету.

ЧАСТЬ II

Глава 12

Джиму теперь было двенадцать. С ним стало трудно ужиться, то он злился, то дулся, настроение у него менялось пятнадцать раз на день. Ел он так много и жадно, даже смотреть было страшно, и все огрызался — не приставай ко мне! — так что я не выдержала и спросила Аттикуса:

— Может, в нем сидит солитер?

Аттикус сказал — нет, просто Джим растет, и мне надо набраться терпенья и поменьше ему докучать.

И ведь он так переменился за какой-нибудь месяц. Миссис Дюбоз похоронили совсем недавно, а пока Джим ходил читать ей вслух, он, кажется, был очень доволен, что я тоже с ним хожу. И вдруг чуть не за одну ночь у него появились какие-то новые непонятные убеждения, и он стал навязывать их мне, иной раз даже принимался поучать — делай то, не делай этого! Как-то мы поспорили, и Джим заорал:

— Научись ты вести себя, как полагается девочке! Пора уж!

Я разревелась и побежала к Кэлпурнии.

— Ты не очень-то расстраивайся из-за мистера Джима,— начала она.

— Мис-те-ра?!

— Да, он уже почти что мистер.

— Он еще не дорос до мистера,— сказала я.— Просто его надо поколотить, а я не могу, я еще не такая большая.

— Мистер Джим становится взрослый, тут уж ничего не поделаешь, малышка,— сказала Кэлпурния.— Теперь он захочет быть сам по себе, и у него пойдут свои дела, все мальчики такие. А ты, когда заскучаешь, приходи сюда. У нас с тобой тут работы найдется, сколько хочешь.

Лето обещало быть не таким уж плохим; Джим пускай делает, что хочет, а, пока не приедет Дилл, я и с Кэлпурнией проживу. Она как будто даже радовалась, когда я приходила в кухню, а я смотрела, как она там хлопочет, и думала — пожалуй, девочкой быть не так-то просто.

Но вот и лето, а Дилл не едет и не едет. Только прислал письмо и карточку. У него новый папа — это он снят на карточке,— и Диллу придется на лето остаться в Меридиане, потому что они задумали смастерить лодку для рыбной ловли. Новый отец Дилла — адвокат, как Аттикус, только не такой старый. На карточке отец Дилла был славный, хорошо, что Дилл такого заполучил, но я была в отчаянии. Под конец Дилл писал — он будет любить меня вечно, и чтоб я не огорчалась, он скопит денег, приедет и женится на мне, так что, пожалуйста, пиши письма.

Конечно, я все равно невеста, но от этого мало радости, если Дилла тут нет. Прежде я как-то не замечала, что лето — это, значит, у пруда сидит Дилл и курит сигарету из бечевки, и глаза у него блестят, сразу видно — опять придумал, как выманить из дому Страшилу Рэдли; лето — значит, стоит Джиму отвернуться, Дилл торопливо чмокнет меня в щеку, и иногда мы минуты не можем жить друг без друга. С Диллом жизнь была проста и понятна, без него жизнь стала невыносимая. Целых два дня я была несчастна.

А ко всему законодательное собрание штата собралось на какую-то внеочередную сессию, и Аттикус уехал на две недели. Губернатору вздумалось устроить приборку и избавиться от кое-каких ракушек, присосавшихся к днищу государственного корабля; в Бирмингеме начались сидячие забастовки; в городах все росли очереди за хлебом, фермеры все нищали. Но события эти происходили в мире, очень далеком от нас с Джимом.

Однажды утром мы с изумлением увидели в «Монтгомери эдвертайзер» карикатуру, под которой стояло: «Мейкомбский Финч». Аттикус — босой, в коротких штанишках, прикованный цепями к парте,— прилежно писал что-то на грифельной доске, а какие-то легкомысленные девчонки дразнили его и улюлюкали.

— Это комплимент,— объяснил Джим.— Он всегда берется за такие дела, за которые никто больше не берется.

— Это как?

Ко всем своим новым качествам Джим еще и заважничал так, что зло брало, будто он один на свете умный.

— Ну, Глазастик, это вроде того, как перестраивать налоговую систему в округах и всякое такое. Большинство людей этим не интересуется.

— А ты почем знаешь?

— Ах, отстань, видишь, я читаю газету.

Ладно, будь по-твоему. Я ушла от него в кухню. Кэлпурния лущила горох и вдруг сказала:

— Что же мне с вами делать в воскресенье, как вы в церковь пойдете?

— Да очень просто. Деньги на церковную кружку нам Аттикус оставил.

Кэлпурния прищурилась, и я сразу угадала ее мысли.

— Кэл,— сказала я,— ты же знаешь, мы будем хорошо себя вести. Мы уже сколько лет в церкви не балуемся.

Видно, Кэлпурния вспомнила один дождливый воскресный день — мы тогда оставались одни, ни отца, ни учительницы не было. Ребята всем классом отвели Юнис Энн Симпсон в котельную и привязали к стулу. А потом забыли про нее, поднялись наверх и тихо и смирно слушали проповедь, как вдруг поднялся гром и звон: где-то чем-то колотили по трубам парового отопления; под конец кто-то пошел узнать, что случилось, и извлек на свет божий Юнис Энн, и она заявила, что не желает больше играть в мученика — Джим Финч говорил, если у нее довольно веры, она не сгорит, но внизу очень жарко.

— И потом, Кэл, ведь Аттикус не первый раз оставляет нас одних,— протестовала я.

— Да, когда наверняка знает, что ваша учительница будет в церкви. А в этот раз он ничего не сказал — видно, забыл.

Кэлпурния озабоченно почесала в затылке. И вдруг улыбнулась.

— А может, вы с мистером Джимом завтра пойдете в церковь со мной?

— Ой, правда?

— Ты, видно, не против? — засмеялась Кэлпурния.

В субботу вечером Кэл всегда скребла и терла меня на совесть, но уж в этот день она превзошла самое себя. Дважды меня намылила и каждый раз меняла воду, чтобы смыть мыло; сунула мою голову в таз и вымыла шампунем. Она уже сколько лет полагалась на самостоятельность Джима, а в этот вечер пошла его проверить, так что он возмутился:

— В этом доме вымыться спокойно не дадут, всем надо совать свой нос в ванную!

Наутро Кэлпурния раньше обычного «занялась нашими туалетами». Когда она оставалась у нас ночевать, она всегда спала в кухне на раскладушке; в то утро вся раскладушка была завалена нашими воскресными нарядами. Мое платье Кэлпурния так накрахмалила, что оно стояло колоколом. Она заставила меня надеть нижнюю юбку и туго повязала вместо пояса розовую ленту. Мои лакированные туфли она так долго терла черствым хлебом, что уже могла смотреться в них, как в зеркало.

— Мы прямо как на карнавал собираемся,— сказал Джим.— Для чего это, Кэл?

— Пускай кто попробует сказать, что я плохо смотрю за моими детьми,— пробормотала Кэлпурния.— Мистер Джим, вам никак нельзя надевать этот галстук с этим костюмом. Он зеленый.

— Ну и что?

— А костюм синий. Вы разве не видите?

— Э-э! — закричала я.— Джим не разбирает цветов!

Джим сердито покраснел, но Кэлпурния сказала:

— А ну, хватит. Вы идете в «Первую Покупку», надо не дуться, а улыбаться.

«Первая Покупка» — африканская методистская церковь — стояла за пределами города, в негритянском квартале, за дорогой на старую лесопилку. Это ветхое деревянное строение, с которого облезла вся краска, было единственной в Мейкомбе церковью с колокольней; называлось оно так потому, что было построено на первые заработки освобо-

жденных рабов. По воскресеньям в нем молились негры, а по будням там собирались белые и играли в кости.

На церковном дворе и рядом на кладбище глинистая почва была твердая как камень. Если кто-нибудь умирал в жаркую пору, тело хранили во льду, пока не пойдут дожди и земля не размякнет. Не на всякой могиле можно было увидеть надгробный камень, да и тот крошился; могилы недавние обложены были по краю яркими цветными стеклышками и осколками бутылок из-под кока-колы. Иную могилу охранял громоотвод — видно, усопший был беспокойного нрава; на могилах младенцев торчали огарки догоревших свечей. Нарядное это было кладбище.

Мы вошли во двор, и навстречу нам пахнуло теплым горьковато-сладким запахом принарядившихся негров: помадой для волос, жевательной резинкой, нюхательным табаком, ай-да-колоном, мылом, сиреневой пудрой и мятными конфетами.

Увидев рядом с Кэлпурнией нас с Джимом, мужчины посторонились и сняли шляпы; женщины сложили руки на животе, как всегда делали в будни в знак почтительного внимания. Все расступились и дали нам дорогу. Кэлпурния шла между мною и Джимом и раскланивалась направо и налево, отвечая на приветствия празднично одетых соседей и знакомых.

— Ты что это выдумала, мисс Кэл? — раздался голос позади нас.

Кэлпурния положила руки нам на плечи, мы остановились и обернулись: в узком проходе между двумя рядами людей стояла высокая негритянка. Она выставила одну ногу, уперлась локтем левой руки в бок и поднятой ладонью показывала на нас. У нее была голова огурцом, странные миндалевидные глаза, прямой нос и резко очерченный рот. Мне она показалась великаншей.

Рука Кэлпурнии крепче сжала мое плечо.

— Чего тебе, Лула? — спросила она.

Я никогда прежде не слышала у нее такого голоса. Она говорила негромко, презрительно.

— А для чего это приводить белых ребят в церковь к черномазым?

— Они мои гости,— сказала Кэлпурния, и опять я подумала, какой у нее стал странный голос: она говорила, как все негры.

— Ага, а всю неделю ты, верно, у Финчей гостья!

В толпе зароптали.

— Не бойся,— шепнула мне Кэлпурния, но розы у нее на шляпке сердито заколыхались.

Между двумя рядами зрителей Лула направилась было к нам. Кэлпурния сказала:

— Не подходи, черномазая!

Лула остановилась.

— Нечего водить сюда белых ребят,— сказала она.— У них своя церковь, у нас своя. Это наша церковь, верно, мисс Кэл?

Кэлпурния сказала:

— А бог один, верно?

— Пойдем домой, Кэл,— сказал Джим,— мы им тут ни к чему.

Я тоже видела — мы тут ни к чему. Я чувствовала — толпа напирает. Нас обступали все теснее, но я поглядела на Кэлпурнию, а у нее глаза смеются. Я опять посмотрела туда, где между двумя рядами людей была дорожка, но Лула исчезла. На том месте стеной стояли негры.

Один выступил вперед. Это был Зибо, городской мусорщик.

— Мистер Джим,— сказал он,— мы очень вам рады. Вы эту Лулу не слушайте, она злится, потому как преподобный отец Сайкс грозился отчитать ее с кафедры при всем честном народе. Она у нас известная смутьянка и гордячка и выдумывает невесть что, а мы очень вам рады.

И Кэлпурния повела нас в церковь, а в дверях нас встретил преподобный Сайкс и повел вперед, на самую первую скамью.

«Первая Покупка» внутри была некрашена, потолка тоже не было. По стенам на медных скобах висели незажженные керосиновые лампы; вместо настоящих церковных скамей стояли грубые сосновые лавки. Позади простой дубовой кафедры протянуто было полотнище линялого розового шелка с надписью «Бог есть любовь», кроме него, церковь украшена была еще только литографией с картины Ханта «Светоч мира». Я осмотрелась: где фортепьяно или орган, сборники псалмов и программки богослужения — все, что мы привыкли каждое воскресенье видеть в церкви,— но ничего этого не оказалось. Было сумрачно, прохладно и сыро, но постепенно народу становилось все больше, и воздух согревался. На скамьях для каждого прихожанина положен был дешевый картонный веер с ярко намалеванным Гефсиманским садом — дар Компании металлических изделий Тиндела («Большой выбор товаров на все вкусы»).

Кэлпурния подтолкнула нас с Джимом в конец ряда и села между нами. Вытащила из кошелька платок и развязала тугой узелок с одного угла. И протянула нам с Джимом по монетке в десять центов.

— У нас есть свои,— прошептал Джим.

— Держите,— сказала Кэлпурния.— Вы мои гости.

Джим, видно, сомневался — благородно ли оставлять свои деньги при себе? — но врожденная учтивость взяла верх, и он сунул гривенник в карман. Без малейших угрызений совести я сделала то же самое.

— Кэл,— зашептала я,— а где же сборники с псалмами?

— У нас их нет,— ответила она.

— А как же?..

— Ш-ш,— сказала Кэлпурния.

На кафедре стоял отец Сайкс и взглядом призывал свою паству к молчанию. Он был невысокий, плотный, в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке; при свете, сочившемся сквозь матовые стекла, поблескивала золотая цепочка от часов.

— Братья и сестры,— сказал он,— мы весьма рады, что сегодня утром у нас гости — мистер и мисс Финч. Все вы знаете их отца. Прежде чем начать проповедь, я прочитаю вам несколько сообщений.

Преподобный Сайкс перелистал какие-то бумажки, выбрал одну, далеко отставил ее от глаз и прочел:

«Собрание миссионерского общества состоится во вторник в доме сестры Эннет Ривз. Приносите с собою шитье».

Потом стал читать по другой бумажке:

«Все вы знаете, какая беда приключилась с братом Томом Робинсоном. Он с детства был добрым прихожанином «Первой Покупки». Весь денежный сбор сегодня и в следующие три воскресенья пойдет Элен, его жене, чтобы она могла прокормить детей».

Я ткнула Джима в бок:

— Это тот самый Том, которого Аттикус будет за...

— Ш-ш!

Я обернулась к Кэлпурнии, но и рта не успела раскрыть, а она уже шикнула на меня. Пришлось покориться, и я стала смотреть на преподобного Сайкса — он, кажется, ждал, чтобы я угомонилась.

— Попросим нашего регента начать первый псалом.

Со своей скамьи поднялся Зибо, прошел между рядов, остановился перед нами и повернулся лицом к пастве. В руках у него был растрепанный сборник псалмов. Зибо раскрыл его и сказал:

— Мы споем номер двести семьдесят третий.

Этого я уже не могла выдержать.

— Как же мы будем петь, у нас же нет слов?

Кэлпурния улыбнулась.

— Тише, малышка,— прошептала она.— Сейчас увидишь.

Зибо откашлялся и таким гулким голосом, как будто далеко-далеко палили пушки, прочитал нараспев:

— Там, за рекой, лежит страна.

И словно чудом необыкновенно стройный хор сотней голосов пропел эти слова вслед за Зибо. Протяжным гуденьем замер последний слог, и вот Зибо уже говорит:

— Вовек желанна нам она.

И опять вокруг нас громко зазвучал хор; долго тянулась последняя нота, и, еще прежде чем она замерла, Зибо прочитал следующую строчку:

— Нас выведет одна лишь вера на тот обетованный берег.

На этот раз паства замешкалась, Зибо внятно повторил строку, и хор пропел ее. Как только вступал хор, Зибо закрывал книжку — знак всем собравшимся продолжать без его помощи.

И при замирающих звуках торжественного хора Зибо протянул:

— За той сияющей рекой обетованный ждет покой.

Строку за строкой повторял за ним хор, стройно выводя простую мелодию, и наконец псалом закончился чуть слышной печальной и протяжной нотой.

Я поглядела на Джима, он исподлобья глядел на Зибо. Я тоже не могла опомниться от удивления — но мы слышали все это своими ушами!

Потом преподобный Сайкс начал молиться о страждущих и недужных — так же молились и в нашей церкви, только отец Сайкс просил господа бога о некоторых больных позаботиться особо.

В своей проповеди он обличал грех и очень строго повторил то, что было написано позади него на стене: предостерег паству от горячительных напитков, от азартных игр и дурных женщин. Подпольная торговля спиртным — бич негритянского квартала, но женщины и того хуже! Опять, как в нашей церкви, я услыхала, что женщины грешны и нечисты,— видно, все священники только об этом и думают.

То же самое мы с Джимом выслушивали каждое воскресенье, разница была в одном — отец Сайкс с церковной кафедры свободнее высказывал свое мнение о каждом грешнике в отдельности: Джим Харди уже пять воскресений кряду не появляется в церкви, а он не болен. Констэнс Джексон следует быть осмотрительнее, как бы ей не рассориться с ближними своими — до нее никому за все существование квартала не приходило на ум городить забор назло соседу.

Проповедь кончилась. Преподобный Сайкс стал у столика перед кафедрой и призвал вносить пожертвования — это мы с Джимом видели впервые. Прихожане по-одному выходили вперед и опускали в черную эмалированную жестянку из-под кофе пять или десять центов. Мы с Джимом тоже пошли, наши монетки звякнули в жестянке, и нам было тихо сказано:

— Спасибо, спасибо.

К нашему изумлению, преподобный Сайкс высыпал деньги на столик и пересчитал. Потом выпрямился и сказал:

— Этого недостаточно. Нам необходимо десять долларов.

Прихожане заволновались.

— Вы все знаете, зачем это нужно: пока Том в тюрьме, Элен не может оставить детей и пойти работать. Если каждый даст еще десять центов, будет достаточно...— Преподобный Сайкс помахал рукой и крикнул кому-то через всю церковь: — Закрой двери, Алек. Никто не выйдет отсюда, пока мы не соберем десять долларов.

Кэлпурния порылась в сумочке, вытащила потрепанный кожаный кошелек и протянула Джиму блестящий четвертак.

— Нет, Кэл,— прошептал Джим,— мы сами. Где твои десять центов, Глазастик?

В церкви становилось душно, и я подумала — верно, отец Сайкс хочет взять свою паству измором. Трещали веера, шаркали ноги, любителям жевать табак становилось невмоготу.

Я вздрогнула от неожиданности — преподобный Сайкс вдруг сказал сурово:

— Карлоу Ричардсон, я еще не видел тебя у этого столика.

Худой человек в штанах цвета хаки вышел вперед и опустил монету в жестянку. Паства одобрительно загудела. Потом преподобный Сайкс сказал:

— Пусть каждый из вас, у кого нет детей, пожертвует еще десять центов. И тогда у нас будет достаточно.

Медленно, с трудом десять долларов были собраны. Двери растворились, повеяло теплым ветерком, и мы вздохнули легче. Зибо стих за стихом прочитал «На бурных брегах Иордана», и воскресная служба кончилась.

Я хотела остаться и все рассмотреть, но Кэлпурния повела меня по приделу. В дверях она задержалась, чтобы поговорить с Зибо и его семейством, а мы с Джимом поболтали с преподобным Сайксом. У меня вертелось на языке сто вопросов, но я решила — после спрошу у Кэлпурнии.

— Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня,— сказал преподобный Сайкс.— Ваш папа — лучший друг нашего прихода.

Любопытство все-таки одолело меня:

— А почему вы собирали деньги для жены Тома Робинсона?

— Разве вы не слыхали? — спросил преподобный Сайкс.— У Элен трое маленьких, и она не может работать...

— А почему ей не взять их с собой, отец Сайкс? — спросила я.

Негритянки, работавшие на хлопковых плантациях, всегда брали малышей с собой и усаживали их куда-нибудь в тень, обычно между двумя рядами кустов. Тех, кто еще и сидеть не умел, матери привязывали себе за спину на индейский лад или завертывали в пустые мешки из-под хлопка и клали на землю.

Преподобный Сайкс замялся.

— По правде говоря, мисс Джин-Луиза, сейчас Элен не так-то просто найти работу... Когда наступит время собирать хлопок, я думаю, ее возьмет мистер Линк Диз.

— А почему ей сейчас не найти работу?

Преподобный Сайкс не успел ответить, Кэлпурния положила руку мне на плечо. И я послушно сказала:

— Спасибо, что вы позволили нам прийти.

Джим сказал то же самое, и мы пошли домой.

— Кэл, я знаю, Тома Робинсона посадили в тюрьму, он сделал что-то ужасно плохое, а Элен почему не берут на работу? — спросила я.

Кэлпурния в темно-синем муслиновом платье и высокой шляпке шла между мною и Джимом.

— Потому что люди говорят, Том плохо поступил,— сказала она.— Никому не хочется... не хочется иметь дела с его семьей.

— Кэл, а что он такое сделал?

Кэлпурния вздохнула.

— Старый мистер Боб Юэл заявил, что Том снасильничал над его дочкой, вот Тома и арестовали и засадили в тюрьму.

— Мистер Юэл? — Мне кое-что вспомнилось.— Есть такие Юэлы, они каждый год в первый день приходят в школу, а потом больше не

ходят, он из них, да? И Аттикус сказал, они настоящие подонки... Аттикус никогда ни про кого так не говорил. Он сказал...

— Вот это они самые и есть.

— Ну, если все в Мейкомбе знают, что за народ эти Юэлы, так все рады будут нанять Элен на работу... Кэл, а что это — насильничать?

— Спроси мистера Финча, он тебе лучше объяснит. Ты, верно, голодная? Преподобный отец сегодня что-то длинно проповедовал, всегда он не так скучно говорит.

— Он совсем как наш проповедник,— сказал Джим.— А почему вы так странно поете псалмы?

— Ты про вторенье? — спросила Кэлпурния.

— Это называется вторенье?

— Да, мы так называем. Так всегда делалось, сколько я себя помню.

Джим сказал — отложили бы за год деньги с церковных сборов и купили бы сборники псалмов.

Кэлпурния засмеялась.

— А что от них толку? Читать-то все равно никто не умеет.

— Как же так? — спросила я.— Столько народу, и никто не умеет читать?

Кэлпурния кивнула.

— Ну да. В «Первой Покупке» читают, может, человека четыре... я в том числе.

— Ты в какой школе училась, Кэл? — спросил Джим.

— Ни в какой. Дай-ка вспомнить, кто же это меня научил грамоте? А, да, старая мисс Бьюфорд, тетушка нашей мисс Моди Эткинсон.

— Да разве ты такая старая?

— Я даже старше мистера Финча,— усмехнулась Кэлпурния.— Только не знаю, много ли. Мы с ним один раз стали вспоминать да рассчитывать, сколько же это мне лет... я помню немножко дальше его, стало быть, я и старше ненамного, женская-то память получше мужской.

— А когда твой день рождения, Кэл?

— Я справляю на рождество, так легче запомнить... а настоящего дня рождения у меня нету.

— Но ты по виду совсем не такая старая, как Аттикус,— запротестовал Джим.

— Цветные не так быстро стареют, как белые, по ним не так видно,— сказала Кэлпурния.

— Может быть, это потому, что они не умеют читать. Кэл, это ты научила Зибо грамоте?

— Да, мистер Джим. Когда он был мальчонкой, у нас тут и школы-то не было. А я его все ж таки заставила учиться.

Зибо был старшим сыном Кэлпурнии. Если б я прежде об этом подумала, я бы догадалась, что Кэл уже пожилая — у Зибо у самого дети были почти взрослые, только я как-то об этом не задумывалась.

— Ты его учила по букварю? — спросила я.

— Нет, я ему велела каждый день выучивать страничку из священного писания, и еще была книжка, по которой меня учила мисс Бьюфорд,— вам не угадать, откуда я ее взяла.

Мы и не угадали. Кэлпурния сказала:

— Мне ее дал ваш дедушка Финч.

— Да разве ты с «Пристани»? — удивился Джим.— Ты нам никогда не говорила.

— Ясно, с «Пристани», мистер Джим. Там и выросла, между «Пристанью» и имением Бьюфордов. Круглый год работала на Бьюфордов да на Финчей, а потом ваши папа с мамой поженились, я и переехала в Мейкомб.

— А какая это была книжка, Кэл? — спросила я.

— «Комментарии» Блэкстоуна.

Джим был ошеломлен.

— И по этой книге ты учила Зибо грамоте?!

— Ну да, сэр, мистер Джим.— Кэлпурния застенчиво прикрыла рот рукой.— У меня других книг нету. Ваш дедушка говорил, что мистер Блэкстоун писал превосходным языком...

— Значит, вот почему ты говоришь не так, как все,— сказал Джим.

— Кто все?

— Все цветные. Кэл, а ведь в церкви ты говорила так же, как они...

Мне никогда и в голову не приходило, что у нашей Кэлпурнии есть еще другая жизнь. Оказывается, она может существовать как-то отдельно, вне нашего дома, да еще знает два языка!

— Кэл,— сказала я,— а для чего ты со своими разговариваешь, как... как цветные, ты ведь знаешь, что это неправильно?

— Ну, во-первых, я и сама черная...

— Все равно, зачем же тебе ломать язык, когда ты умеешь говорить правильно? — сказал Джим.

Кэлпурния сбила шляпку набок и почесала в затылке, потом старательно поправила шляпку.

— Как бы это вам объяснить,— сказала она.— Вот бы вы с Глазастиком стали у себя дома разговаривать, как цветные,— это было бы совсем не к месту, верно? А если я в церкви или со своими соседями стану говорить, как белая? Люди подумают — я совсем заважничала.

— Но ведь ты знаешь, как правильно! — сказала я.

— А не обязательно выставлять напоказ все, что знаешь. Женщине это и не к лицу. И во-вторых, людям вовсе не по вкусу, когда кто-то умней их. Они сердятся. Хоть и говори сам правильно, а их не переменишь, для этого им надо самим научиться, а уж если они не хотят, ничего не поделаешь — либо держи язык за зубами, либо говори, как они.

— Кэл, а можно мне иногда с тобой повидаться?

Кэлпурния поглядела на меня с недоумением.

— Повидаться, дружок? Да мы с тобой видимся каждый день.

— Нет, можно приходить к тебе в гости? Как-нибудь после работы? Аттикус меня проводит.

— Пожалуйста, когда захочешь,— сказала Кэлпурния.— Мы тебе всегда будем рады.

Мы шли по тротуару мимо дома Рэдли.

— Посмотрите-ка на веранду,— сказал Джим.

Я оглянулась на дом Рэдли — вдруг его таинственный обитатель вылез подышать свежим воздухом? Но веранда была пуста.

— Да нет, на нашу веранду посмотри,— сказал Джим.

Я посмотрела. В качалке — прямая, непреклонная и неприступная, с таким видом, будто она здесь провела весь свой век,— сидела тетя Александра.

Глава 13

— Отнеси мой саквояж в ту спальню, что окнами на улицу, Кэлпурния,— были первые слова тети Александры.— Джин-Луиза, перестань чесать в затылке,— были ее следующие слова.

Кэлпурния подняла тяжелый тетин чемодан и отворила дверь.

— Я сам отнесу,— сказал Джим и отнял у нее чемодан.

Слышно было, как чемодан грохнул об пол в спальне. И еще долго от этого не смолкал глухой гул.

— Вы приехали в гости, тетя? — спросила я.

Тетя Александра не часто выезжала с «Пристани» и уж тогда путешествовала с помпой. У нее был свой ярко-зеленый солидный «бьюик» и черный шофер, оба сверкали такой чистотой, смотреть тошно, но сейчас их нигде не было видно.

— Разве отец вам ничего не сказал? — спросила тетя Александра.

Мы с Джимом помотали головами.

— Вероятно, забыл. Его еще нет дома?

— Нет, он обычно возвращается только к вечеру,— сказал Джим.

— Ну так вот, ваш отец и я посоветовались и решили, что пора мне немножко у вас пожить.

«Немножко» в Мейкомбе может означать и три дня и тридцать лет. Мы с Джимом переглянулись.

— Джим становится взрослый, и ты тоже растешь,— сказала тетя Александра.— Мы решили, что тебе полезно женское влияние. Пройдет совсем немного лет, Джин-Луиза, и ты начнешь увлекаться нарядами и молодыми людьми...

Я могла много чего на это ответить: Кэлпурния тоже женщина, пройдет еще очень много лет, пока я начну увлекаться молодыми людьми, а нарядами я вообще никогда не стану увлекаться... но я промолчала.

— А как же дядя Джимми? — спросил Джим.— Он тоже приедет?

— О нет, он остался на «Пристани». Ему надо присматривать за фермой.

— А вы не будете без него скучать? — спросила я и сразу спохватилась: это был не очень тактичный вопрос. Тут ли дядя Джимми, нет ли, разница невелика, от него все равно никогда слова не услышишь. Тетя Александра пропустила мой вопрос мимо ушей.

Я не могла придумать, о чем еще с ней говорить. Сказать по совести, я никогда не знала, о чем с ней говорить, и сейчас сидела и вспоминала наши прошлые тягостные беседы: «Как поживаешь, Джин-Луиза?» — «Очень хорошо, благодарю вас, мэм, а вы как поживаете?» — «Хорошо, спасибо. А чем ты все это время занималась?» — «Ничем».— «Как, неужели ты ничего не делаешь?» — «Ничего».— «Но у тебя, наверно, есть друзья?» — «Да, мэм».— «Так чем же вы все занимаетесь?» — «Ничем».

Тетя, конечно, считала меня круглой дурой, один раз я слышала — она сказала Аттикусу, что я отсталая.

Что-то было неладно, но расспрашивать не захотелось: по воскресеньям тетя Александра всегда бывала сердитая. Наверно, из-за корсета. Она была не толстая, но весьма солидная особа и сильно затягивалась — бюст получался такой высокий, что смотреть страшно, талия тонюсенькая, сзади все очень пышно, глядя на эту фигуру, поневоле подумаешь, что раньше тетя Александра была песочными часами. С какого боку ни посмотри, выходило очень внушительно.

Остаток дня прошел в тихом унынии — так всегда бывает, когда приедут родственники,— а потом мы заслышали автомобиль и сразу ожили. Это из Монтгомери вернулся Аттикус. Джим забыл свою солидность и вместе со мной побежал его встречать. Джим выхватил у Аттикуса чемодан и портфель, а я повисла у него на шее; он на лету поцеловал меня, и я спросила:

— А книжку ты мне привез? А знаешь, тетя приехала!

Аттикус сказал — привез и знает.

— Тетя будет у нас жить, ты рада?

Я сказала — очень рада, это была неправда, но бывают такие обстоятельства, что приходится и соврать, раз уж все равно ничего не поделаешь.

— Мы решили, что настало время, когда детям необходимо... в общем, вот что, Глазастик,— сказал Аттикус,— тетя делает мне большое одолжение и вам обоим тоже. Я не могу весь день сидеть с вами дома, и этим летом мне придется трудно.

— Да, сэр,— сказала я.

Я ничего не поняла. Мне только показалось, что не так уж Аттикус звал тетю Александру, это она сама все придумала. У нее была такая манера, она заявляла: *так лучше для семьи* — вот, наверно, и к нам она поэтому переехала.

Мейкомб встретил тетю Александру очень приветливо. Мисс Моди Эткинсон испекла свой любимый торт, до того пропитанный наливкой, что я стала пьяная; мисс Стивени Кроуфорд приходила в гости и сидела часами, причем больше все качала головой и говорила «гм-гм». Мисс Рейчел зазывала тетю днем пить кофе, и даже мистер Натан Рэдли один раз заглянул к нам во двор и сказал, что рад ее видеть.

Потом тетя Александра расположилась у нас как дома, и все пошло своим чередом, и можно было подумать, будто она весь век тут живет. Ее славу отличной хозяйки еще подкрепили угощения на собраниях миссионерского общества (тетя не доверяла Кэлпурнии печь и стряпать деликатесы, которые должны были поддерживать силы слушателей во время длиннейших докладов Общества распространения христианства на Востоке); она вступила в Мейкомбский дамский клуб и стала его секретарем. В глазах мейкомбского высшего света тетя Александра была последней представительницей аристократии: манерами обладала самыми изысканными, какие приобретаются в закрытых школах и пансионах и совершенно необходимы на яхтах и пикниках; была образцом и авторитетом в вопросах морали; мастерски владела искусством намека и не знала себе равных по части сплетен. Когда она училась в школе, ни в одной хрестоматии не упоминалось о внутренних сомнениях, и тетя Александра понятия о них не имела. Она не ведала скуки и не упускала случая выступить в роли главного арбитра: наводила порядок, давала советы, остерегала и предупреждала.

Она никогда не забывала упомянуть о слабостях любого другого племени, дабы возвысить славный род Финчей, эта привычка иногда злила Джима, а чаще забавляла.

— Тете надо быть поосторожнее в словах, она наводит критику чуть не на всех в Мейкомбе, а ведь половина города нам родня.

Молодой Сэм Мерриуэзер покончил с собой — и тетя Александра наставительно говорила: наклонность к самоубийству у них в роду. Стоило шестнадцатилетней девчонке в церковном хоре разок хихикнуть, и тетя Александра замечала:

— Вот видите, в роду Пенфилдов все женщины легкомысленны.

Кажется, любая мейкомбская семья отличалась какой-нибудь наклонностью: к пьянству, к азартной игре, к скупости, к чудачествам.

Один раз тетя стала уверять нас, будто манера совать нос в чужие дела у мисс Стивени Кроуфорд наследственная, и Аттикус сказал:

— А знаешь, сестра, если вдуматься, до нашего поколения в роду Финчей все женились на двоюродных сестрах и выходили за двоюродных братьев. Так ты, пожалуй, скажешь, что у Финчей наклонность к кровосмешению?

Тетя сказала — нет, просто от этого у всех в нашей семье маленькие руки и ноги.

И что ее всегда волнует наследственность? Почему-то мне представлялось так: люди благородные — это те, от чьего ума и талантов всем больше всего пользы; а у тети Александры как-то так получалось, хоть она прямо и не говорила, будто чем дольше семья живет на одном месте, тем она благороднее.

— Тогда и Юэлы благородные,— сказал Джим.

Уже третье поколение семейства, к которому принадлежал Баррис Юэл и его братья, существовало на одном и том же клочке земли за городской свалкой, росло и кормилось за счет городской благотворительности.

А все-таки в теории тети Александры была какая-то правда. Мейкомб — старинный город. Расположен он на двадцать миль восточнее «Пристани Финча», слишком далеко от реки, что очень неудобно и странно для такого старого города. Впрочем, он стоял бы на самом берегу, если бы не один ловкий человек по фамилии Синкфилд; на заре времен этот Синкфилд держал гостиницу на перекрестке двух дорог, и это был единственный постоялый двор во всей округе. Синкфилд не был патриотом, он одинаково оказывал услуги и продавал патроны индейцам и белым поселенцам и нимало не задумывался, стоит ли его заведение на территории Алабамы или во владениях племени Ручья, лишь бы дело приносило доход. Дело процветало, а в это самое время губернатор Уильям Уайат Бибб решил упрочить покой и благоденствие вновь созданного округа и отрядил землемеров определить в точности, где находится его центр, чтобы здесь и обосновались местные власти. Землемеры остановились у Синкфилда и сообщили ему, что его постоялый двор входит в пределы округа Мейкомб, и показали, где именно разместится, по всей вероятности, административный центр округа. Не соверши Синкфилд дерзкого шага, чтобы остаться на бойком месте, центр этот расположился бы посреди Уинстоновых болот, унылых и ничем не примечательных. А вместо этого осью, вокруг которой рос и ширился округ Мейкомб, стал постоялый двор Синкфилда, ибо смекалистый хозяин в один прекрасный вечер, напоив своих постояльцев до того, что перед глазами у них все путалось и расплывалось, уговорил их вытащить карты и планы, малость отрезать там, чуточку прибавить тут — и передвинуть центр округа на то самое место, которое ему было всего удобнее. А наутро они отправились восвояси и повезли с собою в переметных сумах, кроме карт, пять кварт наливки — по две бутыли на брата и одну губернатору.

Поскольку Мейкомб был основан как административный центр, он оказался не таким неряхой, как почти все города таких же размеров в штате Алабама. С самого начала дома строились солидно, здание суда отличалось достоинством, улицы прокладывались широкие. Среди жителей Мейкомба немало было разного рода специалистов: сюда приезжали издалека, когда надо было вырвать больной зуб, пожаловаться на сердцебиение, починить экипаж, положить деньги в банк, очистить душу от греха, показать мулов ветеринару. Но в конце концов еще вопрос, мудро ли поступил в свое время Синкфилд. По его милости молодой город оказался слишком в стороне от единственного в ту пору общественного средства сообщения — от речных судов,— и жителю северной части округа приходилось тратить два дня на поездку в город Мейкомб за необходимыми покупками. Вот почему за сто лет город не разросся и остался все таким же островком среди пестрого моря хлопковых плантаций и густых лесов.

Война между Севером и Югом обошла Мейкомб стороной, но закон о восстановлении Юга и крах экономики все же вынудили город расти. Рос он не вширь. Новые люди появлялись редко, браки заключались между представителями одних и тех же семейств, так что постепенно все мейкомбцы стали немножко похожи друг на друга. Изредка кто-нибудь вернется из отлучки и привезет с собою жену — уроженку Монтгомери или Мобила, но и от этого пройдет лишь едва заметная рябь по мирной глади семейного сходства. В годы моего детства жизнь текла почти без перемен.

Разумеется, жители Мейкомба делились на касты, но мне это представлялось так: люди взрослые, мейкомбские граждане нынешнего поколения, прожившие бок о бок многие годы, знают друг друга наизусть и ничем один другого удивить не могут; осанка, характер, цвет волос, даже жесты принимаются как нечто само собою разумеющееся, что переходит из поколения в поколение и только совершенствуется со временем. И в повседневной жизни надежным руководством служат истины вроде: «Все Кроуфорды суют нос в чужие дела», «Каждый третий Мерриуэзер — меланхолик», «Делафилды с правдой не в ладах», «У всех Бьюфордов такая походка»,— а стало быть, когда берешь у кого-либо из Делафилдов чек, сперва наведи потихоньку справки в банке; мисс Моди Эткинсон сутулится, потому что она из Бьюфордов; и если миссис Грейс Мерриуэзер втихомолку потягивает джин из бутылок от сиропа, удивляться тут нечему — то же делала и ее мать.

Мейкомб сразу почуял в тете Александре родственную душу — Мейкомб, но не мы с Джимом. Я только диву давалась — неужели она родная сестра Аттикусу и дяде Джеку? — и даже вспомнила старые сказки про подменышей и корень мандрагоры, которыми в незапамятные времена пугал меня Джим.

В первый месяц ее жизни у нас все это были просто отвлеченные рассуждения — тетя Александра почти не разговаривала со мной и с Джимом, мы ее видели только во время еды да вечером перед сном. Ведь было лето, и мы весь день проводили на улице. Конечно, иной раз среди дня забежишь домой выпить воды, а в гостиной полно мейкомбских дам — потягивают чай, шепчутся, обмахиваются веерами, и я слышу:

— Джин-Луиза, поди сюда, поздоровайся с нашими гостьями.

Я вхожу, и у тети становится такое лицо, будто она жалеет, что позвала меня, ведь я всегда в глине или в песке.

— Поздоровайся с кузиной Лили,— сказала один раз тетя Александра, поймав меня в прихожей.

— С кем? — переспросила я.

— Со своей кузиной Лили Брук.

— Разве она нам кузина? А я и не знала.

Тетя Александра улыбнулась так, что сразу видно было: она деликатно извиняется перед кузиной Лили и сурово осуждает меня. А когда кузина Лили Брук ушла, я уж знала — мне здорово попадет.

Весьма прискорбно, что наш отец не потрудился рассказать мне о семействе Финч и не внушил своим детям никакой гордости. Тетя призвала и Джима, он сел на диван рядом со мной и насторожился. Она вышла из комнаты и возвратилась с книжкой в темно-красном переплете, на нем золотыми буквами было вытиснено: «Джошуа Сент-Клер. Размышления».

— Эту книгу написал ваш кузен,— сказала тетя Александра.— Он был замечательный человек.

Джим внимательно осмотрел книжечку.

— Это тот самый кузен Джошуа, который столько лет просидел в сумасшедшем доме?

— Откуда ты это знаешь? — спросила тетя Александра.

— Так ведь Аттикус говорит, этот кузен Джошуа был студентом и свихнулся. Аттикус говорит, он пытался застрелить ректора. Аттикус говорит, кузен Джошуа говорил, что ректор просто мусорщик, и хотел его застрелить из старинного пистолета, а пистолет разорвался у него в руках. Аттикус говорит, родным пришлось выложить пятьсот долларов, чтобы его вызволить...

Тетя Александра выпрямилась и застыла, точно аист на крыше.

— Довольно,— сказала она.— К этому мы еще вернемся.

Перед сном я пришла в комнату Джима попросить что-нибудь почитать, и в это время к нему постучался Аттикус. Вошел, сел на край кровати, невозмутимо оглядел нас и вдруг улыбнулся.

— Э-гм...— начал он. В последнее время он как-то покашливал, прежде чем заговорить, и я уж думала, может, это он наконец становится старый, но с виду он был все такой же.— Право, не знаю, как бы вам сказать...

— Да прямо так и скажи,— посоветовал Джим.— Мы что-нибудь натворили?

Отцу явно было не по себе.

— Нет, просто я хотел вам объяснить... тетя Александра меня спрашивала... сын, ты ведь знаешь, что ты — Финч, правда?

— Так мне говорили.— Джим исподлобья поглядел на отца и, верно, сам того не замечая, повысил голос: — Аттикус, в чем дело?

Аттикус перекинул ногу на ногу, скрестил руки.

— Я пытаюсь вас познакомить с некоторыми существенными обстоятельствами.

Джим еще сильнее поморщился от отвращения.

— Знаю я эту ерунду,— сказал он.

Аттикус вдруг стал серьезен. Он заговорил своим юридическим голосом:

— Ваша тетя просила меня по возможности довести до сознания твоего и Джин-Луизы, что оба вы не какие-нибудь безродные, за вами стоит несколько поколений, получивших безукоризненное воспитание...— Тут у меня по ноге побежал муравей, я стала его ловить, и Аттикус замолчал. Я почесала укушенное место.—...безукоризненное воспитание,— повторил Аттикус,— и вы должны жить так, чтоб быть достойными вашего имени. Тетя Александра просила меня сказать вам, что вы должны себя вести, как подобает маленькой леди и юному джентльмену. Она намерена побеседовать с вами о нашей семье и о том, какую роль играли Финчи на протяжении долгих лет в жизни округа Мейкомб, тогда вы будете представлять себе, кто вы такие, и, может быть, постараетесь вести себя соответственно,— скороговоркой закончил он.

Мы с Джимом были ошарашены и, раскрыв рот, поглядели друг на друга, потом на Аттикуса — ему, видно, стал тесен воротничок. И ничего не ответили.

Немного погодя я взяла со столика гребенку Джима и провела зубцами по краю доски.

— Перестань трещать,— сказал Аттикус.

Сказал резко и очень обидно. Я не довела гребенку до конца и швырнула ее на пол. Неизвестно почему я заплакала и никак не могла перестать. Это не мой отец. Мой отец никогда так не думал. И никогда так не говорил. Это его тетя Александра заставила. Сквозь слезы я увидела Джима — он стоял так же уныло и одиноко и голову свесил набок.

Идти было некуда, но я повернулась, хотела уйти — и передо мной оказалась жилетка Аттикуса. Я уткнулась в нее и услышала за светло-синей материей знакомые тихие звуки: тикали часы, похрустывала крахмальная рубашка, негромко, ровно стучало сердце.

— У тебя бурчит в животе,— сказала я.

— Знаю,— сказал Аттикус.

— А ты выпей соды.

— Выпью.

— Аттикус, как же мы теперь будем? Все станет по-другому, и ты?..

Он погладил меня по затылку.

— Не волнуйся,— сказал он.— Погоди волноваться.

И тут я поняла — он опять с нами. Ноги у меня уже не были как чужие, и я подняла голову.

— Ты правда хочешь, чтобы мы были такие? Ничего я не помню, как это Финчам полагается по-особенному себя вести...

— И не надо вспоминать. Оставим это.

Он вышел. Он чуть было не хлопнул дверью, но в последнюю минуту спохватился и тихо ее притворил. Мы с Джимом еще смотрели вслед, и вдруг дверь опять отворилась, и в нее заглянул Аттикус. Он высоко поднял брови, очки соскользнули на кончик носа.

— Кажется, я становлюсь все больше похож на кузена Джошуа? Как, по-вашему, может, я тоже обойдусь нашему семейству в пятьсот долларов?

Теперь я понимаю, чего он добивался, но ведь Аттикус был всего лишь мужчина. А с такими вещами умеют справляться только женщины.

Глава 14

От тети Александры мы больше не слыхали про семейство Финч, зато в городе слышали больше чем достаточно. По субботам, если только Джим брал меня с собой (теперь он прямо не переносил, когда я появлялась с ним на людях), мы прихватим, бывало, свои пятаки и пробираемся по улицам в распаренной толпе, а за спиной нет-нет да и скажут:

— Вон его ребята!

Или:

— Видал Финчей?

Оглянешься — никого, только какой-нибудь фермер с женой изучает клизмы в витрине аптеки. Или две коренастые фермерши в соломенных шляпах сидят в двуколке.

А какой-то костлявый человек поглядел на нас в упор и сказал совсем непонятно:

— Кто заправляет нашим округом, им больно наплевать — хоть над всеми подряд насильничай, они и не почешутся.

Тут я вспомнила, что давно хотела задать Аттикусу один вопрос. И в тот же вечер спросила:

— Что такое насильничать?

Аттикус выглянул из-за газеты. Он сидел в своем кресле у окна. С тех пор как мы стали старше, мы с Джимом великодушно решили после ужина полчаса его не трогать — пускай отдыхает.

Он вздохнул и сказал — насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия.

— Только и всего? А почему я спросила Кэлпурнию, а она не стала мне отвечать?

Аттикус поглядел внимательно:

— О чем это ты?

— Ну, мы тогда шли из церкви, и я спросила Кэлпурнию, что это значит, и она сказала — спросить тебя, а я забыла, а теперь спросила.

Аттикус опустил газету на колени.

— Объясни, пожалуйста, еще раз,— сказал он.

И я ему рассказала, как мы ходили с Кэлпурнией в церковь. Аттикусу это, по-моему, очень понравилось, но тетя Александра до этого спокойно вышивала в своем углу, а тут отложила работу и смотрела на нас во все глаза.

— Значит, тогда, в воскресенье, вы возвращались с Кэлпурнией из ее церкви?

— Да, мэм,— сказал Джим.— Она взяла нас с собой.

Я вспомнила еще кое-что:

— Да, мэм, и она обещала, что я как-нибудь приду к ней в гости. Аттикус, я в воскресенье и пойду, ладно? Кэл сказала, если ты куда-нибудь уедешь, она сама за мной зайдет.

— Ни в коем случае!

Это сказала тетя Александра. Я даже вздрогнула, круто обернулась к ней, потом опять к Аттикусу и заметила, как он быстро на нее взглянул, но было уже поздно. Я сказала:

— Я вас не спрашивала!

Аттикус такой большой, а с кресла вскакивает мигом, даже удивительно. Он уже стоял во весь рост.

— Извинись перед тетей,— сказал он.

— Я ее не спрашивала, я спросила тебя...

Аттикус повернул голову и так на меня посмотрел здоровым глазом — у меня даже ноги пристыли к полу. И сказал беспощадным голосом:

— Прежде всего извинись перед тетей.

— Простите меня, тетя,— пробормотала я.

— Так вот,— сказал Аттикус.— Усвой раз и навсегда: ты должна слушаться Кэлпурнию, ты должна слушаться меня и, пока у нас живет тетя, ты должна слушаться ее. Поняла?

Я поняла, подумала минуту, нашла только один способ отступить не совсем уж позорно и удалилась в уборную; возвращаться я не спешила, пускай думают, что мне и правда надо было уйти. Наконец побрела обратно и из коридора услышала — в гостиной спорят, да еще как. В приотворенную дверь видно было диван и Джима, он прикрылся своим футбольным журналом и так быстро вертел головой то вправо, то влево, будто на страницах со страшной быстротой играли в теннис.

— Ты должен что-то с нею делать,— говорила тетя.— Ты слишком долго все оставлял на произвол судьбы, Аттикус, слишком долго.

— Ее вполне можно туда отпустить, я не вижу в этом беды. Кэл там присмотрит за нею не хуже, чем смотрит здесь.

Кто это «она», о ком они говорят? Сердце у меня ушло в пятки: обо мне! Я уже чувствовала на себе жесткий розовый коленкор — я видела, в таких платьях водят девочек из исправительного дома — и второй раз в жизни подумала: надо бежать, спасаться! Не медля ни минуты!

— Аттикус, это очень хорошо, что у тебя доброе сердце и ты человек покладистый, но должен же ты подумать о дочери. Она растет.

— Именно о ней я и думаю.

— Не старайся от этого уйти. Рано или поздно придется это решить, так почему бы и не сегодня. Она нам больше не нужна.

Аттикус сказал ровным голосом:

— Кэлпурния не уйдет из нашего дома, пока сама не захочет уйти. Ты можешь придерживаться другого мнения, Александра, но без нее мне бы не справиться все эти годы. Она — преданный член нашей семьи, и придется тебе примириться с существующим положением. И право же, сестра, я не хочу, чтобы ради нас ты выбивалась из сил, для этого нет никаких оснований. Мы и сейчас еще не можем обойтись без Кэлпурнии.

— Но, Аттикус...

— Кроме того, я совсем не думаю, что ее воспитание нанесло детям какой бы то ни было ущерб. Она относилась к ним даже требовательнее, чем могла бы родная мать... Она никогда им ничего не спускала, не потакала им, как делают обычно цветные няньки. Она старалась их воспитать в меру своих сил и способностей, а они у нее совсем не плохие... и еще одно: дети ее любят.

Я перевела дух. Они не про меня, они про Кэлпурнию. Успокоенная, я вернулась в гостиную. Аттикус укрылся за газетой, тетя Александра терзала свое вышивание. Щелк, щелк, щелк,— громко протыкала игла

туго натянутую на пяльцах ткань. Тетя Александра на мгновение остановилась, натянула ее еще туже — щелк, щелк, щелк. Тетя была в ярости.

Джим поднялся и тихо пошел по ковру мне навстречу. Мотнул головой, чтоб я шла за ним. Привел меня в свою комнату и закрыл дверь. Лицо у него было серьезное.

— Они поругались, Глазастик.

Мы с Джимом часто ругались в ту пору, но, чтобы Аттикус с кем-нибудь поссорился, такого я никогда не видала и не слыхала. Смотреть на это было как-то тревожно и неуютно.

— Старайся не злить тетю, Глазастик, слышишь?

У меня на душе еще скребли кошки после выговора Аттикуса, и я не услышала просьбы в голосе Джима. И опять ощетинилась:

— Может, еще ты начнешь меня учить?

— Да нет, просто... у него теперь и без нас забот хватает.

— Каких?

Я вовсе не замечала, чтобы у Аттикуса были какие-то особенные заботы.

— Из-за этого дела Тома Робинсона он просто извелся...

Я сказала — Аттикус никогда ни из-за чего не изводится. А от судебных дел у нас всего и беспокойства один день в неделю, и потом все проходит.

— Это только ты так быстро все забываешь,— сказал Джим.— Взрослые — дело другое, мы...

Он стал невыносимо задаваться, прямо зло брало. И ничего не признавал — только все читает или бродит где-то один. Правда, все книги по-прежнему переходили от него ко мне, но раньше он мне их давал, потому что думал — мне тоже интересно почитать, а теперь он меня учил и воспитывал!

— Провалиться мне на этом месте, Джим! Ты что это о себе воображаешь?

— Ну, вот что, Глазастик, я тебе серьезно говорю: если будешь злить тетю, я... я тебя выдеру.

Тут я взорвалась:

— Ах ты чертов мофродит, да я тебе голову оторву!

Джим сидел на кровати, так что я с легкостью ухватила его за вихор на лбу и ткнула кулаком в зубы. Он хлопнул меня по щеке, я размахнулась левой, но тут он как двинет меня в живот — я отлетела и растянулась на полу. Я еле могла вздохнуть, но это пустяки: ведь он дрался, он дал мне сдачи! Значит, мы все-таки равны!

— Ага, воображаешь, что взрослый, а сам дерешься! — завопила я и опять кинулась на него.

Он все еще сидел на кровати, и у меня не было упора, я просто налетела на него изо всех сил и начала лупить его, дергать, щипать, колотить по чем попало. Честный кулачный бой обратился в самую обыкновенную потасовку. Мы все еще дрались, когда вошел Аттикус и разнял нас.

— Хватит,— сказал он.— Оба немедленно в постель.

— Э-э! — сказала я: Джима посылали спать в одно время со мной.

— Кто начал? — покорно и устало спросил Аттикус.

— Это все Джим. Он стал меня учить. Неужели мне еще и его тоже слушаться?!

Аттикус улыбнулся.

— Давай уговоримся так: ты будешь слушаться Джима всегда, когда он сумеет тебя заставить. Справедливо?

Тетя Александра смотрела на нас молча, но когда они с Аттикусом вышли, из коридора донеслись ее слова:

— ...я же тебе говорила, вот еще пример...— И после этого мы опять стали заодно.

Наши комнаты были смежные. Когда я затворяла дверь, Джим сказал:

— Спокойной ночи, Глазастик.

— Спокойной ночи,— пробормотала я и ощупью пошла к выключателю.

Возле своей кровати я наступила на что-то теплое, упругое и довольно гладкое. Оно было немножко похоже на твердую резину, и мне показалось — оно живое. И я слышала — оно шевелится.

Я зажгла свет и поглядела на пол около кровати. Там уже ничего не было. Я застучала в дверь Джима.

— Что тебе? — сказал он.

— Какие змеи на ощупь?

— Ну, жесткие. Холодные. Пыльные. А что?

— Кажется, одна заползла ко мне под кровать. Может, ты посмотришь?

— Ты что, шутишь? — Джим отворил дверь. Он был в пижамных штанах. Рот у него распух от моего кулака, это все-таки приятно было видеть. Он быстро понял, что я говорю серьезно.— Ну, если ты думаешь, что я сунусь носом к змее, ты сильно ошибаешься. Погоди минуту.

Он сбегал в кухню и принес швабру.

— Полезай-ка на кровать,— сказал он.

— Ты думаешь, там правда змея? — спросила я.

Вот это событие! У нас в домах не было погребов; они стояли на каменных опорах на высоте нескольких футов над землей, и змеи хоть и заползали иногда в дом, но это случалось не часто. И мисс Рейчел Хейверфорд, которая каждое утро выпивала стаканчик чистого виски, говорила в свое оправдание, что никак не придет в себя от пережитого страха: однажды она раскрыла бельевой шкаф у себя в спальне, хотела повесить халат и видит — на отложенном для стирки белье уютно свернулась гремучая змея!

Джим на пробу махнул шваброй под кроватью. Я перегнулась и смотрела, не выползет ли змея. Не выползла. Джим сунул швабру подальше.

— Змеи разве рычат? — спросила я.

— Это не змея,— сказал Джим.— Это человек.

И вдруг из-под кровати вылетел какой-то грязный пакет в оберточной бумаге. Джим замахнулся шваброй и чуть не стукнул по голове Дилла.

— Боже милостивый,— почтительно сказал Джим.

Дилл медленно выполз из-под кровати. Непонятно, как он там умещался. Он встал на ноги, расправил плечи, повертел ступнями — не вывихнуты ли,— потер шею. Наконец, видно, затекшим рукам и ногам полегчало, и он сказал:

— Привет!

Джим опять воззвал к небесам. У меня язык отнялся.

— Сейчас помру,— сказал Дилл.— Поесть чего-нибудь найдется?

Как во сне, я пошла в кухню. Принесла молока и половину кукурузной лепешки, которая оставалась от ужина. Дилл уплел ее в два счета, жевал он, как и прежде, передними зубами.

Ко мне наконец вернулся дар речи.

— Как ты сюда попал?

Очень сложными путями. Дилл немного подкрепился и начал рассказывать: новый отец не взлюбил его, посадил в подвал (в Меридиане у домов есть и подвалы) и обрек на голодную смерть; но его тайно спас фермер, который проходил мимо и услыхал его крики о помощи: добрый человек через вентилятор по одному стручку высыпал ему в подвал целый мешок гороха, и Дилл питался сырым горохом и понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу. Все еще в наручниках,

он бежал из города, прошел две мили пешком и тут повстречался с маленьким бродячим зверинцем, и его сразу наняли мыть верблюда. С этим зверинцем он странствовал вдоль всей Миссисипи, и наконец безошибочное чутье подсказало ему, что он находится в округе Эббот, штат Алабама, и ему надо только переплыть реку, чтобы оказаться в Мейкомбе. Остаток пути он прошел пешком.

— Как ты сюда попал? — спросил Джим.

Он взял у матери из кошелька тринадцать долларов, сел в Меридиане на девятичасовой поезд и сошел на Мейкомбской узловой. Десять или одиннадцать из четырнадцати миль до Мейкомба он шел пешком, и не по шоссе, а пробирался кустами, потому что боялся — вдруг его ищет полиция, а остаток пути доехал, прицепившись сзади к фургону с хлопком. Под моей кроватью он пролежал, наверно, часа два; он слышал, как мы ужинали, и чуть не сошел с ума от стука вилок по тарелкам. Он думал, мы с Джимом никогда не ляжем спать; он уж хотел вылезти и помочь мне поколотить Джима, ведь Джим стал куда больше и выше меня, но ясно было — мистер Финч скоро придет нас разнимать, вот он и не вылез. Он был ужасно усталый, невообразимо грязный и наконец-то чувствовал себя дома.

— Родные, конечно, не знают, что ты здесь,— сказал Джим.— Если б тебя разыскивали, мы бы уже знали...

— Они, наверно, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам,— ухмыльнулся Дилл.

— Непременно дай знать матери, где ты,— сказал Джим.— Надо дать ей знать, что ты здесь...

Дилл бросил на него быстрый взгляд, и Джим опустил глаза. Потом поднялся и нарушил последний закон чести, свято соблюдавшийся нами в детстве. Он вышел из комнаты.

— Аттикус,— донесся его голос из коридора,— можно тебя на минуту?

Чумазое от пыли и пота лицо Дилла вдруг побледнело. Мне стало тошно. В дверях появился Аттикус.

Он прошел на середину комнаты — руки в карманы,— остановился и поглядел на Дилла сверху вниз.

Ко мне опять вернулся дар речи:

— Ничего, Дилл. Если он что надумает, он так прямо тебе и скажет.— Дилл молча посмотрел на меня.— Правда, правда, это ничего,— сказала я.— Ты ведь знаешь, Аттикус не будет к тебе приставать, его бояться нечего.

— Я и не боюсь,— пробормотал Дилл.

— Пари держу, ты просто голоден,— сказал Аттикус, как всегда суховато, но приветливо.— Неужели у нас не найдется ничего получше холодной кукурузной лепешки, Глазастик? Накорми-ка этого молодца досыта, а потом я приду и тогда поглядим.

— Мистер Финч, не говорите тете Рейчел, не отправляйте меня назад, пожалуйста, сэр! Я опять убегу!..

— Тише, тише, сынок,— сказал Аттикус.— Никто тебя никуда не отправит, разве что в постель, да поскорее. Я только пойду скажу мисс Рейчел, что ты здесь, и попрошу разрешения оставить тебя у нас ночевать — ты ведь не против, верно? И сделай милость, верни хоть часть территории округа по принадлежности, эрозия почвы и так стала истинным бедствием.

Дилл, раскрыв рот, посмотрел ему вслед.

— Это он шутит,— объяснила я.— Он хочет сказать — выкупайся. Видишь, я же говорила, он не станет к тебе приставать.

Джим стоял в углу, тихий, пристыженный — так ему и надо, предателю!

— Я не мог ему не сказать, Дилл,— выговорил он.— Нельзя же удрать из дому за триста миль, и чтоб мать ничего не знала.

Мы вышли, не ответив ему ни слова.

Дилл ел, ел, ел... У него маковой росинки во рту не было со вчерашнего вечера. Все свои деньги он истратил на билет, сел в поезд — это ему было не впервой,— преспокойно болтал с кондуктором (тот его давно уже знал); но у него не хватило смелости прибегнуть к правилу, которое существует для детей, когда они едут далеко одни: если потеряешь деньги, кондуктор даст тебе на обед, а в конце пути твой отец вернет ему долг.

Дилл уплел все, что оставалось от ужина, и полез в буфет за банкой тушонки с бобами, и тут в прихожей послышался голос мисс Рейчел:

— О боже милостивый!

Дилл прямо затрясся, как заяц.

Он мужественно терпел, пока гремело «Ну погоди, вот отвезу тебя домой! Родители с ума сходят, волнуются!»; спокойно выслушал затем «Это все в тебе кровь Харрисов сказывается!»; улыбнулся снисходительному «Так и быть, переночуй сегодня здесь» и, когда его наконец удостоили объятием и поцелуем, ответил тем же.

Аттикус сдвинул очки на лоб и крепко потер лицо ладонью.

— Ваш отец устал,— сказала тетя Александра (кажется, она целую вечность не промолвила ни словечка. Она все время была тут, но, наверно, просто онемела от изумления).— Вам пора спать, дети.

Мы ушли, а они остались в столовой. Аттикус все еще потирал щеки и лоб.

— Насилия, драки, беглецы,— услышали мы его смеющийся голос.— Что-то будет через час...

Похоже, все обошлось как нельзя лучше, и мы с Диллом решили — будем вежливы с Джимом. И потом, Диллу ведь придется спать у него в комнате, так что не стоит объявлять ему бойкот.

Я надела пижаму, почитала немного, и вдруг оказалось — у меня глаза сами закрываются. Дилла с Джимом не было слышно; я погасила лампу на столике и у Джима под дверью не увидела полоски света.

Наверно, я спала долго — когда меня ткнули в бок, все в комнате чуть освещала заходившая луна.

— Подвинься, Глазастик.

— Он думал, он не может не сказать,— пробормотала я.— Ты уж на него не злись.

Дилл забрался в постель.

— А я и не злюсь,— сказал он.— Просто хочу спать тут, с тобой. Ты проснулась?

К этому времени я проснулась по крайней мере наполовину.

— Ты это почему? — лениво спросила я.

Никакого ответа.

— Я говорю, ты почему удрал из дому? Он правда такой злой?

— Н-не-ет...

— А помнишь, ты писал — будете мастерить лодку? Не смастерили?

— Ничего мы не мастерили. Он только обещал.

Я приподнялась на локте и в полутьме поглядела на Дилла.

— Из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают...

— Да нет, я не потому, просто он... просто им не до меня.

Никогда еще я не слыхала, чтоб из дому бегали по такой чудно́й причине.

— Как так?

— Ну, они все время куда-то уходят, а когда вернутся домой, все равно сидят в комнате одни.

— И что они там делают?

— Да ничего, просто сидят и читают... А я им совсем не нужен.

Я приткнула подушку к спинке кровати и села.

— Знаешь что, Дилл? Я сегодня сама хотела сбежать, потому что наши все были тут. Они нам тоже все время не нужны...

Дилл устало вздохнул.

— Спокойной ночи, а знаешь, Аттикуса целыми днями нет дома, а вечером часто тоже, то он в законодательном собрании, то уж не знаю где... они нам все время тоже не нужны, Дилл, если они все время тут, так и делать ничего нельзя.

— Да я не потому.

Дилл начал объяснять, и я подумала, что бы у меня была за жизнь, будь Джим другой, даже не такой, как стал теперь; вдруг бы Аттикусу не надо было все время, чтоб я была тут, и помогала ему, и советовала,— что тогда? Да нет, он без меня дня прожить не может. Кэлпурния — и та не может без меня обойтись. Я им нужна.

— Дилл, ты что-то не то говоришь... твоим без тебя не обойтись. Просто они, наверно, на тебя злятся. Вот я тебе скажу, что делать...

В темноте Дилл опять заговорил упрямо:

— Нет, ты пойми, я тебе вот что хочу сказать: им и в самом деле куда лучше без меня, и ничем я им не помогаю. Они не злые. И покупают мне все, что я хочу. А потом говорят — ну вот, на тебе и иди играй. У меня уже полна комната всего. Только и слышно — вот тебе книжка, иди читай.— Дилл старался говорить басом.— Что ты за мальчик? Другие мальчики бегают, играют в бейсбол, а не сидят дома и не надоедают взрослым.— Тут Дилл опять заговорил своим обыкновенным голосом.— Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают, и говорят спокойной ночи, и доброе утро, и до свиданья, и что они меня любят... знаешь, Глазастик, пускай у нас будет ребенок.

— А где его взять?

Дилл слышал, что есть один человек и у него лодка, он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман, и там сколько угодно маленьких детей, и можно заказать ему привезти ребеночка...

— Вот и неправда. Тетя говорит, бог кидает их прямо через каминную трубу, по-моему, она так и сказала.

(На этот раз тетя говорила как-то не очень отчетливо.)

— Нет, все не так. Детей рождают друг от друга. Но у этого человека с лодкой тоже можно взять... у него на острове их сколько хочешь, только надо их разбудить, он как дунет, они сразу оживают...

Дилл опять замечтался. Он всегда придумывал необыкновенное. Он успевал прочесть две книги, пока я читала одну, но все равно больше любил сам сочинять какие-то удивительные истории. Он считал с быстротой молнии, решал задачки на сложение и вычитание, но больше любил какой-то свой туманный мир, где младенцы спят и только ждут, чтобы их собирали, как цветы, рано поутру. Он все говорил, говорил и совсем убаюкал сам себя и меня тоже, мне уже мерещился тихий остров в тумане, и вдруг я смутно увидела почти уже стершийся в памяти унылый дом с неприветливой побуревшей дверью.

— Дилл...

— М-м?

— Как, по-твоему, отчего Страшила Рэдли не сбежал из дому?

Дилл протяжно вздохнул и повернулся на бок. И сказал через плечо:

— Может, ему некуда бежать...

Глава 15

Много было телефонных звонков, много речей в защиту преступника, потом от его матери пришло длинное письмо с прощением, и наконец порешили, что Дилл останется. Неделю мы прожили спокойно. После этого мы, кажется, уже не знали покоя. Все стало как в страшном сне.

Это началось однажды вечером после ужина. Дилл еще был у нас; тетя Александра сидела в своем кресле в углу, Аттикус — в своем; мы с Джимом растянулись на полу и читали. Неделя прошла мирно: я слушалась тетю; Джим, хоть и стал уже слишком большой для нашего домика на платане, помогал нам с Диллом мастерить для него новую веревочную лестницу; Дилл придумал новый верный способ выманить Страшилу Рэдли из дому и самим остаться целыми и невредимыми: надо просто насыпать лимонных леденцов по дорожке от черного хода Рэдли до калитки, и он сам пойдет по ней, как муравей. В дверь постучали. Джим пошел открывать, потом вернулся и сказал, что это мистер Гек Тейт.

— Так пригласи его войти,— сказал Аттикус.

— Я уже приглашал. Там во дворе еще какие-то люди, они хотят, чтоб ты вышел к ним.

В Мейкомбе взрослые остаются за дверью только в двух случаях: если в доме покойник и если замешана политика. Я подумала, кто же это умер. Мы с Джимом пошли было к дверям, но Аттикус крикнул:

— Сидите дома!

Джим погасил свет в гостиной и прижался носом к стеклу. Тетя Александра запротестовала.

— Одну секунду, тетя,— сказал он,— я только посмотрю, кто там пришел.

Мы с Диллом стали смотреть в другое окно. Аттикуса окружили какие-то люди. Кажется, они говорили все разом.

—...завтра переведем его в окружную тюрьму,— говорил мистер Тейт.— Я вовсе не хочу никаких неприятностей, но не могу поручиться, что их не будет...

— Не глупите, Гек,— сказал Аттикус.— Мы не где-нибудь, а в Мейкомбе.

— ...говорю, мне просто неспокойно.

— Гек, мы для того и получили отсрочку, чтобы не надо было ни о чем беспокоиться,— сказал Аттикус.— Сегодня суббота. Суд, вероятно, состоится в понедельник. Неужели вы не можете подержать его здесь одну ночь? Навряд ли кто-нибудь в Мейкомбе на меня в обиде за то, что я не отказываюсь от клиента, все знают — времена сейчас тяжелые.

Все вдруг развеселились, но сейчас же затихли, потому что мистер Линк Диз сказал:

— Из здешних-то никто ничего не затевает, меня беспокоит эта шатия из Старого Сарэма... а вы не можете добиться... как это называется, Гек?

— Передачи дела в другой округ,— подсказал мистер Тейт.— Сейчас от этого, кажется, толку не будет.

Аттикус что-то сказал, я не расслышала. Обернулась к Джиму, но он только отмахнулся — молчи, мол.

— ...и потом,— продолжал Аттикус погромче,— вы ведь не боитесь этой публики, верно?

— ...знаете, каковы они, когда налакаются.

— По воскресеньям они обычно не пьют, они полдня проводят в церкви,— сказал Аттикус.

— Ну, это случай особый,— сказал кто-то.

Они все гудели и переговаривались, и наконец тетя сказала — если Джим не зажжет свет в гостиной, это будет позор для всей семьи. Но Джим не слышал.

— ...не пойму, во-первых, чего ради вы за это взялись, Аттикус,— говорил мистер Линк Диз.— Вы на этом деле можете все потерять. Все как есть.

— Вы серьезно так думаете?

Когда Аттикус задает этот вопрос, берегись! «Ты серьезно думаешь сделать этот ход, Глазастик?» Хлоп, хлоп, хлоп — и на доске не остается ни одной моей шашки. «Ты серьезно так думаешь, сын? Тогда почитайка вот это». И целый вечер Джим мается, одолевая речи Генри У. Грейди.

— Послушайте, Линк, может быть, этот малый и сядет на электрический стул, но сначала все узнают правду,— ровным голосом сказал Аттикус.— А вы ее знаете.

Поднялся ропот. Аттикус шагнул назад к крыльцу, но все подступили ближе, и шум стал каким-то зловещим.

— Аттикус! — вдруг крикнул Джим.— Телефон звонит!

Все вздрогнули от неожиданности и отодвинулись; этих людей мы видели каждый день: тут были лавочники, кое-кто из мейкомбских фермеров; тут были и доктор Рейнолдс, и мистер Эйвери.

— Так ты подойди к телефону,— отозвался Аттикус.

Все засмеялись и разошлись. Аттикус вошел в гостиную, щелкнул выключателем и увидел, что Джим сидит у окна весь бледный, только кончик носа красный, потому что он был прижат к стеклу.

— Что это вы тут сидите в темноте? — удивился Аттикус.

Джим смотрел, как он сел в кресло и взялся за вечернюю газету. Иногда мне кажется, Аттикус все самые важные события своей жизни обдумывает на досуге, укрывшись за страницами «Мобил реджистер», «Бирмингем ньюс» и «Монтгомери эдвертайзер».

Джим подошел к Аттикусу.

— Они приходили за тобой, да? Они хотели с тобой расправиться?

Аттикус опустил газету и поглядел на Джима.

— Чего это ты начитался? — спросил он. Потом прибавил добрым голосом: — Нет, сын, это наши друзья.

— Это не... не шайка? — Джим смотрел исподлобья.

Аттикус хотел сдержать улыбку, но не сумел.

— Нет, у нас в Мейкомбе не бывает разъяренной толпы и прочих глупостей. Я никогда не слыхал, чтобы у нас свирепствовали банды.

— Одно время ку-клукс-клан охотился на католиков.

— Я и про католиков в Мейкомбе никогда не слыхал,— сказал Аттикус.— Ты что-то путаешь. Давно уже, примерно в девятьсот двадцатом году, тут существовал ку-клукс-клан, но это была по преимуществу организация политическая. И им некого было пугать. Как-то вечером они устроили демонстрацию у дома мистера Сэма Ливи, но Сэм вышел на крыльцо и сказал, что, видно, плохи их дела, раз они ходят вокруг него в балахонах, которые у него же и купили. Он до того их застыдил, что они ушли.

Семейство Ливи отвечало всем требованиям, которые предъявлялись в Мейкомбе к людям благородным: Ливи употребляли с пользой свой ум и способности, и уже пять поколений жили в нашем городе на одном и том же месте.

— Ку-клукс-клан умер и никогда не воскреснет,— сказал Аттикус.

Я пошла проводить Дилла, потом вернулась и из-за двери услышала, как Аттикус говорит тете:

— ...наравне со всеми готов отдать дань уважения женщинам Юга, но отнюдь не жертвовать человеческой жизнью только из вежливости, ради мифа.

Голос у него был такой, что я подумала — опять они ссорятся.

Я пошла искать Джима, он был у себя — лежал на кровати и о чем-то думал.

— Они поругались? — спросила я.

— Вроде того. Она все донимает его из-за Тома Робинсона. Она почти что сказала Аттикусу, что он позорит всю семью. Я... я боюсь, Глазастик.

— Чего боишься?

— Боюсь за Аттикуса. Вдруг с ним что-нибудь случится?

Я стала его расспрашивать, но Джим напустил на себя таинственность и только и отвечал — отвяжись да не приставай.

Назавтра было воскресенье. В перерыве между воскресной школой и службой все вышли немножко размяться, и я увидела во дворе Аттикуса, его окружили какие-то люди. Тут был и мистер Гек Тейт, и я подумала, может, он прозрел и поверил в бога. Раньше он никогда не ходил в церковь. Тут был даже мистер Андервуд. От мистера Андервуда никому и ничему не было толку, кроме «Мейкомб трибюн» — он один был и владельцем газеты, и редактором, и наборщиком. С утра до ночи он не отходил от своего линотипа и только, чтобы освежиться, отпивал по глотку вишневки, у него тут же всегда стоял целый кувшин. Он редко выходил узнавать новости, люди сами к нему приходили и рассказывали. Говорили, он весь номер газеты сам сочиняет и сам печатает на своем линотипе. И это было очень похоже на правду. Уж наверно случилось что-то необыкновенное, раз мистер Андервуд выбрался из дому.

Я перехватила Аттикуса на пороге, и он сказал — Тома Робинсона переводят в Мейкомбскую тюрьму. И сказал еще, пожалуй, не мне, а себе — если б его с самого начала тут держали, ничего бы и не было, все сошло бы спокойно. Он сел на свое место в третьем ряду и запел «Приближусь я к тебе, господь», он немного отставал от всех, и его густой голос звучал совсем отдельно. Он никогда не садился вместе с нами. В церкви он любил быть сам по себе.

По воскресеньям все в доме делают вид, что все хорошо, а с тех пор как у нас поселилась тетя Александра, стало еще противнее. Сразу после обеда Аттикус удирал к себе в кабинет, иногда мы заглянем к нему, а он сидит, откинувшись в вертящемся кресле, и читает. Тетя Александра укладывалась на два часа вздремнуть и грозилась — пусть только мы попробуем шуметь во дворе, когда все соседи отдыхают. Джим тоже дожил до такого возраста, что уходил к себе с целой кипой футбольных журналов. Нам с Диллом только и оставалось в воскресенье втихомолку играть на Оленьем лугу.

Стрелять из духового ружья по воскресеньям не разрешалось, и мы с Диллом погоняли немного по лугу футбольный мяч Джима, но это было скучно. Дилл сказал — пойдем поглядим, может, удастся увидать Страшилу Рэдли. Я сказала — пожалуй, нехорошо к нему приставать, и начала рассказывать Диллу про все, что случилось за эту зиму. Он слушал и удивлялся.

К ужину мы разошлись по домам, а после ужина мы с Джимом собирались, как всегда, весь вечер читать, но тут Аттикус нас удивил: он вышел в гостиную, и в руках у него был длинный электрический провод. И на одном конце — лампочка.

— Я ненадолго уйду,— сказал он.— Когда вернусь, вы все будете уже в постели, так что пожелаю вам спокойной ночи.

Надел шляпу и вышел из дому с черного хода.

— Он берет машину,— сказал Джим.

У нашего отца были свои странности: во-первых, он никогда не ел сладкого, во-вторых, любил ходить пешком. Сколько я себя помню, в гараже всегда стоял чистенький, аккуратный «шевроле», и Аттикус все-

гда разъезжал на нем по делам, но в самом Мейкомбе в свою контору и обратно он по два раза в день ходил пешком, а это означало — около двух миль. Он говорил: ходьба — это его единственный спорт. А в Мейкомбе считают: если человек идет пройтись просто так, без определенной цели, значит, он и вообще такой — ни к чему не стремится и ничего никогда не достигнет.

Потом я пожелала тете и брату спокойной ночи и давно уже лежала и читала, и тут в комнате Джима начался какой-то непонятный шум. Ко сну он обычно готовился не так, я каждый звук знала наизусть, и я постучалась к нему:

— Ты почему не ложишься?

— Сбегаю ненадолго в город,— он натягивал другие штаны.

— А зачем? Уже почти десять часов.

Это он знал, но все равно собрался уходить.

— Тогда и я с тобой. И если ты скажешь не ходить, я все равно пойду, слышишь?

Джим понял, что так просто я дома не останусь, придется со мной драться, а значит, злить тетю, и нехотя сдался.

Я быстро оделась. Мы подождали, пока у тети погас свет, и тихо вышли с заднего крыльца. Ночь была темная, безлунная.

— Дилл тоже захотел бы пойти,— прошептала я.

— Пускай идет,— хмуро ответил Джим.

Мы перескочили через низенькую ограду, перешли двор мисс Рейчел и стали под окном Дилла. Джим крикнул перепелом. За стеклом появилось лицо Дилла, сразу исчезло, а через пять минут он отворил окно и вылез к нам. Как человек бывалый, он не стал ни о чем спрашивать, пока мы не вышли на улицу.

— Что случилось?

— У Джима бродячий приступ.

Кэлпурния говорила — у всех мальчишек в его годы бывает бродячая болезнь.

— Просто так захотелось,— сказал Джим.— Просто так.

Миновали дом миссис Дюбоз, он стоял пустой, с закрытыми ставнями, камелии чуть виднелись среди разросшейся крапивы и полыни. До угла — до почты — оставалось пройти еще восемь домов.

Южная сторона площади была пустынна. На каждом углу щетинились огромные араукарии, между ними в свете уличных фонарей поблескивала железная коновязь. Свет горел еще в общественной уборной, а больше с этой стороны здания суда не было ни огонька. Площадь перед судом была квадратная, со всех сторон магазины, в них, где-то в глубине, тоже виднелся слабый свет.

Когда Аттикус только начал работать адвокатом, его контора помещалась в самом здании суда, но через несколько лет он перебрался в здание городского банка, там было тише и спокойнее. Мы завернули за угол и увидели перед банком машину — «шевроле».

— Он здесь,— сказал Джим.

Но Аттикуса здесь не было. К его конторе вел длинный коридор. Будь за его дверью свет, мы бы увидели табличку с небольшими четкими буквами: АТТИКУС ФИНЧ, АДВОКАТ. Сейчас тут было темно.

Джим еще раз всмотрелся в темноту за стеклянной дверью банка. Нажал ручку двери. Заперто.

— Пройдем-ка по улице. Может, он зашел к мистеру Андервуду.

Мистер Андервуд не только выпускал газету «Мейкомб трибюн», он и жил в редакции. Вернее, над ней. О том, что происходит в суде и в тюрьме, он узнавал, просто-напросто глядя из окна второго этажа. Его дом стоял на северо-западном углу площади, идти к нему надо было мимо тюрьмы.

Тюрьма была самым почтенным и самым безобразным зданием во всем Мейкомбе. Аттикус говорил — такое мог бы придумать кузен Джошуа Сент-Клер. И правда, это было как в бреду. Все дома в городе простые и обыкновенные, с прямыми широкими фасадами и покатыми крышами, и вдруг, ни с того ни с сего, торчит крохотный готический храмик — одна камера в ширину, две в высоту, и все это дополняется контрфорсами и зубчатыми башенками. А оттого, что фасад тюрьмы был из красного кирпича и в окнах, какие бывают только в церкви, виднелись толстые стальные решетки, все это выглядело совсем уж неправдоподобно. И добро бы еще эта нелепость стояла на каком-нибудь одиноком холме, но она была втиснута между «Металлическими изделиями» Тиндела и редакцией «Мейкомб трибюн». Тюрьма у нас в Мейкомбе вызывала постоянные споры: хулители говорили — это точь-в-точь уборная времен королевы Виктории; а их противники уверяли — такое здание придает городу почтенный, благородный вид, и заезжему человеку ни-почем не догадаться, что там внутри полно черномазых.

Мы шли по тротуару и вдруг увидели поодаль одинокий огонек.

— Странно,— сказал Джим,— у тюрьмы снаружи фонаря нет.

— Вроде это лампочка над дверью,— сказал Дилл.

Сквозь прутья решетки из окна второго этажа свисал длинный провод. В свете голой, без колпака, лампочки сидел у входа Аттикус. Он, видно, принес из своей конторы стул, приставил его к двери и теперь читал, не обращая никакого внимания на мотыльков и всякую ночную мошкару, которая вилась у него над головой.

Я хотела побежать, но Джим схватил меня за руку.

— Не ходи к нему,— сказал он.— Еще рассердится. Он здесь — и все в порядке, пошли домой. Я только хотел посмотреть, где он.

Мы стали наискосок переходить площадь, и тут по Меридианскому шоссе медленно, одна за другой, подъехали четыре запыленные машины. Они обогнули площадь, миновали банк и остановились напротив тюрьмы.

Из машин никто не вышел. Аттикус поднял голову от газеты. Аккуратно ее сложил, опустил на колени и сдвинул шляпу на затылок. Похоже, он ждал, что они приедут.

— Пошли,— прошептал Джим.

Мы кинулись через площадь, потом по улице и спрятались за газетным киоском. Джим осторожно выглянул.

— Можно еще поближе,— сказал он.

Мы побежали к магазину Тиндела — отсюда было совсем близко, нам все видно, а нас никто не заметит.

Приезжие по одному, по двое вылезали из машин. Сначала они были как тени, потом двинулись к тюрьме, и при свете стало видно, что все они большие, плотные. Аттикус не двинулся с места. Широкие спины заслонили его от нас.

— Он здесь, мистер Финч? — спросил кто-то.

— Здесь,— отозвался Аттикус.— Он спит, не разбудите его.

Много позже я поняла, как жутко и смешно это было при тех далеко не забавных обстоятельствах, но отца послушались: люди стали говорить вполголоса.

— Вы знаете, зачем мы пришли,— сказал кто-то другой.— Отойдите от двери, мистер Финч.

— Поезжайте домой, Уолтер,— вежливо сказал Аттикус.— Гек Тейт где-то поблизости.

— Черта с два,— сказал еще кто-то.— Гек со своими подручными рыщет по лесу, до утра оттуда не вылезет.

— Вот как? С чего бы это?

— Ищет ветра в поле,— был краткий ответ.— Вы про это не думали, мистер Финч?

— Думал, но не верил,— голос моего отца звучал все так же спокойно.— Что ж, это меняет дело, не так ли?

— Ну, ясно,— сказал еще чей-то бас. Говорившего было не разглядеть.

— Вы серьезно так думаете?

Второй раз за два дня я слышала от Аттикуса этот вопрос — значит, сейчас кому-то достанется на орехи. На это стоит поглядеть! Я вывернулась из-под руки Джима и во весь дух побежала к Аттикусу.

Джим вскрикнул и бросился за мной, но они с Диллом меня не догнали. Я протолкалась среди темных фигур, от которых шел тяжелый запах, и выбежала в круг света.

— Аттикус, привет!

Я думала — вот он обрадуется! — но лицо у него сделалось такое, что все мое веселье пропало. Глаза у него стали просто-напросто испуганные, но это сразу прошло, как только сквозь толпу пробрались Джим и Дилл.

Кругом пахло спиртным перегаром и хлевом, я огляделась — все эти люди были чужие. Не те, которые приходили вчера вечером. Меня бросило в жар от смущения: я так победоносно выскочила, а на меня смотрят совсем незнакомые люди!

Аттикус поднялся со стула, он двигался медленно, как старик. Он аккуратно разгладил газету по складкам и бережно отложил. Пальцы его слегка дрожали.

— Иди домой, Джим,— сказал он.— Отведи сестру и Дилла домой.

Мы привыкли, когда Аттикус что-нибудь велит, слушаться — может, и не всегда охотно, но быстро,— а тут Джим стоял с таким видом, будто и не собирался тронуться с места.

— Иди домой, я сказал.

Джим покачал головой. Аттикус уперся кулаками в бока — и Джим тоже, и так они стояли друг против друга, очень разные: у Джима мягкие каштановые волосы, карие глаза, продолговатое лицо, уши плотно прилегают к голове — он весь в маму, а у Аттикуса волосы черные с проседью, черты лица прямые, резкие, и все-таки мне показалось, они похожи. Это потому, что оба смотрели вызывающе.

— Сын, я сказал — иди домой.

Джим только головой помотал.

— Вот я его отправлю домой,— сказал какой-то верзила, сгреб Джима за шиворот и так отшвырнул, что Джим едва удержался на ногах.

— Не тронь его!

И я наподдала этому дядьке ногой. Я была босиком и очень удивилась, что он весь сморщился, охнул и отступил. Я хотела стукнуть его по коленке, но попала слишком высоко.

— Хватит, Глазастик,— Аттикус взял меня за плечо.— Не лягайся и не брыкайся. Тише,— прервал он, когда я хотела что-то сказать в свое оправдание.

— А пускай они не трогают Джима,— сказала я.

— Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда,— проворчал кто-то.— Даем вам на это дело пятнадцать секунд.

Аттикус стоял среди этих непонятных людей и старался заставить Джима послушаться. Он грозил, убеждал, наконец даже сказал:

— Я тебя прошу, Джим, уведи их.

А Джим в ответ упрямо твердил одно:

— Не пойду.

Мне все это стало надоедать, но я чувствовала — Джим не зря упрямится, можно себе представить, как ему Аттикус задаст, когда уж мы все придем домой. Я стала осматриваться. Была теплая летняя ночь,

но почти на всех этих людях комбинезоны и грубые бумажные рубашки были застегнуты наглухо, до самого подбородка. Наверно, все они боятся простуды, подумала я, вот и рукава у них не засучены, и даже манжеты застегнуты. Те, кто были в шляпах, нахлобучили их на самые брови. И все они были какие-то мрачные, смотрели сонно, как будто им непривычно в такой поздний час оказаться на ногах. Я еще раз поискала — нет ли тут хоть одного знакомого лица, они стояли полукругом, и того, что стоял посередине, я вдруг узнала.

— Привет, мистер Канингем!

Он меня словно и не слышал.

— Привет, мистер Канингем. Как у вас с ущемлением прав?

Положение дел Уолтера Канингема-старшего было мне хорошо известно: Аттикус когда-то подробно мне все это растолковал. Рослый, плечистый, он как-то растерянно заморгал и сунул большие пальцы под лямки комбинезона. Казалось, ему не по себе; он откашлялся и посмотрел в сторону. Мое дружеское приветствие осталось без ответа.

Мистер Канингем стоял без шляпы, лоб у него был очень белым, а все лицо, обожженное солнцем, особенно темным — наверно, всегда он ходит в шляпе. Он переступил с ноги на ногу, башмаки у него были огромные, грубые.

— Вы меня не узнаете, мистер Канингем? Я — Джин-Луиза Финч. Вы нам один раз принесли орехов, помните?

Кажется, я старалась зря — ужасно неловко, когда случайный знакомый потом тебя не узнает.

— Я учусь вместе с Уолтером,— сделала я новую попытку.— Ведь это ваш сын, правда? Правда, сэр?

Мистер Канингем чуть заметно кивнул. Все-таки он меня узнал!

— Мы с Уолтером в одном классе,— продолжала я,— он очень хорошо учится. И он славный,— прибавила я,— правда, правда, он хороший. Один раз он приходил к нам обедать. Может быть, он вам про меня рассказывал, один раз я его поколотила, а он ничего, он правда славный. Вы ему передайте от меня привет, ладно?

Аттикус когда-то мне объяснил: если ты человек вежливый, говори с другими не про то, что интересно тебе, а про то, что интересно им. Мистеру Канингему, видно, было совсем не интересно слушать про своего сына, а мне так хотелось, чтоб ему не было скучно, и я с горя сделала последнюю попытку — может, все-таки ему интереснее поговорить про ущемление.

— Ущемление — это очень неприятная штука,— стала я ему объяснять.

И тут наконец я заметила, что обращаюсь с речью к целой толпе. Все они смотрели на меня, некоторые даже рот раскрыли. Аттикус уже не приставал к Джиму, они оба стояли рядом с Диллом. И они тоже смотрели и слушали, как заколдованные. Аттикус даже рот приоткрыл, а он всегда объяснял, что это не очень-то красиво. Наши взгляды встретились, и он закрыл рот.

— Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Канингему, конечно, когда ущемление прав, это очень плохо, но ты ведь говорил не волноваться, такие дела иногда долго тянутся... и вы уж как-нибудь общими силами выпутаетесь...

И я окончательно замолчала и только думала, какая я дура. Видно, про ущемление хорошо разговаривать только в гостиной.

У меня даже голова вспотела: не могу я, когда целая куча народу на меня смотрит. Все стояли и молчали.

— Что случилось? — спросила я.

Аттикус не ответил. Я оглянулась на мистера Канингема, у него лицо тоже было невозмутимое. А потом он поступил очень странно. Он присел на корточки и обеими руками взял меня за плечи.

— Я ему передам от тебя привет, маленькая леди,— сказал он.

Встал, выпрямился и махнул огромной ручищей.

— Пошли отсюда,— крикнул он.— Поехали, ребята.

И так же, как пришли, по двое, по одному они двинулись, волоча ноги, к своим расхлябанным машинам. Захлопали дверцы, зачихали моторы — и все уехали.

Я обернулась к Аттикусу, а он, оказывается, отошел и прислонился лбом к стене тюрьмы. Я подошла и потянула его за рукав.

— Теперь мы пойдем домой?

Он кивнул, вытащил платок, утер лицо и громко высморкался.

— Мистер Финч,— позвал из темноты, откуда-то сверху, тихий хриплый голос.— Они ушли?

Аттикус отошел от стены и поднял голову.

— Ушли,— сказал он.— Поспи немного, Том. Они не вернутся.

С другой стороны в темноте раздался еще один голос:

— Уж будьте уверены, что не вернутся,— сказал он резко.— Я все время был начеку, Аттикус.

Из окна над редакцией «Мейкомб трибюн» высунулся мистер Андервуд с двустволкой в руках.

Было поздно, я устала, глаза у меня слипались; казалось, Аттикус и мистер Андервуд проговорят до утра, один — высунувшись из окна, другой — задрав к нему голову. Наконец Аттикус подошел к нам, погасил лампочку над дверью тюрьмы и подхватил стул.

— Можно, я его понесу, мистер Финч? — попросил Дилл.

За все время это были его первые слова.

— Спасибо, дружок.

И мы пошли к банку — Аттикус с Джимом впереди, я и Дилл за ними. Дилл тащил стул и поэтому шел медленнее. Аттикус с Джимом ушли вперед, и я думала, Аттикус его здорово ругает — почему не пошел домой,— но ошиблась. Они как раз поравнялись с фонарем, и видно было: Аттикус поднял руку и взъерошил Джиму волосы — никаких других нежностей он не признавал.

Глава 16

Джим услышал меня. Заглянул в дверь. А когда подошел к моей кровати, в комнате у Аттикуса вспыхнул свет. Мы застыли на месте и не шевелились, пока свет не погас; мы слушали, как Аттикус ворочается, и ждали. Наконец опять стало тихо.

Джим увел меня к себе и уложил.

— Постарайся заснуть,— сказал он.— Послезавтра, может быть, все уже кончится.

Нам пришлось возвращаться очень тихо, чтоб не разбудить тетю. Аттикус заглушил мотор еще на дорожке и руками втолкнул машину в гараж; мы вошли с черного хода и молча разошлись по своим комнатам. Я очень устала и уже совсем засыпала, и вдруг мне привиделся Аттикус — он складывает газету и сдвигает шляпу на затылок, и потом — Аттикус посреди пустой, замершей в ожидании улицы сдвигает на лоб очки. Меня точно ударило, только тут я поняла, что произошло в этот вечер, и заплакала. Джим просто молодец, он и слова не сказал, что когда человеку скоро девять лет, ему реветь не пристало.

Утром ни у кого не было аппетита, только Джим уплел три яйца

подряд. Аттикус посмотрел на него с откровенным восхищением; тетя Александра крохотными глоточками пила кофе, от нее так и веяло холодом. Дети, которые по ночам тайком удирают из дому,— это позор для семьи. Аттикус сказал — он очень рад, что этот позор подоспел вовремя, но тетя сказала:

— Глупости, мистер Андервуд все время был начеку.

— А знаешь, это очень забавно,— сказал Аттикус. — Ведь Брэкстон терпеть не может негров, даже близко их не подпускает.

В Мейкомбе мистера Андервуда считали закоренелым нечестивцем; его отец сыграл с ним злую шутку — окрестил сына Брэкстоном Брэггом. Аттикус говорил: кого назвали в честь генералов Южной армии, тот рано или поздно становится горьким пьяницей.

Кэлпурния подала тете Александре еще кофе, и я поглядела на нее умоляюще и убедительно, как могла, но она только головой покачала.

— Ты еще мала для кофе,— сказала она.— Когда дорастешь, тогда я тебе и так налью.

Я сказала — может, кофе мне полезно для желудка.

— Ладно,— сказала Кэлпурния и взяла с буфета чашку. Налила в нее столовую ложку кофе и до краев долила молоком. В благодарность я показала чашке язык, подняла глаза и увидела меж бровей тети предостерегающую морщинку. Но это она хмурилась на Аттикуса. Она подождала, чтоб Кэлпурния ушла в кухню, и тогда сказала:

— Не говори так при них.

— Как именно и при ком именно? — спросил Аттикус.

— При Кэлпурнии. Ты сказал при ней, что Брэкстон Андервуд терпеть не может негров.

— Ну, Кэл, разумеется, и сама это знает. Это всему Мейкомбу известно.

В те дни я стала замечать неуловимую перемену в отце, она чувствовалась, когда он разговаривал с тетей Александрой. Он не то чтобы злился, а все-таки ее осаживал. Вот и сейчас в голосе его послышалась жесткая нотка.

— Все, что можно сказать у нас за столом, можно сказать при Кэлпурнии,— отрезал он.— Она знает, что она значит для нашей семьи.

— Мне кажется, это плохая привычка, Аттикус. Это их поощряет. Ты же знаешь, какие они болтуны. Обо всем, что за день случится в городе, еще до вечера известно всему негритянскому кварталу.

Отец положил нож.

— Я не знаю такого закона, который запрещал бы им разговаривать. Может быть, если бы мы не давали им столько поводов для разговора, они бы и не разговаривали. Почему ты не пьешь кофе, Глазастик?

Я болтала в чашке ложкой.

— А я думала, мистер Канингем нам друг. Ты мне когда-то так и сказал.

— Он и есть наш друг.

— А вчера вечером он тебя хотел бить.

Аттикус положил вилку рядом с ножом и отодвинул тарелку.

— Мистер Канингем в общем-то хороший человек,— сказал он. — Просто у него, как у каждого из нас, есть свои слабости.

— Да разве это слабость? — вдруг сказал Джим. — Вчера вечером, когда они только приехали, он готов был тебя убить.

— Пожалуй, мне от него и досталось бы,— согласился Аттикус. — Но видишь ли, сын, когда ты станешь постарше, ты будешь немного лучше понимать людей. Что бы там ни было, а всякая толпа состоит из людей. Вчера вечером мистер Канингем был частью толпы, но все равно он оставался человеком. Всякая толпа во всяком маленьком южном

городке состоит из людей, которых мы знаем, из самых обыкновенных людей, и это не очень для них лестно, не так ли?

— Да уж...— сказал Джим.

— И потому надо было вмешаться восьмилетнему ребенку, чтобы они опомнились, так? — продолжал Аттикус.— А ведь это что-нибудь да значит, если стадо диких зверей все-таки можно остановить, ибо в последнем счете они все же люди. М-да, может быть, нам нужны полицейские-дети... Вчера вечером вы, дети, заставили Уолтера Канингема на минуту влезть в мою шкуру. И этого было довольно.

Не знаю, может, Джим, когда станет постарше, и правда будет лучше понимать людей, а я не буду.

— Пускай только Уолтер придет теперь в школу, живым он от меня не уйдет,— пообещала я.

— Ты его и пальцем не тронешь,— решительно сказал Аттикус.— Что бы ни случилось, а я не желаю, чтобы ты или Джим после вчерашнего случая на кого-нибудь затаили зло.

— Вот видишь, к чему все это ведет,— сказала тетя Александра.— Помни, я тебя предупреждала.

Аттикус сказал, что будет помнить, резко отодвинул стул и поднялся.

— У меня впереди трудный день, так что прошу извинить. Джим, я бы очень хотел, чтобы вы с Глазастиком сегодня в город не ходили.

Едва Аттикус ушел, к нам в столовую вприпрыжку вбежал Дилл.

— Сегодня весь город об этом говорит! — объявил он.— Все говорят, как мы голыми руками отбились от целых ста человек...

Тетя Александра так на него посмотрела — он мигом прикусил язык.

— Там не было ста человек,— сказала она,— и никто ни от кого не отбивался. Там была просто кучка этих пьяных, разнузданных Канингемов.

— Не обращайте внимания, тетя, Дилл всегда преувеличивает,— сказал Джим и кивнул, чтоб мы шли за ним.

— Со двора никуда не ходите,— предупредила она, когда мы вышли на веранду.

Можно было подумать — сегодня суббота. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди из южной части округа Мейкомб.

Сидя мешком на своей породистой лошадке, проехал мистер Дольфус Реймонд.

— Не пойму, как он только держится в седле,— пробормотал Джим.— И как это он может — с утра пораньше, восьми нет, и уже пьяный!

Проехала тряская повозка, в ней тесно сидели женщины в матерчатых панамах, заслонявших лица от солнца, и в платьях с длинными рукавами. Правил бородатый мужчина в войлочной шапке.

— Смотри, меннониты,— сказал Диллу Джим.— У них вся одежда без пуговиц.

Меннониты жили в лесах, все, что им требовалось, продавали и покупали на другом берегу реки и в Мейкомб почти никогда не заглядывали. Дилл смотрел на них с любопытством.

— У них у всех голубые глаза,— объяснял Джим,— и мужчины после свадьбы не должны бриться. Их женам нравится, когда от бороды щекотно.

Проехал на муле мистер Икс Биллапс и помахал нам рукой.

— Он забавный,— сказал Джим.— Икс — это у него не инициал, это его так зовут. Один раз его вызвали в суд свидетелем и спрашивают — как ваше имя. Он говорит — Икс Биллапс. Секретарь просит — скажите полностью, а он опять — Икс. Его опять переспрашивают, а он

опять свое. В конце концов он написал на бумаге букву икс и поднял, чтоб все видели. Его спрашивают, что это у вас за имя такое, а он говорит — так отец с матерью записали, когда он родился.

Жители округа все шли и шли мимо нас, и Джим рассказывал Диллу про самых замечательных людей: мистер Тенсоу Джонс голосовал за сухой закон; мисс Эмили Дейвис втихомолку нюхает табак; мистер Байрон Уоллер играет на скрипке; у мистера Джейка Слейда в третий раз режутся зубы.

Из-за угла появилась еще повозка, все ее пассажиры смотрели както очень сурово. Они поравнялись с домом мисс Моди Эткинсон, у нее в саду пылали яркими красками летние цветы, и тут на крыльцо вышла сама мисс Моди. Удивительное дело, когда мисс Моди стоит на крыльце, от нас до нее далеко, лица не разглядеть, и все равно сразу видно, какое у нее настроение. Вот она стоит, немножко подалась вперед, руки в боки, и голову наклонила набок, очки блестят на солнце. И мы уже знаем: улыбка у нее сейчас самая злоехидная.

Возница придержал мулов, и одна женщина с повозки визгливо закричала:

— Тщеславному уготована тьма вечная!

И мисс Моди ответила:

— Кто сердцем радостен, тот и ликом светел!

Наверно, эти ногомойщики подумали — сатана и священное писание по-своему толкует, потому что возница скорей погнал мулов. И что им дался сад мисс Моди? Просто понять нельзя, тем более, хоть мисс Моди целыми днями копается в земле, а писание она знает назубок.

Мы подошли к ее забору.

— Вы в суд пойдете? — спросил Джим.

— Нет, — сказала мисс Моди. — В суде мне нынче делать нечего.

— А поглядеть не хотите? — спросил Дилл.

— Нет. Жестоко это — смотреть, когда беднягу того и гляди засудят на смерть. А народ съезжается, как на праздник.

— Так ведь его должны судить при людях, мисс Моди,— сказала я. — Иначе неправильно.

— Это мне известно,— сказала мисс Моди. — Именно потому, что суд у нас публичный, при людях, мне туда идти уж не обязательно — так?

Мимо прошла мисс Стивени Кроуфорд. Она была в шляпе и в перчатках.

— Гм-гм,— сказала она. — Сколько народу, можно подумать, что сам Уильям Дженнингс Брайан будет говорить речь.

— А ты куда собралась, Стивени? — окликнула мисс Моди.

— За газетой.

Мисс Моди сказала — отродясь не видала, чтоб Стивени за газетой ходила в шляпе.

— Ну, может быть, я и загляну на минутку в суд, послушаю, о чем там рассуждает Аттикус,— сказала мисс Стивени.

— Берегись, как бы он не вручил и тебе повестку,— сказала мисс Моди.

Мы не поняли и попросили разъяснений, и мисс Моди сказала — мисс Стивени, видно, столько знает об этом деле, отчего бы ей не дать свидетельских показаний.

Мы терпели до полудня; Аттикус пришел домой поесть и сказал, что все утро отбирали присяжных. После обеда мы зашли за Диллом и отправились в город.

Поистине это был большой день. У коновязи нельзя было втиснуть больше ни одной лошади, под каждым деревом теснились мулы и повозки. Площадь перед судом была заполнена компаниями и семьями,

как на пикнике; рассаживались прямо на земле, подостлав газеты, ели печенье с патокой и запивали теплым молоком из кувшинов. Некоторые грызли холодную курицу или свиную отбивную. А кто побогаче, запивал еду купленной в аптеке кока-колой в пузатых стаканчиках из-под содовой. Чумазые ребятишки гонялись в толпе друг за другом, матери кормили младенцев.

В дальнем конце площади тихо сидели на пригреве негры: у них на обед были сардины, сухое печенье, и пили они душистую нихи-колу. С ними сидел мистер Дольфус Реймонд.

— Джим,— сказал Дилл, — он пьет из мешка!

И правда, мистер Дольфус Реймонд держал во рту две желтые соломинки, какие дают в аптеке, а вторым концом они уходили в бумажный коричневый пакет.

— Первый раз такое вижу,— пробормотал Дилл. — Что это у него там? И как оно не прольется?

Джим фыркнул.

— У него в пакете бутылка из-под кока-колы, а в бутылке виски. Это чтоб женщины не волновались. Вот увидишь, он весь день будет так тянуть, потом отойдет, дольет бутылку — и опять давай пить.

— А почему он сидит с цветными?

— Он всегда так. Наверно, они ему нравятся больше нас. Он живет на отшибе, на самом краю нашего округа. И с ним живет цветная женщина и целая куча ребятишек-мулатов. Если они тут будут, я тебе покажу.

— С виду он не такой, как бывают подонки,— сказал Дилл.

— Он и не подонок, у него своя земля — большой кусок вдоль берега, и он родом из очень хорошей семьи.

— А почему же он так живет?

— Просто ему так больше нравится,— сказал Джим.— Говорят, он никак не опомнится после своей свадьбы. Он должен был жениться на... на какой-то из Спендер, что ли. Хотели очень пышно справить свадьбу, да не вышло... после оглашения невеста поднялась к себе и застрелилась из охотничьего ружья. Нажала собачку босой ногой.

— А почему, не узнали?

— Нет,— сказал Джим,— толком никто ничего не знал, кроме мистера Дольфуса. Говорят, она узнала про ту его негритянку, он думал и негритянку себе оставить и жениться. Вот с тех пор он всегда и пьяный. А с этими детишками он добрый...

— Джим,— спросила я,— а что это — мулат?

— Наполовину белый, наполовину цветной. Да ты их видела, Глазастик. Знаешь разносчика из аптеки, такой рыжий, курчавый? Вот он наполовину белый. Они все несчастные.

— А почему?

— Так ведь они ни рыба, ни мясо. Цветные их своими не считают, потому что они наполовину белые, а белые их тоже не признают, потому что они цветные, вот они и выходят неприкаянные, ни в тех, ни в сех. А мистер Дольфус, говорят, двух своих ребят отправил на север. На севере люди не против цветных. Смотрите, вот один такой.

В нашу сторону шла негритянка, за ее руку цеплялся маленький мальчик. Мне показалось — настоящий негритенок, совсем шоколадный, ноздри широкие, и зубы сверкают. Он каждую минуту начинал весело прыгать, а негритянка его дергала за руку, чтоб перестал.

Джим подождал, пока они прошли мимо.

— Этот мальчонок тоже из его мулатов,— сказал он.

— А почем ты знаешь?— спросил Дилл. — По-моему, он просто черный.

— Ну, иногда по виду и не скажешь, надо знать, кто он такой. Но только этот наполовину Реймонд, верно говорю.

— Да почем ты знаешь? — спросила я.

— Я ж тебе говорю, Глазастик, просто я знаю.

— Тогда почем ты знаешь, может, мы тоже негры?

— Дядя Джек Финч говорит, мы и не знаем наверняка. Он говорит, насколько он знает, наши деды и прадеды были белые, а вообще-то, может быть, в незапамятные времена наши предки были выходцы из Эфиопии.

— Ну, если в незапамятные, это так давно, что не считается.

— По-моему, тоже,— сказал Джим,— а в Мейкомбе думают, раз в тебе есть хоть капля негритянской крови, значит, ты все равно что черный. Эй, смотрите-ка...

Будто по какому-то тайному сигналу люди на площади поднялись с места, побросали газеты, бумажные и целлофановые обертки от еды. Ребятишки подбегали к матерям, младенцев брали на руки, мужчины в пропотевших шляпах, точно пастухи, собирали свои семьи и вели их к дверям суда. В дальнем конце площади негры и мистер Дольфус Реймонд тоже поднялись и отряхивали штаны от пыли. Среди них почти не было женщин и детей, и от этого не похоже было, что они собрались на праздник, как другие. Они терпеливо дожидались у дверей, пока пройдут белые со своими семьями.

— Пойдем туда,— сказал Дилл.

— Нет уж, подождем, пока все войдут, — сказал Джим. — Аттикус, пожалуй, будет недоволен, если нас увидит.

Здание мейкомбского окружного суда немножко напоминало Арлингтонскую радиостанцию: колонны, на которые опиралась с южной стороны кровля, были слишком массивны для своей легкой ноши. Только одни колонны и уцелели от старого здания суда, которое спалили в 1856 году. После пожара к ним пристроили новое здание. Вернее — его построили, несмотря на эти колонны. Не считая южного фасада с порталом, мейкомбский окружной суд был выдержан в ранневикторианском духе и с севера выглядел скромно и безобидно. А вот если подойти с юга, греческие колонны просто резали глаз — уж очень плохо они сочетались с башенкой девятнадцатого века, в которой гнездились ржавые, неизменно врущие часы, но все вместе ясно говорило, что жители Мейкомба полны решимости свято хранить каждый осколочек прошлого.

Чтобы пройти на второй этаж в зал суда, надо было миновать всякие темные закоулки и берлоги: окружного налогового инспектора, сборщика налогов, секретаря окружного управления, присяжного поверенного, разъездного секретаря, судью по наследственным делам — все они ютились в холодных клетушках, куда не заглядывало солнце и где пахло истлевающей бумагой, сыростью и уборной. Тут и днем приходилось зажигать электричество, и дощатые полы всегда покрывал слой пыли. И обитатели этих клетушек были под стать обстановке: серолицые человечки, которых, казалось, никогда в жизни и солнце не согрело и ветер не обдул.

Мы понимали, что народу будет много, но и не подозревали, какая толпа заполнит коридоры. Меня оттерли от Джима и Дилла, но я все-таки пробралась к лестнице, я знала: здесь меня Джим непременно отыщет. Тут я очутилась среди членов Клуба Бездельников и прижалась к стене, чтоб они меня не заметили. Это были старики в белых рубашках, в подтяжках, в штанах цвета хаки; они весь свой век ровно ничего не делали и теперь, на склоне дней, сидя на площади на деревянных скамейках в тени виргинских дубов, предавались тому же занятию. В суде они были завсегдатаями, внимательно слушали и придирчиво

критиковали — Аттикус говорил, они столько лет изо дня в день наблюдали судебную процедуру, что разбираются в законах не хуже главного судьи. Обычно они были в суде единственной публикой, и теперь им, видно, не нравилось, что их привычный покой нарушен. Разговаривали они важно и снисходительно, как знатоки. Разговор шел о моем отце.

— ...а думает, он знает, что делает,— сказал один.

— Ну-у, не скажите,— возразил другой. — Аттикус Финч малый ученый, с утра до ночи законы читает.

— Читать-то он умеет, только на это и способен.— И все захохотали.

— Вот что я тебе скажу, Билли,— вмешался еще один. — Ведь это судья его назначил защищать черномазого.

— Ну да, но он и впрямь собирается его защищать. Вот это мне и не нравится.

Это была новость, это все меняло: значит, Аттикуса не спрашивали, хочет он защищать негра или не хочет, он просто должен! Странно, почему он нам этого не говорил, нам было бы что сказать и в свою и в его защиту. Он должен был взяться за это дело, вот и взялся — будь у нас этот довод, нам пришлось бы куда меньше драться и ссориться с ребятами. Но почему же тогда весь город на него зол? Судья назначил Аттикуса защитником негра. Аттикус и правда собирается его защищать. И это им не нравится. Ничего не поймешь.

Дождавшись, пока все белые поднялись по лестнице, пошли было в зал суда и негры.

— Эй, обождите-ка, — сказал один из Бездельников и поднял трость. — Еще поспеете.

Старики начали медленно на негнущихся ногах подниматься по лестнице и столкнулись с Диллом и Джимом — они бежали искать меня. Ребята протискались между стариками, и Джим крикнул:

— Идем, Глазастик, там уже сесть негде. Придется нам стоять... Эх, поосторожнее, — прибавил он с досадой.

Наверх по лестнице двинулись негры. Старики, которые их опередили, займут почти все свободное место, где еще можно стоять. Нам не повезло, и это я виновата, сказал Джим. Огорченные, мы стали у стены.

— Вы не можете пройти?

Перед нами стоял преподобный Сайкс с черной шляпой в руке.

— Привет, преподобный отец, — сказал Джим. — Мы вот из-за нее застряли.

— Что ж, попробуем помочь делу.

И преподобный Сайкс пошел наверх. Через несколько минут он вернулся.

— Внизу нет ни одного свободного места. Но, может быть, вы хотите пройти со мной наверх?

— Ясно, хотим! — сказал Джим.

Мы обрадовались и побежали вперед, потом наверх по узкой лестнице. Здесь, у дверей, мы остановились. Преподобный Сайкс, отдуваясь, нагнал нас и осторожно повел сквозь толпу негров на галерею. Четверо негров поднялись и уступили нам места в первом ряду.

Галерея для цветных шла по трем стенам зала суда, точно балкон, и отсюда нам было все хорошо видно.

Присяжные сидели слева, под высокими окнами. Наверно, все это были фермеры — худые, загорелые, но это и понятно: горожане почти никогда не попадают в присяжные, либо им дают отвод, либо они сами просят их освободить. Двое присяжных были немного похожи на принарядившихся Канингемов. Сейчас все они сидели прямо и внимательно слушали.

Окружной прокурор и еще один человек, Аттикус и Том Робинсон сидели за столиками спиной к нам. На столе у прокурора лежала книга

в коричневом переплете и какие-то желтые листы; стол Аттикуса был пустой.

Сразу за барьером, который отделял суд от публики, на кожаных стульях сидели свидетели, тоже спиной к нам.

На возвышении сидел судья Тейлор, похожий на сонную старую акулу, а перед ним, пониже, что-то быстро писала его рыба-лоцман. Судья Тейлор был, в общем, такой же, как все судьи, которых мне приходилось видеть: добродушный, седой и краснолицый, он держался на редкость бесцеремонно — задирал ноги на стол, чистил ногти перочинным ножом. Во время нескончаемых прений сторон, особенно после обеда, могло показаться, будто он клюет носом, но на эту удочку уже никто не попадался, с тех пор как один адвокат нарочно столкнул на пол кипу книг, думая его разбудить. Так и не раскрыв глаз, судья Тейлор пробормотал:

— Мистер Уитли, в следующий раз подобная выходка обойдется вам в сто долларов.

Он был большой знаток законов, и хоть со стороны могло показаться, будто он небрежен и невнимателен, но на самом деле он всякий процесс направлял твердой и уверенной рукой. Один только раз судья Тейлор стал в тупик, и запутали его Канингемы. В Старом Сарэме, на их постоянной территории, поселились когда-то две разные семьи, но, на беду, фамилия у них была одна и та же. Канингемы и Конингемы женились и выходили замуж друг за друга, и которая фамилия как пишется — уже никого не интересовало... а потом какой-то Канингем стал оспаривать земельный участок у одного из Конингемов и подал в суд. На суде Джимс Канингем показал, что его мать на всех документах подписывалась Канингем, но на самом деле она была Конингем, просто она не сильна была в правописании, да и читала мало, сядет, бывало, вечером на крыльце и просто глядит в одну точку. Девять часов кряду судья Тейлор выслушивал показания о странностях и причудах обитателей Старого Сарэма, а потом объявил: дело прекращается. Его спросили, на каком основании, и он сказал — с обоюдного согласия сторон, и он надеется, что тяжущиеся вполне удовлетворены уже тем, что отвели душу на людях. Так оно и было. Они главным образом того и добивались.

У судьи Тейлора была одна смешная привычка. Он разрешал курить в зале суда, но сам никогда не курил, зато иной раз, если повезет, удавалось видеть, как он сунет в зубы длиннейшую незажженную сигару и начинает медленно ее жевать. Понемногу сигара вся исчезала у него во рту, а через несколько часов судья Тейлор выплевывал ее в виде жвачки. Один раз я спросила Аттикуса, как только миссис Тейлор может с ним целоваться, но Аттикус сказал — они не так уж часто целуются.

Возвышение для свидетелей находилось по правую руку от судьи Тейлора, и, когда мы добрались до своих мест и сели, на него уже поднялся мистер Гек Тейт.

(Окончание следует)

Южноафриканские новеллы

ФИЛИС АЛЬТМАН

В СУББОТУ К ВЕЧЕРУ

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Йапи Грейлингу было девятнадцать, и обычно он всю неделю не мог дождаться субботнего дня. Он вернулся с работы в полдень, наскоро проглотил обед и, невнятно извинившись перед матерью и сестрой, побежал в ванную. Здесь он сбросил костюм, который носил в будни, и, оставшись в трусах и майке, тщательно вымыл лицо, почистил зубы, прополоскал горло и пожевал мятную лепешку. Потом, негромко насвистывая, пошел к себе в комнату и достал чистую рубашку. Сегодня он выбрал ярко-красную в продольную черную полоску, а к ней — темно-зеленые джинсы, такие обтягивающие, что ходить было трудно, лиловые носки и рыжие туфли. Когда он расчесывал свою густую светлую шевелюру — волосы он отпустил до самой шеи и сильно их напомаживал,— в дверях комнаты появилась мать.

— Опять в кино собрался? — В голосе ее слышался упрек.

— Ты ведь знаешь, ма. В субботу я всегда хожу в кино.

— Кино, ох уж это кино. Выдумка дьявола. В жаркий день забиться в темный зал и смотреть греховные картины, где показывают голых женщин.

Ничего не ответив, он повернулся к зеркалу и стал внимательно рассматривать свои зубы. Да, женщины. Душная темнота зала, любовные приключения на экране, гладкое бедро и нежная круглая маленькая грудь сидящей рядом девушки. Он продолжал стоять к матери спиной. Но она не уходила.

— Если бы отец-покойник был жив... Он так старался вырастить тебя порядочным, богобоязненным.

— Ма, какого дьявола! Ну что плохого в кино?

Она обиженно всхлипнула.

— Да ты еще и богохульствуешь! И за что только господь меня так наказывает?

Он недовольно повернулся, чувствуя, как в нем закипает злость. Опять она за свое, подумал он. Прислонясь головой к двери, мать тихо заплакала, и злость его сменилась жалостью. Какая она худенькая, бледная, беззащитная! Хрупкая фигурка в длинном черном платье... Он прошел через комнату и неловко обнял ее за плечи.

— Ма, ну не плачь. Никакой это не грех — сходить в кино. Все мои товарищи ходят.

— А про мать ты забыл? Мне-то что делать? Сидеть одной дома? Хендрина пошла к Летти. Если бы папа был жив, все было бы по-другому, но я совсем одинока, а моим детям на это наплевать.

— Ма,— в голосе его послышалось раздражение,— вовсе нам не наплевать. Ну что мы должны делать? Ты же никуда не хочешь идти. Почему тебе не сходить к бабушке?

— Не могу я ходить туда каждый день.

— Ну ладно. Ма... А почему Хендрина ушла? Могла посидеть с тобой. Дочь должна все свое время проводить с матерью.

— Хендрине нужно бывать на людях. Ей уже двадцать пять, а она все еще не замужем. Где же ей встречаться с людьми, если она будет сидеть дома? А так никто не может сказать, что я ей мешаю.

— Ну ладно. Это верно. Но ведь я молодой, ма. Никто из моих товарищей не сидит дома.

— Ну что же, иди. Оставь меня одну. Я привыкла.— Она вытерла глаза и сердито вздернула подбородок.— Ступай в свое кино.

— Послушай, ма,— проговорил он медленно и неохотно,— завтра утром я пойду с тобой в церковь.

Глаза ее засветились, она прижала его к себе.

— Сыночек мой,— прошептала она,— ты хороший мальчик.

Он принял эту ласку с каменным лицом. Опять она заманила его в ловушку. Так повторялось почти каждую субботу. Мать начинала плакать, и он тут же обещал пойти с ней в церковь. Фу ты черт, вот черт! А теперь он уже опаздывает. Он торопливо поцеловал ее и, выскочив из дому, бросился за трамваем, который шел в центр Иоганнесбурга.

Плюхнувшись на сиденье, он тут же позабыл о сцене с матерью, предвкушая радости субботнего вечера. Он и его дружок Дэниел Босхофф взяли себе за правило — никогда не приглашать одних и тех же девчонок дважды, и потому им приходилось хорошенько просматривать очередь у кино. Они прохаживались взад и вперед мимо ясноглазых девушек в тонких летних платьях, бесцеремонно их разглядывали, подмигивали им. После того как выбор был сделан, применялся испытанный метод, действовал он безотказно.

— Извините, уважаемые леди,— обращался один из них к девушкам, и те начинали судорожно хихикать.— Сами видите, мы так опоздали, что останемся без мест. Не купите ли вы нам билеты? — Девушки всегда охотно соглашались. Четыре места рядом, и как только гас свет, все становилось очень просто. Немножко подержать за руку, погладить, потом рука, словно нечаянно, ложится на бедро... Он любил этот момент, когда девчонка вдруг испуганно отшатывалась. Если, конечно, не нарвешься на какую-нибудь прожженную. Вроде той черненькой — та сама взяла его руку... Но к такой можно пойти в любое время, и они не особенно стремились встретить ее возле кино. Не то чтобы они когда-нибудь заставляли девушку идти до конца против ее воли. Нет, они люди порядочные — такие, какими бы их хотели видеть его мать и родители Дэниела. Они женщин уважают.

Мысли его снова вернулись к матери, и он почувствовал прилив гордости. Он человек порядочный, ходит с матерью в церковь, заботится о ней. Но он мужчина и умеет отстоять свои мужские права, право бывать с девушками — не ребенок он, чтобы весь день сидеть, держась за мамашину юбку. Его взмыла волна радости — так и хотелось весело забарабанить по груди кулаками. Он молод, полон жизни, он мужчина. И впереди у него долгая жизнь, сулящая бесконечные наслаждения.

На остановке его нетерпеливо поджидал Дэниел. Когда Йапи выпрыгнул из вагона, они оглядели друг друга. Дэниел был как раз ему

под пару — такой же рослый, широкоплечий, только волосы и брови не светлые, а темные. На нем была бледно-розовая рубашка, голубые джинсы, зеленые носки и черные туфли. На лоб свисала длинная кудрявая прядь.

— Опаздываешь, старик,— сердито встретил его Дэниел.

Йапи огляделся, словно ища подтверждения его словам. Как всегда в субботу к вечеру, Иоганнесбург казался пустынным. Без толпы пешеходов и лавины машин центр города выглядел необычно и странно. Массивные двери лавок были закрыты, и на них висели замки; на витрины ювелирных магазинов опустились железные шторы, сторожа-негры уже заняли свои посты. Проехали две-три машины; по Маркет-стрит прогрохотал трамвай. На остановке стояла кучка понурых людей. Неподалеку юная белая парочка разглядывала витрину, а на углу переговаривались несколько негров.

— Не сердись,— сказал Йапи.— Это опять из-за матери.— Они быстро зашагали к кино, нагнав по дороге мужчину и девушку, шедших под руку.

Девушка — высокая, стройная — шла раскачивающейся походкой. Ее черные волосы красиво вились, бедра удовлетворенно покачивались. Но оба приятеля сразу почуяли, что с мужчиной дело неладно. Шея и руки у него были коричневые.

— Господи! — воскликнул Йапи.— Боже мой! Ты видишь?

— Вижу.— Голос Дэниела прозвучал мрачно.

— Белая девушка с кафром...— Йапи глазам своим не верил. У всех на виду идут по улице, здесь, в Иоганнесбурге... Идут под ручку...

Дэниел коротко кивнул Йапи.

— Пошли.

Они торопливо обогнали парочку, дошли до конца квартала и остановились, поджидая, пока те двое к ним подойдут. Сомнения не могло быть. Девушка — белая, а мужчина — цветной, не кафр, а паршивый мулат, коричневый с желтоватым оттенком. Любовники идут рука об руку!

Йапи в жар бросило от внезапно нахлынувшего непривычного чувства. Он ощущал бешеную ярость против этой девки и такое же яростное желание защитить остальных девушек. Ему представилась мать — хрупкая, слабенькая, и кровь в нем заледенела от ужаса. Эта коричневая лапа на белом теле девушки, ласкает ее, касается ее груди, проделывает с ней все то, что он и Дэниел проделывают со своими девушками... Йапи заскрипел зубами.

Приятели стали посреди тротуара, не давая проходу тем двоим. Пара остановилась. Все четверо смотрели друг на друга.

— Извините,— проговорил мужчина.

— Я тебя извиню, сволочь такая,— сказал Йапи, быстрым движением занес кулак и опустил его на лицо мулата. Всю свою уязвленную мужскую гордость вложил он в этот удар. Мулат прикрыл лицо руками. Девушка громко вскрикнула.

— Перестаньте! Перестаньте! За что вы его?

— За то самое,— ответил Дэниел. Схватив мулата за горло, он встряхнул его и изо всей силы стукнул в челюсть так, что голова с глухим звуком ударилась о бетонную стену дома.— За то, что шляется с белой девушкой!

На улице, только что казавшейся такой пустынной, непонятно откуда вдруг появилась целая толпа — вагоновожатые и кондуктора, несколько белых юношей, пожилая белая дама, кучка безмолвных негров.

Дэниел схватил мулата и выкрутил ему руки, а Йапи ударил его еще раз, чувствуя, что лицо под его рукой превращается в кровавое месиво. С каждым ударом возбуждение Йапи росло, кровь радостно

звенела в ушах. Вот он какой огромный, до самого неба, и сил у него — на тридцать человек.

— Так его! Дай ему! Дай еще! Проучи его! — вопил один из кондукторов, возбужденно стукая себя кулаком по ладони.

Девушка не переставая кричала пронзительным истерическим голосом:

— Прекратите! Я сама цветная! Прекратите! Скоты проклятые! Говорят же вам, я цветная!

— Необходимо вызвать полицию. Просто необходимо вызвать полицию,— взволнованно повторяла белая дама, теребя за рукав одного из зевак. Но он только стряхнул с себя ее руку. Негры молча следили за этой сценой, глаза у них были настороженные, тревожные. Вдруг какой-то темный предмет ударил Йапи около глаза. Девушка размахивала перед ним своей сумочкой.

— Я же цветная! Я цветная! Перестаньте!

Она вцепилась Йапи в плечо.

— Я же цветная! ЦВЕТНАЯ!— пронзительно кричала она.— Я ЦВЕТНАЯ!

Йапи опустил руки, он совсем выбился из сил, Дэниел перестал держать мулата, и тот рухнул на тротуар. Девушка опустилась рядом с ним на колени и, осторожно положив его голову себе на плечо, стала вытирать кровь с его лица. Веки его набухли, глаза закрылись, нос был перебит, губы рассечены. Он был почти без сознания.

Толпа стала рассеиваться. Белая дама все твердила:

— Надо же в самом деле вызвать полицию.

Но ее никто не слушал. Вагоновожатые и кондуктора со смехом разошлись по вагонам, остался только один — тот, что был в таком ажиотаже от зрелища. Вытаращив глаза, он с дурацким видом глядел то на Йапи, то на Дэниела. Из всей толпы остался только он да несколько державшихся поодаль негров.

Словно во сне, смотрел Йапи на обезумевшую девушку, стоявшую на коленях, потом перевел взгляд на свои окровавленные, покрытые синяками руки, на перепачканную кровью рубашку. Дэниел тяжело дышал. Он тоже был весь измазан кровью. Йапи вдруг охватила дикая злоба, злоба на себя самого — как это он свалял такого дурака, как мог принять цветную шлюху за белую девушку? Ну и кретины безмозглые они оба! И он и Дэниел. Ведь за милю видно, что она цветная. Толстые губы, широченные бедра, поганая цветная потаскуха! Треснуть бы ее, обложить как следует, изнасиловать тут же на тротуаре!

Внезапно девушка вскочила и, вцепившись ему в плечо, закричала, приблизив рот к его лицу:

— Вы за это поплатитесь, мерзавцы, белые скоты! Я добьюсь, чтобы вас засадили. Мы на вас в суд подадим, все убытки с вас взыщем!

Йапи сбросил ее руку— ишь ты, шлюха цветная, смеет еще прикасаться к нему своими лапами!

Дэниел наклонил голову.

— Пошли,— сказал он.

Они медленно двинулись вперед, но девушка бросилась на Йапи и снова закричала:

— Ну нет, не уйдете! Я добьюсь, чтобы вас засадили!

Он обернулся, сильно ударил ее в грудь, отшвырнул к стенке и быстро пошел прочь. Дэниел уже завернул за угол, и, когда появился Йапи, оба пустились бежать со всех ног. Пробежав два квартала, юркнули в уборную — там они смыли кровь с рук и попытались оттереть пятна с измаранных рубашек и джинсов, но безуспешно. До этого момента они не обменялись ни одним словом, а сейчас оба заговорили разом.

— Теперь опоздали...

— Как мы пойдем в таком виде?..

Они снова принялись оттирать рубашки и джинсы, но от воды пятна только расплывались.

— Идем, что ли,— сказал Йапи, и в голосе его слышались отчаяние и злоба, оттого что субботний вечер пошел прахом.

— Зайдем в кафе.

Оно было совсем рядом, излюбленное их местечко, куда они часто водили своих девушек. В кафе вокруг электрического проигрывателя стояло несколько молодых парней, которых они знали в лицо. Когда они вошли, в проигрывателе вспыхнули красные огоньки, загрохотала музыка — целый каскад звуков: барабаны, рояль, тромбоны, громкие голоса. Приняв самый беззаботный вид, Йапи и Дэниел направились было к столику, но в это время один из парней их заметил.

— Эй, вы! — крикнул он, выключая музыку.— Что это вы делали?

Внезапно наступила тишина; все разом уставились на них. Хозяин вышел из-за стойки, и вид его не предвещал ничего хорошего. Красные, взмокшие, они повернулись и пошли к выходу. На улице они в нерешительности постояли минуту-другую. Прохожие смотрели на них и отпускали замечания на их счет.

— Ну, ладно,— сказал Дэниел.— Поедем-ка лучше домой.

В полном молчании кружным путем они пошли к остановке. Йапи уже мысленно видел, как он прокрадывается в дом, стараясь не наткнуться на мать; все равно ему не избежать сцены, дело ясное. Господи боже мой, даже рубашку постирать нельзя. Мать обязательно будет крутиться рядом и совать во все нос. Да, пропащий день, пропащий.

Его трамвай подошел первым. Садясь в вагон, он с остервенением крикнул Дэниелу:

— Ну, попадись она мне только, поганая цветная шлюха! Я ей всю морду раскваШу!

ЮС КРИГЕ

СМЕРТЬ ЗУЛУСА

Перевод с английского И. ТАБАРОВСКОЙ и В. ЛИСИЦЫНА

Прошло два часа с тех пор, как нас взяли в плен. Мы шагали из Фигтри к порту Тобрук. Была середина лета. Солнце стояло высоко, но, слава богу, еще не слишком жгло. Однако я знал, глядя на прозрачную синеву неба, что скоро жара станет невыносимой. Мерцающие, все опаляющие лучи обрушатся на выжженную землю... Мы были безразличны ко всему: ни о чем не думали, просто устало тащились, волоча по песку отяжелевшие ноги и поднимая желтовато-серые облака пыли, которые медленно тянулись вдоль дороги.

Казалось, во мне живут два человека: один — ошеломленный, другой — вполне здравомыслящий, хладнокровно воспринимающий и молчаливую толпу людей, двигавшуюся в направлении Тобрука, и все вокруг.

Башмаки на ногах, тяжелые, как свинец, глухо выбивали «туг-туг-туг». Словно кто-то монотонно выстукивал на барабане: из ничего... сквозь ничто... в ничто... из громовой пустоты битвы сквозь призрачную, словно мелькающую на экране картину нашей жизни в ничто, которое нас ожидает.

Точнее, во мне жили не два, а три человека — и этот третий прислушивался к монологу здравомыслящего. «Да, раньше часто казалось,—

говорил здравомыслящий,— что ты жил только в прошлом или будущем и никогда в настоящем. Настоящее всегда убегало от тебя, просачиваясь, как песок сквозь пальцы. Теперь, дружище, у тебя есть настоящее. Да еще какое! Осязаемое, реальное... И ты не защитишься от него воспоминаниями — они стерлись в твоей памяти. И ты не отгородишься от него стеной надежд. Прошлого нет. Нет и будущего. Одно лишь настоящее...»

По сторонам дороги валялись люди. То в одиночку, то группами. Я не смотрел — раненые они или мертвые. Меня это не интересовало. Мой взгляд скользил поверх них, словно это были не люди, а ненужный хлам. «Они мертвы, и у них, как и у тебя, есть жены...» — слышал я робкий шепот, доносившийся откуда-то издалека. «Они мертвы, и у них, как и у тебя, есть матери...» Голос становился все отчетливее и сильнее. «Они мертвы, и у них, как и у тебя, есть дети...» Теперь он звучал во всю силу. Это пробуждался молчавший во мне Человек. Монолог превратился в диалог. «Мне в высшей степени наплевать...— неуверенно возражал рассудок.— Пусть все катится к чертям!»

Когда мы подходили к тому месту, где дорога делала поворот, я услышал чей-то голос, кричавший по-немецки, и невольно поднял глаза. Справа, ярдах в пятидесяти от нас, стоял немецкий офицер, наклонившись над чем-то распростертым на земле. Офицер еще что-то выкрикнул и сделал нам знак рукой. И хотя в нашей группе, наверно, было не меньше дюжины пленных, я в оцепенении подумал: «Это он меня подзывает, он смотрит прямо на меня, я вижу голубизну его глаз...»

Машинально я свернул с дороги и со мной еще два южноафриканца. Я не знал, кто они, я их никогда раньше не видел. Должно быть, весь этот долгий, утомительный путь от Фигтри они шли рядом со мной, но я не замечал их. И только сейчас, когда они, один справа от меня, а другой — слева, тоже направились прямо к офицеру, я заметил их.

Через минуту я уже стоял рядом с человеком, лежавшим на земле. Это был один из туземных солдат, по сложению и чертам лица в нем легко можно было узнать зулуса. Должно быть, неподалеку разорвался снаряд. Левая рука солдата была оторвана по локоть. Большой осколок отсек ее так чисто и ровно, как пальцы ломают высохший на солнце стебель маиса. Я заметил, что его рубаха, жесткая от запекшейся крови, была вся в мелких дырочках. Затем я увидел его глаза. Блестящие, черные, с застывшей в них болью. Он смотрел прямо на меня, но, вероятно, ничего не замечал.

— Что с тобой, молодой зулус? — спросил я, наклоняясь над ним. Мой вопрос повис над песками. Он прозвучал так, будто я хотел сказать: «Я тут ни при чем, слышишь? Ни при чем... Оставь меня! Зачем ты тащишь меня назад? Зачем?..»

Услышав родную речь, молодой зулус немного приподнял голову. Выражение его глаз изменилось, взгляд перестал быть отсутствующим.

— О белый господин,— простонал он,— плохо, совсем плохо. Меня поразило железо...

Вдруг я почувствовал, что снова стал прежним человеком. Я вновь был способен воспринимать окружающее и действовать.

Я выпрямился и посмотрел по сторонам. Немецкий офицер ушел. Ярдах в четырехстах от нас он сел в грузовик и уехал. Я снова повернулся к зулусу. Он полулежал, поддерживаемый одним из тех, что пришли со мной.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, опускаясь возле него на колени.

В его глазах появился жесткий блеск. Медленно и отчетливо он произнес:

— Белый господин, добей меня...

Очевидно, зулус и не подозревал, что сейчас я в таком же положении, как и он. Я не имел оружия, а потому был так же беспомощен.

— Брось это,— произнес я тоном, не допускающим возражений.— Ты потерял лишь руку. Многие потеряли руки, и ничего... живут, смеются и чувствуют себя счастливыми.

— Нет... Нет...— пробормотал он сквозь стиснутые зубы.

— Да... Да...— быстро продолжал я.— Мы найдем доктора и положим тебя в госпиталь.— «Мы, мы. Кто это, черт побери, мы,— подумал я.— Мы — ничто. Мы даже меньше, чем ничто».— Тебе там будет хорошо, ты скоро поправишься, и пройдет совсем немного лун, как ты снова сможешь работать. Ты еще увидишь, как созревает тыква, как наливаются зерна маиса, как тучные стада пасутся на земле зулусов.

Не понимаю, что заставило меня сказать это. Ведь я знал — все это неправда.

— Нет! Добей меня, белый господин!

«Добей меня! А голос у него слишком сильный для человека в таком состоянии»,— подумал я.

— Скоро ты поправишься,— повторил я.

— Нет, нет, белый господин...— Он качал головой точно так же, как это делают старейшины зулусов, когда на советах племени вежливо, но твердо дают понять европейцу, что все его знания — ничто по сравнению с их древней африканской мудростью.— Конец мне...

Ярдах в двадцати остановился небольшой вездеход. Из него выскочил худощавый немецкий офицер и быстро подошел к нам. За ним следовал другой офицер, невысокого роста и толстый. Первый наклонился над раненым, ощупал его грудь. Заметив звездочки на погонах офицера и змейку на значке, я сразу почувствовал облегчение.

Я посмотрел на руку зулуса. Почти весь конец обрубка был покрыт запекшейся коркой. Рана еще немного кровоточила — мелкие капельки просачивались из разорванных мышц.

— Добей меня! — Голос зулуса больше не молил. Он стал неистовым, звонким, он как бы заявлял, что это вполне законное и справедливое требование. Мой взгляд скользнул по его фигуре. Широкий торс бугрился мускулами под форменной рубашкой. Бедра, обтянутые испачканными кровью шортами, икры и голени — идеальных пропорций.

И я вспомнил, что зулусы, одна из красивейших народностей в мире, чрезвычайно гордятся своим телосложением. Всякий, даже незначительный, физический недостаток они считают чем-то неестественным и даже безобразным. В прежние времена они убивали детей, которые имели несчастье родиться калеками. Потому-то молодой зулус, в жилах которого текла кровь многих поколений воинов, хотел умереть сейчас же. Разве это искалеченное тело не было позором и бесчестием, безграничной обидой на людей и бога?

Наши взгляды встретились. Я чувствовал, что он не сводил глаз с моего лица, пока доктор осматривал его раны. И вот, словно прочтя мои мысли и уверовав, что его желание будет исполнено, зулус произнес:

— Добей меня!

— Брось говорить глупости.

— Добей меня! — От минутного спокойствия не осталось и следа. Голос его опять стал настойчивым. Не слышались ли в нем нотки упрека? — Добей, белый господин! — Да, голос звучал укоризненно. Боже, прекратится ли это когда-нибудь? Врач вытащил руку из-под рубашки раненого, повернулся и посмотрел на меня.

— Что он говорит? — спросил он по-немецки.

— Он просит, чтобы мы застрелили его,— ответил я, сознавая, что перевожу на немецкий так, будто бы эти слова произнес не умирающий зулус, а вождь, торжественно обращающийся к своему племени.

То ли зулус наконец понял, что я не могу, да и не смог бы прикончить его, то ли он признал в немецком враче врага, который скорее согласился бы исполнить его просьбу, но как только он услышал этот новый, чужой для него голос, он уже больше не смотрел на меня. Он смотрел только на немца.

Зулус полусидел, опираясь на африканца, который поддерживал его сзади. Его правая рука все еще лежала на земле. Но, заслышав голос немецкого офицера, с неимоверным усилием — так что на его подергивающихся от боли губах выступила кровавая пена — он поднес руку к вороту рубашки и медленно на ощупь обнажил грудь. Затем подался вперед и произнес, обращаясь к капитану:

— Ты добей меня!

Странно, но его слова прозвучали как команда.

— Он хочет, чтобы вы пристрелили его,— сказал я врачу, но тот неподвижно стоял рядом со мной, не говоря ни слова.— Есть какая-нибудь надежда на то, что он выживет? — спросил я.

— Никакой,— резко ответил врач.— Должно быть, его ранило вчера. Он потерял очень много крови. Европеец на его месте уже давно бы умер...

Голос офицера был таким же резким, как и его жесты. Хотя мы и говорили по-немецки, но все же невольно отошли несколько в сторону, как бы опасаясь, что раненый может нас услышать.

— ...а он все еще говорит,— продолжал доктор.— Его изрешетило шрапнелью! Он умрет, если мы пошевелим его. Но если оставим так, то при его крепком организме он проживет еще несколько часов.

Я повернулся к зулусу.

— Доктор говорит, что ты тяжело ранен, но ты очень сильный и не должен беспокоиться. Мы собираемся отвезти тебя в госпиталь.

— Нет, нет... Все кончено... Пристрели меня... Я не могу больше жить... Слишком сильная боль... господин...— Он опять застонал. Голос его становился все слабее, и впервые за все это время он закрыл глаза. Рука его опять упала на землю — черная на бледно-желтом песке.

Доктор тронул меня за плечо.

— Может, это будет самый простой выход из положения,— сказал он и жестом указал на молодого лейтенанта, стоявшего в нескольких шагах от нас.

Последовал приказ капитана. Лейтенант вытащил пистолет и передал его мне. Я стоял, словно окаменев, с пистолетом в правой руке.

— Добей меня... Добей...— лишь два эти слова сейчас срывались с дрожащих губ зулуса, лежавшего у моих ног. Он продолжал повторять их, теперь уже шепотом. И все же это «Добей меня!» говорилось с трепетом, почти с благоговением — не потому, что я был офицером, а он рядовым, а потому, что в этот момент я, очевидно, казался его измученному и помутившемуся от боли рассудку великим благодетелем, несущим высочайший дар умиротворения и целебное забвение смерти.

Я перевел взгляд с пистолета на капитана, с капитана на пистолет, затем на зулуса.

— Добей! — его голос, сильный, как прежде, ворвался мне в уши.

Я покачал головой.

— Нет,— сказал я капитану, передавая ему пистолет.— Я не стреляю в своих друзей.

Прошло по меньшей мере несколько секунд, прежде чем я осознал, что обратился к немцу по-зулусски.

Зулус не сводил глаз с пистолета. Капитан стоял в нерешительности. Затем, повернувшись ко мне, он произнес:

— Мое дело сохранять человеку жизнь, а не лишать его жизни.

— А облегчать страдания?

— Да, и облегчать страдания.— Теперь он говорил медленнее. В голосе его больше не слышалось лающих ноток.— А это противоречило бы уставу Красного Креста. Мне даже не разрешается иметь при себе огнестрельное оружие...

«Как нелепо,— подумал я,— это типично немецкое преклонение перед буквой устава!»

В следующий момент капитан передал пистолет его владельцу.

— Господин обер-лейтенант Мюллер! — скомандовал он.— Застрелите этого человека!

Я заметил, как рука зулуса опять потянулась к груди, и, забыв обо всем, как зачарованный, наблюдал за ней. У зулуса была широкая крепкая кисть с небольшой бородавкой на указательном пальце. И в этот момент казалось, что в ней бьется сама жизнь, что она — одно из самых живых существ, каких я когда-либо видел. Крупные сильные пальцы нащупали край ворота рубашки и крепко вцепились в него. Затем быстрым, резким движением он рванул рубашку, и она, лопнув, обнажила всю грудь.

Правая сторона груди была слегка поражена осколками, зато левая представляла собой сплошное месиво.

Я отвернулся. Лейтенант шагнул вперед и с застывшим лицом остановился в нескольких футах от зулуса. Он твердо держал пистолет в вытянутой руке, наводя его на умирающего.

В этот момент мне показалось, что последним нечеловеческим усилием зулус решил приподняться, встать и, твердо держась на ногах, лицом к лицу встретить смерть. Он распрямил плечи и выставил вперед грудь. Глаза его пылали, словно вся сила жизни сосредоточилась в их черных глубинах.

— Добей меня! Добей! — нарастая, срывался с его потрескавшихся губ крик, похожий на крик радости, на победный клич. И это напомнило мне военный клич зулусов, который я так часто слышал.

Да, он восторжествовал над своим телом, восторжествовал над болью, восторжествовал над смертью!

Словно прикованный к месту, стоял я и смотрел на него. Я хотел оторвать свои ноги от земли и не мог.

Лейтенант тщательно прицеливался.

Я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мое плечо. Я обернулся. Это был капитан. Медленно он повернул меня кругом и двинулся прочь. Я последовал за ним. Я знал, что жду не столько выстрела, сколько еще одного крика «Добей меня!». И когда раковина улитки (одна из тех бесчисленных белых, как кость, раковин, что разбросаны, подобно крошечным черепам, по пустыне) хрустнула у меня под ногой, я вздрогнул.

Мы отошли уже футов на пятнадцать, когда раздался выстрел. Это был единственный выстрел.

У меня остались очень смутные воспоминания, что произошло потом. Помню, как немецкий капитан сказал «До свидания», как оба офицера уехали в маленькой машине и как я долго сидел на плоском камне у края дороги.

Ноги, много ног шагало мимо, то появляясь передо мной, то вновь исчезая. Но мне было все безразлично. Тупо и отрешенно смотрел я на пылинки, которые кружились у моих ног и затем оседали на широкие квадратные носки ботинок.

Не знаю, сколько просидел я у края дороги, уставясь на свои башмаки. Кто-то крикнул:

— Идем, парень! Идем!

И когда я опять пришел в себя, я вновь был в толпе пленных, медленно, устало тащившихся к Тобруку.

Взорванное молчание

(Стихи молодых поэтов Гаити)

Еще недавно молодую поэзию Гаити представлял для нас Рене Депестр, а сейчас в нее пришло новое поколение талантливой молодежи. Передо мной десяток маленьких поэтических сборников, изданных в 1960—1962 годах, а также недавно начавший выходить журнал молодых «Семанс» («Сев»).

Трудно переоценить значение и мужество этой попытки сказать свое слово в условиях Гаити, где писатель почти не может печататься. Литераторы разных поколений уезжают за границу. Волна террора породила у части интеллигенции горечь, подавленность. Писатели ушли в себя. Силы раздроблены. Убитые друзья. Нищета, обступающая со всех сторон...

Удивительно ли, что стихи молодых гаитян «сочатся кровью», порой звучат, как реквием, что в образах этой поэзии так часто сквозит какая-то смутная угроза? В стихотворении Филоктета «Им не услышать этот стих», обращенном к другу ли, брату ли или отцу, видимо расстрелянному, в его тревожной недосказанности ощущается трагическая атмосфера Гаити.

Однако более важно другое. Молодые поэты, без сомнения, сами прошли через нищету, ужасы террора, возможно, многие разочарования. Но они устояли. Они твердо знают, зачем живут и зачем пишут. Чтобы, по словам их лидера Рене Филоктета, сжечь на великом красном костре все уродства жизни, пятнающие зеленую кожу земли. Чтобы пробудить надежду и волю в угасших сердцах.

Девиз поэтов журнала «Семанс»: ногами на земле, головой к звездам. Искусство, утверждают они, не бывает нейтральным. Оно или за, или против Человека. Эти поэты за реализм. Но не описательный, а «конструктивный». Слово должно не утешать, а строить. Цель поэзии — перестроить общество, помочь людям прорваться к временам, когда все будут на «ты». Они не хотят узкого национализма. Сохраняя ценности родины, поэзия должна распахнуть окна в великое всечеловеческое братство. Беря своим символом благородный древний жест Сеятеля, они не хотели бы, чтобы на них наклеивали уже сейчас какой-то ярлык. И не надо. Но бесспорно, что у них есть программа.

Обаяние молодых гаитянских поэтов в том, что они умеют по-настоящему ненавидеть и любить. Качество очень важное в поколении, где столько полурассерженных и полуравнодушных. Это поэты Любви — к родине, человеку, народу, женщине. И певцы Будущего. Порой их стих несколько абстрактен. Порой кажется, что они еще не знают цены точному и отточенному слову. Но даже их отвлеченные слова — Надежда, Грядущее, Любовь — ощущаются совсем иначе, когда вспоминаешь, что рядом, через пролив — Остров Свободы, Куба.

Молодые поэты Гаити очень разные. Несколько отдельно стоит поэт-актер Люсьен Лемуан со своими «преверовскими» песенками, интонация которых тонко уловлена в вольном переводе Л. Лозинской. Но и в них порой вторгается гаитянский гражданский пафос. Очень талантлив совсем юный Жан-Ришар Лафорэ. Слишком камерным иногда бывает очень молодой поэт любви Ролан Мориссо. Заметный путь к зрелости и простоте прошел за десять лет умный, интеллектуальный Антони Фелпс, в котором чувствуется один из идеологов «Семанса».

И наконец — двадцатидевятилетний Рене Филоктет, надежда гаитянской поэзии и признанный вожак поэтической молодежи. Удивительно сошлись в Филоктете разные

качества, необходимые для поэта и для вожака. Вот поэт, корни которого уходят глубоко в землю. Естественная глубокая демократичность, ум, ясность взгляда, искренность, способная взволновать самых разных читателей. Вместе с тем какое зрелое уменье собирать силы, терпеливо воспитывать! Все это видно уже в его первом сборнике «Время людей», в его статьях. Но сейчас в поэме «Барабаны Солнца» Филоктет выходит к новым для себя путям поэзии. «Я хотел бы быть поэтом улиц, строек, полей». И он пытается найти новые формы поэзии, сплавляющие в единое целое крестьянский креольский говор, грубоватые интонации народной песни, тонкие созвучия современного свободного стиха и поэтической прозы — своеобразная попытка применить в поэзии эстетические принципы, которые Жак-Стефен Алексис пытался применять в романе.

В недавно вышедшей на Гаити истории гаитянской литературы о молодых поэтах нет ни одного слова. Их имена замолчали. Так пусть же эта смелая и стойкая молодежь почувствует пожатие крепких братских рук с другого конца земли!

Е. Гальперина

РЕНЕ ФИЛОКТЕТ

Им не услышать этот стих

Как красное пятно
на белый лист бумаги,
растекся кровью стих в поэзии моей,
стих для тебя —
его им не услышать.

А жизнь идет
под солнцем, вечно новым
для тех, кто счастлив,— под седьмыми небесами,
в сумятице звонкоголосой
птиц.
Ни слез, ни грусти, ни особых сожалений...
Так день за днем...
То улыбнешься, то кому-то скажешь: «Здравствуй!»
И снова все в порядке —
жизнь идет.

Детишки увлекаются серсо,
на красные цветы наскакивают осы,
колокола о праздниках вещают,
и у небес кружится голова,
как у счастливой новобрачной.

Я —
я сроду не любил стихов печальных,
стихов про то, что кровью напилась
земля,
багряной кровью друга моего,
засыпанного пеплом Хиросимы,
и партизана, друга моего, «маки́», которого они схватили
в лачуге из прогнивших досок
в квартале нищеты,
и кровью моего... О, тише!..
Не этот стих — его им не услышать.
Я сроду не любил стихов печальных,
пропитанных болотной гнилью

покорности судьбе.
Мои стихи вам скажут: «Добрый день!» —
вам, проигравшимся в игре замысловатой
жизни.
«Привет, дружище!» —
тем, кто устоял
под натиском жестоких
обстоятельств,
кто во весь рост, в пыланье грозовых небес
идет на приступ
просветов лазури.

А жизнь течет...
И, право, можно встретить
людишек, что ложатся спать без всякого комфорта,
да и таких, которым в пище не хватает витаминов.
Мне говорят: «Тебе какое дело,
тебе какое дело до того,
что изловили красного,
что сирота в тоске зовет отца?
Тебе-то что?
Плевать тебе, что кровью,
кровью
напоена земля».

Я —
я сроду не любил стихов печальных,
стихов, которые твердят: мой... Тише!
Не этот стих — его им не услышать.
А жизнь идет...
И я зову друзей сыграть, как дети, в «классы»,
в грядущее бросая камешки надежды.
Пусть птицы установят шкалу высот!
Пусть крыши заводят шашни с небесами!
Да, жизнь идет...
Ждет не дождется друг мой,
когда продолжим запоздалый сев.

Я сроду не любил стихов печальных,
стихов о том, как грузовик
наехал на собаку.
Люблю возиться с малышами лет пяти,
баюкать с ними кукол.
Люблю воскликнуть: «О, прекрасно! Все в порядке!»—
в ответ на всякие расспросы
о ком угодно
и о чем угодно,
хотя б о горбуне из нашего квартала.
Я не люблю стихов про то,
что было холодно зимой в Канаде,
что в Мексике нет дров согреть детей,
стихов про то, как Шарлемань Перальт
казнен был
и землю обагрила кровь его,
как кровь твоя, мой... Тише!..
Не этот стих — его им не услышать.
Я напишу стихи:

В серсо играют дети в веселой путанице солнечных лучей.
Звон свадебный твердит о единенье.
Я напишу стихи:
Ах, как похожи на пьянчуг счастливых новоселы гнезд.
Как хмелем жизни улицы бурлят.

Я напишу стихи:
О губы, которые заманят в западню в любое время года!
Есть такие губы...
О глаза, которые вас осчастливят правом погибнуть
в их бездонной глубине!
Есть глаза такие!
Есть взгляды, поцелуи, есть любовь,
есть лунный свет, чтоб пить его глотками,
паденье звезд —
все это есть на свете.
Я напишу стихи:
Привет тебе, мой друг,
ты снова вышел в путь,
чтобы продолжить сев наш запоздалый.

Но я не стану сочинять стихов печальных
о том, что у детей трущоб
одни игрушки —
мухи.
Стихов о том, что смех затих в Алжире.
Что, как в тюрьме, темно
на Мартинике.
И что однажды вечером в Гранаде убили Гарсиа Лорку.
И стала кровь его
пылающей зарей пылающей Испании,
как и рассвет моей страны
окрашен кровью... твоей... О, тише!
Не этот стих — его им не услышать.

Россыпи росы

(Из поэмы «Барабаны Солнца»)

Страна моя, страна грошовых леденцов,
любви и солнца,
прекрасная купальщица, моя страна,
поймай же чепчик радуги, упавший в море,
лови свою удачу
сетями солнечных лучей!..
Язык твой — звон воды в кувшинах,
и пыль дождя, и струи пота.
Народ твой — труд под барабанный грохот,
платок на шее, тяжкий взмах мачете.
И жизнь твоя влачится кое-как
меж плясок, голода и смерти.

А были-сплыли времена —
вся здешняя земля горела
и Мари-Жанна с саблей шла,

ее удары жгли огнем,
и поцелуи жгли огнем.
И тут, и там, и над горами,
уж верьте, всюду был огонь.
А мой народ — босой идет...
Свинцовой пулей сыт народ...
Ушли-прошли те времена,
когда дымились карабины,
когда любой был гренадер.
Бьет барабан — зовет на бой!
Труба трубит — зовет на бой!
И ядра красные сверкают.
Знамена — в небо!
Кони на дыбы!
Да, говорю вам, вся земля горела!..
О, воротитесь, дни борьбы,
с другими песнями, в ином обличье!
Земля так ждет, чтоб ею овладели,
чтоб платье подвенечное — долой!..

ЖАН-РИШАР ЛАФОРЭ

Птенец

Птенец
достигает пристанища —
ветки,
висящей в воздушном потоке.
Исхлестан
лианами белыми ливней,
солнцем
до гари облизан...
Истерзанный,
преданный,
битый,
полумертвый от града пощечин...
Птенец
голодных гнезд,
изжаленный роями бед
до того,
что чирикать не в силах,
— взмах крыльев неокрепших! —
и вот он
в приветливом
консульстве веток.

Угроза

Уткнуть
тяжелую морду
в цветы
и слезами зайтись,
как ребенок...
Потому что
час наступил,
когда в нашем доме
дощатом,
в этом сколке плененного леса,
дерево бредит пространством,
а знаете, как это страшно,
когда ветка
томится
о ветре.

ЛЮСЬЕН ЛЕМУАН

Парижское веселье

Карусель веселья —
июльский Париж!
Возле карусели
разве устоишь?
Бог круговращенья
— деревянный конь
словно воплощенье
призрачных погонь.

Только ногу в стремя —
время счастья ближе!
Каруселью время
крутится в Париже.
А поезд шел тихонечко
сквозь пасмурный вокзал.
Он прибыл. Он устал...

Париж в июле — был!

Вихрем карусели
вертится в Париже
время веселья
воришек, нуворишей.
Ах, время — пострел,
время прострелов.
Звонкое, как слово,
как «черт побери!»,
вечная основа
беспечнейших пари.
Как клятвы Жанны верное,
как парижане нервное.

Ты прежде всего— время золотарей!

А Жан-плакса
и Жан-весельчак
пупсами фаянсовыми
украшают очаг.
Домашний уют
они создают.
Слезы льет рекою
усердный плакса Жан —
ведь подать рукою
до бедных парижан,
о мальчике плачет
с пляс д'Итали,
плачет о собачке
возле Тюильри,
о куколке-невесте
из Нейи-предместья,
о башмаке изношенном,
давно в помойку брошенном.
Он слезы льет рекою.
Он слезы лить устал.
И вдруг решает: о-ля-ля!
Париж в июле — бал!
В Париже каруселится
в июле целый мир!

Ну, каково весельице,
когда в крови
Алжир?!

Перевод с французского Л. ЛОЗИНСКОЙ

РОЛАН МОРИССО

■ ■ ■

Ночь пьяна
тишиною моей страны.
Бриз тихонько крадется
сквозь крыши в дома
и приносит с собой
запах розы в листве.
Сердце города
бьется,
часы и минуты
тромбом засели в ночи.
Засыпают дома
один за другим,
как могилы невинных.
Пульсируют улицы-вены.
Струйка дыма вдали —
струйка крови моей страны.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ЖАК ЛЕНУАР

Охота на людей

Так травили людей
Столетья назад...
Страха петля
стянула мне горло,
задыхаюсь,
бегу...
Их шаги отдаются в сердце,
как гонг...
«Беглый негр»... «беглый негр»...
все ближе... сейчас
пойман,
схвачен...
и дни мои сочтены...
Нет —
вы ищете здесь,
а я —
метнулся туда,
между ног моряка...
ускользнул...
Скорее в леса!
А потом
отчаянным, диким...
звериным прыжком
я бросаюсь
— и смех мой грохочет в горах —
к часовому, к нашим,
в Свободу!

Перевод с французского Е. ГАЛЬПЕРИНОЙ

АНТОНИ ФЕЛПС

Дерево

Повинуясь шепоту веток,
ветер губы свои разомкнул,
чтобы в зеленой тени
разомлевшему лету поведать
секреты стихов
и науку соцветий.

■ ■ ■

Ни на что не похожее дерево,
угловатое,
высится
посреди одинокого дня
как упрек.
Одинокое дерево
с лохматой листвой —
как упрек
небесам.

■ ■ ■

Отражение дерева
в раме воды.
Отражение дерева
на холсте синевы.
Оскорбленное дерево
в раме гулкого ветра
кровью сочится
и думает о семенах.

■ ■ ■

Он во мне, этот образ
одинокого дерева,
протянутого, словно рука,
к ловушке лазури,
к равнодушию небосвода,
и голос его во мне —

призыв одинокого дерева,
крик, не знающий эха,
хватающий за душу голос

дерева —
и цветы
на его ветвях.

Час придет

Не пытайтесь угадать
миг чудесного свершенья,
тайный миг, когда заря —
не заря уже, а пламя.

Молчаливым обещаньем
удивительных полетов
зреет куколка надежды
в белом коконе тугом.

Час придет — навстречу солнцу
бабочка взовьется в небо.
Голько дайте ей сначала
силу крыльев ощутить.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

Не время спать

Мы не пойдем играть сегодня в «классы»
И камешки бросать
за горизонт.
Мы не пойдем искать на клеверных полях
трилистник счастья
с четырьмя листками.
Мы не пойдем!
Настало время трамбовать дорогу.

Мы не пойдем сегодня вечером выуживать луну
у набережной старика Колумба.
И ставить верши
в русло Млечного пути,
чтоб выловить двойные звезды.
Мы не пойдем!
Настало время трамбовать дорогу.

Мы не пойдем сегодня ночью
рвать поцелуев спелые плоды
и спать беспечным сном
любовников на скомканных постелях.
Мы не пойдем!
Настало время трамбовать дорогу.

Не время игр,
Не время развлечений.
Они прошли — часы ребячьих снов,—
уже не убаюкаешь ребенка.
Не время спать!
Кровавый ком стоит у мира в горле.

Перевод с французского Л. ЛОЗИНСКОЙ

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ

ДЖОН СТЕЙНБЕК

Путешествие с Чарли в поисках Америки

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ

Джон Стейнбек отправился на поиски Америки, той подлинной Америки, о потере которой он с такой горечью писал в своем последнем романе «Зима тревоги нашей». Впечатления и размышления, связанные с этим путешествием, составили лирический дневник писателя — «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

Еще до выхода книги в свет американский журнал «Холидэй» напечатал в виде очерков довольно пространные отрывки из нее, которые затем появились в русском переводе в журнале «Звезда». Мы публикуем главы из книги Стейнбека, которые «Холидэй», по понятным причинам, не включил в свою подборку.

В самом конце 1960 года, пока я еще ехал по Техасу, со страниц газет не сходили фото и статьи, посвященные зачислению в одну ново-орлеанскую школу двух маленьких негритянских девочек. За спиной у этих крохотных чернушек стояли Право и Закон, которые можно утвердить силой — чаша весов и меч были на стороне детей,— а путь им преграждали триста лет страха, злобы и боязни перемен в нашем меняющемся мире. Каждый день я видел в газетах снимки, на экранах телевизоров — кинорепортаж, и все об одном и том же. Этот сюжет прельщал газетчиков тем, что у здания той школы по утрам собиралась компания дородных пожилых женщин (как это ни странно, именуемых в прессе «матерями»), которые встречали маленьких школьниц отборной руганью. Мало-помалу среди них выделилось несколько дамочек, настолько понаторевших в этого рода занятии, что их прозвали «заводилами», и на представления этих «заводил» ежедневно собиралась толпа, не жалевшая им аплодисментов.

Эта странная драма казалась мне настолько неправдоподобной, что я решил сам посмотреть, что там происходит. Так нас обычно тянет поглазеть на какой-нибудь аттракцион, вроде теленка о пяти ногах или двухголового зародыша — словом, на всякое отклонение от нормы, и мы охотно платим деньги за это, может быть, желая убедиться, что у нас-то самих ровно столько голов и ног, сколько человеку положено. От ново-орлеанского спектакля я ждал развлечения, как от всякой курьезной аномалии, и вместе с тем ужасался, что такое может происходить.

К этому времени зима, которая следовала за мной по пятам со дня моего отъезда из дому, вдруг подула сильным северным ветром. Пошел дождь со снегом, крупа, шоссе подмерзло, потемнело. Я забрал Чарли от ветеринара. Пес выглядел вдвое моложе своих лет, чувствовал себя прекрасно и в доказательство

этого носился кругами, прыгал, катался по земле, хохотал и тявкал, полный радости бытия. Хорошо было, что он снова со мной, сидит, такой пряменький, рядом в кабине, смотрит сквозь стекло на развертывающуюся перед нами дорогу или свернется клубочком и спит, положив голову мне на колени, так что можно мять пальцами его смешные уши. Этот пес ухитряется спать, не взирая на ласки, если соблюдаешь в них благоразумие.

Теперь мы кончили бить баклуши, стали на колеса и покатили дальше. На обледенелом шоссе давать большую скорость было нельзя, но мы ехали, не щадя себя, почти не глядя на Техас, мелькавший по сторонам. А тянулся он мучительно долго — Суитуотер, Баллинджер и Остин. Хьюстон миновали. Останавливались за горючим, за чашкой кофе с куском пирога. На заправочных станциях Чарли получал еду, прогуливался. Ночь не задерживала нас, но когда глаза мне начинало жечь и ломить от напряжения, а плечи превращались в бугры боли, я сворачивал с шоссе и забирался, как крот, в свою постель, но все равно и с закрытыми глазами видел перед собой извивающуюся дорогу. Поспать мне удавалось каких-нибудь два часа, не больше, а потом снова в студеную ночь, и снова гнать все дальше и дальше. Вода в придорожных канавах была замерзшая, а встречные пешеходы накручивали на головы шарфы, чтобы не отморозить уши.

Раньше, бывало, я приезжал в Бомонт, обливаясь потом и вожделенно мечтая о льде и кондиционированном воздухе. На этот раз Бомонт, несмотря на сверкание неоновых реклам, был весь какой-то скрюченный от холода. Я проехал его вечером, вернее, далеко за полночь. Человек с посиневшими пальцами, который наливал мне бензину в бак, посмотрел на Чарли и сказал: «Эх, да это собака! А я думал, у вас там черномордый сидит»,— и радостно захохотал. Это было только начало. Потом то же самое мне пришлось услышать по меньшей мере раз двадцать. «Я думал, у вас там черномордый сидит».

Такая шутка была для меня внове и не теряла своей свежести от повторения. И хоть бы раз «негр» или даже «негритос» — нет! Только так: «черномордый». Этому слову, как заклинанию, придавался чрезвычайный смысл, за него цеплялись, будто оно могло сохранить какое-то сооружение от обвала.

А потом я въехал в Луизиану и в темноте, стороной, миновал Лейк-Чарльз, но огни моих фар по-прежнему поблескивали на льду и высвечивали иней, а люди — те, что всегда тянутся по ночам вдоль дорог,— были до глаз закутаны во все теплое. Я с ходу взял Лафайетт и Морган-сити и на рассвете въехал в Хуму — по воспоминаниям, одно из самых приятных для меня мест на всем земном шаре. Там живет мой старый друг доктор Сен-Мартин, милейший, ученейший человек, француз, родом из Новой Шотландии, который принимает младенцев и лечит расстройство желудка у всех своих земляков на несколько миль в окружности. По-моему, он знает этих выходцев из Канады, эту бедноту, так, как никто другой, но сейчас я вспомнил с грустью иные таланты доктора Сен-Мартина. Он умеет делать самый лучший в мире и самый тонкий по вкусу коктейль мартини, и процесс приготовления этого напитка граничит с колдовством. Я знаю из докторского рецепта только то, что лед должен быть из дистиллированной воды, и для верности доктор дистиллирует ее самолично. Я едал дикую утку у него за столом — сначала два мартини Сен-Мартина, потом крылышко дикой утки, а к нему бургундское, которое так осторожно льют из бутылки, словно принимают младенца на свет божий, и все это в полутьме дома, где ставни закрыли на рассвете, чтобы комнаты подольше хранили ночную прохладу. Я помню, как за этим столом, где серебро отсвечивает мягко, тускло, будто олово, поднимался бокал со священной кровью виноградной лозы, и ножку его ласкали сильные пальцы доктора — пальцы художника, и у меня до сих пор стоит в ушах милый тост и радушное приветствие на певучем языке Новой Шотландии, который раньше был французским, а теперь стал самим собой. Эта картина заслонила мне запотевшее ветровое стекло, и если бы на улицах Хумы было сильное движение, такой водитель за рулем представлял бы собой опасность. Но над городом занимался палевый морозный рассвет, и я знал, что стоит мне заехать к доктору, только чтобы засвидетельствовать свое почтение, волю мою и твердость принятых мною реше-

ний унесет прочь тот лотос, который выставит на стол доктор Сен-Мартин, и мы с ним будем толковать о вечных материях и этот день и весь следующий, с утра и до вечера. Поэтому я ограничился поклоном в том направлении, где живет мой друг, и рванул дальше, к Новому Орлеану, так как мне хотелось поспеть к спектаклю при участии «заводил».

Даже я знаю, что туда, где неспокойно, не рекомендуется соваться с машиной, особенно с такой, как мой Росинант с его нью-йоркским номерным знаком. Только накануне там поколотили одного репортера, а фотокамеру его разбили вдребезги, ибо даже самые политически активные наши граждане не стремятся предавать огласке и сохранять для потомства исторические моменты своей жизни.

Так или иначе, я выбрал стоянку на окраине Нового Орлеана. К окошечку кабины подошел механик гаража.

— Ну и дела, доложу я вам! Я думал, у вас черномордый сидит. А это собака! Вижу, мурло темное, ну, думаю, это черномордый.

— Когда он чистый, лицо у него серо-голубое,— холодно проговорил я.

— А они тоже бывают серо-голубые, только не от чистоты. Из Нью-Йорка?

Мне почудилось, что холод эдаким утренним ветерком проступил в его голосе.

— Проездом,— сказал я.— Машину поставлю часа на два. Такси мне не вызовете?

— Хотите поспорить? Бьюсь об заклад, что вы собираетесь посмотреть на наших «заводил».

— Правильно.

— Ну что ж, будем надеяться, вы не из газеты из какой-нибудь и смутьянить тут не станете.

— Просто хочу посмотреть.

— Н-да, доложу я вам! Посмотреть есть на что. Наши «заводилы» кое-чего стоят. Как начнут, так, доложу я вам, больше нигде такого не услышишь.

Я запер Чарли в кузове, предварительно удостоив механика экскурсией по всему Росинанту, стаканом виски и долларом.

— Только будьте осторожнее, когда я уйду. Не открывайте дверцу,— сказал я.— Чарли очень серьезно относится к своим обязанностям. Не остаться бы вам без руки.

Это была наглая ложь, но механик сказал:

— Слушаю, сэр. Не беспокойтесь, я с чужими собаками не балуюсь.

Шофер такси, болезненно желтый, весь какой-то сморщенный от мороза, точно мелкий горошек, сказал мне:

— Я тебя ближе чем на два квартала не подвезу. Не желаю, чтобы мою машину изуродовали.

— Разве ожидается что-нибудь?

— Ожидается или нет, не знаю,— все может быть.

— Когда там самый разгар?

Он посмотрел на часы.

— Сегодня, правда, холодно, а так они чуть свет там собираются. Сейчас без четверти. В самый раз попадешь. Если только они холода не побоятся.

В целях маскировки я надел старую синюю куртку и английскую морскую фуражку, рассчитывая, что как в ресторане никто не приглядывается к официантам, так и в портовом городе на моряка особого внимания не обратят. Там, где моряку положено шататься, он безлик, и в обдуманном образе действий его не заподозришь — самое большее напьется или попадет куда следует за драку. Таково, во всяком случае, общепринятое мнение относительно моряков. Я это дело проверил на себе. Что может случиться? Самое худшее — услышишь вдруг начальственно-ласковый голос: «А почему вы не на судне, моряк? Заберут в каталажку — застрянете на берегу. Что хорошего-то, а, моряк?» И через пять минут этот блюститель вас и не узнает. Единорог и лев у меня на кокарде только увеличивали мою анонимность. Но тех, кто захочет проверить эту теорию на практике, предупреждаю: такие вещи можно делать только в портовых городах.

— Ты откуда? — спросил шофер совершенно без всякого интереса.

— Из Ливерпуля.

— Ага, лимонник! Ну, это еще ничего. Вся смута от нью-йоркских евреев идет, пропади они пропадом.

У меня вдруг появился акцент, хоть и английский, но не имеющий никакого отношения к Ливерпулю.

— Что? Евреи? Какая же от них смута?

— Мы, друг любезный, сами знаем, как с этим управляться. Все довольны, везде мир и лад. Да я даже люблю черномордых. А нью-йоркские евреи, будь они прокляты, приезжают сюда и мутят их. Сидели бы у себя в Нью-Йорке и ничего бы такого не было. В расход их надо выводить.

— То есть линчевать?

— Вот именно.

Он высадил меня на углу, и дальше я пошел пешком.

— Ты близко-то не лезь,— крикнул он мне вслед.— Издали тоже потеха, а соваться в самую гущу нечего.

— Весьма признателен,— сказал я, убив в зародыше простое нью-йоркское «спасибо», напросившееся на язык.

Подходя к школе, я очутился в людском потоке — все белые, и все идут туда же, куда и я. Люди шагали деловито, точно на пожар, который уже давно занялся, на ходу похлопывали руками по бедрам или совали их за борт куртки, и у многих под шляпами были повязаны шарфы, закрывающие уши.

Через улицу напротив школы стояли деревянные загородки, чтобы сдерживать толпу, и полисмены прохаживались перед ними взад и вперед, не обращая внимания на шуточки, которые отпускались по их адресу. У дверей школы никого не было, однако вдоль тротуара, ближе к мостовой, на равном расстоянии друг от друга торчали федеральные приставы в штатском, но с повязками на руках для опознания; револьверы, упрятанные благопристойности ради с глаз долой, оттопыривали им пиджаки, а глаза их нервно шныряли по сторонам, изучая лица в толпе. Мне показалось, что меня они тоже обшарили, проверяя, завсегдатай я или нет, и, видимо, сочли особой, не заслуживающей внимания.

Где стоят «заводилы», я догадался по тому, куда напирала толпа, стараясь подойти к ним поближе. Место у них было, видимо, облюбованное, постоянное: у деревянных загородок, как раз напротив школьной двери, и там же поблизости полисмены топтались кучкой на тротуаре и похлопывали рука об руку в непривычных для них перчатках.

Меня вдруг сильно толкнули, и я услышал крики:

— Идет, идет! Пропустите ее... Назад давайте, назад. Пропустите ее. Где же ты была? Опаздываешь в школу. Где ты была, Нелли?

Звали ее как-то по-другому. Настоящее имя я забыл. Она протискивалась сквозь тесноту толпы совсем близко от меня, и я успел рассмотреть, что на ней было пальто из нейлона под мех, в ушах — золотые серьги. Роста она была невысокого, но полная, с большим бюстом. Так лет под пятьдесят. Пудра лежала у нее на лице таким густым слоем, что по контрасту двойной подбородок казался совсем темным.

Женщина свирепо улыбалась и прокладывала себе путь сквозь бурлящую толпу, держа высоко над головой — чтобы не измять — пачку газетных вырезок. Рука с вырезками была левая, я посмотрел, есть ли на ней обручальное кольцо, и такового не обнаружил.

Я было пристроился следом за этой женщиной, рассчитывая, что меня понесет в ее кильватере, но началась давка, да к тому же мне было сказано предостерегающим тоном:

— Тише, моряк, тише. Думаешь, одному тебе хочется послушать?

Нелли встретили приветственными криками. Сколько их тут собралось, этих «заводил», я не знаю. Между ними и напиравшей сзади толпой демаркационной линии не было. Я только видел, что несколько женщин передают друг другу газетные вырезки и читают их вслух, подвывая от восторга.

Потом в толпе почувствовалось беспокойство, как в зрительном зале, когда занавес вовремя не открывают. Мужчины, стоявшие вокруг меня, стали поглядывать на часы. Я тоже сверился со своими. До девяти не хватало трех минут.

Спектакль начался без задержки. Вой сирен. Полисмены на мотоциклах. Потом у школьного подъезда остановились два огромных черных автомобиля, набитые здоровенными мужчинами в светлых фетровых шляпах. В толпе будто перестали дышать.

Здоровенные приставы вылезли из машин — четверо из каждой,— и откуда-то из недр переднего автомобиля извлекли малюсенькую негритянскую девочку в белоснежном накрахмаленном платье и в новых белых туфельках, таких маленьких, что ступни ее казались почти круглыми. Белоснежное платье резко подчеркивало черноту лица и тоненьких ног малышки.

Здоровенные приставы поставили ее на тротуар, и сразу по ту сторону деревянного барьера закричали, заулюлюкали. Маленькая девочка не смотрела на воющую толпу, но сбоку мне было видно, что белки у нее выступили из орбит, как у испуганного олененка. Приставы повернули девочку кругом, точно куклу, и странная процессия двинулась по широкому тротуару к зданию школы — здоровенные приставы и между ними ребенок, казавшийся совсем лилипутом от такого соседства. Малышка шла, шла и вдруг как-то странно подскочила, и, по-моему, я понял, в чем тут было дело. За всю свою жизнь эта девочка, вероятно, и десяти шагов не сделала без того, чтобы не подпрыгнуть, но сейчас первый же ее прыжок оборвался словно под какой-то навалившейся на нее тяжестью, и маленькие круглые туфельки перешли на размеренный шаг, нехотя ступая между рослыми конвоирами. Процессия медленно поднялась по ступенькам и скрылась за школьными дверями.

В газетах писали, что издевательские выкрики и шуточки на этих спектаклях были жестоки, а порой и неприличны, и так оно и оказалось, но главное было еще впереди. Толпа ждала, когда появится белый, осмелившийся водить своего белого ребенка в эту школу. Наконец белый появился на тротуаре, охраняемом полицией,— высокий, в светло-сером костюме, он вел за руку своего перепуганного сына. Отец весь был напряжен, как стальная пружина, сжатая до предела; лицо — мрачное, серое, глаза смотрели вниз, под ноги, на скулах проступали желваки. Человек, которому страшно,— человек, который только усилием воли сдерживает свой страх, как искусный всадник, принуждающий испугавшуюся лошадь к повиновению.

Послышался чей-то пронзительный, скрипучий голос. Кричали не хором. Женщины солировали по очереди, и после каждого такого соло толпа разражалась ревом, воем и одобрительным свистом. За тем они и пришли сюда, вот это им и хотелось видеть и слышать.

Ни одна из газет не приводила слов, которые выкрикивали женщины. Говорилось только, что они не совсем скромные, кое-где их даже называли непристойными. В телевизионных передачах этих «спектаклей» звуковую дорожку приглушали или же делали врезку из шума толпы. Но теперь я сам слышал эти слова, мерзкие, похабные — слова-выродки. За долгие годы моей жизни, отнюдь не изнеженной, я порядочно наслушался и насмотрелся блевотины, которую изрыгают дьяволы в образе человеческом. Почему же эти вопли так потрясли меня и вызвали во мне чувство гнетущей горечи?

Когда такие слова написаны, они грязны, они обдуманно, намеренно непристойны. Но здесь оказалось нечто худшее, чем грязь, это был страшный шабаш ведьм. Вспышек исступленной злобы, безудержной ярости я здесь не слышал.

Может быть, это и вызвало во мне томящее чувство тошноты. Не было тут ни определенного плана действий, ни какого-нибудь принципа — дурного или хорошего. Толстые бабы в маленьких шляпках и с газетными вырезками в руках всеми силами старались привлечь внимание к себе. Они хотели, чтобы ими восхищались. Они отвечали на аплодисменты блаженными улыбочками, почти невинными в своем простодушном торжестве. Бессмысленная, чисто ребяческая в своем эгоизме жестокость — вот что тут главенствовало, и это оголтелое скотство еще

больше надрывало мне сердце. Это были не матери и даже не женщины, а одержимые актерки, играющие перед одержимыми зрителями.

Люди за деревянной загородкой ревели, кричали гип-гип-ура! И на радостях угощали друг друга тумаками. Нервничающие полисмены прохаживались взад и вперед, следя, как бы загородку не повалили. Их плотно сжатые губы то и дело расползались в улыбке, но они тут же сгоняли ее с лица. На противоположной стороне улицы неподвижно стояли приставы правительства Соединенных Штатов Америки. Ноги человека в сером костюме вдруг заторопились, но он сдержал их усилием воли и зашагал дальше, к дверям школы.

Толпа замолчала; наступила очередь следующей солистки. Голос у этой был по-бычьему низкий, зычный, со взлетами на концах фраз, как у балаганного зазывалы. Вряд ли стоит приводить здесь ее словеса. Набор их был тот же самый, разница заключалась только в ритме речи и тембре голоса. Каждому, кто был когда-нибудь хоть мало-мальски причастен к театру, стало бы ясно, что эти речи весьма далеки от импровизации. Их составляют заранее, заучивают наизусть и тщательно репетируют. Это было театрализованное зрелище. Я следил за сосредоточенными лицами в толпе — так слушают только в театре. И аплодисментами здесь награждали за исполнение ролей.

Меня всего передергивало от томящего чувства тошноты, но я не позволял недомоганию ослепить себя, потому что было бы обидно попусту проделать такой длинный путь. И вдруг меня осенило: нет, тут что-то неладно, есть тут какой-то перекос, какая-то диспропорция! Я знал Новый Орлеан, в этом городе у меня были давнишние друзья — люди мыслящие, сердечные, выросшие в добрых традициях. Я вспомнил гиганта Лайла Сэксона, вспомнил его негромкий смех. А сколько дней я провел с Рорком Брэдфордом, с тем, кто взял у Луизианы ее краски и звуки и сотворил Зеленые пастбища и господа бога *, который ведет нас туда. Я стал искать похожие лица в толпе и не нашел ни одного. Те, что были здесь, мне тоже известны. Они воют, одержимые жаждой крови, на матчах по боксу, доходят до экстаза, когда бык поднимает матадора на рога, похотливо глазеют на автомобильную катастрофу, тупо выстаивают в очереди, лишь бы посмотреть на чьи-то муки, чью-то агонию. Но где же другие — те, кто с гордостью сказал бы: «Мы такие же, как этот человек в сером костюме». Где же те, чьи руки стремительно протянулись бы к испуганной черной девчурке?

Не знаю, где они. Может быть, им не меньше, чем мне, мучительно чувствовать свою беспомощность? Как бы там ни было, но мир по их вине получит ложное представление о Новом Орлеане. Толпа теперь, должно быть, разбежится по домам смотреть самих себя по телевизору, и то, что они увидят на экранах, обойдет весь свет, а другой Новый Орлеан, который, как я знаю, существует, не скажет ни слова в свою защиту.

■

Спектакль окончился, и людская речка стала растекаться по улицам. Второй сеанс начнется, когда в школе прозвонит звонок с последнего урока и черная малышка снова предстанет перед своими хулителями. Я был в Новом Орлеане, городе, славном своими ресторанами. Я знаю их все, и во многих из них знают меня. Но появиться сейчас в «Галлатуаре» и заказать там омлет и шампанское было бы так же невозможно, как плясать на чьей-нибудь могиле. Даже того, что берешься за перо, вполне достаточно, чтобы снова почувствовать отчаянную, томительную тошноту. Пишу я не для того, чтобы позабавить кого-то. Меня самого это, во всяком случае, не забавляет.

Я купил дешевый сандвич и выехал за город. Вскоре нашлось славное местечко, где можно было сидеть, жевать и, как того требовала моя душа, задумавшись смотреть на темного, медленно и величаво катящего свои волны Отца Вод.

---

* Речь идет о романе Брэдфорда «Старик Адам и его дети» (1929), по которому была поставлена пьеса «Зеленые пастбища» (1930).

Чарли не стал бегать, но сел рядом со мной, плечом к моему колену, а так бывает, только когда я болею, значит, мне и в самом деле нездоровилось от тоски.

Я совсем потерял счет времени, но вскоре после того как солнце пошло к закату, на дороге появился какой-то человек, и мы с ним поздоровались. Он был хорошо одет, далеко не молод. Лицо — какие писал Эль Греко, со взвеянными ветром тонкими седыми волосами и полоской седых усов. Я пригласил его посидеть со мной, он согласился. Тогда я зашел в свой домик, поставил кофейник на огонь и, вспомнив, какой кофе любил Рорк Брэдфорд, удвоил заварку: две столовые ложки верхом на каждую чашку и еще две верхом на кофейник. Потом разбил яйцо, желток отделил, а белок вместе со скорлупой пустил в кофейник, ибо это лучший способ придать блеск кофе, чтобы оно отсвечивало в струе. Было холодно, и ночь близилась холодная, так что мое варево, переходя все стадии от холодной воды до крутого кипятка, распространяло вокруг приятный запах, успешно соревнующийся со всеми прочими приятными запахами, какие только есть на свете.

Мой гость сидел такой довольный и грел руки о пластмассовую чашку.

— Судя по номерному знаку, вы не здешний,— сказал он.— Кто же вас научил варить кофе?

— Эту науку мне преподали на Бурбон-стрит. «В то время были на земле исполины»,— ответил я.— Но по их рецепту зерна должны быть поджаристее и еще не мешало бы чуточку цикория для пикантности.

— Да-а, все знаете,— сказал он.— Выходит, вы все-таки здешний. И диаболо сможете приготовить?

— Для гостей — пожалуйста. А вы сами ново-орлеанец?

— У меня в роду несколько поколений ново-орлеанцев, хотя подтверждения этому можно найти только на кладбище Сен-Луис, под рубрикой «Здесь покоится».

— Так, понятно. Значит, вы вот из каких — из коренных. Очень рад, что мы с вами встретились. Сен-Луис я знаю, когда-то даже коллекционировал тамошние эпитафии.

— Вот как, сэр! Тогда вы должны помнить ту — курьезную.

— Если это та самая, то я ее даже пытался наизусть выучить. Начинается она... «Увы, увы! Ты наповал на небо...»

— Совершенно верно. Роберт Джон Крессуэл, скончался в 1845 году в возрасте 26 лет.

— Эх, жалко, забыл, как дальше.

— Клочок бумаги у вас найдется? Записывайте.

И когда я положил блокнот на колени, он сказал:

— Увы, увы ты наповал на небо вкусивши гадостей земных и водно часье ввысь воск парил от всех своих нуждежд а нам свою болонку пре под нос мол ах тяжка ты дуля в земной удоли смертного.

— Изумительно! — сказал я.— Такое мог сочинить Льюис Кэррол. Я почти все понимаю.

— Это всем понятно. Вы путешествуете не по делам, а ради удовольствия?

— Так мне казалось до сегодняшнего дня. Я видел ваших «заводил».

— А-а,— сказал он, и какая-то тяжесть и тьма придавили его.

— Что же будет?

— Не знаю. Просто не знаю. Не решаюсь даже думать об этом. И почему мне надо об этом думать? Я старик. Пусть другие этим займутся.

— А конечная цель все-таки будет достигнута?

— Да, безусловно. Но средства, средства, которые к ней ведут! Впрочем, вы северянин. Вас это не касается.

— По-моему, это нас всех касается. Не суживайте проблемы. Я налью вам еще чашку, и мы поговорим. Хорошо? У меня твердой позиции в этом вопросе нет. Вот я и хочу послушать.

— Ничего нового вы не услышите,— сказал он.— Эта проблема меняется в зависимости от того, кто вы, откуда вы и что вы чувствуете. Не думаете, а именно чувствуете. Вам не понравилось то, что вы видели?

— Нет, а вам это нравится?

— Может быть, еще меньше, так как я знаю тяжкое прошлое этой проблемы и предвижу ее зловонное будущее. Простите за неаппетитное слово, сэр, но другого не подберешь.

— Негры хотят стать людьми. Вы против этого?

— Что вы, сэр! Боже избави! Но для того чтобы стать людьми, им придется воевать с теми, кому этой чести недостаточно.

— Другими словами, негры малым не удовольствуются?

— Неужели вы бы удовольствовались на их месте? А кто удовольствуется?

— Вы не против того, чтобы они стали людьми?

— Да нет. Но понять это мне будет трудно. У меня слишком многие «здесь покоятся». Как бы вам объяснить? Ну вот, допустим, ваша собака... она, кажется, очень умная.

— Да, очень.

— Допустим, ваш пес умеет говорить и стоять на задних лапах. Допустим, он и во всех прочих смыслах молодчина. И, может быть, вы пригласите его к обеду... Но увидеть в нем представителя людского племени... это как?

— То есть, что я скажу, если моя сестра выйдет за него замуж?

Он засмеялся.

— Я только стараюсь вам втолковать, насколько трудно изменить свое отношение к вещам. И поверьте — негру будет так же трудно смотреть по-другому на нас, как и нам на них. Да это не ново. Это дело давнее.

— Как бы там ни было, а такие темы снимают удовольствие с нашей беседы, как пенки с варенья.

— Совершенно справедливо, сэр. Я, вероятно, представляю собой то, что у вас именуется *мыслящим* южанином. Как видите, оскорбление я принимаю за комплимент. Так вот, мне, пребывающему в качестве этого новоиспеченного гибрида, видно на века вперед. В Африке и в Азии это уже начинается!

— Что — поглощение? Негры как таковые исчезнут?

— Если они превзойдут нас количеством, то исчезнем мы, а вернее всего, вместо них и вместо нас возникнет нечто новое.

— А тем временем?

— Вот, что будет «тем временем», меня и страшит, сэр. Древние отдавали любовь и войну в руки богов, близких друг другу. И это не случайно, сэр. Это говорит о глубоком знании человеческой натуры.

— Вы рассуждаете здраво.

— Те, кого вы сегодня видели, совсем не рассуждают. Они, чего доброго, приведут одного из богов в состояние боевой готовности.

— Значит, вы думаете, что миром тут не кончится?

— Я не знаю! — воскликнул он.— И это хуже всего. Я просто ничего не знаю. Иной раз мне хочется поскорее воспользоваться своим законным правом на титул «здесь покоится».

— Давайте поедем дальше вместе. Вы тоже путешествуете?

— Нет. У меня здесь небольшой участок вон за той рощицей. Я частенько сюда наезжаю и живу подолгу. Все больше почитываю — стариков. Смотрю, любуюсь... тоже разной стариной. Таков мой способ бегства от вопросов, которые меня пугают.

— Все мы в некоторой степени от чего-нибудь убегаем.

Он улыбнулся.

— Хозяйство у меня ведут двое негров — муж и жена, такие же старики, как и я. И иногда, по вечерам, мы все забываем. Они перестают завидовать мне, а я забываю, что могу вызывать зависть. И тогда мы — всего лишь три милых... вещи. Живем друг подле друга и нюхаем цветочки.

— Вещи,— повторил я.— Интересно... не человек и скотина, не черные и белые, а милые вещи. Моя жена рассказывала мне про одного старичка, который жаловался: «В прежние времена у негров души не было. Оно и лучше и проще. А теперь совсем с толку собьешься».

— Вполне вероятно, хотя лично я такого не припомню. По-моему, эту унаследованную нами вину мы можем разрезать на части, как именинный пирог,— пусть всем достается поровну,— сказал он и замолчал — вылитый святой Павел Эль Греко с закрытой книгой в руках, если бы не седые усы.— Мои предки, конечно, были рабовладельцы, но ваши, наверно, ловили рабов и продавали их нам.

— Я из пуританского племени, а на них это очень похоже.

— Если силой принудить живое существо жить и работать, как скотину, вы и думать о нем должны, как о скотине, иначе, представив себя на его месте, вы просто сойдете с ума! Определите, где ему следует стоять в вашем сознании, и тогда можете за свои чувства не беспокоиться.— Он перевел взгляд к реке, и на ветру его белые волосы встали дымком над головой.— Если в вашем сердце есть хоть капля добродетелей человеческих — отваги и способности гневаться,— тогда опасный зверь будет страшить вас, и вам суждено всегда жить в страхе, потому что сердце ваше наделено еще умом, находчивостью и умением скрывать их до поры до времени. Тогда вам остается только одно: подавить в негре эти добродетели человеческие и превратить его в покорную скотину. А если вы с колыбели внушите своему ребенку, что негр скотина, он не будет мучиться вашими сомнениями.

— Мне говорили, будто в прежние времена добрые негры пели, плясали и были всем довольны.

— Да, а еще они бегали от своих хозяев. И довольно часто, чему свидетельство — специальные законы о побегах.

— Вы не похожи на южанина. У нас на Севере представляют их несколько иначе.

— Может быть, и не похож. Но я не один такой.— Он встал и отряхнул брюки кончиками пальцев. — Да... не один. Ну, а теперь я пойду к моим милым вещицам.

— Я не спросил вашего имени и сам не представился.

— Здесь Покоится,— сказал он.— Мсье Здесь Покоится — семья у нас большая, фамилия самая распространенная.

Когда он ушел, что-то сладостное прильнуло ко мне, как музыка, если только музыка может ласкать кожу холодком.

Для меня этот день стал чем-то бо́льшим, чем просто день, и он не выдержал бы сравнения ни с какими другими днями моей жизни. Я чувствовал, что дальше ехать не следует, так как прошлую ночь спать мне пришлось мало. Я очень устал, но иной раз усталость может и посоветовать что-то и заставить действовать. Меня она заставила налить полный бак горючего и посоветовала остановиться и посадить в машину старого негра, который, тяжело оседая на пятки, брел по кромке травы вдоль бетонированного шоссе. Он согласился неохотно, словно только потому, что не нашел в себе сил отказаться. Одежда на нем была мятая, поношенная рабочая куртка засалилась от долгой носки. Его темное, кофейного цвета лицо бороздил перекрест тысяч мелких морщин, ободки нижних век были красные, как у ищейки. Он сложил на коленях руки, бугристые, узловатые, точно сучья вишневого дерева, и слился со спинкой сиденья, как бы вобрав в себя контуры тела, чтобы занимать поменьше места.

Он ни разу не посмотрел на меня. Ни на меня, ни по сторонам. Но спросил сразу же:

— Не укусит, капитан-сэр?

— Нет, он добрый.

После долгого молчания я спросил:

— Как живется-то?

— Хорошо, очень хорошо, капитан-сэр.

— Ну, а что вы скажете обо всех этих делах?

Он молчал.

— Я про школы, про сидячие забастовки..

— Я ничего не знаю, капитан-сэр.

— На ферме работаете?

— Да. Сбор хлопка, сэр.

— Ну и как, на жизнь хватает?

— Я живу хорошо, капитан-сэр.

Некоторое время мы ехали молча. Дорога шла берегом; тропическая трава и деревья были жухлые и печальные после свирепых заморозков. И я сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к нему:

— В конце концов почему вы должны доверять мне? Вопрос — это ловушка, ответил — и угодил в нее ногой.

Мне вспомнился один случай — дело было в Нью-Йорке, и я вдруг решил рассказать ему об этом, но тут же раздумал, потому что увидел уголком глаза, как он отстранился от меня и прижался к дверце кабины. Однако воспоминание не хотело уходить.

Я жил тогда в маленьком кирпичном домике в Манхаттене и, будучи временно платежеспособным, держал слугу — негра. Через улицу на углу был бар и ресторан. Однажды зимой, в сумерках, я стоял у окна, глядя на улицу, и вдруг увидел, как из бара вышла пьяная женщина, поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала навзничь. Она попыталась подняться, но снова упала и так и осталась лежать, пьяно выкрикивая что-то. В эту минуту негр, который служил у меня, показался из-за угла, увидел пьяную и, стараясь держаться от нее как можно дальше, тут же перебежал на другую сторону.

Когда он вошел ко мне, я сказал:

— Я видел, как ты смылся. А почему бы не помочь женщине?

— Знаете, сэр, она пьяная, а я негр. Если бы я только дотронулся до нее, она подняла бы крик — насилуют! Соберется толпа, и кто мне поверит?

— И все это ты сообразил, до того как смылся? Быстро у тебя голова работает.

— Да нет, сэр,— сказал он.— Я уже давно эту науку прохожу — как быть негром.

И вот теперь, сидя в своем Росинанте, я, дурак дураком, пытался разрушить то, что было выработано всей жизнью.

— Больше я вас ни о чем не буду спрашивать,— сказал я.

Но он беспокойно заерзал на сиденье.

— Будьте любезны, капитан, высадите меня. Я тут неподалеку живу.

Я ссадил его и увидел в зеркало, что он снова побрел вдоль шоссе. Жил он, конечно, совсем не в этих местах, но идти пешком было безопаснее, чем ехать со мной.

Усталость сморила меня, и я остановился в уютном мотеле. Кровати у них хорошие, но уснуть я так и не мог. Перед моими глазами мелькали человек в сером костюме и физиономии «заводил», но чаще всего появлялся старик негр, отсевший от меня как можно дальше, точно боясь заразиться, а может, я и на самом деле был заразный. Я приехал сюда, чтобы узнать, что здесь происходит. И что же я узнал? За все эти дни была ли хоть одна минута, свободная от напряженности, от груза беспощадного страха? Я, как новичок в здешних местах, конечно, чувствовал все это острее, но и напряженность и страх были — не со мной же они сюда приехали. Все здесь, и белые и черные, жили в этом и этим дышали — все до одного, все возрасты, все профессии, все классы. Куда им деваться от того, что стало фактом их жизни? И это повышало давление в котле до предела. Неужели ничто не отвратит взрыва?

Я очень плохо представляю себе всю картину в целом. Во время второй мировой войны мне не так уж много пришлось всего повидать — одну десантную операцию из ста, несколько разрозненных боевых эпизодов, несколько тысяч убитых, когда их насчитывалось миллионы. Но все же и увиденного и прочувствованного оказалось вполне достаточно, и я убедился, что война не осталась для меня незнакомкой. Так и здесь — какой-нибудь незначительный случай, две-три встречи... но дыхание страха чувствуешь повсюду. Мне хотелось уйти от всего этого. Позиция труса? Может быть. А еще трусливее отрицать свою трусость. Но ведь люди живут здесь. Для них такой образ жизни неизменен, другого они

не знали и конца ему не ждут. Ист-эндские дети в Лондоне теряли сон, когда бомбежки прекращались, нарушая привычный для них порядок вещей.

Я вертелся в постели с боку на бок, и под конец Чарли потерял терпение и несколько раз сердито сказал мне «фтт». Но у Чарли нет наших проблем. Он не той породы, которая настолько умна, что способна расщепить атом, но не способна жить в мире с себе подобными. Чарли даже не знает, что такое раса, и его совершенно не волнует вопрос о замужестве его сестер. Как раз наоборот. Однажды Чарли влюбился в таксу — роман с расовой точки зрения несуразный, с физической — нелепый и с практической — немыслимый. Но Чарли презрел все это. Он любил пылко и продолжал домогаться предмета своей страсти. Трудно было бы объяснить собаке те добрые, высокоморальные побуждения, повинуясь которым тысячи человеческих существ сошлись в одно место, чтобы предать анафеме одного крохотного человечка. Мне случалось ловить во взгляде собак мимолетное недоуменное презрение, и я убежден, что по сути-то дела они считают людей психами.

На следующий день не я выбрал своего первого пассажира. Он сам ко мне напросился. Он сидел на табуретке рядом со мной и ел котлету, близнеца которой я держал на вилке. Ему было лет тридцать — тридцать пять. Высокий, худощавый, приятной внешности. Волосы длинные, гладкие, почти пепельного цвета, и он, видимо, гордился ими, так как, сам того не замечая, то и дело оправлял их карманным гребешком. Его костюм из легкой серой материи был по-дорожному помят и не отличался чистотой, пиджак он держал переброшенным через плечо. Узел галстука не ярких разводов был сдвинут у него вниз, что позволило открыть ворот белой рубашки. Такого чисто южного выговора я еще ни у кого не слышал. Он поинтересовался, куда я еду, и, узнав, что мне в сторону Джексона и Монтгомери, попросился со мной. При виде Чарли он решил, что у меня в машине сидит «черномордый». Эта фраза стала уже стереотипной.

Мы удобно устроились в кабине. Он оправил волосы гребешком и похвалил моего Росинанта.

— Я сразу догадался,— сказал он,— что вы с Севера.

— У вас тонкий слух.— Казалось бы, мой ответ звучал иронически.

— Да, я человек бывалый,— подтвердил он.

Вероятно, в том, что произошло, мне надо винить самого себя. Если бы я держал язык за зубами, то, может, узнал бы что-нибудь интересное. Но бессонная ночь, затянувшееся путешествие и мое нервное состояние сделали свое дело. Кроме того, близилось рождество, и я задумывался о доме чаще, чем это было мне полезно.

Мы выяснили, что я путешествую ради собственного удовольствия, а он — в поисках работы.

— Вы с верховьев едете,— сказал он.— Видели, что творится в Новом Орлеане?

— Да, видел.

— Ну, молодчины! Особенно эта Нелли. Вот чешет — без запинки!

— Да.

— Просто сердце радуется на них глядя. Есть, значит, люди, которые выполняют свой долг.

Вот тут-то я и не выдержал. Мне бы хмыкнуть, и пусть он вкладывает в мое хмыканье любой смысл. Но коварный червячок злобы вдруг зашевелился у меня где-то в самом нутре.

— По-вашему, они делают это из чувства долга?

— А как же? И дай им бог здоровья! Должен же кто-то гнать этих черномордых поганцев из наших школ.— Готовность к самопожертвованию, подвигнувшая «заводил» на столь высокие деяния, переполнила его восторгом.— Приходит такое время, когда человеку надо сесть и как следует обо всем подумать, и вот подумаешь-подумаешь и решишь отдать жизнь за свои убеждения.

— И вы на это решились?

— Да. И не я один, таких много.

— Каковы же ваши убеждения?

— Не допущу, чтобы мои дети ходили в одну школу с черномордыми. Да, сэр. Я жизни своей не пожалею, но сначала уложу десяток-другой этих поганцев.

— Сколько же у вас детей?

Он круто повернулся ко мне.

— Детей у меня пока нет, но будут, и не пойдут они в одну школу с черномордыми.

— А жизнь вы отдадите до того или после того, как у вас заведутся дети?

Мне приходилось смотреть вперед, на дорогу, и я только краем глаза увидел его физиономию — выражение у него, прямо скажу, было пренеприятное.

— А вы, видно, за черных! Так и следовало ожидать. Смутьяны! Приезжают сюда и учат нас жить. Нет, мистер, этот номерок вам не пройдет. Мы за коммунистами, за негритянскими заступничками, глядим в оба.

— Я просто нарисовал себе мысленно картину, как вы отважно жертвуете жизнью.

— Прав я был! Вы за черных горой.

— Нет, я не за черных и не за белых, если среди белых попадаются такие вот благородные дамочки, как ваши «заводилы».

Он почти вплотную приблизил ко мне свое лицо.

— Хотите знать, что я о вас думаю?

— Нет. Этих словечек мы вчера от Нелли наслушались.— Я притормозил и свел Росинанта с шоссе.

Он опешил.

— Почему вы остановились?

— Вылезайте,— сказал я.

— Что вам, понадобилось, что ли?

— Да, понадобилось. Избавиться от вас. Вылезайте.

— Силой заставите?

Я сунул руку между дверцей и сиденьем, где у меня ничего не было.

— Ладно, ладно,— сказал он и вылез, да так хлопнул дверцей, что Чарли взвыл от возмущения.

Я тут же дал газ, но услышал сзади его крики, а в зеркале увидел искаженное ненавистью лицо и открытый рот с пеной на губах. Он орал: «За черных! За черных!» — орал, пока мне его было видно и еще после бог знает сколько времени. Правда, я сам его довел, но что с собой поделаешь! Когда начнут вербовать миротворцев, меня пусть обходят стороной, от таких, как я, проку будет мало.

Между Джексоном и Монтгомери я подвез еще одного пассажира. Это был молодой студент-негр с резкими чертами лица, переполненный, как мне показалось, каким-то яростным нетерпением. В боковом кармане у него торчали три вечных пера, внутренний топорщился, набитый бумагами. Я узнал, что он студент, от него самого. Он держался настороженно. Однако номерной знак и мое произношение подействовали на него успокаивающе, насколько он вообще мог пребывать в покое.

Мы заговорили о сидячих забастовках. Он участвовал и в них, и в бойкоте автобусов. Я рассказал ему о том, что видел в Новом Орлеане. Он там бывал. То, что меня так поразило, не было для него неожиданностью.

Наконец мы заговорили о Мартине Лютере Кинге и его проповеди пассивного, но неослабного сопротивления.

— Это слишком долго,— сказал он.— Сколько времени даром уйдет.

— Но улучшения есть, улучшения происходят непрестанно. Ганди доказал, что только это оружие и может принести победу в борьбе с насилием.

— Знаю, знаю. Все это я учил. Успехи у нас по капле, а время идет и идет. Я хочу, чтобы было скорее, мне нужно действие... сейчас, сию минуту.

— Так можно загубить все.

— Я успею состариться, прежде чем стану человеком. Так и умереть успеешь.

— Это верно. Ганди умер. А много таких, как вы,— которые хотят действовать?

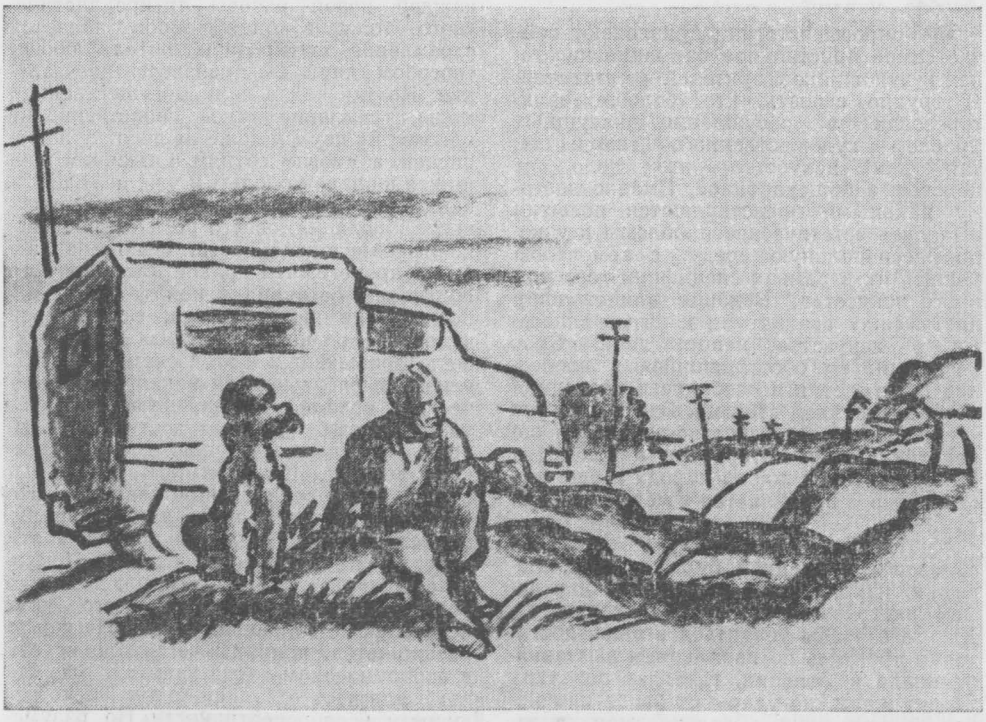
— Да. Такие есть... есть кое-кто, а сколько, затрудняюсь сказать.

Мы тогда о многом переговорили. Этот человек знал, что ему нужно, он был горячий, напряженный, яростный, и все это вырывалось наружу, только тронь. Но когда я ссадил его в Монтгомери, он вдруг сунул голову в кабину моего Росинанта и засмеялся.

— Мне стыдно,— сказал он.— Нельзя же быть таким эгоистом. Но я хочу это увидеть... Живой, а не мертвый. Здесь, у нас! При жизни хочу! И поскорее! — Он круто повернулся, вытер глаза ладонью и быстро зашагал прочь.

У нас высказывается и печатается столько всяких мнений и суждений — и во время выборов и путем опроса наших граждан,— что иной раз и в газете не сразу разберешь, где мнения, а где факты. Так вот, учитывая все это, я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не собирался показывать здесь и, по-моему, не показал ничего такого, что можно было бы счесть поперечным разрезом нашего Юга. Следовательно, у читателей нет повода сказать: «Он думает, будто дал подлинную картину жизни в южных штатах». Нет, этого я не думаю. Здесь записано то, что говорили мне два-три человека и что я видел сам. Типичны ли мои собеседники и можно ли из всего этого сделать какие-нибудь выводы, я не знаю. Мне ясно другое: в тех местах неспокойно, и людям там приходится трудно. И еще мне ясно, что разрешение этого вопроса дастся не легко и не просто. Я повторяю следом за мсье Здесь Покоится — дело не в цели, дело в том, как трудно выбрать средства, которые к этой цели ведут.

Рисунок художника ДОНА ФРИМЕНА *(США)* на суперобложке книги Дж. Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки».



Критика

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ХУДОЖНИКА

Вопросы эстетики привлекают сейчас самое пристальное внимание писателей и художников, зрителей и читателей. И трудно сказать, кто больше заинтересован в обсуждении насущных проблем художественного творчества, так как искусство — это дело не цеховое, а общенародное. Именно поэтому наивными представляются попытки выделить эстетические проблемы в узкопрофессиональную среду, с тем чтобы решить их в рамках специфики того или иного искусства. В конце концов спор идет между реалистами и антиреалистами в искусстве наших дней. Спор не новый, но обострившийся в последние десятилетия и особенно в последние годы до крайней степени. Здесь еще раз утверждается марксистско-ленинское определение роли литературы и искусства в общественной жизни народа и еще раз отчетливо проявляется их классовая сущность.

Субъективный идеализм, оставаясь основой современной буржуазной философии, находит свое выражение и в самом экстравагантном формотворчестве. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по павильонам выставки-биеннале в Венеции, где глаз поначалу терпит жестокие удары от более или менее отталкивающих головоломок, а затем, привыкнув, где-то на 15—18-м павильоне подчиняется духу уныния и скуки. Налицо инфляция экстравагантных форм, феноменальных замыслов, клинически мучительных образов, а то и просто бесталанного шарлатанства. Малочисленные зрители, испуганно шарахаясь от уродливых композиций и не находя сил досмотреть экспозицию до конца, обычно отступают примерно на 10—12-м павильоне и покидают выставку с тем, чтобы никогда, даже мысленно, не возвращаться к ней.

Трагедия подобного рода искусства в том, что оно не запоминается, хотя, по видимости, стремится к этому изо всех сил, так как единственным принципом каждой новой работы антиреалистического толка в конце концов является стремление эпатировать зрителя любым способом, лишь бы произвести впечатление. Но так как в силу могущественной моды стремление такое свойственно не одному, не двум и даже не десятку живописцев, а многим сотням и тысячам рвущихся к славе молодых и уже немолодых искателей, то и происходит описанная выше инфляция, своего рода самообесценение парадоксальности, феноменальности и прочего, что должно бить зрителя по голове, оставляя в ней те или иные последствия шока. Но уж так устроен человек — он ко всему способен привыкнуть, привыкает и к этой системе шоков: у него вырабатывается некая психологическая мозоль, которая амортизирует удары, и они перестают достигать своей цели. Зритель равнодушно отворачивается, и все тут. Как быть? Казалось бы, проще всего вернуться к реализму. Но реализм требует наличия таланта, принципиальности, длительной школы, а эти качества не купишь на базаре. Приходится довольствоваться тем, что поднесла мать-природа. Вследствие этого круг искателей не сокращается, а даже как-то расширяется, причины чего надо искать в экономическом хаосе капитализма, где пока еще хоть отбавляй голода, неустроенности, бесперспективности. Но, разумеется, было бы половиной дела констатировать только эту сторону вопроса. Есть и иная. Я имею в виду искренних адептов антиреалистического направления в искусстве.

Каким образом зарождается антиреализм? Я задаюсь этим вопросом, видя в нем краеугольный камень спора. Убежден, что не смогу на него ответить с исчерпывающей полнотой, поэтому высказываюсь скорее в порядке постановки вопроса.

В разделении искусства по признаку реализма и антиреализма можно, разумеется, найти множество разнообразных градаций и оттенков. Та или иная мера условности неизбежна и необходима в каждом реалистическом произведении. Для меня принцип реализма воплощается в очень широком круге художественной практики, включая в себя всю идиоматическую сложность языка, все богатство метафор, аллегорий, символов. Поэтому мне представляется наивным принцип деления, скажем, в современном кинематографе на поэтическое и прозаическое начала. Каждое прозаическое произведение, если оно остается в ряду искусства, неизбежно включает в себя множество признаков поэтического строя. И всякая поэзия, претендующая на отзвук у читателя, таит в своих глубинах прозаическое рациональное зерно. То же, разумеется, происходит и в других родах искусства, будь то живопись или скульптура.

Можно сослаться еще на одну важнейшую черту реализма — на организующее начало,— и, может быть, это как раз главная его черта, так как она отражает наиболее благородные цели искусства: соединять, объединять, умонаправлять разнородные индивидуальные интересы в сторону общественных интересов, общественного пафоса.

Искусство испокон века оставалось мощнейшим средством общения людей, раскиданных по нашей планете, людей различных убеждений, говорящих на разных языках, исповедующих различную веру, одаренных различным темпераментом, отмеченных различными взглядами, привычками. Таким образом, искусство завоевало себе доверие у народов как раз вследствие своей способности доносить идею, родившуюся в сознании художника, до многих людей, вследствие того, что художник адресовался не к тому, что различает множество индивидуальностей, составляющих род человеческий, а к тому, что **роднит**, объединяет общество людей, и прежде всего к нормальным средствам чувственного восприятия мира.

Представим себе памятники мировой культуры, будь то индийские, цейлонские, индонезийские храмы или феноменальные по масштабам и соразмерности скульптуры Датуна в Китае, высеченные прямо в скалах, будь то египетский сфинкс или барельефы на захоронениях ацтеков в Мексике, будь то химеры Собора Парижской Богоматери или неповторимая деревянная краковская скульптура Вита Ствоша — всюду мысль человеческая страстно билась в желании подчинить, покорить умы и чувства других людей силой образного воздействия. И всякий образ был **соотносителен** с нормой человеческой натуры и психики.

Святость и величие рафаэлевского материнства в изображении Сикстинской мадонны с младенцем захватывали и поражали зрителя именно вследствие того, что каждый мог сличить величественную озабоченность в облике мадонны с обликом своей матери, сестры, дочери. А взор младенца, одновременно трагический, грозный и все постигающий, потрясал своей парадоксальностью на лице новорожденного, так как отражал в себе, по замыслу художника, всю меру предстоящего искупления. Рафаэлю — сыну своего века — удалось, выражая сущность христианства, раскрыть со всей силой драматического напряжения внутренний мир человека, и вследствие этого человечество определило место этой его работы где-то в самой первой пятерке шедевров в кругу работ величайших мастеров живописи всех времен и народов.

Таким образом, всеобщность идеи, сконцентрированная, воленаправленная, пронизанная душевным потрясением автора, неизбежно отзывалась с той же силою в огромном большинстве человеческих сердец на нашей планете, и в этот момент счастливо обнаруживалось, что человечество склонно к общению, способно понимать величие и красоту с единых и равных позиций. Что же может быть прекраснее и осмысленнее в художественном подвиге?

Я обратился к этому, в высшей степени тривиальному рассуждению вследствие того, что обеспокоен, как и каждый современник, судьбами искусства в наш суровый век. Все чаще и чаще приходится слышать мне от своих друзей, снимающих фильмы в различных странах Европы и Америки, меланхолические рассуждения о том, что жизнь стала совсем непонятной или даже непознаваемой, что все чрезвычайно запуталось и что, пожалуй, единственной сферой художественного отражения остается личность самого художника в его более или менее глубоком подполье.

Не стоит удивляться таким заявлениям, когда слышишь их из уст принципиальных агностиков, прочно стоящих на позициях субъективного идеализма. Но иной раз приходится слышать их и от людей, связывающих свою работу и жизнь с общенародным делом и, казалось бы, исповедующих материалистическое миропонимание. Видимо, здесь проявляется обычный человеческий испуг, страх перед собственным веком, веком термоядерных угроз, величайших классовых битв, крушения колониального владычества и высвобождения огромных новых творческих сил. В сознании робких, душевно незрелых натур счаст-

ливые признаки века перемешиваются с трагическими, но и тут и там выступают его гигантские масштабы.

И вот в сознании робкой натуры рождается желание уйти от всей огромности общенародных процессов в скорлупу личных, субъективных переживаний по поводу собственного внутреннего мира, в котором вселенная отражается в масштабе крошечного зеркальца.

Между тем кинематограф в своей реалистической практике способен на поистине революционные подвиги. Я убежден в том, что мы сами еще не научились и в десятой доле оценивать его могучую преобразующую силу.

Чаще всего мы вспоминаем об активности кинематографического воздействия, когда говорим о влиянии гангстерских картин на сознание молодежи, подростков. Но раз мы признаем за кинематографом такую мощную заразительную силу негативного воздействия, можно ли отрицать такую же возбудительную силу его положительного воздействия?

Опыт жизни подсказывает мне, что каждое поколение склонно воспринимать от кинематографа во много крат больше, чем от официальной школы и даже от литературы. Какова же мера ответственности кинематографа за человеческое будущее? Трудно оценить.

Между тем в кинематографе межеумочные тенденции не менее активны, чем в любой другой области искусства. Уже достаточно много было написано и сказано по поводу нашествия на зрителя, и в основном на молодого зрителя, сексуальных фильмов, балансирующих между элементарной порнографией и фрейдистским либидо.

За последние два-три года на Западе особенно активизировалось анархически-интуитивное начало, когда личность, более или менее слепая, вырванная из общества, ищет выхода своим страстям. Позиция художника тут в лучшем случае совпадает с позицией анатомирующего вивисектора. Поэтическое начало отбрасывается как постыдное с ярлыком сентиментальности. Спекулятивное наукообразие подменяет пафос человековедения, выдвинутого Горьким во имя приближения реалистического искусства к глубине и объективности научных постижений. Человековедением тут и не пахнет. И в конце концов в искусстве такого рода выступает на первый план тот же пафос эпатации, стремление напугать, скандализировать зрительный зал свирепой откровенностью анатомии души и тела во имя своеобразного утверждения скорбного и отвратительного несовершенства человеческой натуры.

В этом году мне привелось увидеть много фильмов. Я был на трех фестивалях — в Канне, Венеции, Пуле. Я посмотрел также множество картин у себя дома, на родине. И не могу не порадоваться тому, какое очевидное преимущество наметилось сейчас у советского кинематографа в результате широкого притока молодых сил по сравнению с тем, что происходит сейчас на Западе — во Франции, в Швеции и даже в Италии, где кинематограф традиционно силен и при всех своих потерях и трудностях продолжает оставаться лидером западного киноискусства. Я порадовался нашим достижениям за последние два-три года более всего потому, что еще раз убедился во всепобеждающей силе реалистического направления в искусстве и, в частности, в кинематографе. И все это — несмотря на то, что у нас тоже наметились свои издержки, и в некоторых работах молодых налицо и модничанье, и эстетическая наивность, и, так сказать, вторичность художественного поиска — повторение найденных уже, а может быть, и справедливо забытых решений и форм. И все же сквозь все это просвечивает могучая сила реалистического, страстного отношения к миру, дух гражданственности, искренней заботы художника о своем современнике, о будущем человечества, о сохранении жизни и ее разумном развитии на нашей планете.

Я мог бы заняться сейчас перечислением картин, среди которых многие уже известны в мире, будь то фильмы Солнцевой, Бондарчука и Чухрая или совсем молодого Тарковского, или других его сверстников. Все это явления самого различного порядка. Однако различия эти показывают лишь огромность круга образов и средств, в котором волен творить художник-реалист. Но очевидное преимущество всех этих работ, тотчас же привлекающее к ним внимание отечественной, а часто и международной критики, заключается в высоком оптимизме авторской позиции.

Тут я вижу еще одну важнейшую черту реалистического начала в искусстве, черту, счастливо совпадающую с диалектическим методом мышления, а точнее, непосредственно вытекающую из него. Как всякому диалектику, развитие мира представляется мне спиралью, поднимающей духовную жизнь человечества, при всей драматичности человеческой истории, с каждым веком, с каждой новой формацией все выше и выше к познанию, к постижению мира, к подчинению всех его законов силе человеческого разума.

Это и есть непреходящий источник оптимизма, который питает всю нашу общественную жизнь и, естественно, отражается в нашем искусстве.

Что же принципиально нового на этом пути принесла с собой молодежь в советский кинематограф? Обостренное чувство правды как непосредственную реакцию на рухнувший культ Сталина. Процесс этот далеко не завершен, он будет продолжаться. Это процесс переосмысления многих и многих психологических факторов общественной жизни нашего современника, процесс сложный, развивающийся последовательно и вширь и

вглубь, и он, разумеется, будет занимать еще долгое время умы молодых, да и не только молодых художников.

Догматические ограничения в постановке жизненных проблем, в способе их решения искусственно сдерживали раскрытие социалистического реализма как метода, призванного отражать все безграничное многообразие жизненных явлений в их непрестанном революционном развитии.

Сейчас чрезвычайно расширился круг тем, к которым обращаются кинематографисты, центральной фигурой в каждой новой работе выступает наш современник, занятый созиданием материальных и духовных ценностей, вступающий в битву со всей сложностью нашего мира, несущий на плечах своих всю меру ответственности за будущее человечества.

Именно это содержание в последнем фильме М. Ромма «9 дней одного года» потребовало от него поисков соответствующей формы, которую ему удалось найти и которая, как мне кажется, выражает масштабы современного человека, человека умственного труда, создающего все более сложные машины, полновластным и разумным хозяином которых он остается.

Я подчеркиваю эту сторону замысла, так как в ней, собственно, выступает все могущество нового человека, для которого научный подвиг преумножен его конечной гуманной целью.

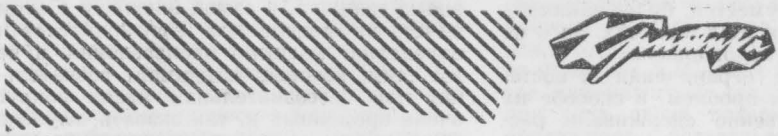
И от этого нельзя отмахнуться с той легкостью, с какой пытаются это делать некоторые зарубежные критики нашего социалистического искусства, когда утверждают, что искусство по самой природе своей не призвано, да и не способно поднимать подобную нагрузку на свои весьма хрупкие плечи.

Конечно, каждый художник волен определять масштабы своего художественного творчества, но не в силах изменить исторический критерий, выступающий помимо воли художника, то есть глубину народных идей, размах народных начинаний, народного подвига. А ведь критерий рождается именно там, вне художника, в самой жизни, и с этим ничего не поделаешь! Критерий этот и определяет масштаб произведения, а не тот шум, который поднимает сознательная или бессознательная клака вокруг очень временных и, так сказать, глубоко единоличных успехов принципиальных одиночек.

На мой взгляд, при всей спорности некоторых теоретических позиций французской «новой волны», общественный интерес к работам Годара, например, далеко не случаен. И хотя, как мне это известно, он не является поклонником знаменитого фильма Феллини «Сладкая жизнь», но выступают они оба, может быть с разных позиций, в одном направлении. Они поднимают свой голос против лицемерных ужимок буржуазного общества вокруг трагедии поколения, истерзанного разобщенностью, полным неверием, младенческим или старческим цинизмом. И то, что они, каждый по-своему, находят в себе силы говорить об этом в полный голос, определяет значимость их художественных достижений.

Искусство Годара и Феллини, так же как и других прогрессивных художников Запада, действующих в этом направлении, имеет еще то огромное преимущество, что оно глубоко реалистично по самой своей природе и в развитии своем стремится к постоянной, немеркнущей цели реализма, то есть к прекрасной ясности.

Тем же стремлением, но помноженным на эстетику социалистического реализма, отмечены и лучшие работы молодых писателей, режиссеров, операторов, артистов у нас в стране. Знакомясь с замыслами моих друзей, я вижу, как обостряется их мысль, как углубляется она в новые, ранее скрытые области человеческой жизни, и вследствие этого нарастает уверенность в том, что искусство наше, перешагивая через временное замешательство, через подчас наивное модничанье, поднимется на высшую ступень реалистического отображения жизни, видя свою высшую художественную цель в мужественной борьбе за торжество нового.



А. ДЕМЕНТЬЕВ

ОНИ «ДИСКУТИРУЮТ»

I

Три американских профессора — Х. Маклин, Р. Мэтьюсон и Г. Струве — выступили недавно на страницах журнала «Славик ревью» с рассуждениями по поводу русской и советской литературы. Состоялось нечто вроде дискуссии.

«Будем надеяться, что мы трое создали стройную картину, обладающую всеми достоинствами, которые могли ей придать дальнозоркость, точность и творческое воображение»,— пишет Х. Маклин, подводя итоги дискуссии. Но слова эти, если они сказаны без иронии, свидетельствуют лишь о том, что профессор не страдает избытком скромности: нарисованная им и его коллегами картина развития нашей литературы ни одним из достоинств, о которых он говорит, не обладает.

И повинен в этом больше всего сам Хью Маклин — первая скрипка в трио профессоров. В своей вступительной статье он задал такой «тон» обсуждению, что об успехе концерта нечего было и думать.

На самом деле, каковы исходные посылки и метод Х. Маклина, как понимает профессор роль и задачи художественной литературы? Он — представитель распространенной на Западе эстетической критики и стремится изучать историю литературы, не выходя за пределы самой литературы, как историю ее форм и стилей. Литературу, по его мнению, можно определить как эстетическую организацию языка. Однако Х. Маклин видит, что за словами стоит жизнь, действительность, то есть нечто, лежащее вне искусства, и поэтому он, говоря о роли литературы в обществе, признает за ней, кроме эстетической функции, «функцию гносеологическую» (познавательную) и функцию дидактическую (нравственно-воспитательную).

Казалось бы, здесь спорить с профессором Маклином почти не о чем. Но он пытается отделить эти три функции литературы друг от друга и даже принципиально противопоставить эстетическую функцию познавательной и воспитательной. Эстетическая функция — это для него главная, внутренняя функция литературы, а две другие — побочные, внешние, так как, дескать, только эстетическая функция принадлежит собственно искусству, определяет его специфику.

Да, конечно, искусство имеет свою специфику, и заключается она в его эстетическом назначении, в способности возбуждать чувство прекрасного. Да, конечно, произведение искусства, не имеющее эстетической ценности, не является произведением искусства. Но разве эстетическое в искусстве это только его формальная сторона (как это кажется Х. Маклину), независимая, отделенная от содержания? Разве эстетическое в литературе может быть оторвано от социальных, нравственных, философских представлений писателей и читателей?

Ведь в таком случае литература превращается в самоцельную словесную игру, основанную на употреблении тех или иных «приемов». Но это нисколько не смущает Маклина. Он именно так и смотрит на литературу. Профессор — сторонник так называемого «автономного искусства», то есть,

говоря его словами, не «навьюченного» социальными и нравственными идеями и стремлением к правде. И в романтизме, и в реализме, и в творчестве Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого он видит «словесную игру», «трюки», «акробатику», «фокусы». Скажем, во времена Л. Толстого искусство романиста, по мнению Маклина, «представляло собой серию фокусов, цель которых — заставить поверить в реальность воображаемых людей и воображаемых событий». И больше всего Толстой и другие писатели-реалисты, полагает Маклин, боялись «эстетической критики», так как «эстетически направленная критика могла бы заглянуть в их мешки с фокусами и открыть их секреты всему миру. А какой фокусник хочет этого?»

Ясно, что в подобных «эстетически направленных» суждениях нет ни миллиграмма оригинальности. Наши формалисты еще лет сорок назад писали в том же духе и столь же бойко. Но они уже давно сносили непрочные одежды формализма, и кто бы мог подумать, что их обноски придутся впору американским профессорам?

Понятно, что Х. Маклину не нравится критика Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, и он в явно невыгодном свете изображает ее роль в русской литературе. Он даже отказывает ей в праве называться литературной критикой. Как же! Белинский и его продолжатели, уверяет профессор, пренебрегали эстетической природой литературы, навязывали литературе решение «проклятых вопросов» и ставили перед ней внеэстетические цели.

Но Маклин возводит напраслину на наших великих критиков. Они были противниками «эстетической критики», но их анализ никогда не упускал из виду художественной формы, стиля произведений литературы, особенностей стиха, проблем жанра. Они прекрасно понимали значение «эстетической функции» литературы. «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии,— в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем,— это разве прекрасное намерение, дурно выполненное»,— писал Белинский.

Вместе с тем ничто не мешало Белинскому и другим критикам революционной демократии видеть в литературе могучее средство познания и преобразования действительности. Больше того — само эстетическое значение, художественную силу произведений искусства они ставили в зависимость от богатства их идейного и жизненного содержания. Да, критики революционной демократии боролись за правдивость литературы, за то, чтобы она выражала передовые идеи века, чтобы она служила освободительному движению, но это была борьба и за художественное, эстетическое величие литературы. «Отнимать у искусства право служить общественным интересам,— утверждал Белинский,— значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев». Белинский, Чернышевский, Добролюбов пользовались и пользуются в русской литературе огромным авторитетом. Они были властителями дум нескольких поколений русской демократической интеллигенции. Но мистер Маклин явно предпочитает прислушиваться к голосу их врагов и противников, среди которых эстетствующие литературоведы были не самыми худшими.

II

Наиболее наглядным образом несостоятельность «метода» Хью Маклина обнаружилась на практике — при попытке применить его понимание функций искусства к истории нашей литературы. А именно эту цель и преследует он в своей статье.

Вся история русской литературы в изложении Х. Маклина предстает как некий круговорот, где творчество, ставящее перед собой «внеэстетические цели», сменяется творчеством, в котором господствует «эстетическая функция», и наоборот. На одном этапе развития писатели в своих произведениях всемерно подчеркивают «искусственность» литературы, на другом этапе — они стараются создать иллюзию, что границы между литературой и жизнью не существует. В литературе XVIII века преобладает «дидактическая функция», в эпоху Пушкина литература стала «словесной игрой», позднее ее «навьючили» внеэстетическими задачами, навязали ей реализм («иллюзионизм», по понятиям Х. Маклина), а еще позднее реализм из-за внутренней слабо-

сти быстро и без боя сдал свои позиции символизму и другим течениям, выступившим под знаменем «автономии искусства».

Русская литература, уложенная Х. Маклином в прокрустово ложе надуманной схемы, выглядит весьма бедной, ее живая душа мертвеет, ее многообразие приводится к общему знаменателю. И не мудрено, так как литература рассматривается в отрыве от истории общества, от истории народа. Очевидную связь русской литературы с освободительным движением Х. Маклин игнорирует. «Движению социального протеста в русском обществе XIX века приписывалось чересчур большое значение для истории литературы»,— утверждает он.

Лишь однажды профессор коснулся исторических причин, объясняющих изменения, происходившие в русской литературе, да и то лишь для того, чтобы объявить, что большие услуги оказала русской литературе... цензура. «Власть цензора,— утверждается в статье,— помогла созданию нового стиля, тенденцией которого было позволять фактам говорить за себя. Автор-комментатор все больше прятался». Здесь, как говорится, остается только руками развести. Ясно, что от имманентного подхода к литературе не так далеко и до абсурда.

В результате операции, произведенной Х. Маклином, русская литература стала непохожей на себя. Одни из ее выдающихся произведений утратили эстетическую ценность, другие — лишились содержательности. Естественно, что каждый шаг Х. Маклина сопровождается натяжками и субъективными домыслами. Скажем, утверждать, что для Батюшкова и Жуковского литература лишь занимательная игра и фейерверк словесных ухищрений,— непростительная для филолога легковесность. И уже совсем нелепо представлять поэтом, для которого была безразлична познавательная и воспитательная роль литературы и который был озабочен только словесной игрой,— Пушкина.

То, что пишет Х. Маклин о Пушкине, свидетельствует лишь о силе воображения профессора и о его полном пренебрежении к фактам. «Руслан и Людмила» для него — чуть-чуть непристойная история, рассчитанная на то, чтобы привлечь внимание девушек; «Пиковая дама» — искусно изложенный анекдот; «Евгений Онегин» — словесная игра подчеркнуто эстетического характера. Х. Маклин пишет, что стихотворная форма «Евгения Онегина» является «одним из наиболее заметных средств, с помощью которых Пушкин сознательно подчеркивает «искусственность» своего искусства». На деле же стихотворная форма «Евгения Онегина», столь естественная и «безыскусственная», свидетельствует о сближении поэзии с жизнью. И сам Х. Маклин говорит, что «смещение повествовательных планов, отступления, введение читателя в мастерскую художника, «неоконченные» и пропущенные строфы, оборванный конец — все это создает ощущение дружеской близости между читателями и самим произведением». Неудивительно, что попытки Х. Маклина противопоставить поэзию Пушкина последующей реалистической литературе (как и поэзии декабристов) терпят полную неудачу.

К «эстетизму пушкинского века», с точки зрения Х. Маклина, примыкает и Гоголь. «Хотя он намеревался с помощью своего искусства очищать души читателей, блестящее словесное воплощение его произведений столь же эстетически самодостаточно и демонстративно, как трюки на трапеции»,— пишет о Гоголе Х. Маклин. Естественно, что он не согласен с утверждением Белинского, что Гоголь служит Правде; для него автор «Ревизора» и «Мертвых душ» — «один из самых фантазирующих и искажающих действительность писателей». Выходит, что современный американский профессор лучше знает, чем Белинский, какова была действительность при Гоголе, получается, что уподобление искусства Гоголя трюкам на трапеции лучше характеризует его, чем служение правде. Профессор не замечает, что все это просто смешно.

Если творчество Пушкина и Гоголя лишается под пером Х. Маклина содержательности и смысла, то произведения великих реалистов второй половины XIX века (Тургенева, Л. Толстого, Достоевского) он, как уже говорилось, представляет перегруженными исключительно «внеэстетическими обязанностями» — социальными, нравственными, философскими. К тому же реализм, по мнению Х. Маклина, в сущности своей является иллюзионизмом, так как Правда изображения в произведениях реалистического искусства сводится им к стилистическим фокусам, заставляющим читателя поверить в реальность воображаемых людей и воображаемых событий. В силу всего этого реализм кажется Маклину внутренне слабым.

Но не странно ли представлять Тургене-

ва, Толстого, Достоевского писателями, озабоченными лишь содержанием своих произведений и пренебрегающими проблемами художественности и литературной формы? И вместе с тем, как ни пытайся отрицать связь их произведений с действительностью («мешок фокусов», «иллюзионизм» и т. п.), все равно каждому читателю ясно, что правда жизни является сильнейшей и определяющей чертой их произведений.

Вообще при обращении к русскому реализму 60—70-х годов метод и схемы Х. Маклина терпят наиболее очевидный и полный крах. С одной стороны, эта эпоха была, по его словам, «одной из наиболее антихудожественных эпох в истории литературы», так как литература стала «всеобщим вьючным животным», на которое был «навален тяжелый вьюк социологии, психологии, этики и метафизики и возложены многообразные внеэстетические обязанности». С другой стороны (в полном противоречии со своими принципами), Х. Маклин вынужден признать, что это был «золотой век русской прозы», когда «великолепные литературные шедевры выходили в свет чуть ли не каждый год, а иногда и чаще», когда русские писатели «исследовали такие глубины человеческого сердца, брали штурмом такие метафизические высоты, на которые не осмеливался посягнуть ни один западный писатель». Объяснить это «противоречие» Х. Маклин не в силах. «Они все же каким-то образом умудрялись создавать художественные шедевры»,— только и может он сказать о русских писателях того времени. Это ли не банкротство «эстетической критики»?

Х. Маклину невдомек, что в действительности никакого противоречия не было, что, обратившись к решению глубоких социальных, нравственных и философских проблем, русская литература не только не взяла на себя чуждых искусству «внеэстетических нагрузок», но, напротив, сделала огромный шаг вперед в художественном развитии человечества. Белинский, Чернышевский, Добролюбов совсем не уничтожали искусство (как полагает Маклин), но указывали ему путь к величию и славе. В том, в чем Х. Маклин видит слабость русской литературы, заключается ее сила.

Х. Маклин уверяет, что уже в конце XIX века с реализмом в русской литературе было покончено и «все командные высоты русской литературы оказались в руках символистов». «Бальмонт заворожил читателей чувственной музыкой своих стихов... Брюсов добавил к этому демонстрацию до той поры неисследованных формальных и тематических возможностей поэзии... Они сбросили с литературы тяжкий груз ответственности, который возложил на нее Белинский»,— пишет Х. Маклин. Столь восторженное отношение его к «опытам» Бальмонта и Брюсова (при более сдержанной оценке поэзии Блока) не случайно. Иного и нельзя ожидать от профессора, который видит в литературе «словесную игру», а познание и воспитание относит к внеэстетическим обязанностям искусства. Что же касается завоевания символистами командных высот в литературе, то так может рассуждать лишь историк, «позабывший» о Горьком, Бунине, Куприне и писателях-«знаньевцах», о движении к реализму Блока и Маяковского.

Заметим кстати, что в своих рассуждениях о русской литературе Х. Маклин «упустил из виду» и многих других, не укладывающихся в его схемы писателей. Так, ни одним словом не обмолвился он о Радищеве. Не потому ли, что профессор безуспешно пытается свести литературу XVIII века к «уроку царям и дворянству»? Не удостоился внимания в статье и Салтыков-Щедрин. Не потому ли, что его произведения невозможно отнести к «иллюзионизму», изобретенному автором статьи? Выпали из обзора Лермонтов, Герцен, Некрасов. Несомненно, они тоже мешали Х. Маклину рассматривать литературу как «словесную игру». Можно посочувствовать профессору, оказавшемуся в трудном положении, но отметить предвзятость нарисованной им картины русской литературы — необходимо.

III

Итак: натяжки, субъективные домыслы, умолчания...

Но совсем обнажается смысл и характер выступления Х. Маклина, когда он обращается к советской литературе. Здесь он открыто заговорил на языке недоброжелательства и перешел к прямым наветам. Можно подумать, что и рассуждения о функциях литературы и обзор истории русской литературы понадобились Маклину для того, чтобы попытаться развенчать советскую литературу.

А. ДЕМЕНТЬЕВ
ОНИ «ДИСКУТИРУЮТ»

Уже критически трактуя реализм XIX века («иллюзионизм», «гносеологизм», «скрытый дидактизм» и т. п.), Х. Маклин счел нужным забежать вперед и, так сказать, обратиться к современности. «Через много лет после него (реализма.— *А. Д.*) принципы — или, вернее, принципы, якобы из них выведенные,— были навязаны русской литературе во имя социализма»,— пишет он. Выходит, что рассуждения о перегруженности реализма «внеэстетическими обязанностями» нужны Х. Маклину для того, чтобы позднее обратить их против социалистического реализма. Выходит, что теоретические и исторические рассуждения об «автономии искусства» нужны ему для того, чтобы позднее обвинить советскую литературу в отсутствии творческой свободы. Но стоило ли начинать столь издалека, чтобы прийти к таким обычным для буржуазной пропаганды заключениям? Октябрьская революция освободила искусство и литературу от власти капитала, вывела их из душной атмосферы буржуазного общества и сделала достоянием народа, частью общенародного дела. Требование автономии искусства, если оно направляется против революции, социализма, народа, несомненно, принимает фальшивый и реакционный характер.

Х. Маклин считает, что Октябрьская революция не внесла в русскую литературу никаких принципиальных изменений и даже «не оказала большого влияния на философию литературы, на ее представление о своей роли». Это, конечно, не заблуждение и не слепота, а недобросовестное, предвзятое стремление принизить значение революции. Но стремление бессильное. Для каждого непредубежденного зарубежного читателя очевидно, что Октябрьская революция вызвала коренной перелом в русской литературе, в результате которого в нашей стране получила развитие литература с новым содержанием и мировоззрением, новым героем, новым отношением к государству.

Это настолько бесспорно, что не нуждается в сколько-нибудь пространных доказательствах. «Новое искусство всегда рождается с новым человеком»,— заметил известный немецкий поэт Бехер. И достаточно вспомнить о героях советской литературы — рабочих, крестьянах, интеллигентах, осуществляющих великую революцию, защищающих ее завоевания с оружием в руках, строящих коммунизм,— чтобы убедиться в ее новаторском характере. Х. Маклин допускает (в отличие от Г. Струве), что в творчестве Маяковского осуществился союз поэзии с революцией, государством, коммунистической идеологией. Но почему же он не хочет распространить это понимание поэзии Маяковского на многие другие явления советской литературы? Не потому ли, что тогда стали бы очевидными принципиальные изменения, внесенные революцией в русское искусство?

Даже язык, стили и формы повествования и стихотворения, то есть те стороны литературы, которые изменяются сравнительно медленно и не столь заметно, в результате революции стали во многом новыми.

Представления Х. Маклина о путях развития советской литературы тоже ничем не отличаются от обычных для буржуазной пропаганды измышлений. Как известно, в нашей литературе 20-х годов шла острая борьба между новым и старым. Х. Маклина, естественно, интересует здесь (если не считать вынужденных признаний по части Маяковского) только то, что, как ему кажется, попахивает антиреализмом, «этическим релятивизмом», защитой «автономии искусств». Столь же понятно, что в дальнейшем, когда советская литература утвердилась на позициях социалистического реализма, она утрачивает для него всякий интерес. В обзоре Х. Маклина не упоминаются даже Горький, Шолохов, А. Толстой, Л. Леонов. Цепляясь за недостатки, которые были свойственны советской литературе в период культа личности, он пытается замолчать ее мировую популярность и огромную роль в строительстве коммунизма, в борьбе против фашизма и реакции за мир, за осуществление самых светлых идеалов человечества. Спорить по этому вопросу с Х. Маклином мы не станем. Его болтовня стала слишком беспардонной, ни к истине, ни к справедливости она не имеет никакого отношения.

Осталось сказать о выступлениях Р. Мэтьюсона и Г. Струве.

Без всякого ущерба для дела здесь можно ограничиться несколькими замечаниями. В сущности почти никаких разногласий между тремя участниками «дискуссии» нет, и все они повторяют друг друга и поддакивают друг другу.

Велико ли, например, различие между формалистом Х. Маклином и компаративистом Р. Мэтьюсоном? И тот и другой рассматривают историю литературы как историю ее форм и стилей в отрыве от историче-

ской почвы. Не удивительно, что Мэтьюсон считает картину, созданную Маклином, точной и убедительной. Только он при этом всячески старается убедить читателей в несамостоятельности русской литературы.

С точки зрения Мэтьюсона, русская литература не способна породить свои собственные формы и традиции и всегда находилась в зависимости от западноевропейской литературы. Когда русская литература порывала контакты с Западом, они хирела и приходила в упадок. Мэтьюсон утверждает даже, что русская литература «не создала ни одной литературной формы, не положила начала ни одному новому литературному движению».

Взгляд не новый. Политический подтекст подобных рассуждений давно ясен, научная же их ценность равна нулю. Профессор как будто бы забыл об огромном мировом влиянии русской литературы (Л. Толстого, Достоевского, Чехова, Горького и других), о том, что в России еще в середине XIX века были созданы такие новые и уникальные по своей литературной форме произведения, как «Мертвые души», «Былое и думы», «Война и мир», что у русской литературы есть свои глубокие национальные традиции, восходящие к богатейшему фольклору, к «Слову о полку Игореве», к «Житию протопопа Аввакума» и другим произведениям древней литературы.

Разумеется, многосторонние литературные взаимодействия нуждаются в изучении, и невозможно начисто отрицать значение опыта западноевропейской литературы для русской. Но от этого позиции Р. Мэтьюсона не становятся менее нелепыми.

Картина русской литературы, нарисованная Х. Маклином, представляется бесспорной и Г. Струве. Он только сетует по поводу полного пренебрежения Маклина к русской литературе вне России — к эмигрантской литературе. По его же, не раз высказывавшемуся мнению, эмигрантская литература превосходит русскую, советскую литературу и «может оказаться важным историческим фактором». Однако здесь Г. Струве неожиданно получил сильный и заслуженный отпор от своего же коллеги. Отвечая Струве, Х. Маклин заявил, что в эмигрантской литературе невозможно усмотреть «новые интересные этапы развития русской литературы», что она ограничена узостью своей аудитории и отрезанностью от основных источников своего материала. «Эмигрантская литература постепенно вымирает, а мертвая традиция вряд ли может оказать существенное влияние на советскую литературу»,— пишет Х. Маклин.

Впрочем, Х. Маклин вообще безнадежно смотрит на перспективы развития советской литературы. С поразительным высокомерием он и его «оппоненты» утверждают, что «русская культура не может иметь существенного бытия помимо Европы», что русским будто бы надо узнать, что же такое литература на самом деле и как надо браться за ее создание.

И после этого американские профессора осмеливаются приглашать нас к «творческой беседе с Европой». Известно, что мы и без их приглашений охотно беседуем со всем прогрессивным человечеством, с представителями передовой культуры всего мира, но разве можно вести беседу с людьми, которые под видом науки и искусства занимаются пропагандой «холодной войны» и духовной реакцией, клевещут на наш строй и культуру?

Когда (года два назад) в США вышел в свет специальный — советский — номер журнала «Атлантик», довольно объективно знакомящий американцев с литературой и искусством нашей страны, некто Губерт Филипс из Фресно (Калифорния) писал редактору журнала: «Сэр! Спасибо вам за июньский номер «Атлантик», в котором столько места отведено русскому искусству. На меня как бы повеяло свежим ветром. Этот номер журнала служит залогом того, что оковы, державшие в тисках наши умы, шоры, мешавшие нам видеть все, что касается новой России, постепенно будут убраны».

Однако надеждам Губерта Филипса не так-то легко сбыться. Слишком сильны в США охотники держать в оковах умы простых людей, скрывая от них правду о новой России. Удержать народ в шорах стараются не только реакционные политические деятели типа покойного сенатора Маккарти, но и профессора вроде Маклина, Мэтьюсона, Струве.

Они — «слависты» и стремятся представить в ложном свете русскую и советскую литературу, дискредитировать реализм и возвеличить формализм и декадентство. Попытки эти обречены на провал, ибо нет в жизни ничего сильнее идей правды и гуманности — тех идей, которые несла и несет в мир наша литература.

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

ЧТО НУЖНО СКАЗАТЬ ЛЮДЯМ

Заметки о книгах Антуана де Сент-Экзюпери

«Он погиб, как герой, не дожив трех недель до освобождения Франции. В его книге было много поэзии, летной романтики, любви к людям».

Юрий Гагарин

Биография Сент-Экзюпери достаточно романтична. Летчик-профессионал, один из лучших асов Франции, он многие годы работал на воздушных трассах, пролегающих над Африкой и Южной Америкой. Товарищи его любили и восхищались его летным мастерством. Он летал в труднейших условиях, по неизведанным воздушным путям. Над пустынями, морями и океанами. Без радио. Он летал бок о бок с сильными, мужественными людьми. И о них он рассказал в своих книгах, когда стал писателем.

В годы войны капитан де Сент-Экзюпери сражался в составе военно-воздушных сил Франции. После поражения Франции эмигрировал в Америку, затем сражался над североафриканским побережьем, участвовал в боях за освобождение Сицилии, был несколько раз ранен. Уволен в резерв. Но опять настоял на своем возвращении в авиацию, совершил много боевых вылетов и погиб между Корсикой и Южной Францией 31 июля 1944 года.

В одном из последних писем с фронта Антуан писал своей матери: «Если я вернусь, буду думать только о том, *что нужно сказать людям.*»

Сент-Экзюпери никогда не интересовался «избранными». Он жил, боролся и писал для людей и во имя людей.

Он был боевым летчиком и боевым корреспондентом.

В 1935 году Сент-Экзюпери посетил Советский Союз и опубликовал в «Пари суар» цикл очерков, написанных в духе доброжелательства и дружбы. Он написал много очерков о гражданской войне в Испании, очерков, проникнутых большой тревогой за судьбы мира.

Литературное наследство Антуана де Сент-Экзюпери невелико — несколько книг, написанных между 1929 и 1944 гг. («Южная почта», «Ночной полет», «Земля людей», «Военный летчик», «Письмо к заложнику», «Цитадель», «Маленький принц»).

В книгах Сент-Экзюпери эпически спокойное повествование сочетается с напряженным лиризмом, философские обобщения — с репортажем, глубокий психологический анализ — с импрессионистскими зарисовками.

Мало можно найти в современной литературе книг, в которых профессионально точно и в то же время с романтическим лиризмом были бы переданы все оттенки мыслей, чувств, переживаний пилота в ночном полете. Книги Сент-Экзюпери — это прежде всего рассказ о труде во всех его неповторимых и сложных деталях. Сент-Экзюпери немногословен. Он ненавидит позу и декламацию. Летчики, его друзья, — это прежде всего люди трудной профессии. «Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле, как кузнец о своей наковальне». Это ощущение полета как сложного и напря-

женного труда и в то же время труда любимого, овеянного настоящей суровой романтикой, особенно ярко возникает в двух произведениях — «Ночной полет» и «Земля людей».

Сюжет повести «Ночной полет» весьма динамичен. Летчик Фабьен гибнет в ночном полете после долгой и напряженной борьбы с воздушными бурями. Однако директор Ривьер, преодолев минутные колебания, дает приказ продолжать ночные полеты. Его друг Фабьен пал в бою, но битва продолжается. Стартует новый самолет. «...Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд... Опережая тех слабых, которые завтра отрекутся от него, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж».

Тема сурового труда летчиков возникает и в книге «Земля людей», представляющей собою цепь отдельных эпизодов.

«Волшебство моего ремесла раскрывает передо мною мир, где через два часа ждет меня схватка с черными драконами, с вершинами, увенчанными прядями синих молний, мир, где с наступлением ночи, раскрепощенный, я веду свой путь по звездам». Трудовая «проза» полета пронизана настоящей романтикой суровой борьбы. Эта борьба не связана с отдельными исключительными подвигами. Это борьба героев будней, борьба упорная, каждодневная. Один из друзей Сент-Экзюпери, известный летчик Мермоз, «освоил Анды», выработав технику перелета через них, «приручил ночь», потом «принялся за океан». В 1931 году почту впервые доставили из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. «Так покорял пески, горы, ночь и море Мермоз. Не раз поглощали его пески, горы, ночь и море. Но, возвращаясь, он каждый раз снова пускался в путь». Мермоз не был героем воздушных боев. Он был обыкновенным летчиком почтовых линий. Он погиб, «свершив дело своей жизни, подобно тому как жнец засыпает в поле, аккуратно связав последний сноп».

Эта романтика, окрашивающая трудное будничное дело, пронизывает всю книгу Сент-Экзюпери: «Я чувствую себя крестьянином аэродрома... Я не сожалею ни о чем. Я играл и проиграл. Таково мое ремесло. А все же я дышал им, воздухом моря! Кто хоть раз отведал его, не забудет этой пищи!.. И дело не в том, чтобы жить среди опасностей... Мне вовсе не по сердцу тореадоры. Я люблю не опасности, я знаю, что я люблю — жизнь».

Философия Сент-Экзюпери — это философия мужества и самопожертвования, гуманистическая философия высокого долга перед человечеством.

Его герои трудятся и борются не во имя позы или авантюристской любви к любым опасностям. Они любят жизнь, любят человека, хотят помочь людям. И в то же время они ненавидят людей консервативных, косных, мечтающих только о покое. К одному из таких «людей покоя» обращается автор в книге «Земля людей»: «Ты построил свой покой, заделывая, подобно термитам, все выходы к свету. Ты свернулся калачиком в своем буржуазном благополучии, в рутине, в давящих обрядах провинциальной жизни, ты возвел эту жалкую ограду от ветра, от приливов, от звезд. Ты не хочешь волновать себя решением больших проблем, тебе и так нелегко забыть о том, что ты человек... Ты — тулузский мещанин».

Философия Сент-Экзюпери — это философия борьбы с маленьким, узким, эгоистическим, мещанским мирком. Писатель как бы предваряет провозглашенный позже девиз Поля Элюара: «От горизонта одного к горизонту всех» (хотя мы и не найдем у Сент-Экзюпери политической, партийной четкости в трактовке этого лозунга). Действие у Сент-Экзюпери это не «бескорыстное», бесцельное действие героев Андре Жида. Это борьба за счастье людей. «Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том, что оно объединяет людей».

Нет, он ненавидит не только «людей покоя», он ненавидит и тех, кто бравирует своим пренебрежением к смерти, авантюристов, людей бесцельного действия: «Плевать я хотел на пренебрежение к смерти. Если в основе его не лежит сознание ответственности, оно лишь признак нищеты духа или избытка юношеского пыла». Герои Сент-Экзюпери как бы полемизируют с героями Андре Жида и Андре Мальро. Они постоянно ищут, борются, не страшась смерти, но они действуют во имя созидания, во имя любви. Сент-Экзюпери ненавидит «людей покоя», но он верит в настоящих людей, он любит их. Он показывает их во весь рост. Таков и летчик Мермоз, и летчик Фабьен, и летчик Гийоме, говоря о котором, автор вспоминает мужественного са-

довника. «Земля, которую он оставлял, была для него целиной. Вся планета была целиной. Он был связан любовью со всей землей, со всеми деревьями на земле. Это он был великодушным, щедро расточающим свои силы хозяином земли. Это был мужественный человек, и, подобно Гийоме, он боролся со смертью во имя созидания, во имя человеческого призвания».

Действительность, полная опасностей, жизнь во имя счастья человечества дает героям Сент-Экзюпери полное удовлетворение. Он ненавидит людей, мечтающих только о личном, мещанском, маленьком уюте, «жителей маленьких городков, что кружатся вечерами вокруг музыкальных беседок...» (как не вспомнить здесь острого стихотворного памфлета Рембо «На музыке»). «Видите ли, Робино,— говорил Ривьер.— В жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать, тогда придут и решения».

«Земля людей» (1939) принесла Антуану Сент-Экзюпери общее признание и славу. Французская академия присудила ему свою Большую премию.

Некоторые литературоведы сразу причислили его к классикам XX века. Но мало кто знал, каких трудов стоила автору эта небольшая лаконичная книга.

Отдельные главы Сент-Экзюпери переписывал по 30 раз. В записных книжках автора сохранились предварительные наброски, планы, разработка различных линий сюжета. Словарь. Проблематика. Готовясь к работе над книгой, Сент-Экзюпери мечтал показать во весь рост человека, борющегося со своими слабостями и преодолевающего их. Писателя волновали человеческие отношения: товарищество, дружба, любовь. Его занимал вопрос: что такое героизм в истинном понимании этого слова?

Все это интересовало Сент-Экзюпери не только в связи с его профессией летчика. «Нет, не только самолет привел меня в литературу,— пишет он в дневнике,— если бы я был шахтером, я нашел бы подобный материал и под землей».

К проблемам, поставленным в «Земле людей», привели автора и испанский фронт, и путешествие в СССР.

Но, конечно, любовь к авиации сыграла решающую роль в работе над книгой.

Он писал матери о счастье, которое он испытывает в полете, о раздумьях своих, о необычной радости, которую постигает в борьбе с воздушной стихией.

Но самолет — это не цель, а средство, орудие. В полете человек так же познает вечную природу, как в своих областях жизни — садовник, мореплаватель, поэт.

Самолет был средством познания мира для Сент-Экзюпери и как для пилота и как для писателя. И всегда, даже в беспредельных просторах воздушного океана, он думал о Земле... О земле людей.

Мнения критики о книгах Сент-Экзюпери не совпадали.

Но в одном справедливо сходились все: Сент-Экзюпери прекрасно сочетал в своем творчестве опыт летчика и высокий талант поэта.

«Огромная значительность Сент-Экзюпери в том,— писал Ричард Олдингтон,— что он представляет собою как бы сплав человека подлинного действия, мыслителя, моралиста и художника».

Однако этот сплав не имел бы должной крепости, если б не одно определяющее качество Сент-Экзюпери: его гуманизм, его вера в людей. Сент-Экзюпери нашел в обеих своих профессиях — летчика и писателя — *средство служить человечеству.*

Он мечтал всегда о большой человечности мира, о науке и технике, которые будут служить людям, об улучшении человеческих отношений и условий человеческого существования.

И вместе с тем любовь его к человечеству носила чересчур всеобъемлющий, абстрактный характер. Сочувствуя левым, прогрессивным кругам, он боялся оказаться «завербованным» (engagé), боялся потерять свою политическую «независимость».

Типичная для многих даже прогрессивных деятелей социальная слепота мешала ему видеть все обостряющуюся классовую борьбу во Франции и во всем мире.

«Почему нужно ненавидеть? — вопрошал он.— Мы ведь все собрались на одной планете, являемся пассажирами одного корабля». Он хотел всеобщего братства. Он был гражданским летчиком и ненавидел войну. Но враги вторглись на землю Франции. И он сел за штурвал военного самолета.

Его, уже прославленного писателя, не хотели подвергать опасностям войны. Ему предлагают место в министерстве информации. Сент-Экзюпери отказывается.

Военный министр подписывает приказ о назначении его в тыловые части. Сент-Экзюпери рвет назначение.

Он пишет в одном письме: «Я солдат, а не турист». И вот капитан Сент-Экзюпери на фронте. Он совершает по четыре вылета в день.

Война по-прежнему внушает ему отвращение.

Он заявляет: «Я не люблю войны. Но я не могу сидеть в тылу. Я обязан принимать участие в боях».

И он пишет рапорт с просьбой послать его на самые опасные участки. Перевести из бомбардировочной авиации в истребительную.

В письме другу, который имел влияние в среде военного командования, он настойчиво просит:

«Над всем, что я люблю, нависла угроза. В Провансе, когда пылает лес, всякий, кто не подлец, берет ведро или заступ. Я хочу принять участие в войне во имя любви, во имя внутреннего побуждения. Я не имею права быть в стороне. Помоги мне как можно скорее перейти в истребительную эскадрилью».

С ноября 1939 года Сент-Экзюпери в Шампани. В разведывательной авиации.

Здесь он находит новых друзей, новых соратников, постигает новую сущность героизма.

«Эту сущность (substance),— писал Сент-Экзюпери,— я нашел в своих новых товарищах Гавуале и Израэле, так же как я находил ее в Гийоме».

Его товарищи по оружию борются не потому, что они любят войну, а «чтобы спасти цивилизацию». У каждого свое лицо, свои стимулы, своя неповторимая биография. Они все разные. Может быть, немногие из них обладают утонченным интеллектом. Но он всех их любит любовью брата и соратника. Здесь, на фронте, рождается у Сент-Экзюпери замысел новой книги. Она будет называться «Военный летчик». Она будет посвящена его товарищам по эскадрилье, так же как «Огонь» Анри Барбюса посвящен товарищам по взводу.

Он подробно пишет о своем замысле Жоржу Пелисье.

Поздно ночью после насыщенного боевого дня капитан Сент-Экзюпери сидит на ферме и пишет. Дневники. Записные книжки. Наброски новой книги. Он пишет обо всем. И о своих товарищах-летчиках. И об опасностях. И об отдыхе. И о кухне. И о фермерше с головой Минервы, и о разговорах своих с крестьянами-фермерами, помнящими еще 1870 и 1871 годы. И о детях, любовь к которым никогда не иссякала.

Все это потом найдет свое место в «Военном летчике». Он пишет об экипаже своего самолета (пилот, наблюдатель, стрелок). И об опасных разведках, о полетах над Кельном и Дюссельдорфом. Об огне вражеских зениток и встречах с немецкими истребителями.

Кончается первый период войны, так называемая «странная война» («drôle de guerre»).

Трагедия началась в мае 1940 года.

Виновники разгрома Франции не обеспечили фронт должным количеством боевых машин.

За первые три недели военных действий эскадрилья Сент-Экзюпери потеряла 17 экипажей из 23. Из центра идут глупые приказы, приводящие к ненужным жертвам. Сент-Экзюпери и его друзья не раз находятся на волосок от смерти.

Разброд. Беспорядок.

Бесполезные смерти, гибель друзей заставляют страдать Сент-Экзюпери. Он никогда не мог примириться со смертью. Он никогда не принимал ее как фатальный и неизбежный рок.

Он снова и снова идет в бой. Он сурово критикует военное и государственное руководство. «Как хочется схватить за руку ответственного за этот беспорядок и, уничтожив его, спасти то, что возможно...»

Бесславное перемирие. Бóльшая часть Франции оккупирована гитлеровцами. Аэродром Алжира. Вынужденное безделье. Горькие раздумья о страданиях своей страны.

Надо всем, что любил Сент-Экзюпери, нависла угроза уничтожения. Бесцельны были героические подвиги, мужество, жертвы его друзей.

...5 августа 1940 года Сент-Экзюпери уезжает к матери, в район Марселя. Он хочет продолжать борьбу. Но где, в каких отрядах, под чьим командованием?

Он глубоко страдает от вынужденного бездействия.

В эти дни он начинает писать свою самую трагическую книгу, книгу разочарования и безверия. «Цитадель».

Возникает мысль о поездке в Соединенные Штаты Америки. За помощью к Рузвельту. В Америке его знают, недавно

его чествовали. Его призыв может сыграть немалую роль.

У него сейчас нет возможности летать. Но он должен бороться другим оружием. Писать. Поэтому он и едет в Америку. Там ему предоставят возможность писать. Там будет легче.

Он должен рассказать всему миру о причинах поражения Франции. Он имеет на это право. Он сам все пережил. Сам испытал. И это его долг.

Сент-Экзюпери в Соединенных Штатах. Здесь он закончил книгу «Военный летчик». Она произвела впечатление разорвавшейся бомбы.

Книга «Военный летчик» не похожа на «Землю людей». Это не только рассказ о замечательных людях, о товарищах по эскадрилье. Это и обвинительный акт против тех, кто виноват в разгроме, кто отвечает за сотни и тысячи погибших патриотов. Суровое обличение виновников катастрофы и неумирающая вера в единение простых людей.

Как и во всех предыдущих своих книгах, Сент-Экзюпери резко выступает против войны: «Война не приключение. Война — болезнь. Как тиф».

Но если война развязана, он не может быть в стороне, не может остаться безучастным созерцателем. «Для того чтобы видеть, нужно прежде всего участвовать». «Мне всегда отвратительна была роль свидетеля. Кто же я такой, если не участник общего дела? Чтобы сознавать свое бытие, я должен участвовать»... «Я часть Гийоме, я часть Гавуаля, я часть Ошедэ. Я часть полка 2/33. Я принадлежу моей стране. И все из моего полка принадлежат ей»...

Знакомые интонации. Они близки интонациям книги Анри Барбюса, посвященной «пролетариям битв».

Гневно и убежденно пишет Экзюпери о необходимости решительного сопротивления фашизму. И не менее гневно осуждает всякие попытки лубочного изображения войны. Беспощадно бичует министров и генералов — виновников неподготовленности страны к отпору гитлеризму. Беспощадно обличает правителей Франции, виновников катастрофы и разгрома.

А рядом с этими гневными словами осуждения — десятки страниц, пронизанных горячим чувством дружбы и любви к своим товарищам по эскадрилье, к простым людям своей страны, во имя счастья которых взлетел Антуан де Сент-Экзюпери в военное небо, во имя жизни которых он согласен пожертвовать собственной жизнью. С предельной искренностью он пишет о настоящей любви, о братстве, о чувстве «единения, делающего нас людьми», о простых людях, которые плечом к плечу выполняют свой истинный долг.

Книга «Военный летчик» явно полемична. Она направлена против тех «жрецов человеческого духа», которые, подобно Андре Жиду, с презрением писали о простых людях Франции, будто бы мечтающих только о личном достатке, о «хлебе насущном», будто бы не способных страдать по причинам духовного характера (так сказано в «Алжирском дневнике» А. Жида).

«Нет,— страстно восклицает военный летчик капитан Антуан де Сент-Экзюпери,— нет,— восклицает писатель Экзюпери,— я чувствую себя связанным не только с товарищами. Через них я связан со всей моей страной... Хлеб — это не только телесная пища. Кормить человека — совсем не то, что откармливать скотину... Мы научились видеть в хлебе средство общения людей, благодаря хлебу, преломляемому за общей трапезой. Мы научились видеть в хлебе образ величия труда, благодаря хлебу, добываемому в поте лица. Мы научились видеть в хлебе основного проводника сострадания, благодаря хлебу, раздаваемому в годину бедствия. Сладость разделенного хлеба несравнима ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба... оказывается под угрозой...»

Писатель говорит об истинном свете гуманизма, озаряющем землю. «Сражаясь, я думал больше о том, чтобы спасти именно этот свет, а не телесную пищу. Я сражался за особое сияние, в которое преобразуется хлеб в нашей стране»...

Книга имела огромный успех. Но все же она звучала, как реквием, как похоронный марш. Сент-Экзюпери прославлял погибших, но он не знал, кто сумеет спасти Францию. Судьба сыграла с ним грустную шутку. Он мечтал о Сопротивлении немцам. Но рядовых макиссаров, партизан он не знал. А голлистам не верил. Их-то он знал хорошо, этих самоуверенных офицеров, выполнявших приказы из Лондона. Они казались ему похожими на вишистов, на петеновцев. Он не хотел прославлять их.

И тогда они обвинили его... в вишизме.

Точно крик горечи и негодования, вылилась у него маленькая книжка «Письмо к заложнику».

«Истинные французы,— восклицал он,— дерутся не в Лондоне и не в Америке. Они дерутся во Франции. Они — заложники». Он писал о героическом прошлом своего народа. Но это прошлое не нужно больше людям, которые оставили свою родину и не хотят по-настоящему за нее бороться. Они пытаются играть какую-то роль. Но это фальшивая, ложная игра.

С тоской писал он о блудных детях, у которых нет даже дома, куда они могли бы вернуться. Острая горечь пропитала его слова о трагедии изгнания, о том, как любил он родину и в воздушных океанах, и в песках Сахары.

«Как хорошо ждать телеграммы, которая придет глубокой ночью, которая призовет тебя: Вставай! Приди! Ты мне нужен...»

Днем и ночью ждал он такой телеграммы с родины, от «заложников», которые там боролись, которым он хотел помочь. Но... телеграмма не приходила.

Он говорил себе: надо жить во имя возвращения... Но телеграмма не приходила.

Может быть, именно здесь, в изгнании, среди тысяч чужих людей, он, досконально изучивший Сахару, узнал, что такое пустыня. Но это было совсем другое безмолвие. Совсем другая тишина.

И он все ждал призыва от друга, о котором не знал ничего, кроме того, что он существует.

Высшего пафоса достигает Сент-Экзюпери в своем «письме» там, где он обличает тоталитарную фашистскую систему.

Еще и еще раз подчеркивая необходимость уважать человека, говоря о Человеке с большой буквы, Сент-Экзюпери призывает к созданию единого фронта борьбы против нацизма, который может объединить людей разных взглядов, убеждений и верований, «тех, кто верит в небо, и тех, кто в него не верит», как сказал бы Арагон.

И опять, спускаясь с пафосных вершин публицистики в глубокую интимную лирику, Сент-Экзюпери обращается к своему другу-еврею, оставшемуся в оккупированной Франции.

Только помогая своему другу, помогая тем, кто находится под угрозой, Сент-Экзюпери сумеет жить с поднятой головой, сумеет улыбаться людям.

«Ты под двойной угрозой. Как француз и как еврей. Я ощущаю биение твоего сердца, как своего собственного...»

Так входит в эту небольшую книгу благородная интернациональная тема...

«Письмо заложнику» кончается на высокой ноте призыва к борьбе, к помощи «сорока миллионам заложников», находящимся на французской земле.

По настроению своему эта книга близка «Земле людей». И вместе с тем элементы абстрактного, надклассового гуманизма, которые имели место и в «Земле людей», здесь развиты еще более отчетливо, что, несомненно, ослабляет, амортизирует удар, который наносит Сент-Экзюпери фашизму.

В ожидании боевых дней Сент-Экзюпери много писал. Кроме «Военного летчика» и «Письма к заложнику», он (неожиданно прервав работу над «Цитаделью») написал сказку «Маленький принц».

Сказка писалась легко и радостно. Это была разрядка среди мучительных раздумий над рукописью «Цитадели». Он прочел ее немногим друзьям, среди которых был Андре Моруа.

Беспокойный, ищущий, дерзающий писатель-воин нежно, проникновенно любил людей. На его многоцветной палитре можно найти тончайшие лирические тона. И потому рядом с книгами «Земля людей», «Ночной полет», «Военный летчик» такое значительное место занимает лирическая сказка о любви — «Маленький принц».

Автор мечтает о человеческом братстве, о преодолении одиночества. И вместе с тем он ненавидит холодных, черствых, равнодушных людей. Это сказка и для больших, и для маленьких. Юный принц «жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга...»

Фантастика, аллегория сказки чисты и прозрачны. Человек один быть не может, сказал когда-то герой романа Хемингуэя «Иметь и не иметь». «Это очень печально — когда забывают друзей. Не у всякого есть друг»,— говорит автор сказки «Маленький принц». Человек, который не ищет друзей, не любит их, черствеет и засыхает.

В этой сказке, напоенной ароматами далекой розы, освещенной отблесками кристальной, холодной воды родников, опаленной солнцем пустыни, пронизанной глубоким лиризмом настоящих человеческих чувств, находится место и для сатиры. С

каким сарказмом рассказывает автор о короле без подданных, о холодном дельце, накопителе и стяжателе, о влюбленном в себя честолюбце, о беспробудном пьянице. Из всех обитателей маленьких планет герой сказки мог бы подружиться только с одним фонарщиком. Правда, труд фонарщика был бессмысленным — он беспрестанно зажигал и гасил свой фонарь,— но это все-таки был человек труда, человек, верный своему слову и обязанностям.

«Маленький принц» — чуть грустная лирическая сказка о большой любви к людям, о вере и мужестве.

Сент-Экзюпери ничем не в силах был помочь своей угнетенной родине. Он жадно читал все сообщения о подвигах советских летчиков. Как он завидовал им...

Ранней весной 1943 года Сент-Экзюпери прибыл в Африку, чтобы принять участие в освобождении «заложников». Он занимает свое место в бою.

В одном из дружеских посланий он писал: «Если меня собьют, я ни о чем не пожалею...» Лучше смерть в полете, чем серая, тусклая жизнь.

В его мозгу зрел уже план новой книги. В ней должен был отразиться подъем последних месяцев. Она должна была продолжить «Землю людей», а не «Цитадель». Его родина сбрасывала фашистское ярмо. «Заложники» боролись. И он помогал им в борьбе. Он уже мечтал о том, как сядет на аэродром освобожденного Парижа.

Его не любили деголлевские сановники, но высоко ценили коммунистические депутаты, вошедшие летом 1944 года во временное правительство де Голля.

Фернан Гренье, один из героев Сопротивления, назначенный в те дни комиссаром по делам авиации, впоследствии вспоминал: «...передо мной в моем кабинете сидел Антуан де Сент-Экзюпери, писатель, сумевший столь верно отразить героическую жизнь авиаторов в своих повестях «Ночной полет», «Южная почта», «Военный летчик»... Я был убежден, что Сент-Экзюпери при его великолепном знании авиации и выдающемся таланте является единственным писателем, который после войны сможет создать эпопею о героических подвигах наших эскадрилий, в частности, эскадрильи «Нормандия-Неман». Мой собеседник, невзирая на свои 44 года, служил в боевом подразделении. Осторожно и, думается мне, с необходимым тактом я перевел беседу на тему о том, какую пользу могут принести его будущие книги французской авиации.

Он быстро понял, к чему я клоню.

— Господин министр, я читал две ваши брошюры: одну о Шатобриане, а другую о франтирерах... Что за чудо наш народ!.. Каждый должен бороться, чтобы приблизить час освобождения...— И, весело рассмеявшись, он добавил тоном, исполненным оптимизма: — Тьфу, тьфу, не сглазить бы, но я верю в свою счастливую звезду...

Такая уверенность восхитила меня. Взволнованный, я крепко пожал ему руку, еле удержавшись, чтобы его не расцеловать.

Через несколько недель Сент-Экзюпери погиб...»

31 июля 1944 года Сент-Экзюпери готовился к очередному разведывательному полету — в район Аннеси и Гренобля.

...Утро. Как всегда, он еще раз вместе с механиком внимательно проверяет самолет. Надевает специальный костюм для высотных полетов.

Последний привет друзьям, остающимся на земле. Газ. «Лайтнинг» в воздухе.

Он летит над Альпами. Внизу мелькнула узкая лента реки Леман. Дорога на Лион... Родной город Сент-Экзюпери. Там еще фашисты... Там где-то в подполье выходят партизанские газеты.

Горы, долины, реки родины.

Там еще фашистские базы, фашистские аэродромы, фашистские танки.

Он берет прицел и делает снимки. Внизу живут, страдают, борются его друзья. «Заложники», сорок миллионов «заложников», во имя освобождения которых он сражается, не щадя жизни, и сегодня совершает свой разведывательный полет.

Конечно, они не будут видны, эти люди, на его снимках. Но мысли их и чувства всегда дороги ему. Он и сейчас, в облаках, думает о людях, как тогда, когда летел сквозь бури и штормы, днем и ночью, средь звезд. Над пустынями и океанами. Над Испанией, Африкой, Патагонией. Во имя людей. Всегда во имя людей. Его аппарат точно регистрирует родную землю, по которой еще ходят враги.

31 июля 1944 года майор де Сент-Экзюпери не вернулся на свою базу.

О последних минутах его жизни и о последних переживаниях его не знает никто,

и никто не может достоверно рассказать нам о них.

...Проходили годы. Слава писателя Сент-Экзюпери все росла.

Люди, которых он так любил, приняли его в свои сердца.

Друзья посвятили ему свои воспоминания.

Литературные исследователи подвергли анализу его книги.

Многие из этих книг были оснащены справочным аппаратом, свидетельствующим об эрудиции авторов. Но порою, скованные леденящей непогрешимостью мудрости, они забывали о горячем сердце писателя-летчика.

В нашу задачу отнюдь не входит наводить на Экзюпери «хрестоматийный глянец». Мы должны видеть все сложные противоречия его мировоззрения и творчества. Но мы должны видеть его «живого, а не мумию».

Да, поднимая в своих книгах прекрасную тему борьбы за счастье людей, Антуан де Сент-Экзюпери часто не выходит за пределы абстрактного гуманизма. Он противопоставляет социальным темам, как он сам пишет, «политическим программам и партиям», проблемы нравственного порядка, морали. Он говорит о том, что «идеологические споры убивают надежду на спасение людей». Он нередко сводит проблемы духовного воспитания к самоусовершенствованию.

Крайне уязвима и пессимистическая философия «Цитадели».

Не закрывая глаза на эти противоречия в творчестве художника, столь рано погибшего, не воплотившего еще в жизнь всех своих творческих планов, мы в то же время отдаем должное Антуану де Сент-Экзюпери — писателю-антифашисту, антимилитаристу, героическому участнику Сопротивления, одному из наиболее популярных писателей всей прогрессивной Франции.

РОМЕН РОЛЛАН

ВСЕГДА ЯСНО ВИДЕТЬ

Составление и перевод М. ВАКСМАХЕРА

В 1959 году во Франции были изданы письма Ромена Роллана к Софии Бертолини Гарьери-Гонзага, с которой он переписывался несколько десятилетий. Переписка Роллана с этой его итальянской корреспонденткой началась в девяностые годы прошлого века, вскоре после того, как Роллан познакомился с нею в доме престарелой Мальвиды фон Майзенбуг, друга Герцена. Эти письма представляют собой яркий и живой документ эпохи; писатель делится своими мыслями и надеждами, сомнениями и творческими планами; он рисует картину интеллектуальной жизни, политических нравов, развития искусства в Париже и во всей Европе, комментирует важнейшие события современности, нередко вступает с Софией в спор по вопросам искусства и политики. Датированные началом века, многие письма Ромена Роллана кажутся написанными вчера, настолько современны волнующие Роллана проблемы и его подход к их решению, настолько остро и страстно защищает он свои взгляды. Мы предлагаем вниманию читателей некоторые страницы из этих интересных писем.

Среда, 8 января 1902 года.

...Я закончил 1901 год и начал год 1902, слушая «Зигфрида». Эта музыка прекрасна и благотворна. Как жаль, что Вагнер заставляет своих героев петь, что он не ограничивается симфонией! Имея дело с оркестром, а не с голосами, он бесконечно более велик. Чего бы я только не дал за то, чтобы весь второй акт был заполнен лесными шорохами! Какое мне дело до Фафнера, и Альбериха, и Мима? Я видел также ибсеновского «Пер Гюнта» с прелестной музыкой Грига. Знаком ли вам этот норвежский «Фауст», причудливый и туманный? В нем есть три сцены, достойные «Фауста» настоящего; я уже не говорю о характере главного персонажа, на мой взгляд, явно гетевского героя, этой марионетки, лишенной всякой индивидуальности. Заметили ли вы, что Гете часто слаб в создании мужских характеров (Фауст, Майстер, друзья Майстера)? Но что до характеров женских — тут он неподражаем. Я думаю, что по существу у этого мнимого олимпийца был гений чисто женского свойства. О Гете составилось совершенно превратное представление, потому что обычно о нем судят по последнему двадцатилетию его жизни — по тем годам, когда он уже все свершил и смог стать хозяином своей судьбы. Но на самом деле он обладал душой удивительно податливой, отзывавшейся на любое внешнее воздействие, на любую жизненную случайность.

У меня нет сейчас возможности высказать вам подробно мое понимание Гете. В нем ничего нет от эллинского божества; но именно поэтому он становится мне бесконечно дороже.

После вашего отзыва об «Орсино» * я еще раз его перечитал. Мне нравятся характеры Орсино и Лионардо, и, если бы мне пришлось писать их заново, я, наверно, создал бы их точно такими же. Но я не буду больше писать драм в подобном роде— мне больше не хочется их писать. Я по-прежнему люблю силу. Она всегда — первое условие величия, красоты, доброты. Но сила ради силы — нет, этого я больше не желаю! Тьфу! Слуга не должен становиться на место хозяина! Сила — всего лишь орудие; тот, кто пользуется ею ради нее самой, а не ради более возвышенной цели, тот виртуоз, но не герой. Я изменился с той поры, как позволял итальянскому Возрождению завораживать меня. Все эгоистическое в нашей цивилизации меня раздражает. Я жажду доброты; я имел возможность убедиться, насколько она редка и насколько ценна она в мире. Я ненавижу эгоизм даже тогда, когда он рядится в личину Сверхчеловека на манер Макиавелли или Ницше, Каструччо Кастракани и Наполеона. Даже в великолепной одежде вашего друга Коллеоне — и то он вреден. Вреден не для вас, не для меня. Но разве мы живем только для себя? Когда расстаешься с мечтательным дилетантизмом отрочества, когда устремляешься в реальную жизнь, в каждодневную деятельность, в социальную битву, начинаешь понимать то, что Толстой называет «нелепостью искусства для искусства», начинаешь понимать нелепость культа собственного «я». Мы живем не вне мира, не в смутном идеале эгоистической красоты. Мы живем в реальном мире, в гуще битвы. Ни один человек, как бы велик он ни был, не может жить в одиночестве; человек, отделенный от себе подобных,— это бессмыслица, такого человека не существует; каждый человек воздействует на всех остальных людей. Каждое слово, каждый поступок несут или добро, или зло; третьего не дано. Нужно принять чью-то сторону — тут же, немедленно. А есть лишь две стороны — добро или зло. Добро — это жизнь, не жизнь одиночки (еще раз повторяю: одиночек не существует), а жизнь подавляющего большинства, жизнь всех людей; все то, что может сделать людей выше, лучше, сильнее, счастливее, дружнее,— это и есть добро; это — Любовь, но любовь, исполненная разума и энергии, любовь, сотканная из ума и доброты. Сила эгоистическая, как бы могуча она ни была,— это не жизнь, а смерть; это ослепительный свет, сам себя пожирающий; он непременно угаснет, как только создаст вокруг себя пустоту, ибо свет этот не питается от вечного источника всеобщей жизни. Жить во всех людях — вот что такое счастье. Жить для всех людей — вот что такое долг. Долг и лучшее средство стать человеком, стать личностью.

Понедельник, 27 января 1902 года.

Пишу вам с опозданием, мой друг. Последние дни я пребывал в «мерехлюндии», что на парижском жаргоне означает меланхолию, и все ждал, пока она пройдет или пока я к ней немного попривыкну, потому и не писал вам. У вас своих забот хватает, и мне не след докучать вам моими. Я дал себе зарок держать свои мысли в узде. Вы так спокойны, а я сейчас очень уж далек от спокойствия. Боюсь, никогда не удастся мне достичь вашего эпистолярного идеала, каковым является господин де Талейран.

Надеюсь, что все ваши близкие уже поправились и вы порадуете меня добрым известием о здоровье вашей сестры. Это, конечно, очень мило и приятно — быть для всех сиделкой и торжествовать, глядя, как эти здоровые люди вынуждены, в свою очередь, унижаться, прибегая к вашим услугам. Но старайтесь сами-то не заразиться. Берегите себя.

Мы с вами не сходимся во взглядах на искусство. Причин этому много. Начнем с того, что вы — итальянка и к тому же маленькая аристократка (или большая, если вам угодно). Спор об искусстве завел бы нас очень далеко, и я бы все равно вас ни в чем, наверно, не убедил: доводами можно воздействовать на разум, но темперамента не изменишь. Выскажу вам только два-три соображения, чтобы вы меня все же поняли. Буду следовать за вашим письмом — строка за строкой.

«Я не понимаю,— говорите вы,— как вы, прирожденный художник, обладающий отменным духовным здоровьем, можете отделять искусство от морали».

К «прирожденному художнику» я еще вернусь. «Обладающий отменным духовным здоровьем». Следовательно, связь между духовным здоровьем и настоящим искусством вы признаете? Прекрасно! Но ведь это уже определение искусства, и оно исключает из сферы искусства все то, что не является здоровым. Чудесно. До этого места наши взгляды совпадают; но ведомо ли вам, что вы уже отсекли от искусства весьма значительный пласт художников: декадентов, которые существуют во все времена, и людей, больных духом, имя которым — легион. Но пойдем дальше. Попытаемся определить, что такое «здоровье» и что такое «здоровое искусство». И тут я вижу, как между нами возникает пропасть. Очевидно, вы понимаете под этим внутреннюю гармонию — я тоже; равновесие творческих способностей — я тоже; силу —

* Драма Р. Роллана, написанная в 1890 году. Действие драмы происходит в Италии эпохи Возрождения. (*Прим. перев.*)

я тоже; но скажите мне, эгоизм, эгоистическая сила, эгоистический ум, эгоистическая страсть — они тоже свидетельствуют о здоровье? Вы говорите «да»? А я говорю «нет».

Это сейчас я говорю «нет». Раньше я так не говорил. В моем поле зрения был лишь я сам, то, что я любил, небольшой круг друзей, интеллектуальная элита, частью которой я являлся, и я думал: для нас любая сила хороша. Сила — вот что нужно. Быть великим.

Но потом я увидел, во-первых, что эта элита занимает в жизни куда меньшее место (не только по количеству своему, но и по своей важности), чем она думает, и, во-вторых, что даже для нее сила таит в себе опасность. Будь у меня время, я постарался бы показать, что этот эстетический культ силы — виновник многих заблуждений и гнусностей современной Европы. Но продолжим.

«Разве в трагедиях Шекспира заключен нравственный тезис? Разве выбор их сюжетов был продиктован соображениями морали?»

Читали ли вы крупных английских драматургов, современников Шекспира, всех этих Вебстеров, Фордов, Мэссинджеров и прочих? Задавались ли вы вопросом, в чем Шекспир выше всех? Знаете ли вы, что у них нередко было столько же силы чувств, столько же величия, столько же мастерства, сколько у Шекспира? И, однако, Шекспир выше их на целую голову. Знаете почему? Потому (на мой взгляд), что в нем есть бесконечная доброта. Она просто поражает, когда берешься за Шекспира после этих ужасных и жестоких поэтов, от которых веет духом убийства, насилия, мести, из которых просто сочится яд страстей. У них нет ни капли сострадания, они никого не любят, их великолепные монстры — все как один из породы преступников. У Шекспира же — сердце, открытое для всех, он заражает нас своим божественным состраданием. Если бы не это сострадание, что осталось бы от старого безумца Лира, этого деспота-маньяка, или от Отелло, этого безжалостного зверя (или от Шейлока)? Доброта — характернейшая черта Шекспира; в «Юлии Цезаре», этом шедевре, где почти все сцены заимствованы у Плутарха, творческое воображение Шекспира проявляется в сцене Брута и Кассия, после смерти Порции, так ярко, что показанная им сила человеческой дружбы трогает нас до слез. Или вспомните, как заставляет он нас полюбить Антония, как он внушает нам симпатию и жалость к этому человеку (в «Антонии и Клеопатре»), столь неинтересно проявившему себя в истории. Шекспир не прославляет страсти. Его творчество — это грандиозная гробница страстей человеческих.

Впрочем, почему я заговорил о Шекспире? Я хотел показать вам, как я его понимаю, чтобы вы не подумали, будто я увиливаю от ответа на ваш аргумент. Но вообще-то говоря, какое мне дело, были или не были взгляды Шекспира на искусство сходны с моими? Стоит ли привязывать мысль столетий к мысли одного человека, как бы велик он ни был? Шекспир — человек, которого, наряду с Толстым и Бетховеном, я люблю больше всего; но я ничуть не озабочен тем, чтобы разделять их мысли. То, как мыслили они, было хорошо для них; но мне с этим совершенно нечего делать. Верить во всем великому человеку — это уже фетишизм. Достаточно любить его. И такой же точно фетишизм — верить в Искусство вообще. Нет Искусства вообще; есть произведения искусства. Ничто не абсолютно. Ничто не вечно — кроме бога, когда в него верят. То, что хорошо, не бывает таковым всегда; оно хорошо сейчас. Шекспир писал для своего времени, для своего класса. У нас другие задачи. Измените обстоятельства — и вы измените качества любого шедевра, тем более произведения заурядного. Когда я задумал написать «Орсино», мне хотелось показать благотворность силы — как реакции на апатичность и малодушие современной мысли. Ныне лекарство представляется мне столь же опасным, как и сам недуг. Где угодно, но только не в Европе, полностью охваченной империалистической лихорадкой, жаждой колониальных захватов, финансовым и военным пиратством, национализмом, следует прославлять культ энергии. Достаточно вреда нанес, скажем, Киплинг. Все, что внушает людям идеи бонапартистского толка, кажется мне сейчас тлетворным. Я не противопоставляю «Дантона» «Орсино»; я только считаю, что революционная сила, заложенная в «Дантоне», в настоящее время более хороша, потому что она полезна. Настанет день, когда она будет не только бесполезной, но и в свою очередь опасной; это произойдет тогда, когда Революция достигнет своих целей.

Видите, как трудно со мной спорить; ведь я неученый игрок: я отметаю все и всякие правила игры, все прошлое, все господствующие идеи, все религиозные верования, которые в ходу у всякого уважающего себя человека,— и особенно поклонение богу Искусства. Я считаюсь только с данным моментом. Не думаю, что могут существовать произведения вечно прекрасные, вечно добрые. О, я хорошо знаю, что для таких людей, как вы, как мы с вами, все то, что есть или было прекрасного и доброго в мире, может и сейчас оставаться таковым. Но это потому, что наша маленькая элита живет вне действия, почти вне мира. Для человеческой толпы, где любое переживание находит свой отклик и продолжение в действии, отнюдь не все то, что является прекрасным и добрым, действительно хорошо; поистине прекрасно и добро только то, что побуждает к доброму, прекрасному и необходимому действию.

И, может быть, лишь одна вещь на свете не подпадает под действие закона вечного изменения. Одна лишь вещь остается доброй всегда и везде; определение ей дал Толстой: это то, что объединяет людей.

Ну, что вы скажете о моих «двух-трех соображениях»? О, как вы теперь будете меня третировать, мадемуазель де Талейран!

На днях я слушал пианиста, которого объявляют в Европе наследником и соперником Листа и Рубинштейна,— Мориц Розенталь. Это чемпион мира по быстроте. Пятнадцать нот в секунду. А в общем — ничтожество. Он играл Бетховена и Шопена. Когда он играл Бетховена, можно было подумать, что это Шопен, а когда играл Шопена — что это Бетховен: первый был сама хрупкость, второй грохотал, как гром. Возможно, этот феномен посетит и Рим. Но у нас в Париже встречается и кое-что почище, чем Розенталь. Есть у нас виртуозы, которые на рояле играют, точно из ружей палят (смотрите прилагаемую заметку из «Фигаро»). Знай наших! Вот мы, парижане, каковы!

Советую вам прочесть воспоминания князя Кропоткина, которые я сейчас читаю («Вокруг одной жизни», в парижском издательстве Сток). Это одна из самых интересных книг за многие годы. Кропоткин, выходец из очень знатной семьи, знал все слои общества, начиная с царского окружения и кончая революционными группами в Сибири, в Швейцарии, Франции и Англии. Это большой ученый, типа Реклю, притом человек поистине трогательной скромности и самоотречения. О себе он почти не говорит. Рассказывает только о том, что сам видел, и при этом — ни слова ненависти. Перед вами — широкая картина жизни Европы и особенно России при Александре Втором и Александре Третьем.

До свидания; не знаю только, когда оно состоится. Потому что, когда я вам пишу, я не умею себя ограничить; буду писать пореже — только так я смогу установить равновесие.

Верьте в неизменность моей дружбы.

Ромен Роллан.

Понедельник, 17 августа 1903 года.

...Я с головой ушел в чтение научных книг; сейчас читаю Мечникова (кажется, я вам уже говорил о нем), «Этюды о человеческой природе. Опыт оптимистической философии». Этот ученый, один из самых блестящих в Пастеровском институте, показывает сначала, какие изменения уже претерпела на протяжении веков человеческая природа и какие изменения она еще может и должна претерпеть, а затем обосновывает свои надежды на победу в борьбе с болезнью, со старостью и даже со смертью. Ибо он верит, что наука сумеет уничтожить две первые, а последнюю если и не уничтожит, то сделает актом естественным и нормальным, мирно завершающим долгую и здоровую жизнь, сделает смерть прекрасной и безмятежной, почти желанной. Подобные мысли совсем не интересны, когда их высказывает литератор; но выраженные одним из величайших ученых эпохи, они как-то по-особому вас поражают. Наука в наши дни увлекательнее любых романов. Я всю жизнь буду жалеть, что не посвятил себя науке — вместо тщетных и пустых занятий литературой.

Кстати, несколько слов по поводу вашего последнего письма. (Только, прошу вас, не впутывайте сюда мои собственные пьесы: уверяю, они меня самого не удовлетворяют и я не испытываю никакого отцовского чувства ни к одному из прежних моих произведений). Я мог бы вам сказать, что сюжеты многих названных вами драматургических шедевров взяты из той самой эпохи, когда жили их авторы: «Персы» говорят о войне, в которой Эсхил принимал участие; Шекспир показывал «Генриха Восьмого», когда в зале сидела дочь Генриха Восьмого; «Баязет» был для Расина почти тем же, что для нас белградская трагедия * и так далее. Но вот что поражает меня больше всего в вашем ответе: оказывается, главное у нас с вами расхождение (в вопросах искусства, конечно) касается скорее содержания, чем формы. Вы упрекаете меня в том, что человек действия, революционер, берет во мне верх над художником. Не думаю, чтобы «Дантон» полностью заслуживал этот упрек, ибо он был принят и поставлен стараниями аристократического кружка, решившего, что перед ними — злая сатира на Революцию; но я принимаю этот упрек и даже хотел бы, чтобы он был мною более заслужен **. Если вы мне его предъявляете, то только потому, что Революция для вас — это прежде всего произведение искусства. А для меня это — действие, и действие самое безотлагательное из всех, какие надо совершить, ибо людьми Конвента Революция была лишь намечена, и мы, французы, должны продолжить ее в меру своих сил, это наш первейший долг. Уверяю вас, что в свете этого действия любое произведение искусства кажется мне суетным, ненужным. К тому же я вообще не приемлю искусства для искусства. Я могу еще понять, что в конце долгой жизни, отданной действию, человек имеет право помечтать о чистой красоте; но когда ты в расцвете сил, нужно всего себя, целиком, себя и свое искусство, поставить на службу действию.

---

* 23 марта 1903 года жандармы расстреляли рабочую демонстрацию в Белграде. *(Прим. перев.)*

** Как видно из этого письма, Роллан уже в 1903 году критически относится к своей драме «Дантон» (1899). Недаром «аристократический кружок» по-своему понял смысл пьесы: написанная с абстрактно-гуманистических позиций, она объективно позволяла и такое толкование. В своих последующих пьесах «Театра Революции» и особенно в «Робеспьере» (1939) Роллан раскрыл величие и историческую ограниченность Французской революции конца XVIII века. *(Прим. перев.)*

В эпоху, подобную нашей, когда все находится в процессе становления, действие важнее всего, и первое произведение искусства, которое нужно создать,— это новый человек.

Извините, что я вернулся к этой теме и высказал вам свое мнение.

Сердечный привет вашему отцу, сестре и мужу.

Преданный вам

Ромен Роллан.

Пятница, 29 апреля 1904 года.

...Вы спрашиваете, какого я мнения о папаше Лубе*? Я вообще о нем никогда не думаю — вот и все мое мнение. Вы ведь знаете, что моя-то Республика, моя лично, является несколько более передовой, чем та, которую мы сейчас имеем, и наши буржуазные президенты еще слишком монархичны, на мой вкус. Они — существа переходного типа. Но мы живем в эпоху, когда великие человеческие потоки гораздо сильнее и важнее отдельных личностей. Под внешним хаосом ощущаются могучие движения народов и классов, сходные с движениями планетных систем, а еще глубже — своего рода Неизбежность, чувствовать которую люди потеряли способность из-за долгого господства отдельных личностей. Я думаю, что через кризисы и, возможно, даже через ужасную войну эта неизбежность волей-неволей приведет нас к Социалистической федерации Европы, и особенно Запада. Таково мое личное убеждение, которое не радует меня и не печалит, ибо это — вещь, которой избежать нельзя...

Понедельник, 16 мая 1904 года.

Дорогой друг,

Как давно не получал я от вас ни единой весточки! Наверно, нега этой теплой весны делает вас такой ленивой, да тут еще новорожденный малыш и его мамаша поглощают все ваше внимание. Прошу вас, напишите мне о них. Счастливый маленький человечек, родившийся в Риме, весною! Мне кажется, что от одного этого ему хватит радости на целую жизнь. А я вот родился слишком рано, в конце зимы, в пору холодную, ночью, на севере. Потому-то и живет во мне постоянная грусть.

Я наконец свободен и, как и предполагал,— до самого октября. Снова начинаю жить, снова смотрю на деревья, на небо, на людей, мечтаю о новых творениях. Если бы только не это нравственное одиночество, в котором я нахожусь, и, главное, если бы вокруг я видел счастливых людей — о, тогда бы, мне кажется, я мог создавать вещи благие, умиротворенные. Мне думается, если твои друзья, близкие тебе существа, счастливы, можно обойтись и без собственного счастья; счастье других согревает тебя своим светом. Но так трудно быть счастливым, когда друзья твои счастья не знают. У моих близких сплошные огорчения. Хорошо, что хоть вы достигли в жизни покоя.

Не могу я отделить своих мыслей и от того, что происходит в мире, и особенно от ужасов, которые творятся в эти дни на Дальнем Востоке. Друг мой, как я ни пытаюсь понять эту отвратительную войну — это выше моих сил, я человек другой эпохи. Эти скотские вожделения нынешних великих империй, мечтающих о завоевании земли (какая насмешка!), эти тысячи людей, истребляющие друг друга ради каких-то клочков мерзлой почвы, внушают мне невыразимый ужас и жалость. Какое мне дело до результатов? Какое мне дело, победит ли раса желтая или белая? Ведь и те и те люди, а цивилизации стоят друг друга. Но ни одна из них не стоит того, чтобы кровь лилась рекой, и обе стороны обесчещены этой бойней. Я понимаю войну за независимость, понимаю классовые битвы: там люди сражаются за свою жизнь. Но войны империалистические — это мерзко, они созданы для того, чтобы удовлетворить преступные аппетиты не людей, а чудовищ, которым самим жить — недостаточно, им еще нужно убивать других. Я ненавижу колониальные войны. И когда мне говорят, что речь идет о будущем европейских народов и об их жизненных интересах, я отвечаю: взгляните, что происходит сегодня, взгляните, что готовится на завтра, как пробуждаются азиатские цивилизации, которые мы угнетали, эксплуатировали, унижали и которые мы научили ненависти и презрению к нашей европейской цивилизации, больше того, научили, как с ней бороться...

Воскресенье, 23 июля 1905 года.

...Марокканский конфликт, к счастью, на время притушен; но в ходе дискуссии прозвучали такие слова, которые уязвили во Франции не одно сердце, и, если говорить правду, многие из тех, кто здесь больше всего верил в мир и рассчитывал на него, теперь меньше на него рассчитывает и совсем в него не верит. Если Германия искренне желает мира, я бы предпочел, чтобы рука у нее была бы не так тяжела. Просто не могу выразить, до чего больно нам было читать официальные немецкие газеты, которые твердили, что в случае войны между Германией и Англией Франция будет не в праве хранить нейтралитет. Сколько свободомыслящих людей страдало,

* Эмиль Лубе (1838—1929) — президент Французской республики в 1899—1906 гг. *(Прим. перев.)*

слыша такие слова! Подобные речи имели своим непосредственным результатом лишь то, что настроили тысячи французских социалистов против Германии. Пусть Германия и Англия, если им угодно, оспаривают друг у друга мировое господство. Мы в эти химеры больше не верим, мы знаем, как все преходяще на свете, в том числе и мировое господство, у нас есть дела поважнее. Но если хотят лишить нас свободы держаться в стороне от общего безумия, то мы сумеем ценой любых жертв завоевать себе право на сохранение нашей свободы и здравого смысла. Это две вещи, которыми я дорожу больше всего на свете, они — мое отечество.

Скажите мне откровенно: можете ли вы без сострадания смотреть, как эти серьезные, умные, пожилые люди — все эти английские, немецкие, американские, японские и прочие главы правительств с непоколебимой уверенностью заявляют, что самый великий народ, народ, избранный богом, народ будущего — это английский народ, или немецкий, или американский, или русский, или японский и что он имеет право на мировое господство, каковое и будет ему принадлежать? Разделяете ли вы хоть в малейшей степени эту веру в превосходство какой-то одной расы над другой? Что касается меня, я не верю в превосходство несуществующего над несуществующим: слушаю я подобные речи — и мне все больше кажется, что они возвещают о суетности человеческой. Я не верю в существование избранного народа. Я считаю, что для всех народов есть место вокруг очага Разума и что вместо споров, кому оно принадлежит, было бы куда нужнее последить, чтобы этот чудесный огонь, дающий нам жизнь и нами же, людьми, без всякой божественной помощи, зажженный,— чтобы он не угас, пока мы спорим, и мы не погрузились бы в вечную ночь...

Суббота, 29 декабря 1905 года.

...Со страстным интересом слежу я за событиями в России. То, что происходит в Москве,— величайший фактор истории. Подобный размах народной революции в самом сердце древней Руси, которая казалась уснувшей навеки! Парижская Коммуна превзойдена. Такого, на мой взгляд, вообще никогда не бывало: народ, пусть огромный, но совершенно недостаточно вооруженный, в течение целой недели ведет бои с регулярными войсками, которые расстреливают его из орудий, но отбить город у повстанцев могут лишь ценой чуть ли не полного его разрушения. Через десять лет в Европе свершится революция — в России, Германии, Франции,— и, может быть, одновременно. Англия — в который уже раз — станет убежищем для эмигрантов и изгнанников из всей Европы. Может быть, мы с вами там и встретимся. Так или иначе, но имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит: нечто небывалое происходит в мире, и нужно сейчас обладать закаленным сердцем, ибо зрелище это не для кисейных барышень...

Вторник, 6 марта 1906 года.

...Я организовал цикл концертов по четвергам в Школе высших социальных наук, и на прошлой неделе у нас был интереснейший концерт армянской, грузинской, русской и персидской музыки. За несколько дней до этого «Кавказское общество в Париже» пригласило меня на музыкальную репетицию, которая настолько поразила меня, что я упросил их приехать к нам и сыграть те же вещи. Репетиция происходила в зале мэрии; из французов был я один, все остальные — кавказцы; мне казалось, что я очень далеко от Парижа, где-то в Азии. Почти все они — беженцы, очень бедны, но полны энергии и ума. И все очень одаренны в музыкальном отношении. С многими я познакомился. Есть среди них прелюбопытные типы: русский еврей, который командовал еврейской милицией в Одессе во время недавних беспорядков, человек храбрый и простой; молодой армянин, с лицом, обезображенным оспой, но с прекрасными глазами, юными, горящими, и с чудесным голосом; он приехал в Париж несколько месяцев назад, не знал по-французски ни слова, музыки тоже почти не знал, а теперь говорит и пишет по-французски, руководит хором и, дирижируя, одновременно поет — поет удивительно. Мне редко приходилось слышать такой прекрасный и естественный голос. Мелькали лица, изможденные, обрамленные русыми волосами, точно не от мира сего, точно сошедшие со страниц Достоевского,— и совсем другие, с чертами резкими, красивыми и суровыми, с копнами густых черных волос. Были женщины, плохо одетые, с папиросами в зубах; они сидели на краю эстрады и переговаривались грубыми голосами — полный контраст с мягким голосом и хрупким телосложением большинства мужчин. Попадались мужицкие рубахи и сапоги. Большинство живет впроголодь, отказывает себе во всем. Пели хором армянские, грузинские и русские песни, а один перс играл на таре (тар похож на гитару с очень длинным грифом). В музыке ярко проявились национальные различия: армянин глубок, трагичен и мужествен даже в своей мечтательности; грузин ясен и солнечен, почти итальянец; русский динамичен, переменчив, мягок. Что за чудесная музыка! Эти народы как-то по-иному одарены в музыке, чем мы, и я убежден, что европейское искусство обязательно раньше или позже испытает влияние этого искусства, которое, как гонца, Азия выслала вперед, чтобы потом явиться к нам самой. Это искусство уже начинает вдохновлять наших музыкантов.

Последние месяцы мы живем под угрозой близкой войны; теперь в Париже не найти человека, не верившего бы в ее неизбежность. Мне тоже трудно подыскать иное объяснение политики Германии за эти полгода (а если это не так, то здесь со стороны Германии — чудовищная, повергающая в изумление неуклюжесть; нельзя же поверить, чтобы ни один немецкий государственный деятель не догадывался о характере французов). Все это весьма грустно как для Франции, так и для Германии. Ибо если война разразится, то, по-моему, нам на победу надеяться нечего, но и Германия выйдет из войны достаточно измотанной; меня бы удивило, если бы она продержалась намного дольше, чем мы. Англия, Америка, даже Италия не замедлят отомстить за нас. Германия может внушить к себе страх, но внушить любовь к себе она не способна, и скоро ее наполеоновская гордыня восстановит против нее все народы Европы. Вот уже десять лет, как меня поражает эта все возрастающая гордыня, которую я, бывая в Германии, ощущаю даже в своих личных отношениях со многими людьми, а ведь они умны и друзья мне; но еще больше чувствую я ее в Германии как государстве. Я всю жизнь занимаюсь историей, века минувшие и нынешнее время предстают передо мной чуть ли не с одинаковой яркостью, и, наблюдая кайзеровскую политику, я то и дело вижу перед собой Людовика Четырнадцатого в период голландской войны. Блеск собственного солнца уже не позволял ему различать людей. И так же, как во времена Людовика Четырнадцатого, как во времена Наполеона, в выигрыше останется Англия. Ей всегда были на руку беды и безумства Европы...

Люди глупы, мой дружок, устрашающе глупы; история ничему их не научила, и они никак не устанут от собственной глупости. Боже мой, быть тупыми целых сорок веков, как это утомительно! Неужто они этого так и не почувствуют!..

Пятница, 4 мая 1906 года.

...Я многое мог бы вам рассказать о Первом мая в Париже, но сейчас у меня нет времени. В этом было что-то шутовское и зловещее. (Я говорю о буржуазии, о богатых классах, которые проявили невообразимую гнусность и тупость. Перед лицом возможной всеобщей забастовки они думали об одном: наесться, набить продуктами свои кладовые. Рабочим профсоюзам не составит особого труда победить. У их противников нет ни сердца, ни мозгов. Только брюхо.)

3 марта 1908 года.

...Мои новые книги готовят мне массу неприятностей. Я говорю в них столько беспощадных вещей об искусстве, свете и политиканах Парижа, что на меня будут смотреть как на «врага народа». Мне самому мучительно не хочется лезть в эту свалку. Я предпочел бы предаваться, как вы, мечтам вдали от городов и интеллигентных людей. Но раз уж связался с Кристофом — отступление невозможно. Он тащит за собой с силой пушечного ядра. Вот наказание за то, что хоть раз ты сказал правду: теперь ты обязан говорить ее всегда, всю жизнь, а свет может вынести правду лишь в ничтожно малых дозах, прокипяченную и подслащенную огромным количеством лжи...

7 июля 1908 года.

...Вы хотели бы, друг мой, чтобы я был Кристофом? Я не могу им быть, поскольку я сам пишу его. Как знать, если бы вы повстречали его — лично его, собственной персоной, а не из моих рук,— может быть, вы не разглядели бы того лучшего, что заключено в нем, и вас оттолкнула бы грубая оболочка, которой он покрыт. Почему у Бетховена было так мало друзей (настоящих друзей) — с таким же золотым сердцем, какое билось в его груди? А ведь вокруг него было немало людей добрых и умных. Вот так всегда. Возможно, если б я сам встретил Кристофа в жизни, он бы не понял меня, да и я держался бы от него в отдалении.

Счастливец Кристоф! Он — музыкант, ему нужно лишь отдаться на волю внутренних волн. Но, чтобы охватить взором весь мир, чтобы проникнуть в него мыслью, чтобы быть писателем, требуется совсем иная натура, которая никогда не отдается на волю волн, никогда не действует бессознательно и у которой всегда, даже в минуты страсти, открыты глаза. Такая жизнь утомительна. Но она не лишена своей силы и своей красоты. Когда твой жизненный источник достаточно щедр и ты не боишься, что он оскудеет в лучах логики, тогда испытываешь совершенно особенное опьянение души, чувствуя, как несут тебя внутренние силы, и видя эти силы, тебя несущие, наслаждаясь настоящим моментом и одновременно видя в нем грядущие времена. Это великолепно — ясно видеть, **всегда.**

МИЛАН ЮНГМАН

ЧИТАТЕЛЬ ЖДЕТ «КНИГУ ЖИЗНИ»

(Письмо из Праги)

Советского читателя, конечно, не удивит то обстоятельство, что наиболее серьезные попытки отобразить современность делаются у нас сегодня в жанре новеллы и повести.

Он не будет удивлен и тем, что в последнее время наибольший интерес вызывают рассказы не известных до сих пор прозаиков. И естественно также, что теперь мнения критиков об интересных книжках часто расходятся. Это вызвано не только бо́льшим разнообразием типов прозы, более сложным образом действительности, встающим из книг последних лет, но и борьбой старых и новых взглядов на жизнь и творчество в самой критике.

В центре критических дискуссий оказалось произведение словацкого писателя Владимира Минача «Ты не одна». Это две новеллы, объединенные общими героями. Первая названа по имени героини — «Марина» (1961), вторая, вышедшая на год позже,— по имени героя: «Жоржик». Теперь перед нами обе новеллы, собранные в одной книге. Советские читатели познакомились недавно с трилогией Минача «Поколение» и имели, таким образом, возможность оценить художественные достоинства его творчества. Новое произведение Минача сразу вызвало большой интерес в Чехословакии — ведь его автора можно без колебания назвать самой яркой индивидуальностью среди наших современных прозаиков. Поэтому не удивительно, что новеллы «Марина» и «Жоржик» печатал с продолжениями словацкий еженедельник «Культурны живот», а потом и чешский ежемесячный журнал «Пламен». Одновременно вышло отдельное издание на словацком и на чешском языках. И тираж книги Минача был из ряда вон выходящий.

Трудно даже представить себе, какие резко противоречивые отзывы вызвала эта книга: одни критики считают ее наивысшим творческим достижением автора (наряду с трилогией «Поколение»), видят в ней полемику «с закоснелым, стародевическим пуританством», считают ее произведением, в котором «наиболее ясно проявились скрытые возможности эпического таланта Минача»; другие не только рассматривают ее как неудачу автора, но прямо говорят о безвкусице, о дешевке и оценивают ее художественный уровень следующими словами: «Это галиматья, неорганическое сочетание различных стилевых пластов», что является якобы «результатом всякого рода мертвых схем». Один публицист назвал даже «Марину» самой плохой книгой 1961 года и завершил свое суждение удивленным восклицанием: «Как мог такой хороший писатель... написать произведение в духе стриптиза?!»

Я боюсь, что те, кто бросился читать книгу, вдохновленный этой «рекламой», были разочарованы; правда, в ней идет речь о любви Марины и Жоржика, но стриптизными сценами она не изобилует. Марина, девушка, пережившая тяжелое личное разочарование и утратившая идеалы, начала вести себя легкомысленно, «непристойно». Но она продолжает верить, что в жизни возможна и нужна большая любовь, что и к ней должно прийти настоящее чувство. И оно приходит. Только не так, как того требует «общепринятое благонравие». Она знакомится с Жоржиком, легкомысленным молодым инженером, и это знакомство, конечно, можно назвать «любовным приключением». Однако постепенно оба начинают сознавать, что они любят друг друга по-настоящему. Им приходится преодолеть много препятствий, но в конце концов их любовь побеждает.

Причиной различных суждений об этой книге, несомненно, явилось то, что произведение Минача написано очень неровно. Наряду с местами, свидетельствующими о высоком мастерстве, в нем есть совершенно банальные сцены; наряду со свежими, оригинальными мыслями, интересными жизненными наблюдениями здесь много поверхностного, дешевого и сентименталь-

ного. Персонажи Минача всегда любят рассуждать, автор наделяет их длинными внутренними монологами. Но на этот раз количество таких монологов выходит за границы приемлемого; причем иногда речь идет о монологах, лишенных логики. Здесь больше монологов, чем эпического действия, поэтому главные мысли не доказательны и не убеждают читателя. Я полагаю, что эта книга в художественном отношении не достигает обычного уровня произведений Минача.

В оценке новеллы Ярослава Путика «Стена» взгляды критиков разошлись так же, как и по поводу книги Минача. Ее автор — известный публицист, репортаж которого «Совесть» (дело профессора Оппенгеймера) знаком читателям «Иностранной литературы». У нас имели большой успех его недавно вышедшие остроумные путевые заметки «Дали». «Стена» — первое беллетристическое произведение Путика. Автор ставит перед собой очень большую, пока еще непосильную для него задачу, однако ощутимые здесь серьезные идейные и художественные искания Путика сами по себе достойны уважения.

В новелле «Стена» важен не сюжет — он является скорее фоном, на котором разыгрывается внутренняя драма человека. Человек этот, доведенный до полного истощения в фашистском концлагере, постепенно приходит в себя. Он попадает в больницу. Его преследует шизофренический бред. Ему кажется, будто он с кем-то спорит, но выясняется, что это галлюцинация; в нем самом борются два различных взгляда на мир — как бы два человека: один утверждает, что жертвы во имя великой цели, героизм и борьба не имеют смысла, что они излишни в эпоху массовых убийств, газовых камер и атомных взрывов; другой верит в силу человеческой любви, дружбы, мужества и пытается побороть в себе отчаяние. И хотя герой слаб и, казалось бы, беспомощен, он преодолевает ту мнимую стену, которая перед ним возвышается,— и таким образом выздоравливает.

Идейная значительность и стилистическая оригинальность новеллы Путика бесспорны, но недостаток книги в том, что она воздействует только на интеллект и оставляет равнодушным наше сердце. Она воспринимается как блестящая дискуссия, но не захватывает нас эмоционально, не волнует. Один словацкий критик закончил свою рецензию верным, на мой взгляд, замечанием: «Герой Путика преодолел «стену». Но на пути к полнокровному художественному воплощению темы перед автором осталась еще такая же стена». Как и тот критик, мы верим, что Путик вскоре преодолеет эту стену.

В двух новеллах Яна Трефулки, вошедших в книгу «Им улыбнулось счастье», особенно ярко отражена борьба между старым и новым мышлением, между стандартом и творческим поиском. Разумеется, и эта книга не свободна от художественных несовершенств, ведь она — дебют автора в прозе. Трефулка был до сих пор известен как критик, занимающийся главным образом поэзией. Он принадлежит к нашим самым молодым прозаикам — ему тридцать три года.

Трефулка стремился в обеих новеллах создать образы героев, которые начинают правдиво и честно относиться к самим себе, к окружающим и ко всему обществу. Это удалось ему лучше во второй новелле, по которой назван весь сборник. В ней рассказывается история молодой девушки, работающей на машинно-тракторной станции и влюбленной в парня на несколько лет моложе ее, попавшего под дурное влияние приятелей. Отношения между молодыми людьми нельзя назвать большим и чистым чувством. Но девушка убеждает себя, что она любима, и ей не хочется признаваться, что нравственный облик ее милого оставляет желать много лучшего. И вот наступает «катастрофа»: Вера забеременела. Напрашивается общепринятый выход — покрыть «грех» замужеством. И Вера решается на это. Ее Зденек уже распрощался со своей «свободой» «привычным» способом — устроив вместе с друзьями попойку. И вдруг Вера начинает понимать, что этот брак означал бы для нее несчастье. Она находит в себе силы в последнюю минуту (когда они уже стоят перед официальным лицом, регистрирующим их брак) отказаться от Зденека. Она предпочитает остаться одинокой и добиться своего счастья, своего настоящего счастья, сама, вопреки всем предрассудкам.

Я уверен, что Вера — один из удачнейших образов молодых людей в нашей прозе и что новелла «Им улыбнулось счастье» глубоко современна. Было бы хорошо, если бы за ней последовал целый ряд прозаических произведений с такой же острой современной проблематикой и хотя бы на таком же художественном уровне.

Среди книг, которые ожидались с нетерпением в этом году,— большой роман Зденека Плугаржа «Пусть бросит камень...», который вскоре выйдет в новом издании, но, видимо, даже новый тираж не сможет удовлетворить полностью читательского спроса. И тем не менее как раз в этом случае критика сошлась на том, что перед нами несомненная неудача. Ни один критик не был склонен простить этому роману его серьезные художественные недостатки.

Интерес к книге «Пусть бросит камень...» вызван не только большой популярностью предшествующего романа Плугаржа «Если покинешь меня...», известного в СССР. Причина тут прежде всего в теме: Плугарж снова возвращается к проблеме морального воспитания молодежи и рассказывает о доме для малолетних преступников. Он ставит вопрос: кто же виноват в том, что пятнадцатилетние, шестнадцатилетние парни и девушки живут без родителей, что они мошенничают, крадут, бродяжничают и т. д.? И ответ всегда одинаков: виноваты родители, взрослые. Распавшиеся семьи, недостаточная забота о детях, дурной пример отцов и матерей — и ребенок оказывается в конфликте с обществом. Центральная фигура романа — ди-

ректор воспитательного дома Мареш. Но как раз этот образ, к сожалению, совершенно не удался. Автор, очевидно, не хотел делать его «идеальным героем», точно знающим, как поступать в любом случае. Поэтому Мареш разведен с женой, и сын его попадает в банду малолетних преступников. Все кончается благополучно: жена возвращается к Марешу, когда понимает, что, разведясь с ним, она сделала несчастным собственного сына.

Плугарж много работал над романом, он собирал материал несколько лет и не раз переделывал текст. Но результат все же значительно слабее, чем можно было ожидать. Основной конфликт (отношения Мареша с женой) явно искусственен, а истории детей выглядят как доказательство авторского тезиса о том, насколько взрослые перед ними виноваты. Сам Плугарж назвал свое произведение «романом-вызовом». Его жизненный материал действительно настолько остр и актуален, что читатели готовы простить автору даже явные художественные недостатки.

Собственно говоря, читатели и критики сошлись во взглядах только на две книги — обе они вышли в 1961 году. Это репортажи Адольфа Бранальда «Утраты и находки» и сатирические рассказы Карела Михала «Призраки, которые нас окружают».

Книга Бранальда удивила читателя уже своим жанром. Бранальд был известен до того времени прежде всего как автор хороших исторических романов. Но недавно этот пятидесятилетний «молодой» писатель отправился «на периферию» и привез оттуда несколько очень интересных репортажей о здравоохранении, о жизни железнодорожной гостиницы, о работе нашей госбезопасности и т. д. Бранальд показывает волнующую картину повседневной жизни разных уголков нашей родины, он ищет своих героев среди людей, занимающихся обыкновенным, прозаическим трудом. Художественный уровень некоторых репортажей чрезвычайно высок.

В ближайшее время выходит еще одна книжка репортажей Бранальда, на этот раз из жизни западной Чехии, пограничной области. Обращение Бранальда к художественному репортажу приветствовали и критика, и читатели. Но все же его примеру не последовал никто из опытных писателей. Выходит много репортажей о поездках за границу, но репортаж о нашей родине — все еще редкость.

Рассказы «Призраки, которые нас окружают» — первое произведение Карела Михала, но они — совершенно новое слово в нашей сатире. В сравнении с короткими пустыми юморесками, которые уже много лет выдаются у нас за сатиру, в рассказах Михала особенно ясно ощутимы «львиные когти» настоящей сатиры. В них есть та злость, которой требовал от сатиры Луначарский, они безжалостны ко всякого рода ничтожеству, трусости, компромиссам, ко всем мещанским качествам, оставшимся в людях, живущих в новых социалистических условиях. При этом Михал обладает даром неподдельного юмора, его рассказы остроумны, в них острые неожиданные завязки и развязки. Все сюжеты основаны на общем приеме: в жизнь человека вторгаются «сверхъестественные» силы — привидения, домовой, словом, какой-нибудь сказочный персонаж. И тут герой попадает в разные забавные ситуации, в которых всегда заключен серьезный смысл: автор воюет против догматических взглядов, против схематических, условных представлений о действительности, против упрощенного мышления, против трусости бюрократов, против эгоистических стремлений разбогатеть даже в ущерб обществу и т. д. При этом в рассказах сказано так много, что коротким перечнем затронутых в них тем нельзя исчерпать их содержания.

Книга Михала открыла перед нашей сатирой новые творческие возможности, и ее популярность у читателей говорит о том, что в нашей литературе появился настоящий талант. Отдельные рассказы из этой книги читались каждую субботу вечером по радио. Поэтому книга Михала приобрела такую популярность, которая не выпадала еще у нас на долю ни одной книги начинающего автора.

Вообще надо сказать, что удовлетворить читательский голод издательствам очень нелегко. Мы надеемся, что в 1963 году — как обещают наши издательские планы — читатели получат ту «книгу жизни», ту книгу о сегодняшнем дне, которую они ждут.

КАРЛЛЮДВИГ ОПИЦ

НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО РЫНКА ФРГ

(Письмо из Гамбурга)

Ежегодная книжная ярмарка во Франкфурте в 1962 году не подарила нам ни одного «бестселлера»; зато мы услышали неуместно торжественную речь министра культуры в отставке господина Вернера Шютца, который разделался с нашими литературными проблемами по рецепту «с одной стороны — с другой стороны».

То, что высокочтимый министр культуры в отставке посредством весьма сложных формулировок пытался сообщить во Франк-

фурте-на-Майне писателям и издателям, сводится к следующему: небольшая доля критики допускается, даже приветствуется, однако не более того, чем это пожелают терпеть господа христианские демократы. Но — слава богу! — писатели и издатели у нас не столь послушны.

Наши книжные магазины предлагают весьма интересные новинки:

«Римские рассказы» Альберто Моравиа. Отличный сборник коротких новелл с реалистическими деталями и подчас весьма горькой иронией, имеющей социальный смысл.

«Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга. Когда вышла эта книга, нацисты затеяли гнусную кампанию против Эренбурга и Советского Союза. Эренбург очень досадил этим господам. Приятно, что книга хорошо раскупается.

«Черный свет» Харри Мулиша, перевод с голландского Бруно Лётса. Дикая оргия распутных буржуа символизирует в этой книге закат капитализма. То, что в сексуальную вакханалию оказывается втянутой шестнадцатилетняя девушка, объясняется не иначе как всеобщим увлечением «Лолитой».

«Фестиваль» Роберта Неймана. В качестве фона в своем новом романе этот пародист и литературный мистификатор использовал кинофестиваль в Локарно. История рокового знакомства молодой девушки с достопочтенной супругой капиталиста заменяет в книге действие. Но кроме некоторых данных об извращенной сексуальной жизни читатель не может почерпнуть здесь ничего. Несмотря на это роман раскупается довольно хорошо.

«Призер» Гансфердинанда Дёблера. Действующие лица романа показаны на фоне событий культурной жизни земли Северный Рейн — Вестфалия, которую знатоку нетрудно опознать. Написано довольно бойко и критически, но все же недостаточно критически. Примерно так, как представляет себе западногерманскую литературу министр культуры в отставке господин Вернер Шютц.

«Чудодей» Эрвина Штриттматтера — роман, который еще недавно скрывали от читателей ФРГ, печатается сейчас в «Ди андере цейтунг» в Гамбурге.

Западногерманский книжный рынок не предлагает сейчас читателям ничего особенного. А насколько федеральное правительство намерено поощрять развитие немецкой литературы, показывает хотя бы тот факт, что оно приказало полиции задержать писателя Бруно Апица в Дортмунде, когда он хотел прочитать главы из своего романа «Голый среди волков» * перед кёльнской университетской группой Социалистического союза студентов. Бруно Апиц под полицейским надзором был доставлен на границу Германской Демократической Республики. Меня, его коллегу, особенно удручает этот факт прежде всего потому, что в ГДР, Польше, Чехословакии и СССР я достаточно часто говорил все, что думаю, но за это меня никогда не высылали из этих стран, напротив, сердечно приглашали приехать еще.

Больше всего у нас сейчас читают журнал «Шпигель», тираж которого поднялся до 750 000 экземпляров. Как бы мы ни оценивали «Шпигель» и историю со «Шпигелем», очевидно одно: кампания против журнала активизировала оппозиционные властям силы, о наличии которых вряд ли кто-нибудь имел реальное представление, и уж, конечно, меньше всего о них подозревало нынешнее федеральное правительство.

Это обстоятельство должно прежде всего придать нашим прогрессивным писателям смелости и побудить их радикальнее выступать в печати.

Кто же поощряет развитие немецкой литературы? Кто поддерживает талантливых писателей? Кто в нашей стране «экономического чуда», в эру грубого материализма еще обладает чувством ответственности в отношении политики культурного строительства? Уже много лет такими людьми являются лишь несколько издателей. Федеральное правительство финансирует ужины с яблочным пирогом для Союза христианской молодежи, оно награждает крестами бывших нацистских палачей, покупает у США оружейный хлам в любом количестве и следит за тем, чтобы на знаках различия наших солдат было отчетливо выгравировано их вероисповедание,— но литература?..

Мне доставляет мало удовольствия отвешивать поклоны гамбургскому иллюстрированному еженедельнику «Штерн», который, объявив конкурс на лучший «немецкий роман», решил показать себя самым великодушным меценатом. Но — что там ни говори — не поскупились: 1-я премия — 50 000 марок, 2-я премия — 20 000 марок, 3-я премия — 10 000 марок, 4-я (20 премий) — 1000 марок. Это внушительно. Следующей осенью станет ясно, что́ подразумевает столь авторитетное жюри под «немецким романом».

---

* Вышел на русском языке под названием «В волчьей пасти». Рецензию на эту книгу см. в журнале «Иностранная литература» № 1, 1962.

ОЧНАЯ СТАВКА С ЖИЗНЬЮ

В этой «очной ставке с жизнью», как метко назвали румынские критики проходившую в их стране дискуссию о сущности конфликта в прозе и драматургии, участвуют не только литераторы. Свое мнение высказывают и читатели, что свидетельствует о растущем общественном интересе к проблемам литературы и искусства. Чем же вызван этот «большой разговор»? Прежде всего серьезной заботой самих румынских писателей и драматургов о наиболее ярком и правдивом отображении действительности, их стремлением как можно глубже осмыслить те общественные сдвиги, которые происходят в жизни новой Румынии, и быть на высоте задач, стоящих перед ними как перед бойцами идеологического фронта. А задачи эти поистине огромны. Ведь, как сказал товарищ Георгиу-Деж в своем докладе на III съезде РРП, «в настоящее время идеологическая деятельность, работа по ликвидации влияния буржуазного воспитания в сознании людей составляют главный участок классовой борьбы, борьбы между старым и новым».

Рассматривая развитие румынской литературы в этом свете, критик **П. Джорджеску** писал в **«Газета литерарэ»:**

> «Проблемы, встающие перед ней, многочисленны. Но наиболее значительная из них — это проблема конфликта... Наше социалистическое общество организовано таким образом, что оно содействует развитию и победе нового. Но отсюда отнюдь не следует вывод о том, что отпадает конфликт между старым и новым, что победа нового приходит автоматически. Природа конфликта остается общественной, хотя он приобретает самые различные, зачастую скрытые формы. Если «главным участком» столкновения становится сознание, то это вовсе не означает, что сущность конфликта перестала быть общественной».

Возражая академику Дж. Кэлинеску, по мнению которого, сама природа рассказа требует, чтобы его героем был человек, ведущий монотонную, обыденную жизнь, Джорджеску показывает, что помимо таких рассказов, лишенных явного, четко выраженного конфликта, существуют рассказы с бурно развивающимся конфликтом (времен войны или особо острых классовых столкновений), а также рассказы о сдвигах в сознании, происходящих в результате длительного накапливания нравственных истин.

Большое внимание участников дискуссии привлекла проблема нравственного конфликта в прозе и драматургии и, в частности, тот факт, что при раскрытии нравственного конфликта некоторые писатели и драматурги теряют чувство времени, игнорируют остроту идеологической борьбы. На это указывает в своем выступлении на страницах журнала **«Стяуа»** критик **В. Арделяну:**

> «Писатель должен убедительно показать борьбу между полюсами противоречия и специфические побуждения, ведущие к нравственному совершенствованию. Между тем некоторые наши прозаики игнорируют подобную психологическую действительность и творят «тепленькую» прозу, далекую от истинного биения жизни. Часто драматическая внутренняя борьба подменяется прямолинейным сопоставлением двух противоположных изображений героя (начального и конечного) и ради этической завершенности прикрывается бессмысленным розовым флером финала».

С той же точки зрения подверглись критике и некоторые драматургические произведения. Обобщая мнение участников дискуссии по этому вопросу, газета **«Скынтейя»** пишет в редакционной статье:

> «Часто бывает, что конфликты недостаточно смело углубляются, не решаются

во всей их сложности, не доводятся до конца; затушевывание или смягчение столкновений, имеющих место в жизни, приводит к беззубым, неубедительным решениям, снижает драматизм иных произведений, их художественную ценность».

Молодой драматург **П. Эверак**, автор пьесы «Костаке и внутренняя жизнь», подвергнутой в ходе дискуссии критике за смазывание конфликта, высказывает свою точку зрения на страницах журнала **«Театрул»**. Он считает, что

«не большие и громкие события влияют на поведение людей на таком участке, который именно и отличается отсутствием подобных событий, а теоретическое обсуждение проблем нравственности», что «взрыв страстей» не следует объявлять единственным каноном драматургии и что «нельзя пренебрегать конфликтуальной энергией теоретического спора».

Однако эта точка зрения не получила поддержки в румынской печати.

Критики А. Тудор, М. Букур и другие участники дискуссии выразили озабоченность тем, что некоторые молодые прозаики пытаются изобразить борьбу, свойственную обществу, строящему социализм, как происходящую лишь в недрах сознания, как столкновение идей, а не общественных реальностей.

В статье **«Борьба нового со старым»**, опубликованной газетой **«Вяца ромыняскэ»**, председатель Союза писателей РНР **Михай Бенюк** заявляет:

«Что бы ни делали члены общества, их основные поступки пронизаны характером общественной борьбы, отражающей сущность нашей эпохи... Писатель, который не осознал этой истины, не знает, следовательно, самой основы, на которой строится литературное произведение: эта основа — социальный конфликт».

Критик **Ал. Опря**, выступивший с большой статьей в журнале **«Лучафэрул»**, писал:

«Нельзя забывать, что в наши дни, когда главной сферой проявления классовой борьбы стала идеология, нравственность, старое редко выступает открыто. Оно принимает самые разнообразные формы вплоть до личины наиболее верной опоры нового. Отсюда и сложность этой борьбы, лишний раз опровергающая опасения некоторых художников, что якобы на данном историческом отрезке сузились источники драматизма. Наоборот, можно смело сказать, что в наше время драматический накал можно выразить еще более глубокими средствами».

В том же журнале опубликована и статья редактора многотиражной газеты завода «Семэнэтоаре» **Т. Братеша**, который показывает, на какие неудачи обрекают себя писатели, пытающиеся возвести стену между общественной и нравственной сущностью конфликта. Автор статьи не раз был свидетелем разговоров и бесед рабочих с писателями, которые приезжали на завод собирать материалы на «производственную тему», а затем читал эти произведения. Вот его вывод:

«Душевные сдвиги людей труда нельзя искусственно отрывать от самого труда, элементы нового сознания появляются и развиваются на плодотворной почве конкретной действительности».

Именно в отрыве нравственного от общественного усматривает Т. Братеш причину того, что рабочие не узнают себя в некоторых литературных произведениях, не находят в них ответа на волнующие их вопросы.

Говоря о драматургических произведениях, критик **Д. Сэрару**, выступивший со статьями в **«Газета литерарэ»** и в **«Лучафэрул»**, также считает характерным недостатком многих современных пьес отрыв конфликта от действительности сегодняшнего дня. Главными героями таких пьес, отмечает критик, выведены носители мелкобуржуазной психологии, между тем как рабочие, коммунисты выглядят безжизненными схемами, «электронно-счетными машинами, которые автоматически выполняют поставленную перед ними задачу».

«Главным,— пишет Д. Сэрару,— остается создание героев, подлинно представляющих нашу действительность, героев, которые были бы изображены в действии, а не только как проповедники новых моральных истин».

Статья Д. Сэрару вызвала ответное выступление **М. Бэрбуце**. В своей статье, опубликованной еженедельником **«Контемпоранул»**, М. Бэрбуце соглашается с тем, что некоторые драматурги схематично и обедненно изображают коммунистов, передовых борцов за новое, и что героями таких пьес преимущественно являются представители интеллигенции, но возражает Д. Сэрару, который, по ее мнению,

«выносит общий отрицательный приговор всем тем пьесам, где, как ему кажется, конфликт приобретает мелкобуржуазный характер, поскольку некоторые их герои являются носителями мелкобуржуазного начала. Между тем,— утверждает Бэрбуце,— в театре можно бороться против мелкобуржуазного духа и умонастроения, только воплощая их в героях, которые затем развиваются, эволюционируют, пока не приходят к осуждению этих пережитков прошлого... Борьба против остатков прошлого есть долг художников, которые средствами искусства содействуют формированию социалистического сознания людей труда».

Писатель Барбу, молодой прозаик М. Ауняну и многие другие участники дискуссии посвятили свои выступления необходимости глубокого знания жизни и неразрывной связи писателей с народом, которую они справедливо считают главным условием плодотворного творчества. Именно в глубоком изучении жизни и борьбы, в правдивом ее

отображении и верном служении народу видят румынские литераторы свой высокий долг. Успешному выполнению этого долга служит и сама дискуссия о сущности конфликта в прозе и драматургии, проводимая литературной общественностью Румынии.

«АНГОЛИЗМ» — В ЧЕМ ЕГО СМЫСЛ

«Анголизм» или ангольский дух — один из многочисленных неологизмов, созданных за последние годы в странах Африки, достигших независимости или борющихся за нее. «Анголизм» стоит в ряду понятий, которыми в Африке стремятся определить духовное и культурное достояние народов, возрождающихся к самостоятельной национальной жизни.

Смысл этого нового термина в контексте современной действительности Анголы и его соотношение с получившей сейчас широкое распространение концепцией «негритюда» довольно полно и многосторонне раскрыты в статье **Коста Андраде**, напечатанной в одном из последних номеров издающегося во Франции журнала **«Презанс африкен»**.

Статья эта, как явствует из ее названия, посвящена творчеству соотечественников автора, его собратьев по перу, поэтов Агостинью Нету и Антонио Жасинту. Однако идея статьи много шире ее темы: выступление Андраде, несмотря на его форму литературно-критического эссе, носит полемический характер и отстаивает точку зрения на «анголизм», выходящую за рамки несколько пассивной и нередко трактуемой идеалистически концепции «негритюда».

> «Анголизм»,— пишет Андраде,— это не просто часть «негритюда», это — динамика развития нового человека. ...«Анголизм» берет начало в «негритюде», как и во всем историческом процессе, но оно идет дальше: там, где «негритюд» останавливается, стремясь заключить черного человека в круг одного только черного мира, «анголизм» разрывает этот круг и представляет гражданина будущей Анголы — разумеется, в пределах его географических и физических «детерминант» — как личность, впитавшую все лучшее в «негритюде», но в то же время обладающую всеми иными возможностями и чертами гармонического человека. Это национальная культура, которая выковывается в ходе длительного процесса борьбы»...

Таким образом, для Андраде «анголизм» это прежде всего форма борьбы за национальную культуру его родины, истинно ангольскую по духу и вместе с тем не стесненную расовой ограниченностью, открытую благотворным влияниям извне.

Говоря далее о путях развития национальной культуры Анголы, Андраде оспаривает экстремистскую точку зрения, высказываемую кое-кем из сторонников «негритюда», согласно которой любые контакты с иными культурами, кроме африканских, противоречат интересам возрождающейся Африки.

В доказательство несостоятельности этой точки зрения Андраде ссылается на творчество выдающегося поэта Анголы Агостинью Нету, пишущего на языке колонизаторов — на португальском языке.

Казалось бы, колонизаторы сделали все, чтобы Нету перестал быть ангольцем, замечает Андраде.

> «Агостинью Нету, студент, потом врач, говорящий по-португальски, использующий этот язык как средство широкого общения, должен был послужить образцом успешной реализации замысла колонизаторов. «Предмет», превращенный в человека, «вещь», «низшая раса», «поднятая» до относительного равенства, «благодаря» цивилизаторской деятельности,— вот что надеялись увидеть колонизаторы... Если бы им удалось вылепить Нету по этому образцу, внушить ему образ мыслей, полностью противоположный тому, который складывался у него естественным путем, Нету стал бы воплощенной мечтой колонизаторов — весьма совершенным продуктом отчуждения. Но,— пишет Андраде,— Нету вырвался из духовной тюрьмы, которую на протяжении веков строили для ангольцев колонизаторы».

Португальский язык — одно из орудий колониального порабощения — он превратил в могучее средство борьбы с колониализмом, поставил на службу ангольской культуре.

> «...Народ Анголы,— продолжает Коста Андраде,— очевидно, понял, что только революция может изменить порядок вещей, навязанный ему несколько столетий назад. И это объясняет, почему использование португальского языка поэтами и писателями порабощенного народа является сейчас безусловной необходимостью: они должны сделать тайное явным, открыть миру трагическую действительность жизни нашего народа... Ни в одной стране, будь она свободной или порабощенной, не понимают ангольских языков...»

Нету в своих стихах, написанных по-португальски, «делает тайное явным», говорится в статье Андраде. В его творчестве язык колонизаторов служит, в конечном счете, утверждению «анголизма».

Добавляя все новые штрихи к характеристике Агостинью Нету, Коста Андраде в то же время все полнее раскрывает свою точку зрения на смысл и значение понятия «анголизм». Он находит в стихах Нету отзвуки строф Маяковского, поэта, чьи стихи вообще неизвестны большинству ангольских писателей, и делает из этого вывод, что, быть может, «у пролетариата — один адрес, независимо от географии».

Еще один аспект революционного «анголизма» автор статьи в «Презанс африкен» иллюстрирует творчеством другого поэта —

Антониу Жасинту. Жасинту, хотя по рождению он португалец, никогда не покидал пределов Анголы. Он, пишет Андраде, «родился и вырос рядом со своими соотечественниками, жил и мыслил, как они, делил с ними их обычаи и желания — словом, всегда был и остается частицей народа Анголы».

Если основная проблема, стоящая перед Нету, продолжает Андраде,

> «это положение африканца, которого колонизаторы считают «делом рук своих», но который в действительности остается истинным ангольцем, стремящимся разрушить построения, созданные колониализмом, если в Нету мы видим прежде всего революционера, а уже потом литератора... то в стихах Антониу Жасинту мы слышим другой голос, дополняющий призыв Нету,— голос полупролетариата всех слаборазвитых стран...»

Оба они глубоко убеждены, что

> «дух народа должен быть выражен устами поэта, а поэт всегда остается частицей своего народа и действует вместе с ним. Говоря словами Секу Турэ — чтобы стать участником африканской революции, недостаточно писать революционные песни. Надо вместе с народом совершать эту революцию, а тогда песни придут сами собой».

Так, по мысли Андраде, сливаются в одном русле борющейся национальной культуры «анголизм» Нету и Жасинту. Оба они, как и другие поэты Анголы, «посвятили себя борьбе за новую жизнь, которая даст возможность всему народу уверенно двинуться вперед».

Андраде заканчивает свою статью призывом к читателям принять участие в этой борьбе:

> «Сегодня Антониу Жасинту, Антониу Кардозу и другие деятели ангольской культуры брошены в тюрьму. Их жизнь под угрозой. Долг всех культурных, всех демократически мыслящих людей — потребовать от португальского правительства их освобождения и добиться его.
>
> Стремясь уничтожить их физически... колонизаторы хотят не только лишить жизни этих людей, но и задушить культуру, которая начала возрождаться с поистине небывалой силой».

НА СМЕНУ «СЕРДИТЫМ»

Если судить о современной английской литературе по отзывам буржуазной печати, то картина получается самая безотрадная. Особенно плохо приходится романистам: статьи буржуазных критиков о романе сделались совсем унылыми и безнадежными, как некрологи.

Между тем даже простое перечисление имен молодых талантливых писателей, выступивших за последние пять лет, и новых произведений их непосредственных предшественников, например Джона Брейна, показывает, что «бесцветному периоду», длившемуся почти все послевоенные годы, наступает конец.

Алан Силлитоу, Рэймонд Уильямс, Дейв Уоллис, Лен Догерти, Колин Макиннес, Стэн Барстоу... Как ни различны эти писатели по стилю и темпераменту, как ни противоречиво их творчество, все они живут интересами своего времени и связаны с демократическим движением, прежде всего с движением сторонников мира. Все они принадлежат к реалистическому направлению, все пишут о людях труда, о представителях многомиллионной армии английских рабочих.

И все-таки, несмотря на успех и популярность этих писателей, книги которых экранизируют и покупают нарасхват, буржуазная критика либо высокомерно отмалчивается, либо цедит сквозь зубы слова о литературе «кухонной лохани» и продолжает твердить, что роман — больше не король литературы, что он должен подвинуться и уступить место модным книгам — путешествиям, рассказам о львах, кошках и выдрах: этого-де требуют читатели.

Причины подобного отношения изложены в интересной статье **Герберта Смита** (автора романов «Человеческий улей» и «Памятное утро»), опубликованной в одном из последних номеров журнала **«Марксизм тудей».** Статья эта является как бы теоретическим итогом целой серии обзорных статей под рубрикой «Рабочие и писатели», в которых на протяжении 1962 года молодые романисты и критики-марксисты делились своими мыслями по поводу нового романа.

Герберт Смит не собирается рассматривать отдельные произведения. Это сделано в обстоятельных обзорах Маргот Хейнеманн и Дейва Уоллиса *. Смит видит свою задачу в обобщении, в раскрытии тенденций развития новейшей английской литературы. Он намечает две такие тенденции: с одной стороны — широкое проникновение в литературу темы рабочего класса как отражение исторического процесса, а с другой — отказ буржуазной критики заметить это явление в культурной жизни страны.

Г. Смит пишет, что положение писателей в современном капиталистическом обществе изменилось: системе прямых репрессий ныне предпочитается подкуп и шантаж. Он приводит слова Хемингуэя об американских литераторах: «Мы губим их многими способами. Прежде всего экономически. Они богатеют. Повышается... их жизненный уровень, и они пойманы». Это не менее справедливо по отношению к Англии: методы критиков, преданных «установленному порядку», пишет Г. Смит, легко об-

---

* М. Хейнеманн. «Рабочие и писатели», «Марксизм тудей», апрель 1962; Дейв Уоллис, «Рабочие и писатели», «Марксизм тудей», июль 1962.

наружить, обратившись к желтым газетам... А появление за последние десять лет многочисленной пролетарской литературы особенно помогло выявить эти методы. Они разнообразны. Прежде всего существует позиция «мандаринов», которые все еще топчутся вокруг Достоевского и Джойса и стоят в стороне от современной жизни. Смит приводит примеры их критических замечаний: «Романы о низших классах так неаппетитны... В них нет ни красоты, ни ума...» Есть критики, которые используют другую манеру: «Они хулят с легкими проблесками похвалы». Третий способ сводится к дешевой сенсации: «Репутацию писателя искусственно раздувают только для того, чтобы в дальнейшем с подлой радостью написать, что «в конечном счете, не так уж он хорош».

Смит справедливо заключает, что высоколобая критика, независимо от субъективных намерений, смыкается в своем презрении к рабочему роману с официальной журналистикой, которая «тщательно избегает реалистического подхода к вопросам политического и экономического положения страны».

Литературные брамины всегда старались не замечать прогрессивных произведений, «а последнее десятилетие отличается особой скудостью мысли и господством предубежденности».

И тем не менее жизнь поставила этих критиков перед фактами, против которых им нечего возразить: эти факты — «астрономические цифры распроданных «неаппетитных» романов и бесконечный спрос на них, который прекращается лишь после их экранизации». Молчит ли надменный критик или брезгливо упоминает о «кухонной лохани»,

> «английский народ явно приветствует проникновение подлинной жизни рабочего класса в культурную жизнь страны».

Герберт Смит отлично понимает, что не все произведения, о которых идет речь, одинаково удачны. «Безусловно, молодая литература о рабочем классе еще недостаточно зрела, она еще не выдвинула таких крупных писателей, как Джек Лондон, Трессел или ранний Стейнбек». Герой нового романа,— по мнению Г. Смита,— проигрывает от сравнения с Клайдом Гриффитсом Драйзера или шахтером Морелом из романа Д. Лоренса «Сыновья и любовники»; читатель больше симпатизирует героям Лоренса и Драйзера, потому что они являются жертвами капиталистического общества. В этом смысле молодым еще многому надо учиться у прогрессивных писателей старого поколения.

> «Пусть в Англии нет столь жгучих экономических проблем, какие нашли отражение в «Гроздьях гнева» или в романе Трессела «Филантропы в драных штанах»; ведь именно угнетение придает такой драматизм этим произведениям. Но это не значит, что сейчас вообще не существует экономических трудностей, или что они не определяют нашу жизнь. А ведь такое впечатление создается при чтении новых романов. Судя по ним, забастовок больше нет; нет и спекуляции домами и бездомных, люди не надрываются, чтобы получить приличную зарплату, старики пенсионеры не голодают. Пусть все эти явления не затрагивают молодежь непосредственно и не могут быть основой мыслей или поступков молодых героев нового романа. Но если молодые писатели будут так рассуждать, над ними нависнет угроза своего рода эскепизма.
>
> А ведь в этом суть культа нового юного антигероя. Это — примечательное явление нашего времени, однако его не следует принимать некритически, как должное. Ибо юность сама по себе еще не геройство и не стабильное состояние: молодежь двигается вперед, навстречу тем самым трудностям реальной жизни, о которых мы говорили выше»...

Г. Смит подробно останавливается на образе молодого героя из рабочей среды, который в большинстве романов

> «не просто антигероичен, но подчеркнуто груб, пьян, распущен («В субботу вечером и в воскресенье утром» Силлитоу, «Такая любовь» Стэн Барстоу, «Зеленые новички» Колина Макиннеса).
>
> В этой новой литературе есть тенденция доводить культ антигероя до такой степени, что каждый юноша становится полупреступником или распутником. Истинные человеческие достоинства, такие как гордость своим мастерством, тревога об окружающем мире, чувство дружбы, надежды или страха, отодвинуты куда-то в сторону».

Недостатки молодого героя

> «лишь свидетельствуют о том, как сильно мы продвинулись вперед и как много еще осталось сделать... Ему не хватает теплоты, в нем слишком много разрушительной силы и грубости; кроме того, он слишком легко идет на компромисс, на который толкает его автор, а его отношение к давлению извне слишком пахнет жалостью к самому себе».

Г. Смит признает, что антигерой Силлитоу или Макиннеса несет в себе элемент бунтарства, что он рожден желанием изобразить темные стороны реальной жизни в противовес лживой, приукрашенной картине английской действительности у буржуазных писателей.

> «Многие из публикуемых книг весьма ловко внушают нам мертвые условности, фальшивые духовные ценности, заставляют нас поклоняться избранным и лгут при помощи умолчания! Незнакомец, который воспользуется книгами из наших библиотек, и теперь еще получит массу совершенно ложных представлений: о том, что все школы — привилеги-

рованные, что армия состоит из одних офицеров, что никто в стране не работает, а все только ходят на вечера в частные дома, в студии художников и на дипломатические приемы; все заняты сексуальной гимнастикой, и на этой почве отягощены комплексом вины...

Новые романы по крайней мере напоминают нам, что люди ходят на работу и трудятся. Они напоминают, что миллионы англичан живут вовсе не в аристократических кварталах... И, может быть, самое главное — эти книги показывают, что красота существует в таких местах, мимо которых стараются пробежать ревнители красоты».

Отмечая достоинства и значение новой литературы, Г. Смит подчеркивает и главный ее недостаток, который, по его мнению, заключается в том, что авторы слишком много места в романах уделяют явлениям, вызывающим у них возмущение.

«Одно дело бунтовать против чрезмерной сексуальности и аморализма продажного общества, другое — когда самая форма протеста становится аморальной или сексуальной».

Правда, Г. Смит тут же оговаривается, что эта форма — плата за опубликование романа:

«Возможно, конечно, что только такой ценой и можно издать книгу. К чести авторов надо сказать, что, достигнув прочного положения, они часто стараются избавиться от этого противоречия (примером может служить образ Брайана Ситона в романе Алана Силлитоу «Ключ от двери»)».

Но, несмотря на недостатки и противоречия,

«новый литературный герой — это шаг вперед хотя бы потому, что он напоминает литературным браминам, из кого состоит большинство нации!»

Г. Смит подчеркивает, что романы молодых писателей обращены к новому читателю, к миллионам людей, которые впервые видят на сцене, в книгах и на экране свою собственную жизнь, видят любовь «простых» юношей и девушек, радости и печали, которые гнездятся в дешевых квартирах, в домишках, выходящих на линию железной дороги...

Герберт Смит не переоценивает достоинства новых романов, он ждет большего от тех, кто начнет писать завтра:

«Появление нового реалистического романа было облегчено явно низким средним уровнем литературы и той угрозой, которую представляет для книжной торговли телевидение. Этот роман завоевал прочное место, но теперь надо ждать новых достижений. Пока эти ожидания не оправдываются, так как нет еще новых авторов с иной литературной манерой, чем та, что характерна для нынешнего поколения молодых писателей.

Грубость, жестокость, чувственность и жалость к самому себе... не должны быть в романе самоцелью... Если эти черты интересуют писателя, он должен вписать их в общий контекст социальной среды и характеров, которые изображает».

Задача марксистской критики, подчеркивает Смит,— помочь молодым писателям-реалистам сделать новый, решающей важности шаг в сторону более глубокого критического осмысления действительности и преодоления аполитичности, характерной для английской литературы.

«Только марксистская критика действительно заинтересована в том, чтобы объяснить причины и характер противоречий, которые мешают творчеству новых реалистов. Критики-марксисты первыми приветствовали прорыв, совершенный произведениями этих писателей. Теперь необходимо доказать, что марксизм — не просто чистая теория, что критики, стоящие на позициях марксизма, готовы поддержать всякую активную гуманистическую литературу».

ОЧЕРКИ

МАРИЯ МАЙЕРОВА

ВЧЕРА—СЕГОДНЯ—ЗАВТРА

ГУДЕЦ И МИНИСТР

«Интересно, существую я или нет? Наверно, существую, раз я живу в памяти десятков тысяч человек, я — Пепик из романа, Йозеф Гудец *. Ну как же можно говорить, что я не жил, раз у меня было свое детство, своя любовь, раз я женился, пережил поездку в Америку, безработицу, многие телесные и душевные страдания? А раз уж я жил и, видимо, до сих пор живу, как и другие персонажи из книг, позвольте мне вернуться в край, где я когда-то скитался, и посмотреть, как выглядит мое неосуществившееся будущее.

Те события, которые произошли в марте 1961 года на Воймешке, заставили меня выйти из неподвижного прошлого книги — мне захотелось посмотреть на восстановление домны, этой невиданной современной великанши, выплевывающей сталь. Работа над ней завершена, и теперь печники будут прочищать ее осипшую глотку: надо ей набрать дыхания. Потом надо будет разодрать тот закостенелый, запекшийся слой, который русские называют козлом из-за его вздорности и упрямства, а наши в Кладно издавна зовут жирной свиньей. Тогда только домна возродится и снова будет изрыгать искрящийся золотом и отсвечивающий алым расплавленный металл.

Согласитесь, что мне, металлургу по крови, нужно это видеть. Поэтому вы и можете меня встретить сегодня на дороге из Крочеглав в Кладно. Именно там, откуда такой прекрасный вид на все заводские трубы. Наверно, я не слишком отличаюсь от всех других пешеходов своими штанинами, похожими на эти самые трубы, и горняцкой курткой под узким пальтишком. Ведь на этой куртке масса дырок — следы брызг раскаленной стали».

Йозеф Гудец глубоко вдохнул воздух, пропахший сероводородом. Ему был хорошо знаком едкий шафрановый дым, который растекался по яркой синеве весеннего неба, как акварельная краска по бумаге. Его заинтересовали неизвестные ему белые облака пара, которые клубились вместе с дымом, догоняя друг друга, как огромные мячи. Он остановился и стал смотреть на небо так внимательно, что не услышал шагов человека, догонявшего его. Это был мужчина, одетый по-городскому, Гудец бы сказал, что пан. Когда он увидел, куда смотрит Гудец, то усмехнулся и с удовольствием вдохнул запах металлургических заводов, ударивший ему в нос током сероводорода. Теперь только Гудец заметил присутствие постороннего и обратился к нему с вопросом:

* Один из героев романа М. Майеровой «Сирена».

— Что это за белый дым?

— Пар с коксовых печей, вы что, не знаете? Наверно, вы нездешний?

Гудец снова поразмыслил и наконец, решившись, ответил:

— Да нет, если можно так выразиться, здешний. Но я здесь уже давно не был. Коксовые печи стоят, как я вижу, где-то на Стара-Гуте,— соображал он.

— Так вы, видно, тут давненько не были,— засмеялся городской пан,— коксовые печи были построены во время войны, а Стара-Гута, которую называли еще Войтешкой, теперь — Конев. Вы тоже идете на праздник?

— О празднике я ничего не знаю,— ответил Гудец,— мне захотелось посмотреть на кладненскую сталь, я прослышал, что будут ломать домну, и меня это выманило с того света. Кладненец без стали долго не проживет, затоскует.

Пан из города понимающе улыбнулся, думая, что Гудец шутит.

— Здесь многое изменилось, братец, Полдовка и Стара-Гута — теперь объединенный металлургический комбинат. После сорок пятого года мы пережили много чего, хорошего и плохого. Надо сказать, что хлопот было побольше, чем праздников. А теперь комбинат — крупнейшее предприятие в Пражском крае, одно из четырех самых больших в республике, и правительство предъявляет к нему серьезные требования. Ну, словом, у нас теперь национализированная промышленность, многое приходится начинать заново, многое еще не испробовано, а иногда и не получается. Но кое-что нам удается, ведь не так давно комбинат был специально отмечен и даже заслужил звание образцового предприятия, работающего на экспорт, а это вам не шутка. Порой и отдельные цеха получают награды, вот как сегодня, поэтому я иду на праздник.

— От кого же они получают награду? — спросил удивленный Гудец.

— От министерства металлургии или от профсоюза.

Гудец удивился:

— Неужели правительство так заботится о металлургах?

— И правительство заботится и сами металлурги. Одних только забот сверху было бы недостаточно. Все эти награды — а ведь тут речь идет не только о знаменах и о славе, но и о тысчонке на брата,— все это результат успешного соревнования коллективов коксовых печей, домен, заводского транспорта или соревнований отдельных участков, как, например, прокатного цеха или целого металлургического комбината...

— Послушайте,— обратился Гудец к городскому пану,— я вас вроде знаю. Вы, случайно, не прокатчик?

— Именно. Мой отец работал в блочном цеху, а я похож на него как две капли воды. Теперь я министр металлургической промышленности. Давайте познакомимся: инженер Черный.— И пан из города протянул Гудцу руку.

Гудец невольно отступил на шаг. Недоверчиво и испытующе глядя на собеседника, он произнес:

— Однако в этом Кладно порядки здорово изменились. Я некий Гудец из «Сирены», если вы меня помните. В мои времена здесь была Прагер Эйзен Индустри Гезельшафт, а министра никто из нас и в глаза не видел. Послушайте, а вы, часом, не разыгрываете меня?

На ясноглазом лице министра появилась широкая улыбка.

— Пойдемте со мной, пан Гудец, сами увидите. Да у меня и письма есть, вот пишут мне товарищи отца по прокатному цеху. Напоминают, что они меня воспитали, что я их человек. Знаете, я даже побаиваюсь такого доверия. Будут ждать от меня чудес, а я самый обыкновенный человек. Ну ничего! Вам обязательно надо посмотреть, каким стало Кладно, раз уж вы тут так долго не были: новые сталеплавильни, два новых поселка, дом отдыха, новые школы, ясли...

— Ясли для детей рабочих? Да разве это возможно?

Так шли по дороге из Крочеглав в Кладно министр металлургии и рабочий-металлург Йозеф Гудец, шли бок о бок по-товарищески осматривать сегодняшнее Кладно, чтобы сравнить прошедшее с настоящим и обсудить в дружеской беседе также и будущее.

ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ — КРЕСТНЫЕ

Существует добрый деревенский обычай, который сближает людей, не состоящих в родстве. Семья приглашает к новорожденному крестного отца или крестную мать, чтобы они дали свое имя только что появившемуся на свет человечку и на всю жизнь остались ему родными. Волей-неволей соседи выполняют эту повинность. Друзья — охотно, в надежде, что и им потребуется такая же услуга, посторонние — с наигранной любезностью.

Кулачка снисходительно соглашалась стать крестной у батрачки. Очень часто ее подарок на крестинах был единственным, который несчастный бедняк получал за всю свою жизнь.

Этот добрый обычай чешской деревни сохранился и до наших дней, он приобрел только новые формы и новое значение. Наши заводы и шахты после освобождения страны от фашистского ига переименовывались и получали своих крестных. Ими становились люди, особенно близкие к «крестникам», на каждое предприятие — один или два человека. Но почему же вдруг тридцать процентов? Как это получилось?

А вот как.

Среди работников металлургического завода в Кралув-Дворе тридцать процентов женщин. У кого же из них родилась Мариночка и почему все работницы стали крестными матерями?

Да нет же, Мариночка родилась вовсе не в Кралув-Дворе, а за 5 000 километров от Бероуна, в далекой советской земле, называемой Уралом! Видно, уж придется мне рассказать вам об этой истории подробно.

Когда вы едете ночью из Плзня в Прагу, не забудьте, подъезжая к Бероуну, полюбоваться на ослепительный фейерверк, который зажигают металлургические заводы в Кралув-Дворе. А те, кто едет днем, с радостным любопытством замечают, как по обе стороны железнодорожной линии вырастают дома кралув-дворского поселка, «высотные» с башнями и жилые дома пониже. Обе картины вставлены в раму из зеленых пригорков, как бы обведенных на горизонте изящной волнистой линией среднечешской возвышенности. Но долина, лежащая между холмами, не могла из-за старого промысла жителей сохранить озон лесов и лугов. Дым из наших первых доменных печей — они старше кладненских — уже много лет назад окутывал всю бероунскую долину.

Сейчас под яблони местных садиков и в окна домов поселка ежедневно высыпается пятнадцать вагонов сажи из труб расширенных металлургических заводов. Яблоки, созревающие на ветвях, напоминают уголь, а одеяла, развешанные на балконах, почернеют прежде, чем проветрятся. Но теперь уже нашли средство против сажи. Это важно прежде всего для кралув-дворских детишек и их легких.

Я рассказываю обо всем этом только для того, чтобы вы представили себе обстановку, в которой развернется наш рассказ.

На металлургическом заводе в Кралув-Дворе в цехах, где отливают водопроводные трубы для наших новостроек, и в заводоуправлении работает тридцать процентов женщин. А в чьей же голове, как не в женской, могла родиться мысль о коллективной крестной Мариночки?

Когда эта мысль возникла, Мариночки еще не было на свете. Но уже существовала дружба между кралув-дворским металлургическим и машиностроительным заводом в Перми на Урале.

Заводы-друзья разделяет много тысяч километров, и все же ящик с подарками «на зубок» Мариночке получил зеленую улицу и был вручен как раз вовремя, чтобы Мариночку смогли вымыть чешским мылом и запеленать в одну из сорока подаренных ей пеленок. И, конечно, ее тут же нарядили в роскошный туалет, присланный из Бероуна, укрыли розовым силоновым одеялом, положили в беленькую плетеную колясочку и всунули ей в ротик одну из пятнадцати сосок.

Но почему же крестницей стала именно Мариночка? Да, конечно, потому, что она родилась у работницы машиностроительного завода на Урале, это вам и так ясно. Но для полной ясности все же следует добавить, что она родилась в месячник чехословацко-советской дружбы. Когда наши крестные матери приняли решение в ноябре 1959 года взять на свое попечение будущего новорожденного, они еще не знали, будет это девочка или мальчик. И только в ноябре 1960 года пришла телеграмма из уральского города Перми: «У работницы Людмилы Лекомеровой родилась дочка Мариночка. Это первый новорожденный в месячник дружбы. Мать будет продолжать работать на заводе».

Получив эту телеграмму, крестные матери стали складывать на два больших стола подарки «на зубок» новорожденной. Так набралось красивое приданое — подарок коллективной кралув-дворской крестной Мариночке. Глаза разбегались при виде всех этих чепчиков, распашонок, шапочек, погремушек, не забыли и о присыпке, словом, тут было все, что потребуется такому карапузу в первый год его существования. Крестные мамы вскоре были извещены письмом, что их подарки дошли по назначению и что Мариночка пользуется ими в добром здоровье. Целый альбом фотографий рассказывал не только о том, как подарки были вручены молодой матери комсомолке Людмиле и кто при этом произносил речи, но и что представляет собой город, завод и цех, где работает Людмила, на снимках было видно, как хорошо выглядит Мариночка в вещах, с такой любовью собранных женщинами-металлургами Кралув-Двора. К альбому было приложено сердечное письмо:

«Уважаемые товарищи!

Вдобавок к тем фотографиям, которые мы вам посылаем, мы еще хотим рассказать, где находится наш машиностроительный завод и какая природа в наших местах. Мы видели ваши бероунские лесочки и должны вам сказать, что наш город расположен вблизи тайги, густых лесов, в неприступных уголках которых живут мишки-медведи, лоси и много мелкого зверья, соблазнительного для охотников. Наши густые леса, и хвойные и лиственные, зелены зимой и летом, а зима у нас долгая и суровая. Мороз достигает 45°. Пермь — промышленный город с полумиллионом жителей, стоит он на могучей реке Каме. Традиции нашей промышленности очень древние. Вы, конечно, читали, что уже Петр Великий со своими кузнецами Демидовыми наладил обработку железа в наших краях. Но не только железо отыскали наши предки в неисчерпаемом богатстве уральских руд и горных пород. Уже в 1723 году здесь был построен завод, выплавляющий медь, и до сих пор Урал поставляет уголь, нефть и дерево. В Пермской области 8 высших учебных заведений, 48 средних специальных учебных заведений, несколько тысяч школ, а совершенствованием производства занимаются 18 научно-исследовательских институтов. У нас много библиотек, клубов, музеев, театров, дворцов культуры, особенно популярны кинотеатры. Выходит много газет и журналов.

Пермяки справедливо гордятся своим революционным прошлым. Уже во время революции 1905 года у нас возник Совет рабочих депутатов, создавший боевые дружины, в 1917 году в Перми была установлена власть Советов, а в 1919 году она утвердилась окончательно...

Мы посылаем вам эти несколько строчек, чтобы вы знали, где живет ваша крестница Мариночка и мы все, кто с любовью вспоминает о том, как по-братски вы нас принимали на вашем заводе и в городе. Спасибо вам за подарки. С особенно теплым чувством мы вспоминаем о девчушке, которая бегом догоняла наш отъезжающий автобус, чтобы вручить свой личный подарок — куклу».

Письмо пролетело по цехам и конторам кралув-дворского металлургического завода. Оно путешествовало из двора к домнам, из цехов, где отливаются трубы, в плановые отделы, письмо вместе с альбомом переходило из рук в руки от конструкторов к прокатчикам. Над ним склонялись литейщицы и экскаваторщицы, лаборантки, плановики и главный бухгалтер, письмо прочитал в минуты отдыха мастер трубопрокатного цеха, его дважды перечла женщина-инженер, которая работает над составлением общезаводского плана, а вместе с ней все нормиров-

щицы и буфетчицы, читали его женщины из техконтроля и в техническом и хозяйственном аппарате, а также значительная часть женщин, которые работают в отделе сбыта и снабжения. Письмо пролетело, подобно белой голубке, в заводскую столовую и кухню и не остановилось даже в Доме культуры. Этот дом только начинали строить, когда товарищи из Перми навестили Кралув-Двор. Конечно, они тогда встретились не только со здешними женщинами, но и с обитателями Здиц, Крушной Горы, Нового Яхымова и других мест и поговорили с ними. Организаторам поездки приходилось локтями расчищать путь для автобусов с гостями — дорога была запружена: каждый хотел пригласить к себе в дом хоть одного гостя. Уральцы познакомились со многими нашими достопримечательностями, но не видели нашей гордости — Дома культуры, который мы только недавно достроили и открыли.

Обо всем этом надо рассказать. И вот за мыслью последовало дело, и этим делом стало тоже коллективное письмо:

«Дорогие товарищи!

Спасибо вам за альбом фотографий. Они как бы перенесли нас на Урал, и нам захотелось снова повидаться с вами. Приезжайте опять с поездом дружбы, и вы увидите наши новинки, особенно Дом культуры, который доставляет много радости всему заводу и помогает нам овладевать знаниями. В его просторном зале размещается несколько сот человек, там можно проводить собрания, многочисленные зрители могут наслаждаться прекрасно поставленными спектаклями наших актеров-любителей. Сцена оборудована по-современному, декорации механически спускаются и поднимаются. При Доме культуры много кружков. У нас четыре музыкальных коллектива: духовой оркестр, джаз, симфонический оркестр и камерный квартет. Для наших детей мы устроили кукольный театр. Все, что возможно, мы сделали своими руками. Наши модельщики, те самые, что сбили крепкий ящик для подарков Мариночке, соорудили прочные перила к галерее в зале. Они из твердого благородного дерева и отполированы. Когда рабочие закончили свое дело, женщины взяли ведра, щетки и тряпки и выскребли весь дом со всеми лестницами и залами, перемыли окна, все прямо сияло. Потом мы составили программу — и за полгода у нас было проведено 480 мероприятий, на которых присутствовало 50 000 зрителей. Все ходят сюда охотно. Здесь мы учимся жить по-социалистически!»

Так, благодаря Мариночке, подружились не только два завода, но и все работники двух огромных, отдаленных друг от друга предприятий. Теперь она дочка не только тридцати процентов заводских рабочих — ее крестных, но и всего металлургического комбината. В ее ручках — невидимые, но крепкие узы дружбы. Эти прекрасные узы любви человека к человеку, узы мира, которые исключают вражду между народами, преграждают путь войне, крепки и нерасторжимы.

ЛЮДИ

Когда мы говорим: «Люди — как всюду...», это — и обычное поверхностное суждение, и оправдание. Парнишка напроказничал — мы качаем головой: все они одинаковые, эти сорванцы. Соколувские жители так же несовершенны, как и прочие люди, но они обладают и положительными качествами, которые, врожденные ли они — и в этом случае человек незаслуженно гордится ими — или благоприобретенные, в равной степени служат на пользу ему и всем, кто его окружает.

Так и соколувцы, как мы увидим в дальнейшем,— и хорошие, и плохие люди. Сплавился в них дьявол с ангелом, но, наблюдая жизнь в Соколуве, можно заметить, что благородный представитель «совершенства» чаще одерживает верх над «злым духом». Однако победа достается ему не просто, потому что взрослое население — не однородная масса. Жители съехались сюда из разных уголков земли, говорят на семи (или более?) языках и наречиях, и даже старожилы отли-

чаются тем, что все они выросли в разных местах и у всех разные взгляды на жизнь.

Соколув, город и угольный бассейн, сначала — сразу после войны — не слишком привлекал новых поселенцев *. Город старый, обветшалые здания, рытвины, оставшиеся от бомб, никаких развлечений, мало больниц и школ — словом, довольно печальная картина. Пожив здесь немного, люди отправлялись куда-нибудь в поисках лучшего. Постоянная текучесть рабочей силы вела к тому, что люди не сживались, не прилаживались друг к другу.

Теперь, через 16 лет, их язык уже стал единым; пожалуй, только в пении еще можно заметить различные интонации. Жители немецкого происхождения, которые не эмигрировали, живут и сейчас по своим обычаям, хотя они чехословацкие граждане и во всем остальном равны прочим обитателям республики. На шахтах работают с душой. В первые дни после революции немцы чувствовали себя не очень уверенно и собирались вместе, чтобы «тайно» послушать радиопередачи из западных стран. «Тайна» так свято соблюдалась, что о ней чирикал каждый городской воробей. Они сторонились общественной жизни и не участвовали в движении ударников несмотря на то, что среди них были такие выдающиеся рабочие, как шахтер Адольфек с шахты «Мария», заслуживший прозвище Землечерпалка. Теперь содружество рабочих настолько стерло национальные грани, что среди членов бригад, которые борются за звание бригады социалистического труда, немцев не меньше, чем чехов. Первая пятилетка отделила плевелы от доброго зерна.

Борьбу дьявола с ангелом можно наблюдать ежедневно. Дьявол протянул шкодливую руку, и она переломала худенькие стволы лип и ясеней, посаженные только вчера с такой любовью на пустынной развороченной земле; это обидно до слез. И наряду с этим за последние пятнадцать лет участники бригад выстроили дома культуры в рабочих поселках, где испокон веков были только трактиры. Они строили эти дома не для себя, а для всего поселка, строили почти бесплатно. Такой дом, сделанный из кирпичей разрушенного пограничного здания, разрисованный шахтером-любителем, стоит в Ломнице. В нем два зала, сцена, клуб и кегельбан.

Ломничане начали с пустыми руками и поэтому стали искать помощи в разных инстанциях. Инстанции им вежливо отвечали, что фонды будут через год. Господи, через год! А мы хотим культурно жить сейчас, сегодня! И шахтеры с шахты «Иржи» ответили инстанциям: «Через год? Через год вы приедете к нам танцевать!»

И ломничане действительно танцевали через год. Дом культуры у них хороший. Там им вручали правительственные знамена, знамена китайских горняков и все знаки отличия, которые они заслужили работой на шахтах. В Ломнице живет шестьдесят процентов немцев-старожилов, и они не только принимают участие в самодеятельном ансамбле, но и с энтузиазмом работали на строительстве клуба.

Тот, кто посетил бы Дом культуры Соколува в эти последние недели, очутился бы в кишащем муравейнике. Во всех комнатах работают кружки: художественной самодеятельности (куда входит и детский балет) — театральный, музыкальный, кукольный, кинолюбителей,— а также рационализаторов, изобретателей, любителей химии, физики или электротехники. Выставки работ кружковцев служат не только для поучения зрителей, но имеют и практическое значение для улучшения производства. В Доме культуры — высокий зал с прекрасной вентиляцией, так что долгое пребывание в нем курильщиков не отравляет воздуха дымом сигарет и трубок.

В первые годы, когда в Соколуве не хватало молодежи для горной промышленности, работники по набору кадров приводили цыган, но не тех, которые жили в цыганских таборах около словацких деревень, а кочевников, привыкших переезжать с места на место. До того времени они кочевали в плетеных теле-

---

* Очерк написан в 1961 г.

гах, на «комедиантских» возках, спали там, где раскинут лагерь, разжигали костры и в котелках варили то, что удавалось добыть.

В один из таких наборов был принят на работу в шахту мужчина. Сначала он приехал один. В поселке было много пустых домов, куда не хотели переселяться жители, и один из этих домиков был отдан новому рабочему. Тут же к цыгану приехала жена с хвостом из девяти детей, потом сестра, брат, родители, зять, теща и многочисленные родственники до десятого колена, так что в домике поселился целый табор. И они начали жить по своим кочевническим обычаям. В комнате раскладывали «огонек» меж двумя камнями, а когда нечем было топить, выдергивали доски из собственных и чужих заборов. Куры и кролики во всей округе тряслись за свою жизнь. Соседи ругались, защищались, приходили в ужас от крови, которая лилась, когда «табор» сводил счеты во время семейных ссор. Дьявол радовался. Однако ангелы стояли на страже. Цыган научился работать, научился и жить, а молодые цыганки сложили в угол многочисленные пестрые юбки, которыми трясли раньше, и сменили их на монтерские пояса, а по воскресеньям — на короткие модные юбки и хорошенькие свитера. Короче говоря, этот кочевой народ стал смотреть на работу с новой, гражданской точки зрения.

Ангел в образе заводского врача следит за чистотой приемных перед медосмотром, так что дьяволу в утешение не остается даже окурка или спички на полу. Это совсем не по нраву адскому отродью, и он влез в шкуру старого плута-шахтера, который имел хлев и растил поросенка. По правилам, предоставлявшим горнякам всякие выгоды, шахтер мог оставить себе одного поросенка целиком с салом и мясом, как говорится, со всеми потрохами. Достаточно было сдать только содранную кожу. Итак, семья плута-шахтера на здоровье съела поросенка, сдала кожу и затужила по новому дешевому мясу и салу домашнего приготовления. Купили они нового поросенка, выкормили его и, когда настало время, устроили новое пиршество.

Когда режут второго и третьего поросенка, шахтер обязан продать заготовительному пункту пять килограммов сырого сала. Было трудно расстаться с целыми пятью килограммами, и поэтому дьявол пошептал на ухо шахтеру и придумал ему причину:

— Доктор, у меня силикоз, осмотрите меня, а у жены и дочери туберкулез — напишите мне бумажку.

— Тебе что, неохота отдавать сало? Эх ты, третьего поросенка режешь... Давай посмотрим!

Если бы был силикоз и туберкулез, была бы и справочка, но нет, силикоз объяснялся только третьим поросенком. Крик старого плута доносился из приемной и слышен был даже на шоссе. Но доктор справку не дал, только рукой махнул.

Дьявол прогадал.

Однако он часто выигрывает, когда шахтеры нарушают правила техники безопасности. Черт шепчет им: ну что за глупость все время оглядываться — то нельзя, другое нельзя; каждый запрет — это уловка, вроде тебе запрещают работать быстрее, и вообще все эти правила безопасности, осторожности, запреты курить — все это чушь собачья...

И так случилось, что ударник Малац, ревнитель порядка, однажды, долго прождав товарища, которого он послал за лампочкой, послушался чертова наговора. И, сам не заметив, как это случилось (спичка? сигарета?), вдруг услышал взрыв, и обожгло беднягу так, что чуть было не вынесли его на простыне. Дьявол, конечно, засмеялся, вот здорово — сбил с панталыку исполнительного, сознательного, прославленного рабочего, который хорошо зарабатывал, а теперь должен проводить целые месяцы без дела в больнице.

Ангел-хранитель ходит в раздевалках Соколува в образе бывшего шахтера, а теперь инспектора безопасности Когоута, который своих шахтеров знает, видит их насквозь и рассказывает о них множество анекдотов.

«Был я, к примеру, на одной шахте,— рассказывает он,— все облазил, был в отсеках, на складах... и все в порядке. Поднимаюсь наверх. Нахожу представи-

теля шахтерского комитета и говорю: «У тебя — добро, безопасность стопроцентная. Только, знаешь, как твои ребята между собой разговаривают? Ты обратил бы на это внимание. Мы должны жить по-социалистически, а я там под землей только и слышу: «Подай-ка мне, скотина», «Подвинься-ка, скотина», «Наладь инструмент, скотина». Так бы шахтерам не след говорить. Ну и словарчик у них! Это не годится...»

Председатель шахтерского комитета ерзает, пожимает плечами: «Я им, скотам, об этом все время говорю, но эти заразы — все свое!»

Ну, а теперь покончим с чертями и ангелами, поговорим о людях... Люди, как везде, разные, люди хорошие и плохие, люди Соколува.

Короче говоря, жителям Соколува начинает здесь нравиться, и многие перестают скучать по родным местам, откуда они пришли. Те, кто родился в Соколуве, пускают молодые корни в здешнюю почву.

БАШМАКИ РАССКАЗЫВАЮТ...

В раю Адам с Евой ходили босиком. Но вот свершился первородный грех, и бог приказал им, в соответствии с «райским» кодексом, взять мотыги и возделывать окрестные виноградники. В раю земля была мягкая, поросшая мхом, приятная для ступни, и ангельски совершенным ногам не грозило плоскостопие. У Адама и Евы не было мозолей; эта райская пара не требовала педикюра, да и обслуживание граждан там еще не было заведено.

Но стоило первозданным людям выйти за врата рая, как они тотчас стерли себе пальцы. Было больно, и Адам с Евой стали думать, чем бы обернуть ноги. Пришлось подождать, пока райские бананы дорастут до забора, и можно будет дотянуться до них. Адам с Евой сорвали листья, каждый соответственно размеру своей ступни, и обернули ими ноги.

Эта обувь не сохранилась до нашего времени и поэтому отсутствует среди экспонатов музея фабрики «Свит».

Самые ранние технические образцы — пособия и, даже можно сказать, вдохновители модельеров «Свита» — сандалии третьего тысячелетия до нашей эры. Это не так называемая «серийная» обувь, которую носили все строители пирамид. Это скорее драгоценность, найденная в гробнице фараона Тутанхамона, украшение, о котором едва ли могли мечтать даже властители того далекого мира.

Простой народ спасал свои ноги от палящего песка и знойного экваториального солнца с помощью лыковых лаптей собственного изготовления. В точности нам это не известно, но мы судим по тому, что лыковые лапти испокон веков были обувью бедных. Ими долгое время пользовались не только крепостные крестьяне царской России, но и миллионы бедняков в Индии, до тех пор пока, окончательно обнищав, они не стали ходить босиком.

Товарищ Пастыржик водит меня по светлым залам музея технических образцов обуви и нежно касается сандалий, как ювелир, любующийся делом рук своих. Бывший работник Ботостроя, потом узник концлагеря, а теперь смотритель музея Пастыржик относится к свитскому производству с каким-то отцовским чувством.

Итак, я уяснила себе, что эллины уже умели делать сандалии на правую и левую ногу — античные сапожники старались сохранить заказчикам здоровые ноги. Конечно, и они делали разную обувь: одну из кожи, с украшениями — для господ, другую тряпичную — для бедных. Диоген, очевидно, носил тряпичную обувь, если вообще не сидел босиком в своей философской бочке.

Различие между господином и рабом у греков и римлян было ярко выражено в одежде и обуви. Богатые носили на ногах жемчуг и золото, бедняки использовали куски ткани или, в лучшем случае, кожи, достаточно большие, чтобы охватить всю ногу до щиколотки. Со временем роскошь в европейских государствах росла, и средневековые придворные дамы уж и не знали, что бы на себя надеть и во что бы обуться. Туфельки вышивали, делали их из парчи, соперничали друг с другом в изобретении разных фасонов — узконосых и со срезанными носами;

вершиной этой эксцентричности была обувь тогдашних щеголей — узкие носы, загнутые кверху, обувь с колокольчиками, шелковая обувь на каблуках; чтобы не упасть, щеголь прикреплял к загнутым носам ботинок цепочки, при помощи которых управлял своими шагами.

Моды сталкивались и искрились, как два противоположных электрических заряда. Вскоре после разных парчовых и бархатных туфелек появились кожаные сапоги — обувь воинов. Вся Европа обулась в сапоги. Кое-где в деревне они прижились, в них хорошо было ходить на поле, и до сих пор в моравских и словацких покроях сохранились эти фасоны. А как девушки украшали их латунными гвоздиками, отворотами и продержкой из красной нитки! Родители обували в маленькие сапожки и десятилетних девочек. В этом можно убедиться, глядя на прелестную девочку в витрине. Я с интересом рассматриваю ее оснащение, но Пастыржик отворачивается.

— Что с тобой? Тебе не нравятся эти детские сапожки?

Пастыржик не смотрит на сапожки, глядит в сторону как-то неопределенно. Из глаз его исчез огонек, они затуманились серой тоской, будто перед ним возникла печальная картина.

— Прости,— шепчет он,— я не могу смотреть на детскую обувь. Я был в Освенциме столько лет! Тысячи пар тапочек, туфелек, ботинок, спортивок и башмачков, снятых с худых ножек,— целые горы детской обуви видел я. Тащили мы однажды тележку из Освенцима в Бжезин. Мимо проезжала колонна грузовиков, и, где было хоть какое-нибудь отверстие, отовсюду смотрели на свет детские глаза, полные страха, тоски и еще хуже — наивной любознательности. Во главе колонны — машина гестаповцев, сзади — вооруженная охрана. Всех этих детей везли из Бжезина в Освенцим, и мы знали, что скоро удушливый дым из крематория вознесется вместо них к небу. Завтра на складах появятся новые холмики из детской обуви. Эти детские глаза не дают мне покоя ни днем, ни ночью, они стоят передо мной, когда я смотрю на маленькие сапожки.

Молча я осматриваю витрины, где выставлены изящные туфельки сказочного Востока. Изнеженность высокомерных магараджей сменилась извращенным вкусом китайских мандаринов, которые находили красоту и грацию в изуродованных женских ногах, ноги фактически не имели стопы, кончались каким-то кругляшком. Девочкам в грудном возрасте зажимали ноги прочными дощечками или бинтовали, чтобы они не росли, а иногда просто подрезали подошвы или пальцы.

Сохранилась ли роскошная обувь в восточных странах? Ее надевают в исключительных случаях; на Востоке даже богатые люди в наше время носят одежду и обувь европейского образца. Только беднякам нищие сапожники все так же шьют на пыльных улицах обувь из тряпок или из обрезков кожи, а теперь и из кусков старых автомобильных покрышек.

Передо мной витрина, где собраны образцы национальной обуви. На меня пахнуло стариной, словно я попала в театральную костюмерную, здесь пробегают века — «башмачная» история человечества. Я представляю себе Цезаря в золотых сандалиях и Ганнибала в легионерской обуви: куски кожи и металла, переплетенные ремнями, доходили до половины икры. Распутный папа Иоанн, не помню, какой по счету, в атласных туфельках. Тартюф Мольера в глубоко вырезанных башмачках с красным каблуком — модным в то время. Фаворитки эпохи Буше в прелестных туфельках на высоких каблучках, так похожих на современную «шпильку» — последний крик моды. Гетманы-гуситы в высоких грубых сапогах для военных походов, мстители за сожженного Яна Гуса и борцы за новый, справедливый порядок. Их обували сапожники-табориты. Шведы и другие участники Тридцатилетней войны во главе с Вальдштейном в ботфортах из тонкой кожи с раструбами у колен. Кавказский горец в обуви домашнего изготовления, сделанной по традиционному образцу. Индейская красавица с длинными иссиня-черными волосами в мягких мокасинах, в бусах. Гордая графиня в «хлебных башмачках», попавшая в ад: та самая из пражских легенд, которая не знала, как бы получше доказать свое высокое рождение, и во время голода, когда простой люд ел солому, приказала испечь себе башмачки из пшеничной муки. Городские

панночки с турнюрами, доверявшие свои пышные тела только прюнелевым туфелькам — полосатым с бантами. Рядом с ними толпы бедноты в деревянных башмаках и берестовых лаптях, в чунях и обмотках, сделанных из лоскутков негодной материи; только для больных бедняки шили «чертовы коцуры» из обрезков войлока, чтобы не мерзли ноги.

А вот и эпоха штиблет — ботинок с резиновыми клинышками сбоку и теплых туфель, которые раскраивал Батя-отец в деревянных бараках и отдавал дошивать валашским пасечникам и пастухам, почти не платя им за работу.

Ну, а где же самые страшные, известные всей Европе сапоги — сапоги гестапо? Их здесь нет?

Нет, они здесь не выставлены. Зато здесь собраны карточки из картотеки на рабочих Ботостроя, которых выдал Батя-племянник нацистским оккупантам. На листах — сведения о быте и настроениях рабочих, об их политической деятельности. «Женился на сестре коммуниста»,— написано поперек одного листа. На другом — «Член стачечного комитета». Мой проводник рукой, искалеченной на машинах Ботостроя, которые приводились в движение руками или ногами, показывает на третий. «Узнаешь?» — спрашивает он и кладет пальцы без верхних суставов на фотографию.

Узнаю. Это молодой, здоровый товарищ Пастыржик. На его листе написано одно слово: коммунист.

Одно слово — и этого было достаточно, чтобы с первой партией рабочих Ботостроя его отправили в концлагерь.

Нет, зловещие сапоги «СС» в этом музее не представлены, хотя до сих пор жива память об их господстве.

Вот мы подходим к «деревяшкам», в которые эсэсовцы обували сотни тысяч заключенных, когда снимали с них хорошую обувь. Тяжелые бесформенные колодки из дерева, лишь отдаленно напоминающие «сабо» — деревянные туфли с голландских открыток. Эти колодки заключенные прозвали «голландцами» и должны были делать их сами, делать быстро и плохим инструментом.

С этими деревяшками связана история об Антонине Запотоцком, которого в лагерь посадили, как говорили заключенные, «резать голландцев». Едва Запотоцкий вернулся на освобожденную родину, как его стали травить чешские лжепатриоты. В газетах появились клеветнические статьи, что он «резал голландцев». Журналистские нравы в дофевральской Чехословакии были таковы, что Запотоцкому пришлось публично разъяснять, в чем разница между деревянными «голландцами» и голландцами — жителями Голландии.

Деревянная обувь явилась следствием войны. После первой мировой войны добродетельные американцы посылали нищей Европе деревяшки с кожаным верхом. Поставщики в период русско-японской войны снабжали войска обувью на картонной подошве.

Мода быстро меняется, и мы, глядя на витрины, убеждаемся, сколько раз она вдохновлялась образцами прошлых веков. Давайте припомним, на скольких башмаках мы сносили подошвы: на высоких зашнурованных ботинках и на ботинках с пуговицами, на остроносых туфельках «шимми», чарльстонках и многих других, на обуви с тупым носом, которую называли «утиный нос», «медвежьи лапы» и «коровьи морды», а те, кто постарше, помнят венскую обувь и моду с «длинным носом», за такой фасон получил золотую медаль чешский сапожник Кржиж на выставке по случаю открытия Эйфелевой башни в Париже. Молодежь с интересом смотрит на обувь с меховой подошвой, потому что теперь этого не увидишь — резина с великим успехом завладела нашим производством. Мы вулканизируем подошвы, пластмасса делает чудеса, она идет и на верх и на подошву. Резиновая обувь в почете у всех, кто работает на земле, и всюду, где нужно беречь ноги от сырости, а серийная обувь так дешева, что многие даже ее не чинят. Поэтому чем дальше, тем меньше становится «холодных сапожников», как называли раньше тех, кто чинил ботинки.

Еще не так давно, когда стоимость пары туфель равнялась месячному заработку сельскохозяйственного рабочего, да и актера или служащего, нельзя было

так бросаться обувью. В музее хранятся как память ботинки рабочего времен Первой республики, на которых заплатка на заплатке.

Рассматривая витрины, я заметила, что славянская обувь отличается от всякой другой мягкостью линий и изяществом украшений, хотя и на ней заметно влияние мод и характера народов. Мне понравились боярские сапожки, ходские «сторожевые», валашские теплые туфли, словацкие «чижики» — подкованные сапожки, в которых танцуют чардаш, болгарские и югославские расшитые чапли, московские валенки и обувь для советских зимовщиков и полярников, сделанная из необработанной кожи мехом внутрь.

Первобытный человек, научившись заворачивать ноги в шкуру, наверно, не выделывал ее, чинил же он свою обувь так — поплюет на заплату и приложит ее к дырке, то есть находился на самообслуживании. Но со времени появления лощила и деревянного гвоздя сапожник встал за верстак и включился в общественное производство. И свитский музей приветствует нас показом всех способов обувной техники: на почетном возвышении верстак с табуретом для мастера, тут же лоханка, где вымачивают кожу, и весь инструмент сложной ручной работы — лапка и, главное, лощило.

Лощило — это вершина технического прошлого. Сделанные из специального дерева (ствола шиповника), отполированные, как галька, лощила разной величины предназначались для различных операций: чтобы разглаживать и полировать кожу, делать искусные загибы на сапогах с набором или заглаживать край подошв. Лощило было жезлом деревенского сапожника. По-чешски лощило называется «фидловачка»; в его честь назвали народный праздник, потому что сапожник пользовался уважением народа и даже стал персонажем многих народных пьес. Сапожники умели шутить, и шутки их отличались особым юмором. Сапожника любили и почитали — он был нужен каждому.

Шли годы. Сапожный верстак ушел в прошлое, возникли цеховые книги, цеховые знамена, цеховые разделения. Цехи превратились в организации трудящихся сапожников, с одной стороны, и в тресты фабрикантов-обувщиков — с другой. Батя сумел вырастить и «сапожную аристократию», которая 1 мая на Ботострое прогуливалась в цилиндрах. С разделением на два класса возникла борьба угнетенных и угнетателей, и первая забастовка сапожников не заставила себя долго ждать. Она вспыхнула в Скутчи, на Высочине, где наша беднейшая, неурожайная земля ничего не давала, а есть надо было. Рост промышленности и механизация постоянно разоряли мелкие сапожные мастерские. Промышленники достигли того, что стали большой силой не только экономической, но и политической. Они обували весь мир и хотели владеть всем миром. Они всегда были на стороне тех, кто обладал силой. Племянник Батя предложил Геббельсу переселить чехов в Патагонию. Но на этот раз он поставил на фальшивую карту. Нацистская «тысячелетняя империя» рухнула, и Ботострой стал предприятием «без шефа», предприятием национальным, собственностью тех, кто там работает.

Поток ботинок, туфель, бутсов и бальных туфелек течет к берегам всех континентов. «Свит» обувает пражанок и жителей Брно, девушек из Братиславы и Пряшова, обувает шахтеров, трактористов, охотников, прокатчиков, крановщиков, парикмахеров, обувает всю республику. Сколько раз еще будет модельер возвращаться в свитский музей технических экспонатов, чтобы посмотреть на новые моды, новые покрои, новые фасоны! И будут повторяться «узкие» и «утиные» носы, каблуки-«шпильки» и снова каблуки-«катушки», будут делать обувь из шевро и атласа, из ремешков и позолоченной парчи. Но больше всего будут делать обувь из кожи, из цветной кожи, которая выставлена на последней витрине.

И мы станем всю эту обувь охотно покупать, терпеливо носить и благодарить сапожников, если туфли не будут нам жать.

Перевод с чешского И. БЕРНШТЕЙН и И. ЧЕРНЯВСКОЙ

Н. ПРОЖОГИН

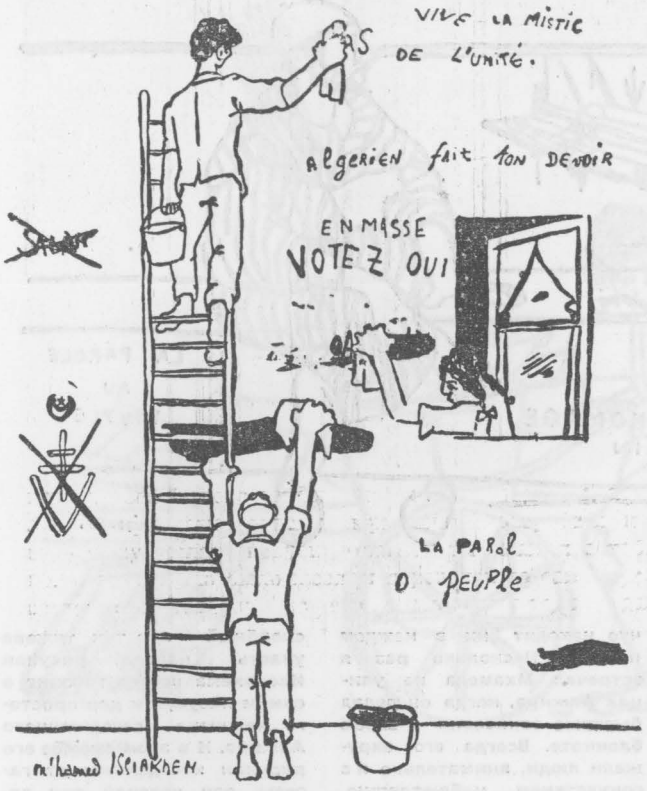
РЕПОРТАЖИ ХУДОЖНИКА МХАМЕДА ИССИАХЕМА

ALGER républicain
Mardi 9 Octobre 1962
25e Année No 69
Nouvelle série
PRIX 25 FRANCS
RÉDACTION : 2, rue Berlioz (2e étage) — Tél. 63.24.48 et 64.67.41 — ADMINISTRATION-PUBLICITÉ : 2, rue Jean-Rameau (2e étage) — Tél. 64.64 08

Я приехал в Алжир за две недели до референдума по вопросу о самоопределении (до этого французские колониальные власти не допускали в страну советских журналистов). Сколько дотла разрушенных деревень и заросших полынью полей вдоль дорог! Столица — город, насчитывавший, если верить статистике, миллион жителей,— казалась вымершей после дикой оргии оасовских банд. В Оране все еще свирепствовала оасовская чума. Первые слова, с которыми ко мне обратились в оранском аэропорту, были предостережением: «Здесь людей убивают, как мух, мсье». Шел последний акт кровавой трагедии под названием «Французский Алжир».

И вот Алжир независим! Каждый понимает, сколько еще трудностей впереди, но народ знает: страница истории колониализма перевернута раз и навсегда. Теперь

Этот рисунок был напечатан в «Альже репюбликэн» без пояснительной подписи, ибо любой алжирец знает, что «Депеш д'Альжери» открыто проповедовала идеи колониализма.



Вместо колониалистских надписей: «Салан», «ОАС» — призывы свободного Алжира: «Слово — народу!», «Голосуйте за независимость!»

«Наши матери и наши дети не должны больше голодать!»

судьбы родины зависят от самих алжирцев. Так покончим же скорее с внутренними распрями, так засучим же рукава и примемся за работу, чтобы не терять драгоценного времени, чтобы скорее вступить на путь, который приведет страну к действительно полной свободе. Таков был голос народа, и он зазвучал со страниц газеты «Альже репюбликэн».

Газета родилась — точнее, возродилась — в середине июля 1962 года: «№ 1. 25-й год издания! Новая серия». Рядом с заголовком по-арабски и по-французски — торжественное обещание читателям: «Обретшая, наконец, свободу «Альже репюбликэн» будет говорить правду, ничего, кроме правды, всю правду!» На первой странице «шапка»: «Единые, как во время войны за национальное освобождение, вперед по пути независимости за построение Алжирской республики, за демократию, справедливость и прогресс!»

В первые дни газета выходила на одном листе. Половина редакции работала в холле гостиницы, что напротив типографии, половина — на квартире одного из друзей редактора (на машинке печатали в ванной комнате). Сам редактор, освобожденный из концентрационного лагеря, жил в гостинице.

Нужно ли детально пересказывать историю «Альже репюбликэн»? История этой газеты неразрывно связана с судьбой ее сотрудников. А судьба директора «Альже репюбликэн» Анри Аллега известна читателям журнала. В 1958 году в июньском номере «Иностранной литературы» впервые был напечатан русский перевод книги Анри Аллега «Допрос под пыткой». Она вышла у нас во многих изданиях.

В годы грязной колониальной войны «Альже репюбликэн» закрыли, потому что она говорила о праве алжирского народа на независимость, разоблачала колонизаторов — словом, говорила правду. За это же бросили в застенок, жестоко пытали Анри Аллега. Аналогичная судьба постигла ны-

«Работы и хлеба!»

нешнего главного редактора газеты Абдельхамида бен Зина, оказавшегося в концентрационном лагере Богари — в «аде Богари», как называют его алжирцы. Все пятнадцать человек старого редакционного состава «Альже репюбликэн» принимали активное участие в национально - освободительной борьбе. Четверо из них погибли. Двух других, также приговоренных к смертной казни, спасла победа дела, за которое они боролись,— прекращение войны.

Сейчас в газете много новых людей, много молодежи. Вместе с представителями старшего поколения — главным редактором Абдельхамидом бен Зином, директором газеты Анри Аллегом и другими — они продолжают великое дело защиты интересов народа, укрепления независимости молодой Алжирской Народной Демократической Республики, дело демократии, прогресса и единства. Многообразны формы и жанры газеты. Я хочу рассказать об одном из них.

В одном из первых номеров «Альже репюбликэн» появился рисунок, подписанный художником Мхамедом Иссиахемом, за ним другой, третий... С тех пор они печатаются чуть ли не через день, и читатели не жалеют, что находят их в каждом номере. Несколько раз я встречал Мхамеда на улицах Алжира, когда он делал быстрые зарисовки в своем блокноте. Всегда его окружали люди, внимательно и с сочувствием наблюдавшие, как под пером художника рождаются образы, близкие и волнующие каждого из них. Можно не сомневаться, что завтра читатели с таким же интересом будут рассматривать этот рисунок, размноженный в пятидесяти тысячах экземпляров газеты. То добрый и мечтательный, устремленный в светлое будущее, то чаще гневный и скорбный — ибо так тяжела участь народа! — рисунок Иссиахема всегда говорит о самом насущном для простого человека сегодняшнего Алжира. И в этом смысле его рисунки неотделимы от газеты, для которой они делаются. О них можно сказать: это газетный репортаж, но репортаж на высоком уровне искусства.

Для газеты же Иссиахем сделал иллюстрации к книгам Абдельхамида бен Зина «Лагерь» и Анри Аллега «Допрос под пыткой». Эти книги печатались с продолжением в «Альже репюбликэн». Начиная их публика-

Вчерашний день Алжира.

Пусть будут чистыми улицы свободных городов.

цию, редакция писала: «Эти книги прочитаны всем миром, кроме Алжира».

Мхамед Иссиахем родился 17 июня 1928 года в горном краю Кабили. Его отец был батраком. Мхамеду повезло — в числе немногих своих сверстников он попал в школу.

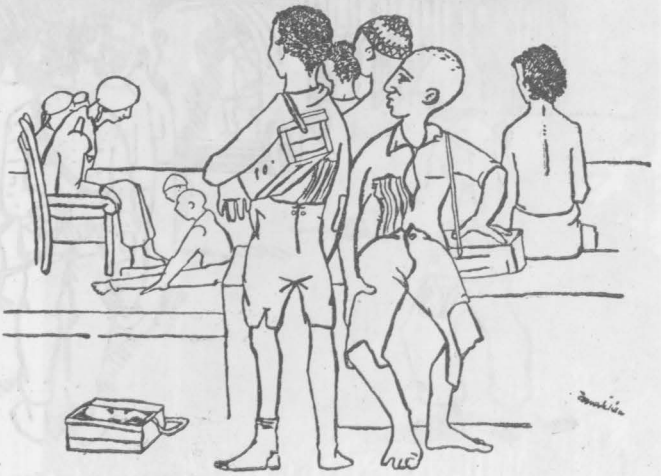
— Когда же вы начали рисовать?

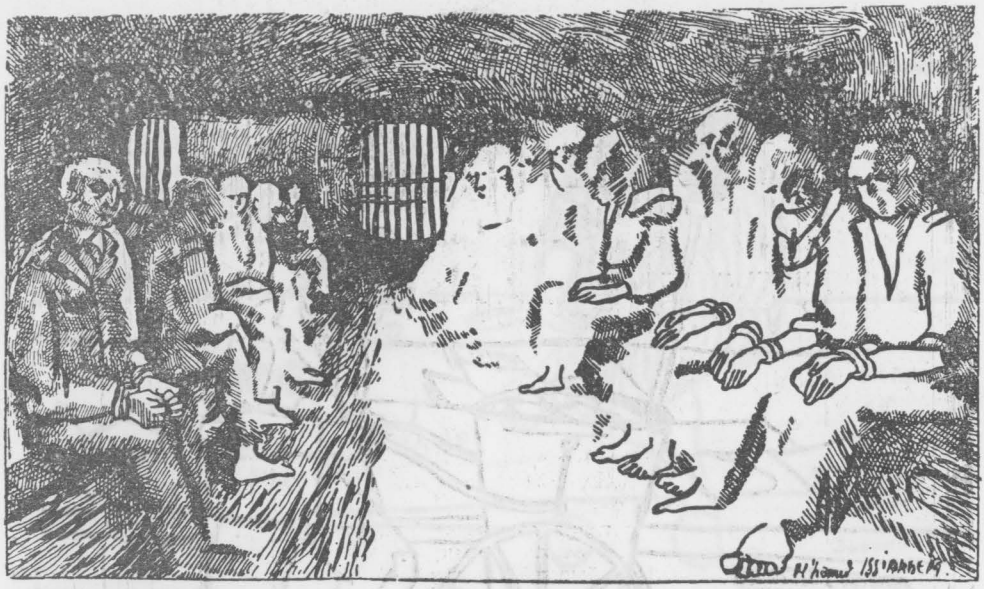
— Как-то после войны я играл с другими ребятишками на пустыре, который незадолго до того входил в территорию, занятую американской военной базой. Мы нашли какую-то металлическую коробку и хотели открыть ее. Взрывом были убиты две мои сестры и племянник. А я сам — вот.— Он показывает на пустой левый рукав пиджака.— Кроме того, я получил множество осколочных ранений. В госпитале, где я пролежал два года, от нечего делать стал рисовать и понял, что это — моя жизнь.

Выйдя из госпиталя, Иссиахем стал работать писарем. А по вечерам ходил в школу рисования. По счастью, его талант не остался незамеченным, и молодой алжирец в числе нескольких первых своих соотечественников оказался стипендиатом Высшей национальной школы изобразительных искусств в Париже.

— В Париже,— продолжает Иссиахем,— я получил

Этих маленьких тружеников ждет лучшее будущее.





известие, что мой отец и брат арестованы за участие в национально-освободительном движении. Я вернулся домой, чтобы помочь матери. Меня выслали обратно во Францию. Я тоже находился под наблюдением полиции... Ну да что об этом рассказывать. Это уже не моя собственная биография, мало ли преследовали алжирцев.

Все же, отвечая на настойчивые расспросы, Мхамед говорит, что и во Франции ему вскоре пришлось перейти на нелегальное положение, а затем, скрываясь от полиции, покинуть страну.

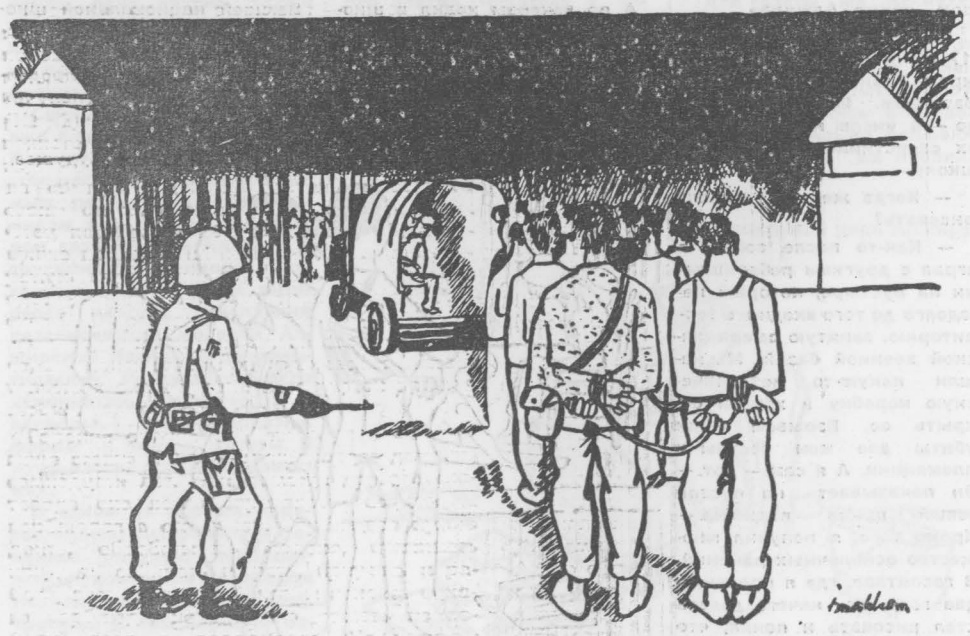
Я видел некоторые из его работ — живопись, гравюры, рисунки. В них много поисков и много находок. Но не об этих работах сейчас речь.

Иссиахем говорит:

— Вернувшись на родину, я стараюсь в своих рисунках показать то, что больше всего волнует меня, и так, чтобы мое волнение передалось читателям нашей газеты. Это сейчас для меня самое главное.

Об этом главном расскажут сами рисунки Мхамеда Иссиахема, взятые из газеты «Альже репюбликэн».

г. АЛЖИР



В «аду Богари». Две иллюстрации к книге Абдельхамида бен Зина «Лагерь».

Иллюстрации
к книге Анри Аллега
«Допрос под пыткой».

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«ЦОГ» (МНР)

№№ 1—5
1962 г.

«Цог» в переводе на русский язык означает «огонек». Журнал «Цог» — орган Союза писателей МНР выходит раз в два месяца. В 1964 г. он будет отмечать свое двадцатилетие.

В мае 1962 г. состоялся III съезд писателей МНР. Статья Л. Содова «О новой прозе» (№ 1, 1962 г.) и передовая «Очередные задачи монгольских писателей» (№ 2) были опубликованы накануне этого важного события литературной жизни МНР. В № 3 появились основные документы съезда: приветствие Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии съезду и приветствие съезда, адресованное ЦК МНРП. Опубликованы также выступления известного драматурга Д. Намдага и поэтов Б. Бааста и Л. Чойжилсурэна.

Разделы прозы занимают в основном произведения современной тематики. В первых двух номерах 1962 г. есть даже специальная рубрика «Наши современники». «Рассказ старого Дэмбээ» Б. Нацага (№ 2) посвящен жизни сельскохозяйственного объединения, его прошлому и сегодняшним успехам. В рассказе Т. Гомбожава «В пургу» (№ 2) девушка вместе со своим отцом спасает общественное стадо. Отец погибает в борьбе со стихией, а девушке приходят на помощь бригадир и секретарь парторганизации. Впоследствии она едет учиться на курсы трактористов. Рассказ Б. Шаравнямбуу «Встреча» (№ 2) воспроизводит эпизод из жизни сельского врача, встретившегося при трагических обстоятельствах с женщиной, которую он прежде любил.

Героиня очерка С. Дашдоорова «Сокровище степи» (№ 1) — миниатюрная девушка семнадцати лет. При помощи другого скотовода она легко справляется со стадом верблюдов в сто голов. Верблюдов нужно доить, обрабатывать молоко, принимать приплод, собирать шерсть, приучать к работе, пасти и поить. А чтобы напоить одного верблюда, необходимо достать из колодца двадцать ведер воды. Но девушка не видит в своем труде ничего героического. Каждый скотовод, рассуждает она, должен так работать.

Очерки М. Чимэда (№ 1) и Л. Хайдава и Д. Жадамба (№ 2) знакомят читателя с героями труда МНР — верблюдоводом Хурээт и чабаном Очиром.

В следующих двух номерах нет специального раздела «Наши современники», но в рассказах и очерках, опубликованных здесь, та же тематика и те же герои — активные участники строительства социализма.

В четвертом номере помещены три рассказа о жизни интеллигенции. Вот девушка-музыкант отправляется в один из гобийских районов к агроному, которого она любит. Однако совместная жизнь не удалась. Возлюбленный ее, испугавшись трудностей, дезертировал, а она осталась в сельскохозяйственном объединении, стала героем труда МНР. С любимым искусством девушка также не расстается (рассказ Н. Банзарагч «Гобийское солнце»).

Автор рассказа «Случай с уздой» (№ 4) Г. Пурэвдагва тоже ведет читателя в сельскохозяйственное объединение. Здесь работает молодой зоотехник, только начинающий свой трудовой путь. Рассказ «Письмо своей учительнице» Т. Должина посвящен педагогам.

Драматургия в обозреваемых номерах журнала за 1962 г. представлена сценарием Д. Намдага «Грех и добродетель» (№ 1). Автор обращается к прошлому монгольского народа, тем не менее его произведение, направленное против лицемерия и ханжества служителей церкви, звучит актуально

и в наши дни. Сценарий Д. Намдага относится к числу наиболее интересных произведений, опубликованных журналом «Цог» в 1962 г.

Большое место в журнале занимает поэзия. Мысли многих поэтов МНР обращены к любимой родине. В 1962 г. на страницах «Цог» помещены взволнованные стихи о родине, о родной природе Д. Тарва, А. Самбалхундэва, Ш. Сурэнжава, Л. Пурэвсурэна, Ц. Шагдара, Д. Дэнсамбуу, Д. Эльбруса. Той же теме посвящена поэма Ц. Гайтава и Н. Нямдорж «Песня о Монголии» (№2), воспроизводящая картины недавнего прошлого Монголии, революции 1921 г. и современной жизни. Б. Ахтан, представитель казахского населения МНР, в поэме «Воспоминания о детстве» (№ 3) рассказывает о пережитом, о том, как он начинал свой творческий путь.

Монгольские патриоты никогда не забывают о советско-монгольской дружбе, о бескорыстной помощи, которую оказывал и оказывает Монголии Советский Союз. Не забывают этого и монгольские поэты. Д. Тарва побывал в Сибири. Большое впечатление на него произвели и богатства Сибири, и величественность тайги, и люди, с которыми он там встречался и которые стали его большими друзьями (стихотворение «Сибирская тайга», № 1). Б. Ахтан посвятил Советскому Союзу свои стихи «Необъятная, прекрасная Россия» (№ 5). В том же номере журнала помещен очерк Л. Тудева о советских космонавтах («Манифест человека»).

Раньше монгольская литература почти не знала лирики. Современные поэты могли опираться только на фольклорные традиции. В настоящее время лирический жанр занял подобающее ему место в монгольской поэзии. Об этом свидетельствуют стихи М. Чойжила, Д. Шагдарсурэна, Д. Наймажина, Д. Цэдэва, О. Балчиндорж, З. Цэдэва, Р. Чойнома.

«Цог» систематически знакомит читателей с произведениями иностранной литературы. Поздравив Н. Хикмета по случаю его шестидесятилетия, редакция поместила и стихи юбиляра (№ 1). Юбилей Гёте также был отмечен публикацией стихов великого немецкого поэта. Солидаризируясь с героической Кубой, «Цог» опубликовал стихи кубинских поэтов, в том числе Н. Гильена, а также стихотворение монгольского поэта Ч. Лхамсурэна «Голос Кубы», посвященное Н. Гильену (№ 1).

В этом же разделе журнала читатель находит стихи Байрона и У. Уитмена, прозу С. Цвейга. Поэзия борющейся Испании представлена стихами Маркоса Аны, а прогрессивная арабская литература — рассказом египетского писателя М. Теймура, советская поэзия — «Реквиемом» Р. Рождественского.

В журнале печатаются произведения монгольского фольклора и работы фольклористов.

В разделе «Критика и литературоведение» выступили со статьями С. Балжинням (о творчестве Намдага, № 2), П. Цогтоо (о патриотической поэзии, № 2), Л. Содова (о романе «Синее небо» З. Баттулги, № 5).

«Цог» принимает участие в борьбе за ликвидацию последствий культа личности Чойбалсана. В частности, журнал публикует статьи о писателях, репутация которых теперь восстановлена, и их произведения (рассказ Б. Гонгоржава в № 3, статья Д. Цэдэва о Буяннэмэх, № 4).

С 1961 г. в «Цог» существует рубрика «Литературная жизнь за рубежом», информирующая читателей о новостях мировой культуры.

Г. МИХАЙЛОВ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Стихи непальских поэтов. В переводах Павла Железнова. Подстрочный перевод с непальского Л. Аганиной и Н. Королева. Предисловие Л. Аганиной. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 103 стр.

НЕПАЛ ПОЭТИЧЕСКИЙ

«Человека, встречающего рассвет в горах, поражает удивительно быстрая смена темноты светом. Окружающие предметы не плавают в предрассветном сумраке, а мгновенно озаряются лучами внезапно вынырнувшего из-за соседней горы солнца и от этого становятся особенно зримыми. Таким неожиданным большим откровением явилась для советских исследователей (первыми в мировом востоковедении обратившихся к ней) поэзия Непала — небольшой страны, которая долго была отрезана от остального мира не только отрогами высочайших гор, но и волей узурпаторов из феодального семейства Рана». Так говорится в предисловии к этому сборнику.

Непальская литература молода. Ее история началась всего один век назад. До 1951 года, то есть до низложения семейства Рана, занятие литературой было дурной характеристикой для непальца, и писатели то и дело попадали в тюрьму, а иногда им приходилось даже покидать родную страну. Неспроста, например, аллегоричны некоторые стихи Кедармана Бетхита, прозванного «поэтом непальской революции» (творчество его достигло вершины в сороковые годы — в период роста демократического движения). Так, посредством иносказания в стихотворении «Сон» передана ненависть к кровавому режиму Рана:

Скачут демоны, играя
Черепами, как мячами.
Торжествует сила злая,
Добрых дел слабеет пламя.
Вот какой мне сон приснился.

В семистрочном стихотворении «Надо немного» поэт Виджай Бахадур Малла осуждает трусливых цензоров старого Непала:

Не дают законы «света»
Доброе промолвить слово,
Спеть с любовью полкуплета
Из хорошей песни новой.
Если сделаешь ты это,
Скажут все, что ты преступник,
Подрывающий основы.

В сборнике представлены стихи современных поэтов — различные по темпераменту и по стилю, по краскам и звукам. Но большинству поэтов свойственны острая гражданственность, чувство ответственности за судьбы народа и каждого человека.

Анандадев Бхатта провозглашает кредо передовых непальских поэтов в таких строках:

Безумцем вздорным назовут меня —
Мое сознанье не умрет.
Травою сорной назовут меня —
Перо из рук не упадет.
И даже в сеть обмана заманя,
Оковы не наденут на меня.

Бхатта — поэт земной, хочется ему свои мысли «взвесить и погладить, пощупать

твердою рукой, как щупают овцу или козу на рынке». Хороши у Бхатты переходы от традиционных словосочетаний к разговорной речи простолюдина.

С призывом нести в народ просвещение и разум обращается к своим собратьям по перу даже Мадхавпрасад Гхимире, сугубый романтик и пейзажный лирик, использующий в своих стихах ритмы, навеянные традиционной санскритской поэзией (в отличие от многих непальских поэтов, в частности от Бетхита с его широким экспериментированием).

Его стихи «Павшему герою» звучат как гимн народному заступнику, зовут продолжить священное дело. В стихотворении «Юноше» это высказано старым поэтом с еще большей откровенностью:

Юноша! Сиянье солнца озарило гребни гор.
Пусть нальются силой руки,
заблестит надеждой взор.
Подыми копьем луч света
высоко над головой
И за счастье человека
выходи отважно в бой!

Скончавшемуся четыре года назад Лакшмипрасаду Девкоте было посмертно присвоено звание «великого поэта» Непала. Девкота очень популярный писатель в стране. И популярности его содействует народность стиха, выдержанного в духе «джхьяуре» — народных песен. Вера в силу «смертного» человека — такова поэтическая философия Девкоты: «Человек, добро творящий,— вот он, высший в мире бог!»

Привлекают внимание стихи Харши Дхаубхаделя «Мой канцелярский стол», где с неподдельной искренностью передана любовь стихотворца к своему труду.

Как поэт и прозаик известен в Непале Бхавани Бхикчу. В сборнике читатель найдет всего одно его стихотворение. Но и оно с достаточной убедительностью характеризует Бхикчу как поэта, умеющего взволновать человеческое сердце стихом страстным и мудрым.

Шьямдас Вайшнав не страшится смерти — «все умирают, это так обычно». Но ранит его душу горе бедняка, за которого некому заступиться. Поэт осуждает пустых болтунов-либералов. Он старается «себя переделать» и не поддаваться на льстивые речи равнодушных к народу людей.

Перекликаясь с Вайшнавом, саркастически высмеивает наглых снобов, которые и думать не желают о народе, Виджай Бахадур Малла:

Сунув руку важно в свой карман,
Входит он в кафе и в ресторан,
На лице улыбку носит он,
Как часы, как робот заведен.
Для него нет никаких проблем,
Он к людским тревогам глух и нем...

Полны народной мудрости и народного юмора стихи старейшего поэта Непала Лекхнатха Паудьялая, выполненные рукою прекрасного стилиста.

«Непальским Шекспиром» называют на родине Балкришну Саму: он по преимуществу драматург. Но и стихи его читают и знают. Сын его, Джанардан Сама,— чьи произведения также помещены в сборнике,— кроме поэтического дара, наделен еще и талантом музыканта. Он сам поет свои стихи. Афористичны стихи Бхупи Шерчана. Это ему принадлежат строки: «Ночью нас кусают блохи, днем кусают цены».

Поэзия Непала в русском переводе удивит нашего читателя дерзостью мысли и образа, откроет тайны сочетания обыденности и простоты с высокими традициями старинной поэзии Востока. И в этом немалая заслуга поэта Павла Железнова, который сумел передать драгоценные черты поэзии непальского народа.

А. ТВЕРСКОЙ

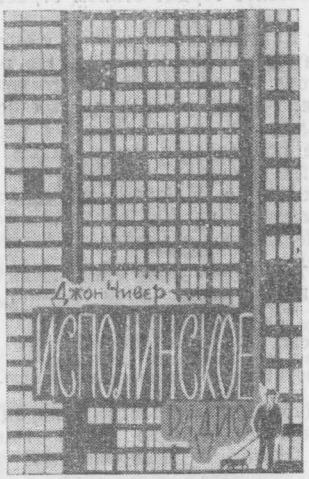
У КОЛЕСА ЛОТЕРЕИ

Когда измученная лошадь не может больше бежать, безжалостный хозяин примащивает перед ее глазами пучок сена, и, спотыкаясь, она переходит на рысь. Надежда на удачу, на счастливый случай — вот тот пучок сена, который всю жизнь подгоняет рядового американца, взывая к его энергии, неутомимости, оптимизму. «Покупайте билеты нашей лотереи!» — твердят газеты, киноэкраны, церковные проповедники. И каждый испытывает судьбу. О тех, кто вытащил пустой билет, о судороге существования маленького человека, вся жизнь которого проходит в ожидании чуда, рассказывает Джон Чивер в сборнике «Исполинское радио».

«Город разбитых надежд» — так называется рассказ о простодушном шофере из Уэнтуэрта. Бросив работу, провинциал приехал в Нью-Йорк — обещали поставить его киносценарий. Но все, с кем ему приходится столкнуться, рассматривают его лишь как свою добычу. И, не успев разбогатеть, он становится банкротом.

Всю жизнь Ральф Уитмор (из рассказа «Клад»), работая на скромной должности в фирме, совершал чудеса предприимчивости: изобретал пластмассовые супинаторы или звуконепроницаемые жалюзи, возился с проектом плантации рождественских елок под Нью-Йорком. Всю жизнь он «свято верил в романтику и волшебство бизнеса» и стоял на пороге благоденствия, но оно так и не пришло.

История супругов Маккензи в рассказе «Дети» — это тоже цепь несбывшихся надежд. Миллионер Хазерли решил осчастливить Виктора Маккензи — сделать наслед-



Джон Чивер. Исполинское радио. Перевод с английского Т. Литвиновой. Редакция и предисловие Корнея Чуковского. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 189 стр.

ником фирмы, но пока что использует его для мелких поручений. И умирает, не оставив завещания. Наступают трудные времена. Виктор с позором изгнан из семьи и фирмы босса. И вот супруги Маккензи влачат унизительное существование полумажордома-полусекретаря и полукомпаньонки-полукамеристки у богатых и капризных хозяев, а в конце концов становятся просто приживальщиками одиноких скучающих стариков...

Призвание, творчество, любимое дело — все эти понятия не для героев Чивера. В стране, где имя Дж. П. Моргана более почетно, чем имя Марка Твена, важно совсем другое: квартира в более респектабельном районе, новый холодильник, телевизор, на худой конец «несколько белых рубашек». Пафос потребительства — единственный двигатель жизни. И так как в лотерее выигрывают редкие счастливцы, в удел большинству остается душевная опустошенность и озлобленность. Рассказ «Исполинское радио», в котором раскрывается неприглядная изнанка жизни обитателей многоэтажного дома, завершает картину, нарисованную Джоном Чивером.

Стиль Чивера лаконичный и суховатый. Эта, казалось бы, внешне бесстрастная манера заставляет еще острее почувствовать лихорадочную атмосферу Нью-Йорка. Мастер тонких деталей, писатель никогда не щеголяет внешней наблюдательностью, изощренностью глаза. Каждая подробность работает на раскрытие содержания, и короткие, в сущности, рассказы приобретают большую емкость и глубину.

Читателя, взявшего в руки книгу, ждет приятная неожиданность: рассказам Джона Чивера предпослано предисловие, написанное на редкость увлекательно и живо. Корней Иванович Чуковский с присущей ему тонкостью дает глубокий анализ художественной манеры американского писателя, впервые изданного у нас в стране.

С большим пониманием индивидуальности Чивера перевела рассказы Т. Литвинова. Книгу закрываешь с благодарностью к переводчику.

К. АТАРОВА

С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКУ

Передо мной две небольшие книжки современных индийских писателей. Прочитаны последние страницы, а волнение, возникшее при знакомстве с героями книг, по-прежнему сильно. Что же так захватило меня? Может быть, острые, занимательные сюжеты рассказов или удивительная по красоте природа Индии? Нет, волнует прежде всего жизнь героев, тяжелая, в безвыходной нищете и отчаянии.

«Сам не свой, учитель стоял посреди комнаты, а перед ним на полу, на старой циновке, лежала его жена. Она умирала». Так начинается один из рассказов Ниргуна «Сорок рупий», который, как и большинство произведений этого писателя, вошедших в сборник, создан до освобождения Индии от колониальной зависимости. В центре рассказа — простая, в сущности, история жизни городского учителя. Автор не дал ему имени — это один из многих индийских тружеников. Герой рассказа рано познал нужду и лишения. После долгих мытарств он стал учителем и с большим трудом устроился на работу. Женился на девушке из бедной семьи, потом она умерла, оставив ему шестилетнего сына. И вот каждое утро учитель забирает с собой сына в школу, а вечером они молча возвращаются домой.

Так шла его жизнь день за днем. Сорока рупий, которые он зарабатывал, хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами. Учитель не роптал на свою судьбу, ибо видел вокруг бедняков, живущих намного хуже. И все же временами он стал задумываться: почему для одних — магазины с сияющими витринами, парки, театры, а у него, учителя, нет даже монеты, чтобы купить сыну билет в цирк? Порой его охватывает

отчаяние, злоба, даже ненависть. Он пока еще не понимает, в чем причина его бед, но читатель чувствует: этот человек найдет в конце концов верный путь в жизни.

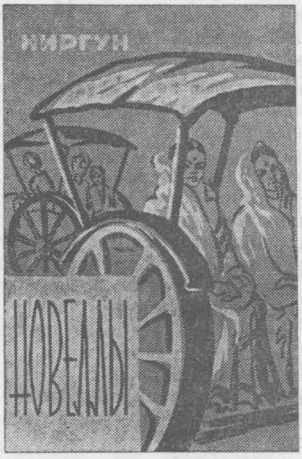
А вот эпизод из рассказа «Капля сиропа». Сын крестьянина-бедняка, маленький Рамачанна никак не может отвести глаз от таза, в котором варит сироп его дядя, кондитер Гангасахай. Тот заметил, что племяннику очень хочется сладкого, и разрешил «попробовать». Глупый малыш погрузил в кипящую массу руку и обварил ее. Так жадный и жестокий богач «подшутил» над ребенком.

У Ниргуна герои резко делятся на злых и добрых, бедных и богатых. Причем добрыми в его изображении выступают, как правило, труженики, удел которых — постоянная борьба за существование. На их стороне любовь и симпатии автора. В то же время богачи в его рассказах — это хищники, строящие свое благополучие на страданиях других.

В сборник «Новеллы» включены также юмористические рассказы («Нос», «Канти»). Это помогает глубже раскрыть творческую манеру писателя, которому свойственно честное, смелое изображение жизни, вера в человека.

В отличие от Ниргуна известная писательница Саунрекса посвящает свои произведения судьбе индийской женщины, показывает, что в Индии нет, пожалуй, существа более забитого и бесправного, чем женщина. Независимо от социального положения, она рабыня мужа, служанка свекрови,

Чандракирана Саунрекса. День рождения. Перевод с хинди И. Кудрявцевой и И. Рабиновича. Составитель Вл. Чернышев. Послесловие О. Неклюдовой. Редактор А. Гольдман. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 78 стр.



Двиджендранатх Мишра Ниргун. Новеллы. Перевод с хинди и предисловие Ю. Маслова. Составитель Вл. Чернышев. Редактор В. Зимин. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 83 стр.

жертва издавна укоренившихся условностей и мещанских традиций. Для жены бедняка, кроме того, непременная обязанность — забота о куске хлеба. На первый взгляд кажется, что писательница рассказывает о ничем не примечательных, обыденных вещах. Мы вместе с Саунрексой проходим по улице захолустного городка, заглядываем в шикарные квартиры и убогие лачуги, знакомимся с героями ее книг, и жизнь, до сих пор не знакомая, вдруг открывается нам.

Тяжело читать рассказ «Сладкие пирожки». Бедная служанка Нанда с раннего утра до позднего вечера прислуживает в доме богача-заминдара. Сегодня веселящиеся гости празднуют выздоровление барчонка. И Нанде пришлось оставить дома без присмотра голодную дочь и тяжело больного малютку сына. Вечером Нанда принесла домой немного денег и сладких пирожков, но сын был уже мертв.

Писательница рассказала нам о страшной, но довольно типичной судьбе бедной индийской женщины. Такая же безрадостная жизнь и у героинь других ее рассказов. Умирает от непосильной работы молодая женщина Ума («Всего две лепешки»), тяжела жизнь про-

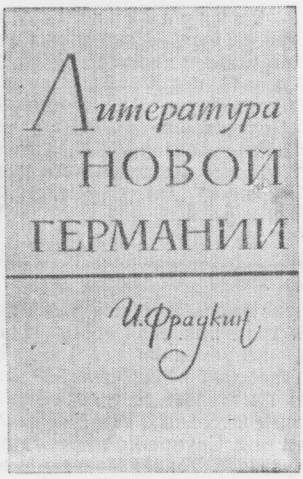
стой крестьянки Кальяни в богатой семье мужа («Деньги»).

Интересен рассказ «Две жизни». Вот две женщины, как бы говорит Саунрекса: одна замужем за богатым человеком, другая подметает улицы. Кусум живет в полном достатке, Басанти — в нищете. Но смотрите, читатель, так ли уж велика разница в их жизни? И, показывая пропасть между жизнью богачей и бедняков, писательница вместе с тем рисует тяжелое, по существу рабское положение в семьях обеих женщин. В душе Кусум назревает протест против мужа, против тоскливой и однообразной жизни, но условности не дают этому протесту вырваться наружу. «Она выросла в почтенной семье, она — верная, преданная жена, любое желание мужа для нее закон...» Затворническая жизнь без солнца, без общения с людьми свели цветущую женщину в могилу.

Идеал Саунрексы — простая метельщица Басанти. Она бедна, но умеет работать и потому независима от мужа. Именно Басанти в своем стремлении к внутреннему освобождению сумела порвать с пьяницей-мужем. Уйдя от него, она нашла любовь и счастье с другим человеком.

В двух книжках собрано всего по нескольку рассказов, но и они дают представление о творчестве этих писателей, их глубоком знании жизни.

И. ГУБАНОВ



И. Фрадкин. Литература новой Германии. Статьи и очерки. Издание второе, исправленное и дополненное. Москва, Советский писатель, 1961. 508 стр.

ПУТИ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В этой книге нет случайных тем. От страницы к странице все новые явления входят в круг проблем, освещенных единой концепцией критика. Литературная ситуация на Востоке и Западе Германии проясняется с разных сторон. И все же не составляет труда назвать внутреннюю идею, объединяющую отдельные статьи в эту цельную по замыслу книгу. В двух разделах она вынесена в заглавие — «Голос другой Германии (о литературе антифашистского Сопротивления 1939—1945 года)», «Антифашизм действительный и мнимый (о некоторых аспектах идейной борьбы в литературе и общественной мысли первых послевоенных лет)».

Первая статья — тщательное фактографическое исследование. Здесь собраны и систематизированы единственные в своем роде материалы: художественные произведения немцев-антифашистов, создававшиеся большей частью незадолго до казни. Стихи Кукхофа и «Моабитские сонеты» Гаусгофера — последний итог и завещание — не требовали иных комментариев, кроме сведений из истории их создания и рассказа о том, как они были найдены. Большой интерес представляют сами документы. В исследовании И. Фрадкина советский читатель найдет их собранными в наиболее полном объеме.

Задачи второй статьи иные. Это обобщающее размышление об идейной борьбе в Германии в первые послевоенные годы. Обычные слова, затрепанные, извращенные нацистской пропагандой, на время как будто потеряли свой прямой смысл. Понятия «нация», «национальное» так прочно ассоциировались тогда с нацистскими теориями, что воспринимались только в негативном смысле. С другой стороны, многие лозунги подчас казались антифашистскими лишь потому, что строились на внешнем противопоставлении ходячим теориям и фразеологии фашизма. Большой конкретный материал раскрывает неоднородность антифашистской оппозиции уже в первые послевоенные годы.

В других статьях та же мысль возникает в ином аспекте — как различное понимание разными писателями современной общественной перспективы, как указание на несходные представления о путях и средствах исторического прогресса, как интерпретация разных сторон литературной ситуации в Западной Германии.

Современный западногерманский роман... В своих лучших образцах это роман антифашистский. Однако сюда же буржуазная

критика причисляет и Теодора Пливье, объяснявшего разгром немецких армий рядом фатальных случайностей, и Вилли Гейнриха, сочетающего в своих книгах антигитлеровское фрондерство с оправданием гитлеровской агрессии. Из серой массы солдат, возвращавшихся в 1945 г. с проигранной войны, пишет Фрадкин в статье «Поколение вернувшихся», вышли люди разных общественных убеждений и писатели, по-разному написавшие потом о недавнем прошлом.

Большое место в статье уделено Вольфгангу Борхерту. Не со всем, что сказано о нем, можно согласиться. Стоит ли уравновешивать упрек в «бесплодной и бездейственной позиции» главного героя знаменитой драмы «За дверью» признанием, что сам Борхерт (как это явствует, по-видимому, из его рассказов) «несомненно возвышается над фаталистической точкой зрения человека с тихим голосом»? Ведь, как пишет И. Фрадкин, именно эта драма остается тем созданием Борхерта, которое принесло ему позднюю посмертную славу. В чем же причина огромного успеха пьесы? И главное: почему она была воспринята как произведение страстного антифашистского протеста? Может быть, стоит задуматься над особыми возможностями, скрытыми в лирической природе этого произведения. Ощущение «чужой родины» у вернувшегося с войны героя пьесы так полно выражало настроения многих немцев именно потому, что в нем ясно ощущалась правда личного авторского свидетельства. Не нужно ли понимать стихию авторского начала еще шире? Замысел Борхерта отнюдь не исчерпывается бездейственным отчаянием героя. Смысл пьесы связан с растворенными во всей ее напряженной атмосфере намерениями самого писателя, намерениями глубоко действенными: заставить задуматься, вызвать не сострадание, а протест. Голос «тихого» Бекмана действительно не был услышан. Но для того ли писал «наперегонки со смертью» сам Борхерт, чтобы вложить в свою пьесу только констатацию бесперспективности? Поведение героя воспринимается с поправкой на страстное несогласие автора.

Рядом с Борхертом в статье о «поколении вернувшихся» стоят имена Г. Бёля, Г. Рихтера, К. Опица, Г. Ледига, М. Грегора. Читатель книги видит разницу в отношении писателей к войне и фашизму и в то же время их внутреннюю близость и связь.

Еще один цикл — портреты И. Бехера, А. Цвейга, В. Бределя, Л. Фейхтвангера — писателей, чье творчество — живая плоть сорокалетнего развития передовой немецкой литературы. Статья о Фейхтвангере особенно интересна. Подробно анализируя многочисленные его романы и драмы, критик создает стройную концепцию: весь узел затронутых Фейхтвангером тем ставится в связь с мучительным и чрезвычайно актуальным в свете трагической судьбы Германии вопросом о революции и роли масс в историческом прогрессе. Именно эта новая для Фейхтвангера мысль отметила последний, послевоенный период его творчества.

Наконец, две статьи, посвященные Брехту. Его теория, театральные принципы, драматургия, проза, поэзия. По сравнению с первым изданием статьи о Брехте значительно расширены. В них вошли важные разделы: о брехтовском понимании социалистического реализма, о героическом в его театре и многое другое. И все же некоторое сомнение, возникающее при чтении книги, связано прежде всего с тем, чего в статьях недостает. Здесь нужно, пожалуй, отвлечься от темы «Брехт», так как те же вопросы относятся и к некоторым другим статьям.

Очевидно, что в замысел большинства статей не входило размышление о литературной специфике XX века или, скажем, о традициях в истории немецкого театра. У книги были другие, не менее важные цели — показать читателю общие контуры литературной ситуации на Востоке и Западе Германии, познакомить со многими значительными — часто у нас еще мало известными — явлениями немецкой культуры. Эти задачи осуществлены в тонком, глубоком анализе. Но все же и в замкнутых рамках конкретной темы невольно ждешь, что новаторство Брехта будет хотя бы скупыми параллелями поставлено в общий ряд мирового театра, для которого оно так много значило, а исследование западногерманского романа свяжет немецкую прозу с настойчивыми художественными поисками наших дней. В статье о «Бильярде в половине десятого» Г. Бёля манера писателя отграничена от характерных модернистских приемов, но видит ли читатель в романе книгу, по которой можно судить о многих особенностях современного критического реализма?

Общие выводы часто отсутствуют и при сопоставлении творчества немецких писателей. В статье о «поколении вернувшихся» И. Фрадкин пишет об антивоенной теме в творчестве Бёля, Кёппена. Ледига. Писателей объединяет лишь общественная позиция. Неужели у современного западногерманского романа нет общих стилистических особенностей, своего лица?

Далеко идущие выводы и широковещательные декларации о «современном стиле», «своеобразии художественного развития в XX веке» порой еще подменяют в нашей критике тщательный анализ и всестороннее исследование фактов. В книге И. Фрадкина каждый вывод основан на глубоком знании. И, может быть, лишь нелюбовь к схематизму и упрощению — почти неизбежно сопутствующим любой попытке найти общие закономерности литературного развития — побудили исследователя оставить непрочерченными многие идеи, часто напрашивающиеся из самого текста книги.

Н. ПАВЛОВА.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

España canta a Cuba. Paris, Ruedo ibérico. 1962.

УРОК ИСТОРИИ

Есть книги, в самом заглавии которых содержится урок истории. Такова скромная по виду книжечка стихов испанских поэтов «Испания поет Кубу», вышедшая в Париже.

Колумб открыл Кубу в 1492 году, в 1511 она стала испанской колонией. Вскоре несколько сот тысяч индейцев, населявших Кубу, были истреблены. Убедившись, однако, что без рабов не обойтись, испанские колонизаторы привезли на Кубу негров. С начала прошлого века смешанное население Кубы — белые, негры, мулаты — начало борьбу за независимость. Эта борьба продолжалась весь век. Куба оставалась последней колонией испанской монархии. Наконец в 1898 году в войне с США, якобы вставшими на сторону свободы, старая Испания потеряла Кубу и больше не смогла оправиться от этого удара; Куба же была фактически захвачена Соединенными Штатами, которые в продолжение 60 лет диктовали ей законы и выбирали для нее правителей.

Дальнейшее происходило на наших глазах.

Почему же сегодня испанские поэты (а в книге представлены почти все крупные испанские поэты послевоенного времени) славят Кубу?

В послесловии к книге известный испанский журналист Хесус Искарай пишет: «Мы ждали песни в честь Кубы, потому что уже в течение трех лет эта песня звучит на улицах наших городов и на площадях наших деревень, она рвется из горла испанских рабочих, крестьян, студентов. Поэты подхватывают ее, превращают в стихи, и таким образом слово народа становится поэзией».

С другой стороны, один из поэтов, Гонсало Абад, восклицает почти в отчаянии:

Бедная Испания,
Бедная Испания,
Куба сегодня — главный урок,
А ты не хочешь знать ничего...

Тут нет противоречия. «Превратив песню народа в поэзию», поэты вынуждены печатать эту поэзию за границей. Куба наконец-то действительно свободна, Испания же в сегодняшнем мире — фашистская страна. Антонио Родригес, обращаясь к Кубе, спрашивает:

Что я могу тебе сказать?
Одно: когда тебя я называю,
мечта рождается в моей крови,
и та мечта — надежда.

Анхела Фигера Аймерич, сама дочь кубинца, хотя и родилась в Испании, сравнивает судьбу обеих стран:

Народ кубинский свободен,
свободны руки и ноги,
грудью прокладывает он
избранные им дороги.
Испанский народ в это время
продан, в неволе бродит,
грызет свои цепи и кровью
от тысячи ран исходит.

Вот как неожиданно обернулась история колонии и метрополии. Впрочем, так ли неожиданно? Разве это испанский народ угнетал народ Кубы?

Оттого, что мой дед умер на Кубе
с горсточкой бедных сыновей
моей земли, я пою сегодня
Кубу, не знающую угнетателей.
Оттого, что бедные крестьяне
Испании Альфонса XII
возвращались, чтобы умирать от
лихорадки
в своих изношенных мундирах,
я пою Кубу сейчас, когда гуахиро *
рвет цепи своей нищеты.

(Леопольдо де Луис)

Сегодня пути двух стран пересеклись поновому. Освободившись от колониального гнета, Куба зовет за собою, зовет своим примером десятки народов. Но, может быть, давние связи, давнее родство, общий язык делают кубинский пример особенно важным для Испании, потерявшей свободу.

---

* Кубинский крестьянин.

Когда шестой флот бесчестит наши
порты,
я думаю о Кубе...
И потому, что кубинский народ
вдохновляет надежду,
я верю в Испанию.

(Габриэль Селайя. «Шестой флот — американский флот»).

В сборник входят стихи не только поэтов, пишущих на кастильском языке, но и пишущих по-каталонски. Это своего рода демонстрация единства всех испанцев, когда дело касается кубинского примера и испанской свободы. Один из каталонцев, Пере Карт, говорит все о том же — чтобы все поняли значение борьбы, которую ведет далекий остров:

Наступит день, когда Куба
перестанет островом быть...

О художественных качествах книги лучше всего говорят имена ее участников: помимо процитированных авторов, в книге приведены стихи Рафаэля Альберти, Бласа де Отеро, Хесуса Лопеса Пачеко (Пачеко посылает Фиделю «поэму с заостренным концом» — быть может, она пригодится в борьбе за свободу), Хосе Агустина Гойтисоло, Хаиме Хиля де Бьедма и многих других. Эти имена уже хорошо известны всему миру. Они прославлены тем, что их носители пишут правду — и пишут сердцем. Именно так и написаны стихи о Кубе.

О. САВИЧ

Heinrich Böll. Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze. Köln — Berlin, Verlag Kiepenheuer und Witsch, 1961.

ГЕНРИХ БЁЛЬ — ПУБЛИЦИСТ

Многие буржуазные литераторы ФРГ считают реализм устаревшим. Непричастность художника к политике возводится ими почти в норму поведения. В этих условиях приверженность писателя к реальности, непритупившееся чувство ответственности за все, что происходит вне твоего «я», в какой-то мере стали актом немалого гражданского мужества.

«Простое упоминание слова «действительность» вызывает, как правило, неприятное ощущение. Это — как упоминание о зубном враче, визит к которому обычно стараешься оттянуть как можно дальше, хоть и знаешь, что оттягивать бесполезно. Наш современник убежден в том, что действительность ужасна и мучительна, что надо держаться подальше от нее — и без того хватает будней, нескончаемых хлопот и тревог. К чему еще какие-то чуждые, далекие тебе реальности? Но чуждое только кажется чуждым, далекое только кажется далеким. Нет ничего на свете такого, до чего писателям не было бы дела, другими словами: в той или иной степени нас касается все». Эти слова, заставляющие вспомнить о самых благородных традициях классической литературы, взяты из сборника произведений Генриха Бёля «Рассказы, радиоспектакли, статьи».

Самое интересное в сборнике — публицистические статьи. Рассказы, включенные в него, издавались ранее, многие из них уже переведены на русский язык. Радиоспектакли в большинстве своем — предварительные наброски к романам Бёля (с этой точки зрения они несомненно интересны для исследователей творчества писателя). Статьи же впервые собраны вместе, расположены в хронологическом порядке и дают относительно полное представление о взглядах Бёля. Они помогают глубже понять и его творчество, и ту атмосферу, в которой оно развивается.

Первая статья сборника — «В защиту литературы руин» — написана в самом начале творческого пути Бёля и является как бы прологом ко всему этому пути, профессиональным и нравственным кредо писателя. «Первые литературные опыты нашего поколения,— говорил тогда Бёль,— были названы литературой руин... Название само по себе справедливо: шесть лет была война, мы вернулись с нее домой, дома нашли руины и писали о них. Странным, почти подозрительным было только то, что это название звучало в устах некоторых критиков осуждающе; хотя нас как будто и не делали ответственными за войну и руины, но нам явно ставили в вину то, что мы их видели; а у нас не было повязок на глазах, мы видели это; хорошее зрение является для писателя орудием производства. Увести современника в мир идиллий представлялось нам ужасным, потому что ужасным было бы пробуждение,— или, может, нам и вправду надо было начать играть в жмурки?»

Хорошее зрение является для писателя орудием производства. Именно такое зрение у писателя Бёля, и он по праву ценит его, отвергая какие бы то ни было повязки или цветные очки (не обязательно даже играть в жмурки, есть еще розовые, голубые, темные очки, окрашивающие действительность всякий раз в нужный цвет, говорит Бёль). Именно это зрение помогло ему вопреки многим собственным заблуждениям подняться до таких высоких художественно-политических обобщений, как роман «Бильярд в половине десятого», с которым недавно познакомились советские читатели.

Бёль, как и многие писатели его поколения, пришел в литературу с войны, во время которой фашизм, как казалось тогда этим писателям, полностью уничтожил гуманистические традиции не только немецкой нации, но и всего человечества, пришел — если говорить об идейных основах творчества — почти с пустыми руками, но с честными, «неподкупными», как он пишет, глазами. И, вглядываясь в окружающую его действительность, наблюдая за теми, кто «ставил ему в вину» его глаза, Бёль пришел к своему мировоззрению, где решающую роль играет отнюдь не католическая религиозность, хотя Бёль и убежденный католик, а прежде всего глубокое чувство личной ответственности за судьбы мира.

Если сначала Бёль, изображая и войну и послевоенную разруху,— что было главной темой его раннего творчества,— стремился только к предельной достоверности изображаемого (пусть и необыкновенно сильной с точки зрения эмоционального осуждения фашизма автором), то по мере того, как он наблюдал за развитием западногерманского государства, он шел к более глубоким обобщениям, и тогда на его страницы, посвященные современности ФРГ, ложился багровый отблеск всей милитаристской истории империалистической Германии. Историческая преемственность между западногерманским реваншизмом и германским империализмом ни у одного из писателей ФРГ не показана с такой силой художественной убедительности.

При этом Бёль исходит, казалось бы, прежде всего из чисто эстетических, а не из политических принципов. «Я повторяю,— пишет он,— хорошее зрение является для писателя орудием производства, зрение достаточно хорошее, чтобы различить вещи, которые еще не появились в пределах видимости... Какого бы человека мы ни взяли, он принадлежит нашему времени, находится внутри него, он опутан датами, как сетями, и извлечь его из этих сетей значило бы лишить его жизни». Но именно в подчеркнутой реалистичности этих принципов и находится объяснение того замечательного сплава поэтического и общественного, который восхищает нас в лучших произведениях писателя. Бёль просто *не может* быть аполитичным писателем, оставаясь верным этим принципам. Восстанавливая связь времен, распавшуюся во многих произведениях писателей-модернистов, Бёль по необходимости приходит к реальной истории, прежде всего к немецкой истории. И не только в таком большом полотне, как роман «Бильярд в половине десятого», целиком построенном на принципе воссоздания связи времен. Повсюду в творчестве Бёля исторические реминисценции, на первый взгляд самые неожиданные, вдруг не только рождают глубокие художественные обобщения, но и приобретают отчетливую политическую актуальность.

...Вы знаете, как умер Лоэнгрин? Он не покинул людей в челне с лебедем, а умер на больничной кровати, крича от боли и страха, с переломанными ногами, и был он не рыцарем Грааля, а двенадцатилетним немецким парнишкой, пытавшимся в первый тяжкий послевоенный год украсть уголь с проходящего поезда (рассказ «Смерть Лоэнгрина»). А во имя чего погибли триста спартанцев в Фермопильском ущелье, сражаясь с целым войском персов? Этого так и не успели узнать юноши, ушедшие со школьных скамей на захватническую гитлеровскую войну,— они не дописали этой фразы, и она оборвалась на полуслове: «Спа...» — как крик, застрявший в горле (рассказ «Путник, когда ты придешь в Спа...»). Исторические реминисценции здесь как бы озаряют всю недолгую преступную историю «третьего рейха» с его претензиями на «тысячелетие» — Бёль судит фашизм и послевоенный реваншизм судом времени, и эта высокая полемичность является неотъемлемой частью его писательского метода.

«Народ без пространства» — крикливо провозгласил в свое время формулу германского империализма фашистский литератор Ганс Гримм. «Дом без хозяина» — с горечью подвел Бёль итоги гитлеровской политики «распространения». Временные ассоциации Бёля неизменно приводят к неумершему прошлому. В повести «Хлеб ранних лет» даже сфера человеческой любви оказывается неизгладимо отмеченной, как проклятием, бременем прошлого — и несправедливой войны, и послевоенного эгоизма и стяжательства; песнь песней становится трагедией в мире «экономического чуда». Даже в самых далеких от истории и политики страницах поэтического «Ирландского дневника» вдруг всплывают горькие аналогии. «Никто не попытается здесь разрушить старую стену,—рассказывает Бёль о своем посещении заброшенного ирландского поселка.— Даже дети, которые гонят скот с пастбища, не пытаются обвалить стену или сорвать дверь пустующего дома; наши же дети, когда мы забрели в этот поселок, тут же попытались хоть что-нибудь сравнять с землей. Здесь никто ничего не сравнивает с землей, здесь оставляют ветхие части покинутых жилищ на пропитание ветру, дождю, солнцу и времени».

Немало страниц в публицистической части сборника посвящено преступной политике западногерманских реваншистов. При этом Бёля прежде всего волнует вопрос, насколько сильна в немецком народе сопротивляемость этой политике, его гражданский иммунитет против реваншистской чумы. Это главная моральная, художественная, политическая проблема всего творчества Бёля. Человек религиозный, моралист, иногда почти проповедник, Бёль ищет в своих соотечественниках не христианского милосердия, а ненависти, и есть что-то от суровых пророчеств Екклезиаста в той неумолимой настойчивости, с которой он предостерегает немцев от притупляющих совесть и ум соблазнов «экономического чуда». Вспомним Неллу из романа «Дом без хозяина», монологи Иоганны Фемель в «Бильярде в половине десятого», звучащие как заклинание, или эти горь-

кие, почти отчаянные слова из «Бильярда», которые говорит один из героев, глядя на омерзительное зрелище марширующих реваншистов: «Я боюсь не того, что такие люди появились у нас снова, а того, что в этой стране не появилось иных людей». Трагичность судеб многих героев Бёля объясняется не столько условиями, в которых они живут, сколько ощущением своего бессилия в борьбе со злом.

Эта тема всплывает постоянно и в публицистике Бёля — повсюду, где он говорит об опасности реваншизма: «Люди, которые в жаркие летние дни, возвратившись с неудавшихся загородных прогулок, раздраженно и без удовольствия глотают здесь теплый лимонад, провожали когда-то своих сыновей и братьев к поездам, увозившим их отсюда в смерть. Что убило их скорбь, убило в них память? Как мало лиц в этой стране говорят о том, что их владелец способен к памяти и скорби,— пишет Бёль в одной из статей.— Цены на сердце и совесть падают... Единственная угроза, которая сегодня вселяет страх в сердце немца,— это угроза уменьшения сбыта... Есть очень много очень умных, очень сообразительных молодых людей, которые самым обеспокоивающим образом информированы, образованны, осведомлены о третьей пунической войне не хуже, чем о Фолкнере, я только спрашиваю себя, где начинается, где началось бы их сопротивление?»

Особенно непримирим Бёль по отношению к официальным представителям католической церкви, поставившим себя на службу милитаристской политике Бонна. Вот перед нами «Письмо молодому католику» (1958). С какой страстностью объясняет Бёль молодому солдату, что «моральные соблазны солдатской жизни», против которых предостерегал его армейский священник, лежат отнюдь не в сфере сексуального, а в самой реваншистской, антигуманистической сути бундесвера. Католик Бёль произносит резкие, почти еретические слова: «Избегайте проповедей, читаемых дивизионным священником... армия не спортивное общество...— она распоряжается смертью миллионов людей... Вы, дорогой господин М., можете при случае спокойно усомниться в догме о телесном вознесении Марии, и вам придется выслушать в высшей степени утонченное, умное и богословски обоснованное назидание, но если вам придет в голову усомниться в негласной догме о непогрешимости Христианско-демократического союза, то ваш духовный пастырь проявит нервозность, причем самым недобрым и неугонченным образом... Ересей больше нет, теологи устремились на ниву политики... Аденауэр—католик, Штраус и многие другие — тоже; чего же вы еще хотите?»

Бёль готов преподать молодому солдату-католику азбуку не религии, а истории: «Будьте осторожны, мой юный друг, когда богословы говорят о справедливой обороне... если же вы захотите все-таки поискать примеры справедливой обороны, вы найдете их в недавнем прошлом: большевистская Россия в 1941 году, когда туда вторглась немецкая армия, находилась в состоянии справедливой обороны; Дания, Норвегия, Франция — возьмите карту Европы и посчитайте страны».

Публицистика Бёля заслуживает самого серьезного внимания. Это не только страницы эстетической и гражданской исповеди крупного писателя. Это страницы самой истории современной Германии — как и все творчество Генриха Бёля.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

A Maltese Anthology. Compiled by A. J. Arberry. Oxford, at the Clarendon Press, 1960.

Dun Karm, Poet of Malta. Texts chosen and translated by A. J. Arberry. Introduction, notes and glossary by P. Grech. Cambridge, at the University Press, 1961.

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА МАЛЕНЬКОГО ОСТРОВА

До самого последнего времени Мальта была белым пятном на карте мирового литературоведения, хотя остров лежит под боком у Европы. Теперь этот пробел до некоторой степени восполняют две книги, составленные известным английским востоковедом А. Дж. Арберри,— «Мальтийская антология» и «Дун Карм — поэт Мальты».

Как сообщает журнал британских востоковедов «Бюллетин оф скул оф ориэнтал стадиз», это первые книги на английском языке о мальтийской литературе, литературе, созданной маленьким народом, который, начиная со времен Карфагена, находится под чужеземной властью, препятствующей его национальному развитию. Английские колонизаторы, обосновавшиеся на острове с 1800 года, ни за что не хотят расстаться с этой жемчужиной Средиземного моря.

«Мальтийская антология» состоит из трех частей. В первой помещены образцы мальтийского фольклора — сказки, пословицы, загадки и народные песни. Все тексты этого раздела даются

в оригинале с параллельным переводом на английский язык. Хотя мальтийский язык происходит от одного из арабских диалектов Северной Африки, фольклор Мальты, видимо, ближе к фольклору народов Европы, чем к устному творчеству арабов. (Правда, сказка «Семь девушек, вышедших из лимонов» напоминает сказки «Тысячи и одной ночи»).

Мальтийцы — народ мореходов. Это отразилось в их устном народном творчестве: в их пословицах, сказках, в прекрасных народных песнях, в которых поется о разлуке моряка с любимой.

Вторая часть книги посвящена современной мальтийской прозе (XIX—XX вв.). Здесь представлены в переводе на английский язык самые разнообразные жанры — от исторического романа до бытового юмористического рассказа, от литературно-критической статьи до пьесы для радио и детективной новеллы.

В исторических произведениях и очерках, помещенных в антологии, отражены основные моменты героической истории Мальты за последнее тысячелетие, начиная с завоевания острова норманнами в 1090 году (отрывок «Конец арабского владычества на Мальте» из книги писателя XIX века Джан-Антона Вассалло) и кончая осадой острова итало-немецкими фашистами во вторую мировую войну (рассказ «Капитан» современного мальтийского писателя Джузе Галеа). К какой бы эпохе ни относились эти произведения, их объединяет пламенный патриотизм авторов, любовь к родине — «прекрасной Мальте» и жгучая ненависть к захватчикам и поработителям, будь то арабы или турки, испанские гранды или рыцари Мальтийского Ордена. В историческом жанре пробовали свои силы почти все крупные прозаики. Среди них «отец мальтийской литературы», виднейший писатель и философ Джузе Мускат-Ащопарди (1853—1927). В антологии помещен его рассказ «Дун Микель Шерри» из эпохи борьбы мальтийцев с Наполеоном.

В противоположность произведениям на исторические темы, проза, посвященная современности, в антологии отражена слабо. Она представлена лишь юмористическим рассказом Джорджа Заммита «Пари» — о ссоре крестьянина со своей упрямой женой—и одноактной сатирической комедией о нравах «высшего света» Мальты. Трудно поверить, что в мальтийской литературе с ее давними патриотическими традициями нет произведений, отражающих борьбу против британского владычества. Скорее всего профессор Арберри «забыл» включить в антологию такого рода произведения. Недаром и во вступлении к сборнику, излагая основные исторические события в жизни Мальты, он ничего не говорит об антибританском движении на острове, о борьбе мальтийцев за политическую самостоятельность, принявшей после второй мировой войны особенно острую форму. Более того, английский ученый предостерегает: «Если будет достигнута независимость, то цена за нее может оказаться слишком большой. Культурная изоляция вследствие разрыва уз с Содружеством наций могла бы означать смерть мальтийской литературы». Успехи в культурном строительстве народов, недавно завоевавших независимость, служат убедительным опровержением этого мрачного предсказания.

Литературная критика представлена в антологии статьей А. Кремоны об основоположнике мальтийской письменности Джузе Вассали (конец XVIII в.) и работой Джузе Аквилины «Дун Карм как поэт», в которой подробно анализируется творчество крупнейшего мальтийского поэта (р. в 1871 г.).

Третья часть антологии отведена поэзии. Она открывается написанной в XVII веке одой Джо Франческо Бонамико в честь великого магистра Мальтийского Ордена. Это самое первое из дошедших до нас произведений на мальтийском языке.

Большинство стихотворений носит романтико-религиозный характер (на Мальте сильна католическая церковь), однако в последнее время в мальтийской поэзии начинают все громче звучать патриотические мотивы (произведения современных поэтов Р. Бриффа «Толпа и гимн», Т. Вассало «В Луксоре» и др.).

В ритмике мальтийские поэты, как правило, следуют итальянским, а в последнее время также и английским образцам. Исключение составляет поэтесса Мари Мейлак с острова Гозо, которая использует старинное народное стихосложение, близкое к арабскому.

Во введении к антологии даются краткие сведения по истории, языку и литературе Мальты.

Вторая из рассматриваемых книг—«Дун Карм—поэт Мальты»—посвящена патриарху мальтийской литературы, который вначале приобрел известность как итальянский поэт. Только впоследствии Дун Карм перешел на свой родной мальтийский язык и доказал, вопреки бытовавшему в буржуазном литературоведении мнению, что и на этом «грубом» семитском языке может создаваться прекрасная поэзия, стоящая в одном ряду с лучшими европейскими образцами. (Защите родного языка Дун Карм посвятил одно из лучших своих стихотворений «Почему?», которым открывается сборник.)

Основные темы эпически величественных и спокойных стихотворений Дуна Карма — бог и природа. Однако голос поэта становится гневным, когда он бичует пороки современного ему общества. Выход же Дун Карм видит в возврате к патриархальной жизни.

Все стихотворения поэта даются в книге в оригинале с параллельным переводом на английский язык, выполненным Арберри.

Обстоятельное введение и примечания, составленные мальтийским ученым П. Греком, содержат сведения о мальтийском языке и мальтийской поэзии.

Л. СТЕПАНОВ.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Роман Александра Чаковского «Дороги, которые мы выбираем» издан в Болгарии.

(Еженедельник «Литературни новини»)

В венгерском издательстве «Кошут» вышла поэма Александра Твардовского «За далью — даль». По сообщению будапештского бюллетеня «Тайекоztato», издательством «Эуропа» выпущены одна из книг цикла фронтовых очерков и рассказов Константина Симонова «От Черного до Баренцева моря» и повесть «Девчата» Бориса Бедного.

Французское издательство Жюллиар выпускает в свет повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (перевод Мориса Дескайо, предисловие Пьера Дэкса).

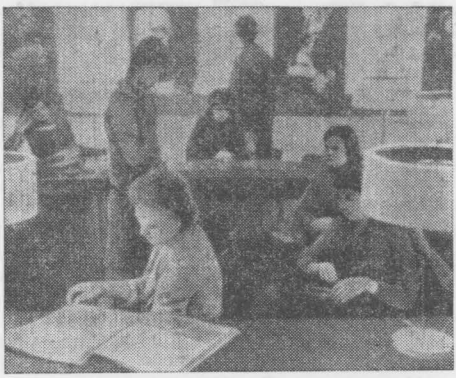
В парижском издательстве «Сёй» вышел роман Владимира Тендрякова «За бегущим днем», в издательстве Галлимар — «На полустанке» Юрия Казакова. В рецензии на эти две книги, опубликованной еженедельником «Леттр франсез», Андре Вюрмсер проводит параллель между героем романа Тендрякова «За бегущим днем» Бирюковым и инженером Бахиревым из «Битвы в пути» Николаевой. Оба они, Бирюков — в педагогике, а Бахирев — на производстве, ведут борьбу за новое и передовое, за торжество правды. Высоко оценивает Вюрмсер и творчество Юрия Казакова.

Бухарестское Издательство всемирной литературы выпустило на румынском языке романы «Иначе жить нельзя» Веры Кетлинской, «Соль земли» Георгия Маркова и сборник стихов Павло Тычины. Под названием «С позиции социалистического реализма» издан сборник статей, речей и писем Александра Фадеева.

Берлинское издательство «Диц» (ГДР) выпустило книгу Александра Неверова «Ташкент — город хлебный». В рецензии на эту книгу, опубликованной газетой «Дер морген», дается высокая оценка творчества писателя.

Повесть «Джамиля» Чингиза Айтматова вышла во франкфуртском издательстве «Инзель» (ФРГ).

Берлинское издательство «Фольк унд вельт» (ГДР) выпустило сборник стихотворений Евгения Евтушенко под названием «Вот что со мною случилось». Стихи публикуются параллельно — в оригинале и в немецком переводе, выполненном Францем Лешницером.



В связи со столетием со дня рождения К. С. Станиславского в Лондоне устроена выставка, показывающая жизнь и творчество корифея русской сцены. Ввиду большого притока посетителей, по сообщению печати, устроители выставки предполагают показать ее в Бирмингеме, Ноттингеме, Манчестере, Ливерпуле и Эдинбурге. На снимке — в зале выставки.

(Газета «Дейли уоркер»)

По сообщению журнала «Бюхер-комментаре», повесть Григория Бакланова «Мертвые сраму не имут» вышла в мюнхенском издательстве «Вильгельм Гольдман-ферлаг» (ФРГ).

«Виктор, герой без риторики» — так Карло Салинари озаглавил свою рецензию в еженедельнике «Вие нуове» на роман Георгия Владимова «Большая руда», выпущенный в Риме издательством Эйнауди. «Это, несомненно, один из самых интересных советских романов, которые мне довелось читать за последние годы»,— пишет Салинари.

Читатели Чехословакии познакомились с молодым советским прозаиком В. Конецким. В журнале «Светова литература» опубликована его повесть «Завтрашние заботы», а в издательстве СНКЛ отдельной книгой вышли его рассказы «Путь к причалу» (под этим названием книга издана) и «Петька, Джек и мальчишки». «Открывателем больших поэтических возможностей современного человека» называет В. Конецкого рецензент еженедельника «Литерарни новины».

В нью-йоркском издательстве «Рэндом-хауз» вышла книга Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», переведенная на английский язык Джоном Ричардсоном. Забавно то, что Остап Бендер кажется рецензенту газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Тому Вульфу «очаровательным героем», а стремление Остапа Бендера во что бы то ни стало нажить миллион рассматривается американским критиком как... вполне естественное желание! Что ж, комментарии излишни!

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ПРОТИВ ВОЙНЫ

О жизни и деятельности известной австрийской писательницы-пацифистки Берты фон Зуттнер, страстно протестовавшей против войны и отстаивавшей идею всеобщего разоружения, повествует роман Оскара Яна Таушинского «Любящие — сильнее всех», недавно опубликованный венским издательством «Эстеррейхишер бундесферлаг».

Газета «Фольксштимме», положительно оценивая роман как художественное произведение, одновременно выделяет его значение в деле пропаганды идеи мирного сосуществования народов на нашей планете.

ЧЕТЫРЕ «ЗАБЫТЫХ» ГОДА

Венское издательство «Бухгемейнде» выпустило роман молодого писателя-коммуниста Франца Кайна «Порыв ветра с гор».

Есть в австрийской истории годы, пишет рецензент газеты «Фольксштимме», которых австрийские писатели предпочитают не касаться. Это период гитлеровского гнета — 1938—1945 гг., но в еще большей мере это четыре предшествующих года — 1934—1938: до вторжения гитлеровских войск в Австрию. «Австрийская литература предпочитает интересоваться дальними странами и давними временами либо избирать период до первой мировой войны. За то, что произошло потом, отваживаются браться лишь немногие»,— подчеркивает рецензент, указывая, что время заката монархии не требует от писателя ни игры «ва-банк», ни рискованных высказываний. Такое замалчивание исторического периода, весьма поучительного для нынешней австрийской социал-демократии, объявлено чуть ли не правилом хорошего тона.

И вот Франц Кайн написал роман, действие которого происходит в «забытые» годы. «Порыв ветра с гор», по словам рецензента,— роман для «забывчивых», с одной стороны, и полезное чтение для молодежи — с другой.

АЛЖИР

ТЯГА К КУЛЬТУРЕ

Алжирский народ, сбросивший после тяжелой и кровопролитной борьбы оковы французского колониализма, испытывает огромную тягу к знаниям, искусству.

Все чаще на сценах театров появляются пьесы местных драматургов, возобновляются спектакли, ранее за-

Сцена из спектакля «Проделки Скапена», поставленного марокканским театром в Алжире.

(Газета «Альже репюбликэн»)

прещенные французскими властями. По сообщениям печати, значительный успех выпал на долю марокканского театра под руководством Тайеба Седдики. Этот театр показал зрителям Алжира комедию Мариво «Игра любви и случая» и «Проделки Скапена» Мольера.

Огромный интерес проявляют алжирцы к советскому искусству. По свидетельству алжирских газет, советские фильмы, советские издания пользуются исключительной популярностью. Недавно в столице Алжира произошел такой случай, о котором сообщает газета «Альже репюбликэн». Один предприимчивый импрессарио объявил о приезде в Алжир «русской балетной труппы». Мгновенно билеты на все дни гастролей «русского балета» были распроданы. Однако, как оказалось, эта труппа ничего общего с советским балетом не имеет. Возмущенные зрители немедленно вернули обратно билеты и заявили корреспондентам, «что с нетерпением ждут приезда в Алжир настоящей советской балетной труппы, мечтают об этом».

АНГЛИЯ

«СЕРДИТЫЕ МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

Известная молодая английская писательница Шейла Делани, автор нашумевшей пьесы «Вкус меда», выступила в еженедельнике «Санди таймс» с обширной статьей о «сердитых молодых женщинах» Англии, к которым она причисляет и себя.

Когда Джон Осборн, говорится в статье, опубликовал в «Трибюн» открытое письмо, разоблачая тех людей в английском правительстве, которые способствуют международной напряженности, в частности по вопросу о Берлине, это вызвало бурю одобрения и бурю нареканий (см. «Иностранную литературу» № 12, 1961). Один молодой художник-профессионал, живущий на севере Англии, утверждал, например, что «художникам нечего вмешиваться в политику, это не их дело. Живописец должен писать картины. Писателю надлежит писать книги. Вовсе не их дело рассылать в газеты письма о международных кризисах. Такая деятельность пойдет во вред только им самим».

«Будучи писательницей,— заявляет Шейла Делани,— я считаю, что, как и люди других профессий, я имею право на свою точку зрения. Я имею право голоса. И я не желаю голосовать за какую-либо из старых политических партий. Слишком важна теперь политика. Слишком многое происходит на свете, меняется облик стран, рождаются новые страны. И меня волнует то, что происходит в стране, подданной которой я являюсь, как указано в моем паспорте. Меня волнует то, что происходит во всем мире. На протяжении истории очень немногие люди искусства до конца оставались в своих башнях из слоновой кости, отрезанные от всего, что составляет борьбу за жизнь... Возможно, некоторые критики и нас назовут «сердитыми молодыми»...

Кто же такие «сердитые молодые женщины»? Я — одна из них. Мне часто задают вопрос: «На что вы сердитесь?» Иногда вопрос сопровождается улыбочкой. В самом деле, чем же я недовольна?

В частности, в качестве члена Движения против гонки ядерного вооружения, я «сердита» на ядерное оружие. Я против того, чтобы мы им обладали. Я стала членом «Комитета ста». Это движение часто упрекают в том, что оно преувеличивает опасность термоядерной войны. За последние месяцы я не вижу, чтобы опасность такой войны уменьшилась. Те из нас, кто организовал Комитет, пытались и пытаемся сейчас показать своими средствами, сколь велика опасность, угрожающая всем нам. Я верю, что у нас

Повесть молодого английского писателя Алана Силлитоу «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» была экранизирована известным режиссером Тони Ричардсоном. Среди исполнителей главных ролей — выдающийся актер Шекспировского мемориального театра Майкл Редгрейв и бывший артист театра «Олд Вик» Том Куртенэ, дебютирующий в кино (на воспроизводимом здесь кадре — справа).

(Журнал «Синемонд»)

только один выбор: немедленно действовать либо питать необоснованные надежды. Мы избрали действие. Я не вижу никаких оснований считать, что сейчас нет необходимости в массовом движении гражданского неповиновения».

Делани упоминает в статье об артистке шекспировского театра в Стрэтфорде Ванессе Редгрейв (дочери известного артиста Майкла Редгрейва), которая, рискуя своей карьерой, тоже принимает участие в демонстрациях «Комитета ста» за ядерное разоружение. Ванесса Редгрейв, по словам Делани,— одна из весьма активных «сердитых молодых женщин», так же как и Джоан Литтлвуд, директор «Тиэтр уоркшоп» в Лондоне, талантливый и смелый режиссер.

Делани затрагивает и давно наболевший вопрос о неравной оплате труда женщин, о дискриминации женского труда. До сих пор, сокрушается молодая писательница, в стране широко распространено представление о ненужности высшего образования для женщин. Во многих семьях с ограниченными средствами деньги на высшее образование безоговорочно предоставляются, независимо от способностей и одаренности, сыну, а не дочери. Последней дается совет — найти себе мужа.

Писательница рассказывает о своих многочисленных знакомых среди девушек и женщин из разных слоев общества—участницах Движения против гонки ядерного вооружения. Все они в той или иной мере «сердиты» на опасность термоядерной войны, на социальные условия, на политику правительства.

АБСТРАКЦИОНИЗМ И АНГЛИЧАНЕ

Газета «Дейли телеграф энд морнинг пост» опубликовала следующее письмо некоего Нормана Уилкинсона, отражающее взгляды среднего англичанина на абстрактное искусство:

«Сэр,

Имеется множество признаков того, что публика наконец начинает просыпаться от наркотического сна, навязанного ей критиками, торговцами картин и другими самозванными «экспертами» по вопросу о так называемом «современном» искусстве. Собственно говоря, зачем говорить о «современной» живописи, если существует хорошая живопись и плохая живопись.

На крик души растерянного зрителя: «Я не понимаю, что здесь изображено»,— можно ответить весьма просто: «Да тут *нечего* понимать!» В большинстве случаев сам художник тоже не понимает, что он изобразил.

Кстати, недавно на страницах Вашей газеты сообщалось, что абстрактные картины стали продаваться гораздо хуже, чем раньше. В самом деле, что можно сказать после посещения выставки молодых художников, называющих себя «молодыми современниками»? Только то, что им следовало бы еще сидеть за мольбертами и изучать основы рисунка и колорита, вместо того чтобы заниматься «абстракциями». Слишком уж легкое это дело. Вы покупаете несколько тюбиков краски, выжимаете их на холст, размазываете кистью или мастихином, и картина готова; назовите ее, скажем, «Мах I». После этого досужие критики будут всерьез обсуждать ее и приписывать ей какие-то «пробуждающие» свойства.

Боюсь, что людей, покупающих подобную чепуху в расчете на то, что «будущие поколения» ее поймут, ожидает горькое разочарование.

С уважением

Норман Уилкинсон».

НА ПОДМОСТКАХ ТАКОЕ НЕ ПОКАЖУТ...

Английский закон о том, что ни одна пьеса не может дойти до подмостков без цензора, был издан 225 лет назад. А начало английской театральной цензуре было положено королем Генрихом VIII, не терпевшим никаких шуток по адресу своей особы и прежде всего по поводу своих многочисленных матримониальных приключений. И горе было тогдашнему придворному цензору, если в какую-нибудь пьесу прокрадывался намек на то, что очередной надоевшей жене монарх попросту велел отсечь голову, чтобы не утруждать себя процедурой развода!..

Члену палаты общин лейбористу Динглу Футу показалось, что покрытый пылью столетий закон о цензуре несколько архаичен, и Фут внес билль, предлагающий отменить закон.

Возникшая в связи с этим дискуссия в палате общин носила такой характер, что могла бы послужить темой для скетча (хотя цензор, очевидно, не пропустил бы его на сцену!). Английская печать откровенно издевается над этими дебатами, в ходе которых консерватор Рис-Девис, главный оппонент билля об отмене театральной цензуры, гневно кричал, что цензура-де «стоит на страже национальной морали». Рис-Девис никак не хотел согласиться с тем, что Генрих VIII ввел цензуру исключительно с той целью, чтобы скрывать собственные аморальные поступки, а сэр Роберт Уолпоул, учредивший закон 1737 года, ввел его только для того, чтобы запретить показ пьесы, критиковавшей правительство.

В результате прений билль Дингла Фута провалили, несмотря на анекдотические случаи, приведенные его сторонниками. Например, недавно английская театральная цензура запретила гастролирующему в Англии американскому театру ревю показывать сатирические скетчи на президента Кеннеди, которые этот театр показывал по всей Америке. Английский цензор даже послал телеграмму президенту с запросом, не возражает ли тот против «такого неуважительного к нему отношения». Получив от Кеннеди ответ, что он «не возражает», бдительный цензор... все же запретил постановку скетчей в Англии. Другой инцидент произошел с канадским театром ревю, где актеры по ходу действия импровизируют шутки на актуальные темы дня. Цензор и его штат, состоящий в ос-

новном почему-то из военных, как было заявлено в палате, «не понимают, что такое импровизация, и поэтому... запрещают ее». Это было сказано под хохот всех членов палаты.

Газета «Дейли геральд» кончает свой отчет о дебатах фразой: «Это была настоящая комедия, но на подмостках такое не покажут».

АРГЕНТИНА

СТИХИ РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА ТУНЬОНА

В издании буэнос-айресской «Библиотеки имени 150-летия аргентинской революции» вышел в свет сборник стихов известного аргентинского поэта-коммуниста Рауля Гонсалеса Туньона. Сборник составлен молодым аргентинским литературоведом Эктором Яновером, который написал вступительную статью.

Выход в свет сборника стихов Рауля Гонсалеса Туньона рецензент буэнос-айресской газеты «Кларин» называет «воодушевляющим» явлением. «Меня всегда удивляло,— отмечает рецензент,— отсутствие авторитетного мнения, которое могло бы справедливо поставить Гонсалеса Туньона в один ряд с крупнейшими современными аргентинскими поэтами». По словам рецензента, Рауль Гонсалес Туньон, первая книга стихов которого вышла в 1926 году, до последнего времени не был «ни принят, ни отвергнут» аргентинскими литературоведами, критика необоснованно умалчивает о нем, а когда речь идет о представителях подлинно аргентинской поэзии, то обычно о Туньоне говорится очень мало. В рецензии с сожалением отмечается, что в Аргентине при издании стихов предпочтение постоянно отдается так называемой «чистой, формалистической» поэзии, «как будто поэзия — это лишь абстракция или мудреное сочетание отдельных слов и звуков, как будто в стихах не подобает писать о людской крови и о грязи нашей жизни». «Поэтому так отрадно узнать,— заявляет рецензент,— что еще есть у нас люди, открыто выступающие с напоминанием о том, что в Аргентине живет большой, самобытный, глубокий и гуманный поэт, лирик». По оценке рецензента, издание стихов Гонсалеса Туньона «чрезвычайно своевременно».

Говоря о подборе стихов, составляющих сборник, автор рецензии указывает, что Рауль Гонсалес Туньон предстает перед читателем этой книги не только как поэт, но и как человек.

БИРМА

СТОП! ЗАОКЕАНСКИЕ ГРАБИТЕЛИ!

Бирманский журнал «Гардиэн» приветствует решение правительства Бирмы запретить вывоз из страны произведений национального искусства. Эта мера вызвана хищническим отношением «цивилизованных» западных гостей к культурным сокровищам бирманского народа. Печальная судьба постигла, например, многочисленные изображения Будды. Не имея возможности увезти за океан массивные статуи, туристы увозили... лишь одни головы будд. Безголовые изваяния будд — характерное явление не только для Бирмы, но и для соседних с ней стран.

Журнал особо подчеркивает, что проводившийся и ранее вывоз памятников культуры не только обеднял сокровищницу национального искусства, но и оказывал тлетворное влияние на отдельных бирманцев, которые ради наживы готовы были своими руками исковеркать или продать за океан ценные памятники народной культуры.

Считая решение бирманского правительства «весьма своевременной мерой предосторожности», журнал вместе с тем с горечью отмечает, что в стране еще не уделяется достаточного внимания национальным памятникам культуры.

БОЛГАРИЯ

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ БАКАЛОВА

Стара-Загора — город с давними литературными традициями. Тут жили известные болгарские писатели Гео Милев, Георгий Бакалов, Кирил Христов, Ни-

---

«Наш новый фильм,— рассказывает режиссер и один из сценаристов картины «Анкета» Кирил Илинчев,— адресован молодежи. Вместе с молодым писателем Георгием Марковым, соавтором сценария, мы хотим этим фильмом помочь нашей молодежи стать современниками великой эпохи, в которой мы живем». Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Филмови новины»)

колай Лилиев, Димитр Подварзачов, Георгий Райчев. Литературное имя Стара-Загоры высоко стоит и сегодня. В городе работают филиал Союза болгарских писателей и литературный кружок «Георгий Бакалов».

Для помощи местным литераторам, для поощрения их творческой деятельности городской народной совет принял решение об учреждении ежегодной литературной премии имени критика Георгия Бакалова за наилучшие достижения в области поэзии и беллетристики. Первое присуждение премий состоится в мае этого года.

НАГРАЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

За активную литературную и общественную деятельность ряд болгарских писателей удостоен правительственных наград.

Камен Зидаров и Ангел Каралийчев удостоены ордена «Народная Республика Болгария» I степени в связи с шестидесятилетием со дня рождения. Боян Балабанов награжден орденом «Народная Республика Болгария» II степени по случаю своего пятидесятилетия. Петр Аджаров награжден орденом «9 сентября 1944 г.» II степени в связи с шестидесятилетием; Дамян Калфов — орденом «Кирилл и Мефодий» I степени по случаю 75-летия со дня рождения.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 1963 ГОДА

Софийский еженедельник «Литературен фронт» сообщает, что правление Союза болгарских писателей постановило провести Праздник поэзии 1963 года в городе Чирпан под знаком 85-летия со дня рождения выдающегося болгарского поэта П. К. Яворова.

ВЕНГРИЯ

МОЛОДЫЕ ПРОЗАИКИ ЕДУТ НА ЗАВОД

Каждая новая антология произведений молодых прозаиков — это новые имена писателей, новые произведения. «Лучшие произведения антологии,— отмечал в статье, посвященной одному из последних выпусков — «Эхо», Пал Фехер,— веско доказывают, что самое примечательное в ней — тема современности, современность во взглядах, социалистическое восприятие мира и жажда новизны в выборе темы».

Авторы произведений, включенных в антологию «Эхо», по́бывали недавно в гостях у рабочих будапештского завода сельскохозяйственных машин. «В гостях» — это звучит не совсем точно, потому что многие из них пришли в литературу с заводов, а некоторые и с этого завода и чувствовали поэтому себя как дома, как хозяева. В этот вечер, по сообщению еженедельника «Элет эш иродалом», шел большой разговор о литературе, об искусстве.

«УСТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА»

Произведения венгерской писательницы Магды Сабо широко известны не только в Венгрии, но и за пределами страны: во Франции, Германии, Англии. Знают писательницу и советские читатели по ее книге «Скажите Жофике».

Недавно на сцене появилась новая пьеса Магды Сабо «Установление памятника».

Врач-коммунист Балинт Шимон был участником антифашистского подполья и погиб в 1944 году от рук нилашистов. И вот пятнадцать лет спустя семья собирается вместе по случаю установления ему памятника. Однако стремление отдельных членов семьи почтить память Балинта насквозь фальшиво: они желают лишь извлечь выгоду из уважения государства к погибшему на боевом посту коммунисту.

О том, как разыгрывается в семье конфликт, когда честный и принципиальный человек Этел — младшая сестра Балинта Шимона, выступает против ханжества и лицемерия других членов семьи, и как побеждает правда жизни, рассказывает эта пьеса. В статье, опубликованной еженедельником «Элет эш иродалом» в связи с премьерой спектакля, писатель Геза Молнар назвал пьесу Магды Сабо «хорошей, с большой внутренней логикой событий, с богатыми характерами, глубоко психологичной и по-настоящему человечной».

Сцена из спектакля «Установление памятника».
(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ВЬЕТНАМ

«НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ»

«Неделя литературы» была проведена недавно в шахтерском районе Хон-Куан (Демократическая Республика Вьетнам). Крупней-

шие писатели республики прочитали рабочим лекции.

Горячо обсуждали рабочие два новых романа из их жизни — «Шахтеры» Во Уй Тама и «Новая штольня вступает в строй» Нгуена Дау.

ФИЛЬМ СОЗДАН СТУДЕНТАМИ

...Это случилось в период войны вьетнамского народа против французских колонизаторов. Юноша и девушка — бойцы Народной армии Вьетнама — отправились на оккупированную неприятелем территорию, чтобы установить связь с одним из рыбаков. Невдалеке от его хижины на них неожиданно напали враги. Юноша был захвачен в плен, а тяжело раненную девушку приютили у себя рыбак и его жена. Рыбак предпочел умереть, но не выдать разведчицу. Под влиянием его гибели вдова принимает решение включиться в борьбу...

Таково содержание нового вьетнамского художественного фильма «В один из ранних осенних дней», созданного студентами школы кинематографии ДРВ.

ГАБОН

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

В Либревиле начал издаваться журнал «Эффор Габонэ», посвященный вопросам культуры и искусства. Приветствуя выход в свет первого номера журнала, президент Габона Леон Мба, как сообщает еженедельник «Африк нувель», заявил, что «этот журнал поможет народу Габона лучше познакомиться с жизнью и культурой других стран, что так нам необходимо».

ГАНА

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ — НЕ СИНОНИМЫ»

Бывшие хозяева африканского континента всеми силами стремятся подчинить своему идейному влиянию пробудившиеся к свободной жизни африканские народы. Для этого они издают и распространяют в странах Африки немало книг, авторы которых стремятся «доказать», что у африканцев нет и не будет в дальнейшем своей национальной культуры и литературы.

Об одной из подобных книг — «Африканском гиганте» Стюарта Клета — с гневом пишет в своем письме в редакцию журнала «Уэст Африка» читатель из ганского города Тамале Эбоу Дэниэл. По его мнению, автор этой книги не сумел дать правдивого изображения Африки и африканцев, ибо сам знает их не больше, чем крупные колониальные чиновники. «Конечно, мы хотим стать образованными людьми,— пишет Эбоу Дэниэл.— Кто этого не хочет? Однако мистер Клет должен понять, что цивилизация не означает европеизации, что цивилизация и европеизация — не синонимы».

ГВИНЕЯ

КУЛЬТУРА ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

Выступая на конференции по вопросам искусства и культуры, президент Гвинеи Секу Туре много внимания уделил социальной роли искусства. «Культура не может принадлежать привилегированным классам,— сказал он.— Культура принадлежит народу». Отметив, что большая часть гвинейского народа неграмотна, Секу Туре призвал создавать в стране как можно больше театральных трупп и кружков. Их задача — знакомить с произведениями искусства, с жизнью страны не только население городов, но и жителей отдаленных деревень. Театральные труппы и кружки должны ставить спектакли, давать концерты на языках народностей Гвинеи. В этом случае, подчеркнул президент, театр будет воспитателем народа, станет доступен и понятен широким слоям населения и сможет донести до народа идеи революционных преобразований. Театр окажет неоценимую помощь в ликвидации тяжелого наследия колониализма — неграмотности народа.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВАЛЬТЕР УЛЬБРИХТ: ЗАДАЧА И МЕСТО ПИСАТЕЛЯ

Писательница Бригитта Рейман приехала на строительство комбината «Шварце пумпе». Здесь она вступила в тесное содружество с бригадой социалистического труда. Поначалу встреченная рабочими довольно холодно, она сумела установить дружеские отношения с людьми труда. Эти контакты, как сообщает газета «Дер морген», навели ее на мысль написать письмо Вальтеру Ульбрихту и высказать свои чувства, выразить свои впечатления, поделиться наблюдениями.

«Да, книги помогают изменить людей, — сказал Вальтер Ульбрихт, возвращаясь к этому письму в выступлении на районной партийной конференции в Лейпциге.— Однако для этого те, кто пишет книги, сами должны подвергнуться изменению, тесно связать свою жизнь с жизнью народа. Только тогда они смогут писать о проблемах, которые встали перед народом на данном этапе развития...

Была у нас дискуссия с некоторыми писателями. Смысл ее состоял в том, что им трудно понять новые экономические проблемы, ибо они слишком отдалены от жизни. Если писатели хотят отобразить борьбу за новую жизнь, за социалистическое строительство, необходимо следующее условие: любовь к людям, любовь к рабочим, крестьянам, ремесленникам, ко всем людям, создающим материальные ценности. Это основное...»

Сын сапожника и ткачихи, сам в прошлом ткач, плотник и поденщик на землях западногерманских помещиков, а ныне — рабочий-строитель народного предприятия в округе Дрезден (ГДР) Хорст Клейнейдам написал пьесу «Кузнец миллионов», недавно поставленную в драматическом театре Лейпцига. Пресса ГДР с удовлетворением отмечает тот факт, что впервые в немецкий профессиональный театр пришел драматург-рабочий, которому с помощью коллектива театра удалось создать талантливую и правдивую пьесу о строительных рабочих.

На снимке сцена из спектакля.

(Еженедельник «Зонntаг»)

НА ПРИЗЫВ ПАРТИИ

Творить для народа, во имя построения коммунистического общества — таково основное положение новой программы СЕПГ в области литературы и искусства.

Откликаясь на призыв партии, многие прозаики и поэты выступают на страницах печати ГДР и делятся мыслями о своих творческих планах.

Писатель Бернгард Зеегер (роман которого «Осенний дым» публикует в этом номере наш журнал) свое непосредственное участие в выполнении новой программы СЕПГ видит в создании произведений, посвященных развитию социалистического сельского хозяйства. В настоящее время им подготовлен сценарий радиоспектакля «Иней» о жизни современной деревни. Гельмут Саковский работает над телевизионной постановкой, действие которой протекает также в селе.

В планах писательницы Ирмтрауд Моргнер — роман, героинями которого являются женщины, потерявшие своих мужей в последней мировой войне.

Поэт Гюнтер Кунерт в этом году предполагает выступить с рассказами. Вольфганг Йохо намерен закончить первую часть романа, показывающего путь немецкой женщины с 1945 года до наших дней.

Вернер Штейнберг пишет новый роман о жизни героини его прежних произведений — Ютты Мюнх.

Людвиг Ренн рассчитывает закончить роман «Инфляция», рассказывающий о Германии 1923 года.

Эльфрида Брюнинг пишет сценарий для телевизионного спектакля «Фрау Бах и ее дочери» — о сегодняшнем дне республики.

ВТОРОЙ ТОМ «НОВЫХ ТЕКСТОВ»

Об интересном начинании издательства «Ауфбау», приступившего к выпуску альманаха «Новые тексты», уже сообщалось в нашем журнале (№ 6, 1962).

Недавно вышел в свет второй том альманаха. Знакомя широкий круг читателей с творческой жизнью наиболее известных романистов, новеллистов, публицистов и поэтов, второй том альманаха поместил фрагменты из нового романа Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп», из романа Вилли Бределя «Новая глава» (продолжение), первоначальный вариант нового романа Готхольда Глогера.

Арнольд Цвейг выступил с воспоминаниями об Эрнсте Толлере, Иозефе Роте и Стефане Цвейге. Читатель встретит здесь Альфреда Куреллу как лирика. Выступают здесь и два «пишущих рабочих» — Ганс Кершек и Фриц Вейхельт.

В альманахе впервые опубликован интересный документ из истории социалистической литературы Германии: «Проект программы Союза революционных пролетарских писателей».

Как пишет литературный обозреватель газеты «Националь-цейтунг», несомненный интерес вызывают выдержки из очерка Ганса Майера о Герхарте Гауптмане, а также письма Генриха Манна своему первому биографу.

Альманах предоставил свои страницы также и таким западногерманским писателям, как Эрих Кестнер, Кристиан Гейслер, Стефан Шерпнер и К. Н. Поппе.

ПУТЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Пленум президиума Немецкой академии художеств обсудил проект новой программы СЕПГ и вопрос об итогах пятой национальной выставки изобразительного искусства в Дрездене.

Поддержав положения новой программы СЕПГ в области литературы и искусства, пленум, как сообщает газета «Нейес Дейчланд», решил в работе академии исходить из поставленных новой программой задач, определяющих литературу

Высокой оценки критики ГДР удостоилась экспонированная на пятой национальной выставке изобразительного искусства в Дрездене картина художника Пауля Михаэлиса «Счастливая жизнь», репродукция которой здесь воспроизводится. *(Журнал «Цейт им бильд»)*

и искусство как средства воспитания человека нового общества. Пятая национальная выставка изобразительного искусства, по оценке пленума, подтвердила жизненность социалистического реализма. Пленум поручил секции изобразительного искусства академии и в дальнейшем проводить мероприятия по широкому распространению произведений реалистического направления.

ДРАМА ФЕЙХТВАНГЕРА В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

В театре города Цвикау впервые поставлена драма Лиона Фейхтвангера «Лисы в винограднике». Написанная еще в 1944 году — раньше, чем роман того же названия,— драма эта стала известна только после смерти писателя.

«Главные герои драмы — народ и история, — пишет рецензент «Берлинер цейтунг».— В этой драме, как ни в какой другой, диалектический и исторический материализм достигли удивительно поэтического воплощения». Пьеса поставлена так, что невольно возникает аналогия между историей XVIII века и современностью.

Сюжет пьесы, превосходная игра артистов, сумевших создать яркие, полнокровные образы, вызвали живой интерес у зрителей. Такой успех драмы Фейхтвангера в одном из провинциальных театров ГДР — свидетельство большого подъема национальной культуры, отмечает газета «Берлинер цейтунг».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«АРМИЯ, КОТОРУЮ ПРЕДАЛИ»

Недавно в Мюнхене, в издании «Дейчер ташенбухферлаг», вышел роман об исторической битве на Волге — «Армия, которую предали».

Как сообщает демократическая печать, эта книга заслуживает внимания: ее автор Генрих Герлах, западногерманский видный чиновник, советник по высшему образованию, глубоко религиозный человек, подозревать которого в симпатиях к коммунизму никак нельзя, рассказывает о войне, развязанной нацистами, и дает ей объективную оценку.

Выступая против утверждений гитлеровских и боннских «теоретиков», Герлах показывает, что война против Советского Союза не была «оборонительной», он не умалчивает имена лиц, заинтересованных в этой войне, прямо называя владельцев крупных концернов, таких как Герман Геринг, Крупп, Флик. Автор не побоялся сказать, что немецкие солдаты в этой войне погибли не «во имя своего народа», не «во имя своей родины», как это изображала геббельсовская пропаганда, а во имя интересов правящей верхушки гитлеровского режима.

В уста своего главного героя Герлах вкладывает слова, которых никогда не простят автору господа из реваншистского «солдатского союза»: «Мы не можем выиграть этой войны...»

По отзывам демократической прессы, роман Герлаха примечателен тем, что является документальным повествованием о великой битве на Волге.

ПИСЬМО ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

Еженедельник «Ди андере цейтунг» опубликовал на своих страницах роман Эрвина Штриттматтера «Чудодей».

Как известно, это произведение не было доступно западногерманскому читателю, поскольку книгоиздательство С. Фишера по политическим мотивам отказалось от уже объявленного им намерения издать «роман первого секретаря Союза писателей Восточной зоны». Не прошло, однако, и года, как гамбургский еженедельник «Ди андере цейтунг» приступил к публикации «Чудодея».

Еженедельник познакомил читателей с биографией писателя, а затем поместил письмо Штриттматтера к западногерманским читателям. Писатель сообщает о своей жизни и работе, объясняет смысл романа, делится творческими планами. В письме дан также ответ

одной западногерманской газете, попытавшейся повлиять на читателей следующей репликой: «Штриттматтер мог бы быть писателем, если бы он не думал так, как он думает».

«Я живу добровольно в Германской Демократической Республике,— пишет Эрвин Штриттматтер.— Никто не запрещал мне переехать в любую другую страну. Единственно, что запрещает мне жить в старых государствах,— это мои убеждения».

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ «ТРЕХГРОШОВОЙ ОПЕРЫ»

За послевоенные годы деятели кино не раз загорались идеей заново экранизировать пьесу Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера». Кинематографистов не удовлетворял опыт австрийского кинорежиссера Г. В. Пабста, экранизировавшего пьесу в 1931 году против воли и вопреки представлениям Брехта.

Попытки западногерманских режиссеров Хельмута Койтнера и Рольфа Тиле, как и попытки сценаристов Эриха Куби, Р. А. Штеммле и Георга Хурдалека, потерпели неудачу. Брехт поставил условием своего согласия на экранизацию верность авторскому замыслу: чтобы Брехта снимали как Брехта.

Наконец к осуществлению проекта приступил Вольфганг Штаудте. Но инициаторам новой экранизации потребовалось свыше четырех лет, чтобы вплотную приступить к съемкам. В разработке сценария вместе со Штаудте участвовал писатель Гюнтер Вайзенборн. Определился окончательный состав исполнителей: Курд Юргенс — в роли Мекки Мессера, Гильдегард Кнефф — в роли Шпелункен-Дженни.

Еще до выхода на экран фильм привлек внимание европейской прессы. Газета «Тагесшпигель» подчеркивала, что Штаудте снимает самый дорогой послевоенный западногерманский фильм. Об этом же сообщила кинофирма «Глориафильм», указавшая, что фильм, на который уже затрачено четыре миллиона марок, будет самым дорогим из всех, снимавшихся когда-либо на немецком языке. Австрийская газета «Фольксштимме» отмечает, что все это наложило известный отпечаток на освещение работы Штаудте в западной прессе. Хочется надеяться, пишет «Фольксштимме», что «это не повлияет отрицательно на художественные достоинства кинопроизведения, как ныне часто случается со слишком дорогими фильмами».

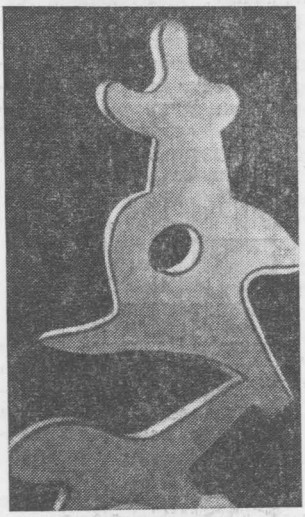
Кадр из фильма «Трехгрошовая опера».
(Еженедельник «Ди андере цейтунг»)

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА

«Этот закон вводит чрезвычайное положение, и во всех случаях он будет направлен против тех, кто попытается своевременно осудить политику, приводящую к бедствию...» — так ответил известный режиссер Эрвин Пискатор на анкету, адресованную деятелям культуры в целях выявить их отношение к намерению правящих кругов ввести в Западной Германии реакционное «чрезвычайное законодательство».

Анкета была совместно организована несколькими западногерманскими журналами (в том числе «Конкрет», «Веркхефте»). На нее откликнулись писатели, работники искусства, ученые, общественные деятели. Намеченное правительством наступление на демократические права и ущемление свободы творчества отклоняют многие видные писатели и деятели культуры.

Таковы последние «шедевры» западногерманских абстракционистов, отмеченные в ФРГ как «высокохудожественные произведения искусства». Макс Циммерман назвал свою работу достаточно красноречиво — «Голова № 1» (вверху). По мнению газеты «Националь-цейтунг», откуда мы взяли этот снимок, подобный набор из палочек и спичек может позабавить зрителя, а название сего опуса может служить еще одним свидетельством того, что формализм не имеет ничего общего с жизнью. За второе «произведение искусства» (снимок внизу), воздвигнутое перед зданием оперы в Западном Берлине, как сообщает газета «Берлинер цейтунг», западноберлинский сенат заставил заплатить налогоплательщиков 150 тысяч западных марок.



ГРЕЦИЯ

«ЗЕМЛЯ, НАПОЕННАЯ КРОВЬЮ»

Прогрессивная греческая писательница Дидо Сотириу, автор романа «Мертвые ждут», выпустила в свет свой второй роман — «Земля, напоенная кровью». Его тема — жизнь греков в Малой Азии в первой четверти нынешнего века, греко-турецкая война 1919—1922 гг. и так называемая малоазиатская катастрофа (массовое истребление греков на Востоке и бегство их в Грецию).

По свидетельству автора, главный герой романа, от чьего имени ведется повествование, крестьянин Манолис Аксиотис — лицо не вымышленное. Солдат во время греко-турецкой войны, затем в течение тридцати лет докер в Пирее, профсоюзный деятель, участник Сопротивления, он рассказал Д. Сотириу о своей жизни и передал ей свои дневники. Но ценность этого образа, как и всего романа, не только в его достоверности, правдивости. Используя исторические документы, фактические источники и свои собственные воспоминания, писательница сумела подняться до подлинного художественного обобщения и создать, по отзыву критика журнала «Эпифеориси технис» Д. Рафтопулоса, «произведение не только зрелое, но и сильное, талантливое...»

Большим успехом у индийского зрителя пользуется новый фильм крупнейшего бенгальского режиссера Сатьяджита Рэя «Поход». В основу сценария положен роман известного современного писателя Тарашанкара Баннерджи. Сатьяджит Рэй умело раскрывает внутренний конфликт главного персонажа — человека честного, порядочного и смелого, но глубоко разочарованного в жизни и опустившегося, и показывает столкновение этого персонажа с окружающей средой. Режиссер не останавливается на внешнем облике своих героев, его волнует и увлекает внутренний мир человека, который он и пытается изобразить средствами кино. «Работая над образом,— рассказывает исполнитель главной роли артист Сумитра Чаттерджи,— я почувствовал, что мой герой глубоко современен, что он отражает кризис, переживаемый человеком сегодняшней Индии». Талантливо исполняет роль учительницы молодая актриса Рума Гуха Тхакурта (оба исполнителя изображены на помещенном здесь кадре из фильма).

(Журнал «Филмфэр»)

ИНДИЯ

ФОЛЬКЛОР КАШМИРА

Книга «Народные сказки Кашмира» опубликована на английском языке бомбейским издательством «Эйша паблишинг хаус». Составитель и переводчик — С. Л. Садху.

Произведения, вошедшие в рецензируемый сборник, знакомят читателя с богатством культурного наследия Кашмира. Жизнь народа освещена в них как бы изнутри. Они раскрывают человеческий характер во всем его красочном многообразии на фоне реальной жизни, воспевают богатейшую природу края, повествуют о традициях и обычаях, об идеалах и мечтах, верованиях и предрассудках, бытующих среди народов этого района. Портреты героев необычайно живописны: это простой, бесхитростный, но смекалистый крестьянин, властолюбивый помещик и изворотливый жулик, хитрый подлиза-приживала и бессовестный торговец, алчный священник. Как отмечает рецензент, «персонажи выписаны сочными красками, и жизнь в них так и бьет ключом».

ИРАК

БАГДАДСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

В минувшем году Ирак торжественно отметил 1200-летний юбилей своей столицы — Багдада.

К юбилею иракскими издательствами был выпущен ряд книг, посвященных древнему городу на Тигре. Об одной, наиболее интересной из них, сообщает ливанский журнал «Аль-Адиб». Это книга шейха Джаляль аль-Ханафи аль-Багдади «Багдадские пословицы и поговорки». Составителем книги приводится множество пословиц и поговорок, бытующих (или бытовавших ранее) среди жителей иракской столицы. Пословицы даются так, как они звучат в устах простого народа — на местном наречии.

По сообщению журнала «Ат-Тарик», к юбилею же вышла книга доктора Сафа Халюси «Что дал Багдад мировой литературе».

ИРЛАНДИЯ

«ОСТРОВ БРЭНДАНА БИЭНА»

Сегодняшняя Ирландия и ее своеобразный, свободолюбивый, гордый, добрый,

Зарисовки Поля Хогарта к книге «Остров Брэндана Биэна». Вверху — портрет Брэндана Биэна; внизу — ирландцы.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

веселый народ показаны в недавно вышедшей в свет книге «Остров Брэндана Биэна».

Автор книги, известный писатель Брэндан Биэн, ведет свое повествование живо, перемежая текст анекдотами, поэтическими и юмористическими отступлениями, а то и балладами, шутками, фольклором, что придает книге, по мнению критика еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», особое очарование.

Остроумное высмеивание мелкобуржуазного мещанства, снобизма и дублинских «стиляг», стремящихся «попасть в высшее общество», ханжества, скопидомства и ограниченности делает книгу весьма развлекательной. Успеху книги немало способствуют прекрасные иллюстрации известного английского художника-графика Поля Хогарта.

ИСПАНИЯ

К ЮБИЛЕЮ РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ

Литературная общественность многих стран мира отмечала 60-летие со дня рождения выдающегося испанского поэта-антифашиста Рафаэля Альберти. Многие годы жизни поэта связаны с Аргентиной, где он живет в эмиграции и поныне.

В связи с юбилеем Рафаэля Альберти Аргентинское общество художников и скульпторов организовало в Буэнос-Айресе выставку иллюстраций к произведениям испанского поэта. Толчком к организации выставки явился, по сообщению буэнос-айресской газеты «Кларйн», тот факт, что Рафаэль Альберти, как известно, не только поэт, но и талантливый художник. Работы Альберти-художника, не раз экспонировавшиеся на художественных выставках, как отмечает критика, «полны глубокой проникновенности».

На выставке иллюстраций к произведениям Рафаэля Альберти были представлены многие видные аргентинские художники — в том числе Сольди, Берни, Моллари, Каррэньо, Алонсо, принадлежащие к различным художественным школам и направлениям. Как и все творчество Альберти, выставка отличалась разнообразием тематики и жанров; здесь можно было увидеть работы, полные «патетики и юмора, реализма и фантастики, эпического и лирического звучания, социальных и интимно-личных проблем».

ПРОИЗВОЛ ФРАНКИСТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Известный итальянский кинорежиссер Валерио Цурлини, фильму которого «Семейная хроника» присужден приз на недавнем международном кинофестивале в Венеции, был приглашен главным управлением кинематографии Испании на просмотр кинофильмов в Барселону. В Барселоне среди других фильмов показывалась и кинокартина Цурлини «Девушка с чемоданом». Итальянского режиссера крайне возмутило варварское отношение франкистской цензуры к его фильму. И когда началась церемония вручения призов и было объявлено, что награждается постановщик «Семейной хроники» Цурлини, последний вышел на сцену и, подойдя к микрофону, рассказал присутствующим о возмутительных действиях испанской цензуры. В зале вспыхнула овация. Цурлини заявил, что в знак протеста он отказывается от премии. Овация усилилась, присутствующие скандировали: «Цурлини!.. Цурлини!».. Несмотря на все попытки председательствующего, порядка в зале восстановить не удалось. Более того, весь президиум был вынужден покинуть сцену, и раздача призов была отменена.

Франкистская печать скрыла подробности этого инцидента, не упомянув о протестах публики против произвола франкистской цензуры.

В ТЕАТРАХ МАДРИДА

Мадридский корреспондент аргентинской газеты «Кларйн» сообщает о новинках театральной жизни Мадрида в текущем сезоне. Открытие сезона, по словам корреспондента, ознаменовалось новой постановкой драмы Мигеля де Унамуно «Одиночество», имевшей огромный успех у публики. В этой драме, носящей и автобиографический харак-

тер, пишет корреспондент, зритель как бы слышит живую речь де Унамуно, чувствует тоску и тревогу писателя. Мадридский зритель увидел также одноактную остроумную комедию де Унамуно «Покойница».

После многолетнего перерыва была возобновлена постановка очень тепло принятой публикой драмы «Кровавая свадьба» знаменитого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки.

Симптоматично, что наибольшим успехом в театрах Мадрида пользуются произведения Мигеля де Унамуно, перед концом своей жизни осудившего испанский фашизм, и Федерико Гарсиа Лорки, зверски убитого франкистами.

По сообщению газеты «Кларин», в ближайшее время в Испании будут экранизированы «Дом Бернарды Альба» Гарсиа Лорки, а также один из романов Рамона Валье Инклана, революционного романтика, прозванного в свое время «испанским Максимом Горьким».

ИТАЛИЯ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ МОРАВИА

Альберто Моравиа выпустил сборник рассказов, названный писателем по заглавию одного из них — «Автомат».

Как отмечает критика, новые рассказы Моравиа значительно отличаются от тех, что составили два его предыдущих сборника «Римских рассказов». Повествование в них ведется не от первого лица, а вновь от третьего, как в прежних произведениях Моравиа, главное же, герои их — представители не римской бедноты и трудящихся, а римской мелкой и средней буржуазии, во многом напоминающие персонажи ранних повестей и романов писателя. Он рисует однообразную и скучную жизнь буржуазных «автоматов», не способных на сильные, искренние чувства, впустую растрачивающих свое время и силы (в этом новые рассказы как бы развивают мотивы, появившиеся у Моравиа в его романе «Скука»). Писатель не скрывает своего отношения к героям новых рассказов — они не вызывают у него сочувствия, он заранее осуждает и их и их жизнь.

Альберто Моравиа.
(Газета «Паэзе сера»)

По словам известного критика-коммуниста Микеле Раго, выступившего с рецензией в газете «Унита», характерная черта новых рассказов Альберто Моравиа — «горький скептицизм». Раго подчеркивает еще более отточенное художественное мастерство Моравиа-новеллиста, но отмечает, что заранее выработанные схемы и не всегда убедительные предпосылки автора-моралиста в некоторых рассказах уводят его с правильного пути.

АВТОР РОМАНА СИДИТ 20 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ

Писатель Джорджо Бассани, руководящий изданием серии «Современные писатели», выпускаемой издательством Фельтринелли, сообщил в интервью газете «Унита» о том, что издательство готовит к печати книгу, которая, как предполагают, явится бестселлером 1963 года в Италии.

У итальянских книгоиздателей после успеха романа «Леопард», рукопись которого, как помнят читатели, была случайно найдена в бумагах покойного князя Томази Ди Лампедузы, ныне вошло в «традицию» изыскивать и публиковать произведения, созданные не писателями, или анонимными авторами. На сей раз речь идет, рассказал Бассани, о романе, написанном человеком (имя его пока держится в секрете), уже в течение 20 лет находящимся в тюрьме за уголовное преступление. Название романа — «Перевод» (центральный момент его — перевод заключенного из одной тюрьмы в другую).

«Эта книга,— отметил Бассани,— совершенно не носит документального характера. Я хочу этим сказать, что она является чисто художественным произведением, а не документом о тюрьме и тюремной жизни. Хотя в основу рассказанной в ней истории и легли подлинные автобиографические факты, повествование ведется с объективностью, достойной настоящего писателя; автор романа — человек, который много читал и много пережил. Это книга, созданная искренним, добрым, хорошим человеком... «Перевод» — поистине замечательное произведение».

Бассани сообщил, что книга скоро увидит свет.

ФАШИСТЫ БЬЮТ В БАРАБАН...

Итальянская печать продолжает уделять большое внимание антифашистскому фильму молодого режиссера Нанни Лоя «Четыре дня Неаполя», посвященному героическому восстанию неаполитанцев в конце сентября 1943 года против гитлеровских оккупантов. Против этого фильма выступают западногерманские и итальянские фашисты.

«Возмущение» этим актуальным антифашистским фильмом началось с того, что посол Бонна в Риме, член гитлеровской партии НСДАП с 1934 года и бывший референт у Риббентропа по вопросам «чистоты арийской расы» Клейбер поспешил заявить одному итальянскому агентству печати, что фильм, дескать, искажает факты и не способствует «европейскому содру-

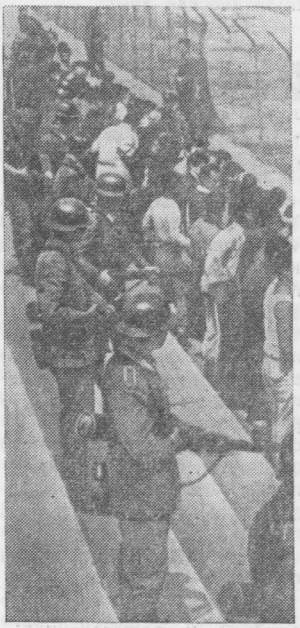
жеству». Это была, так сказать, дипломатическая «санкция» Бонна на то, чтобы развернуть кампанию против фильма и против его постановщика. Клейбер, лично виновный в убийстве 769 невинных людей, договорился до того, что предложил впредь выпускать все итальянские фильмы, описывающие времена хозяйничанья гитлеровцев в Италии, в «творческом содружестве» с западногерманскими киностудиями, дабы гарантировать объективность (!) фактов.

В ответ на злобную кампанию, развязанную западногерманскими реваншистскими газетками и поддержанную итальянскими фашистскими листками, в Неаполе состоялось массовое собрание, в котором участвовали создатели фильма, участники Сопротивления, родственники погибших, общественные и политические деятели и писатели, в частности Карло Бернари, Альдо Де Яко и находившийся в те дни в Неаполе поэт Назым Хикмет.

После демонстрации фильма развернулось его широкое обсуждение. Выступления писателя-неаполитанца Альдо Де Яко и Назыма Хикмета в защиту этого яркого и глубоко художественного антифашистского фильма были горячо поддержаны всеми собравшимися, выразившими свой решительный протест против попыток боннских реваншистов и итальянских профашистских элементов очернить славное движение Сопротивления и одно из наивысших его проявлений — народное восстание в Неаполе.

«Идея фильма ясна,— заявил Альдо Де Яко,— это борьба против войны, за свободу и мир».

Кадр из фильма «Четыре дня Неаполя».
(Газета «Унита»)



КИТАЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ

Писатель Лао Шэ известен в Китае не только как мастер рассказов, романов и повестей. Его перу принадлежит ряд пьес, которые много лет не сходят со сцен театров.

Пекинский молодежный художественный театр поставил новую историческую драму Лао Шэ «Священный кулак». Пьеса отражает крупное событие в истории Китая — движение «ихэтуаней», возникшее в 1900 году. Это движение было направлено против империалистической агрессии и против непомерного гнета и эксплуатации.

«Название пьесы «Священный кулак» можно еще перевести как «Кулак во имя мира и справедливости». Кулак был поднят крестьянином и рабочим, мелким служащим и батраком — словом, теми, кто задавлен нуждой, кто в старом феодальном Китае не жил, а существовал. Пьесу можно назвать вдохновенным гимном борьбе «ихэтуаней» против иностранных захватчиков,— пишет в газете «Жэньминь жибао» театровед Ли Си-фань.— В целом в этом произведении глубоко передана атмосфера того времени, нарисована подлинная картина жизни и борьбы «ихэтуаней».

КУБА

Гильермо Кабрера Инфанте.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

БЕСЕДА С ГИЛЬЕРМО КАБРЕРОЙ ИНФАНТЕ

— Я работал корректором и одновременно изучал журналистику. В 1947 году мне попалась одна книга, которая буквально меня потрясла и пробудила во мне желание писать. Это был «Господин президент» Мигеля Анхеля Астуриаса...— сообщил в беседе с корреспондентом парижского еженедельника «Леттр франсез» известный кубинский писатель Гильермо Кабрера Инфанте. Однако первый — опубликованный в журнале «Боэмия» — рассказ молодого автора, по его мнению, «был настолько посредственным, что хочется вычеркнуть его из памяти». Литературную известность Кабрере Инфанте принес сборник новелл «В дни мира, как на войне».

— Во введении к книге «В дни мира, как на войне»,— сказал ему корреспондент,— вы заявили, что из сборника исключены рассказы, написанные до 1950 года, отметив при этом, что вас не удовлетворяет их содержание. Как это понять?

— В этих рассказах,—ответил тридцатитрехлетний пи-

сатель,— чересчур чувствуется влияние тех авторов, произведения которых я читал, прежде всего — Фолкнера, Колдуэлла, Стейнбека и несколько позже — Хемингуэя...

А творчество, по мнению писателя, должно быть самостоятельным. Отвечая на другие вопросы корреспондента, Гильермо Кабрера Инфанте сообщил:

— В 1935 году, еще в период первой диктатуры Батисты, мои родители вступили в коммунистическую партию. Пропагандистские материалы партии хранились у нас дома... Освободившись из тюрьмы, куда он был брошен вместе с моей матерью, мой отец сотрудничал в газете «Нотисиас де ой»... В 1954 году журнал «Картелес» поручил мне писать еженедельные критические обзоры кино. Как раз в типографии этого журнала мы — Карлос Франки (ныне главный редактор гаванской газеты «Революсьон»), несколько других товарищей и я — начали печатать номера подпольного издания газеты «Революсьон». Позднее Карлос Франки был арестован. После того, как его выпустили из тюрьмы, он вместе с Альберто Морой, нынешним министром внешней торговли Кубы, скрывался у меня. В годы батистовской тирании я пытался организовывать подпольные группы в Гаване. Но это не имело большого значения. Настоящая борьба тогда уже развернулась в горах Сьерра-Маэстра...

После победы кубинского народа Гильермо Кабрера Инфанте работал в редакции газеты «Революсьон», был главным редактором литературного приложения к газете — «Лунес де ла Революсьон» («Иностранная литература» в № 12 за 1960 год публиковала статью Кабреры Инфанте «Писатель в авангарде революции»). Ныне он находится на дипломатической службе, однако не прекращает литературной деятельности, работает над новой книгой рассказов.

В предисловии к сборнику «В дни мира, как на войне», недавно вышедшем на французском языке в Париже, испанский писатель Хуан Гойтисоло пишет: «Тот, кто хочет понять, почему чуть не безоружный кубинский народ выступил против танков и пулеметов Батисты, должен прочесть новеллы Кабреры Инфанте, проникнутые скорбью и страстью того времени, которое кубинцы никогда не забудут».

ЛИВАН

АМИН АР-РЕЙХАНИ О ЙЕМЕНЕ

В связи с 22-й годовщиной со дня смерти классика современной арабской литературы Амина ар-Рейхани журнал «Ат-Тарик» поместил статью Хусейна Муруввы «Йемен сорок лет назад глазами автора «Королей арабов».

В статье рассказывается о поездке ар-Рейхани в Йемен и другие страны Аравийского полуострова в 1922 году. Описывая это путешествие в своей книге «Короли арабов», ар-Рейхани с большой симпатией отозвался о йеменском народе. Он ярко показал варварские, бесчеловечные условия, в которых жил этот народ в годы правления имама Яхьи — деда последнего йеменского имама, свергнутого революцией.

Ар-Рейхани писал: «Совершая путешествие в эту страну, которую по традиции называют Счастливой, вы словно возвращаетесь в III век Хиджры (IX век н. э.). Ни школ, ни газет, ни медикаментов, ни врачей, ни больниц — ничего этого в Йемене нет. Имам — это все. Он учитель и врач, судья и священник. Он — великий отец». Ар-Рейхани рассказывал о крайней нищете народа, о произволе королевских наместников — «уммалей», о средневековом институте заложников.

Ливанский писатель вместе с тем свидетельствовал о глухом недовольстве деспотическим режимом, существовавшем уже в те годы в различных слоях йеменского общества.

Книга писателя-гуманиста ар-Рейхани, по словам Хусейна Муруввы, помогает в наши дни разоблачению утверждений империалистической пропаганды о том, что республиканский режим, дескать, навязан Йемену извне. Новый строй — это «результат бурного брожения в недрах йеменского общества на протяжении десятков лет».

МАЛЬГАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧТО ЧИТАЮТ НА МАДАГАСКАРЕ?

Проведенная недавно библиотеками Тананариве анкета отвечает на этот вопрос: вкусы читателей Мальгашской Республики мало чем отличаются от вкусов европейского читателя.

Молодежь, как сообщает журнал «Жён Африк», увлекается приключенческими книгами и детективами. Среди взрослых заметна все большая тяга к книгам о технике, о строительстве, об электричестве, радио и т. п. Увеличился спрос на книги на экономические и политические темы.

МЕКСИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИКЕЙРОСА

В Мехико состоялась XIV генеральная ассамблея Международной ассоциации критиков - искусствоведов. Молодые мексиканские художники и критики с нетерпением ожидали эту ассамблею, надеясь услышать от видных искусствоведов мира суждение о современном искусстве Мексики. Но их ожидания были обмануты, сообщает корреспондент парижского еженедельника «Леттр франсез», интересных обсуждений и высказываний на ассамблее не было.

Внимание участников ассамблеи и общественности

Мексики было привлечено к открытому письму выдающегося мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса, томящегося уже свыше двух лет в тюрьме, куда он был брошен по ложному обвинению.

«Ваша задача в Мексике, господа критики, — пишет Давид Альфаро Сикейрос,— по моему мнению, не может ограничиться лишь глубоким изучением античного мексиканского искусства... Самым важным — именно из-за своей трудности и срочности в настоящий момент — было бы коллегиальное серьезное обсуждение с участием мексиканских критиков проблемы определения критерия, как научного, так и эмоционального, при оценке исторического значения стенной живописи в Мексике. Это значит — искусства страны, которая... сумела показать миру свой неоценимый опыт в области пластических искусств».

Однако интересная программа дискуссий, предложенная Давидом Альфаро Сикейросом, не легла в основу работы ассамблеи. Делегаты ограничились... осмотром памятников древнего и современного искусства Мексики.

МОНГОЛИЯ

РУКАМИ МОЛОДЫХ

Творческая молодежь студии «Монголкино» поставила новый фильм «Баясгалан» по сценарию, написанному драматургом Ойдовом. Режиссер-постановщик Хишигтэ — дебютант в кино. Оператор фильма — студент-дипломник советского Государственного института кинематографии Церен. Музыку написал молодой композитор Лувсаншарав, учившийся в Москве. В главных ролях заняты молодые артисты.

Фильм примечателен тем, что он показывает современную жизнь Монгольской Народной Республики.

...Баясгалан — молодой человек, работает табунщиком в госхозе. В родное село возвращается Дарисурен, его подруга детства, окончившая в городе институт, она — учительница. Сюда же приезжает художник Чулун, чтобы ознакомиться с жизнью тружеников госхоза и собрать материалы для своей новой картины. Баясгалан, узнав, что Дарисурен встречается с художником, уезжает в город, где пытается поступить в институт и стать учителем. Но эта попытка не завершилась успехом. В конце концов он начинает работать на руднике, овладевает специальностью горного мастера. Но его не покидают воспоминания о бескрайних степных просторах, о прежней любимой профессии... За день до отъезда домой Баясгалан побывал на выставке и случайно встретил художника Чулуна с женой. Чулун показывает Баясгалану написанный им портрет Дарисурен. Встреча с художником разрешила сомнения Баясгалана, он окончательно решает вернуться в свой родной госхоз, к прежней работе, к Дарисурен...

Фильм пользуется большим успехом у зрителей.

НИГЕРИЯ

«СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»

Молодежный театральный коллектив клуба «Пайлот юс клаб» поставил в Лагосе пьесу «Страдания и смерть Патриса Лумумбы».

...Народ Конго торжественно празднует провозглашение независимости своей страны и назначение Патриса Лумумбы премьер-министром. Лумумба и его сторонники мечтают о счастье своего народа, но не дремлют враги Конго. Чомбе заявляет об отделении Катанги от Конго. Используя золото Катанги, он подкупает и склоняет на свою сторону Касавубу и полковника Мобуту. Лумумба едет искать помощи в ООН. Однако империалистические страны при активной поддержке генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда добиваются того, что Организация Объединенных Наций оказывает помощь не Патрису Лумумбе, а его врагам.

Следующие три сцены показывают страдания и смерть народного героя Африки. Вдова Лумумбы отправляется к Дагу Хаммаршельду, требуя выдать ей тело покойного мужа. Она гневно клеймит Хаммаршельда за ту позорную роль, которую он сыграл в убийстве Лумумбы, и предрекает ему самому еще более печальный конец.

В финале пьесы сторонники Патриса Лумумбы собираются вокруг верного продолжателя его дела Антуана Гизенги. Несмотря на репрессии, они готовы бороться за свободное, единое, счастливое Конго... Мечтает отомстить за гибель отца и маленький сын Патриса Лумумбы.

Газета «Уэст африкен пайлот» считает эту постановку выдающимся событием в культурной жизни страны.

Пьеса нашла живой отклик в сердцах нигерийцев. «Сотни людей плакали во время представления этой драмы,— пишет корреспондент газеты «Уэст африкен пайлот».— В течение трех часов, пока шла пьеса, зрители с глубоким волнением следили за всем, что происходило на сцене».

Газета приглашает побывать на спектакле и иностранных дипломатов, а также предлагает экранизировать пьесу, чтобы ее могли посмотреть не только в Нигерии, но и в других странах.

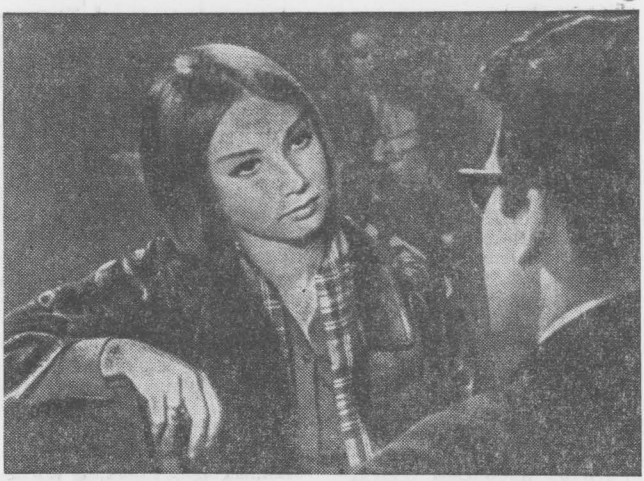
ОАР

«ГРЕХ» ЮСУФА ИДРИСА НА СЦЕНЕ

Александрийский драматург Хайри Шелеби обработал для театра повесть Юсуфа Идриса «Грех» (напечатана в «Иностранной литературе» № 10, 1962). Пьеса по этой повести, как сообщает журнал «Аль-Адиб», включена в репер-

туар каирского Национального театра.

Хайри Шелеби написал также сценарий для телевидения по рассказу Юсуфа Идриса «Порок». В этом произведении Идрис рассказывает о молодой девушке, служащей государственного учреждения, попавшей в пошлую, грязную среду чиновников.



Кадр из фильма «Их обычный день». В роли Гражины — артистка Поля Ракса, роль врача Анджея исполняет артист Збигнев Цибульский.

(Журнал «Экран»)

ПОЛЬША

ЛУЧШИЕ КНИГИ ВОЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книги многих польских авторов коротко помечены тремя буквами: «МОН». Это знак издательства министерства национальной обороны Польши, выпускающего большое количество художественной литературы о борьбе польского народа за свободу и независимость. Многие из этих книг рассказывают о боевом польско-советском братстве в годы Великой Отечественной войны.

Недавно были присуждены премии министра национальной обороны Польши за лучшие книги, вышедшие в издательстве «МОН». Премиями отмечены книги писателей: Ежи Путрамента — второй том мемуаров «Полвека», Мечислава Мочара — воспоминания о партизанской войне «Цвета борьбы», Збигнева Сафьяна — роман «Прежде чем заговорят».

Экспозиция Национального музея в Варшаве пополнилась малоизвестным полотном знаменитого польского художника Яна Матейко, которое было недавно получено из-за рубежа. На этом полотне художник запечатлел своих детей. Как известно, Матейко дважды писал своих детей — в 1870 году и в 1880 году. Полученная Национальным музеем картина относится к 1870 году. На ней изображен сын художника, Тадеуш, в польском национальном костюме, а также две дочери — Хелена и Беата.

(Газета «Трибуна люду»)

ПИСАТЕЛЬ-КИНОРЕЖИССЕР

В культурной жизни Польши взаимное проникновение литературы и кино становится все более частым явлением. Мы уже сообщали о писателе Тадеуше Конвицком, который самостоятельно снял художественные фильмы «Последний день лета» и «День поминовения усопших». Другой известный польский писатель — Александр Сцибор-Рыльский снимает по своему сценарию фильм «Их обычный день», который расскажет о жизни врача скорой помощи.

В интервью журналу «Экран» писатель-кинорежиссер сказал: «Кино унаследовало от прозы часть ее атрибутов: например, оно лучше печатного слова справляется с передачей материального образа мира. Раньше, когда кино еще не было, писателю приходилось словом передавать красоту окружающего; сегодня это лучше и быстрее его сделает кинокамера. Раньше безраздельно господствовала проза, теперь имеются два королевства — пера и экрана. Если придется выбирать гражданство, то я отдам предпочтение второму. Правильно ли? Пусть это решат сами зрители и читатели».

«БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Редакция литературного еженедельника «Пшегленд культуральны» несколько месяцев назад обратилась к писателям, научным работникам, специалистам в области языка и литературы с просьбой рекомендовать произведения польской и зарубежной литературы, которые должны быть достоянием современного человека.

Недавно «Пшегленд культуральны» напечатал список, включающий произведения Марии Домбровской, Ярослава Ивашкевича, Леона Кручковского, Зофьи Налковской, а из советских писателей — Максима Горького, Федора Гладкова, Леонида Леонова, Михаила Шолохова и Ильи Эренбурга — все они наряду с авторами других произведений мировой литературы, по мнению редакции еженедельника, должны войти в «Библиотеку современного человека».

ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Варшавское издательство «Ведза повшехна» («Всеобщее знание») предприняло издание Малого словаря польских писателей — от появления письменности до наших дней. Словарь будет содержать около семисот статей.

ПОРТУГАЛИЯ

ЗА АМНИСТИЮ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ

В адрес секретариата Конференции стран Западной Европы за амнистию в Португалии пришла копия петиции, адресованной португальскими писателями, художниками и адвокатами президенту Португалии Америку Томасу. В петиции говорится:

«Содержание в тюрьме или в ссылке сотен португальцев, пострадавших за свои политические убеждения,— это рана на теле португальского народа, которая продолжает кровоточить. Ухудшение положения политзаключенных сказывается на общей обстановке в стране, ставшей еще более невыносимой. Мы, нижеподписавшиеся,— люди различного социального положения, политических убеждений и религиозных верований, движимые гуманностью и желанием добиться национального согласия, призываем ваше превосходительство объявить амнистию политзаключенным и эмигрантам».

Под этой петицией, которую теперь подписали тысячи португальцев, первоначально было поставлено 500 подписей, в том числе подписи таких выдающихся писателей, как Акилину Рибейру и Феррейра ди Каштру.

СИРИЯ

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ»

Известный сирийский писатель Халиль аль-Хандави в своей рецензии, опубликованной журналом «Аль-Адиб», высоко оценивает сборник рассказов молодого новеллиста Фариса Зарзура «До последней капли», изданный министерством культуры и национальной ориентации Сирийской Арабской Республики. Сборник содержит одиннадцать небольших рассказов, объединенных одной темой—борьба простых людей Сирии против иноземных захватчиков.

США

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭДВАРДА УИКСА

Эдвард Уикс, писатель и главный редактор ежемесячного литературного журнала «Атлантик мансли», в статье, опубликованной еженедельником «Нью-Йорк таймс бук ревью», делится некоторыми своими размышлениями и пожеланиями. Эти раздумья, как пишет Уикс, частично навеяны на него посещением делегации советских писателей.

«Когда группа советских писателей, прибывших в США в соответствии с программой культурного обмена, посетила меня в Бостоне,— пишет он,— я спросил их: видели ли они в США

На вечере, устроенном в Нью-Йорке в честь 85-летия выдающегося поэта Карла Сэндберга, выступил Джон Стейнбек, заявивший от имени американских писателей: «Все мы могли бы быть вашими учениками, Карл, и многие стали ими». К юбилею вышел сборник новых стихов поэта «Мед и соль».

На снимке Карл Сэндберг с женой в своем рабочем кабинете.

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

что-нибудь такое, что им хотелось бы забрать с собой». В своем ответе Вера Панова, по словам Уикса, прежде всего назвала имя поэта Роберта Фроста.

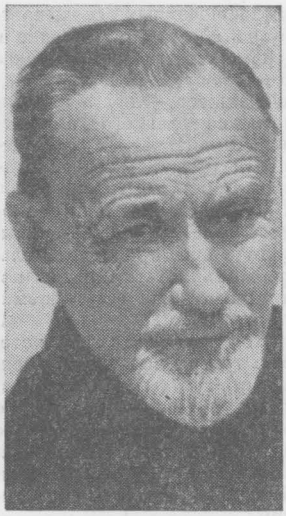
Поэта она поставила на первое место, подчеркивает Уикс. «У русских больше вкуса к поэзии и больше уважения к ней, чем у нас. Они издают своих современных поэтов огромными тиражами, достигающими ста тысяч экземпляров. Наши поэты очень редко могут себе позволить посвятить все свое время творчеству. Им приходится преподавать, работать в страховых компаниях или составлять тексты реклам, а что касается поэзии, то они могут заниматься ею лишь в свободное время. Гонорары, которые мы платим молодым писателям, настолько далеки от прожиточного минимума, что являются укором стране, считающей себя грамотной и богатой».

Романистам, особенно молодым, по мнению Уикса, тоже не сладко приходится. Первый роман писателя продается в среднем в количестве четырех тысяч экземпляров. Это значит, что писатель получит около тысячи долларов за работу, которую он, по всей вероятности, делал не менее девяти месяцев. На тысячу долларов, по самым скромным подсчетам, человек с небольшой семьей еле-еле может прожить в США три месяца...

ТРИЛОГИЯ ЛАРСА ЛОРЕНСА

Ларс Лоренс — псевдоним американского писателя Филиппа Стивенсона, опубликовавшего свои первые романы еще в тридцатых годах. Он также писал пьесы, рассказы, сценарии, работал в качестве редактора в «Калифорниа куотерли». Он был зачислен в голливудский черный список «запрещенных» сценаристов. Последние шесть лет писатель работал над романом-трилогией о классовых боях в США начала тридцатых годов.

Трилогия называется «Семена», и вышедшие сейчас два романа — «Старый шут



Ларс Лоренс.
(Еженедельник «Пиплз уорлд»)

закон» и «Провокация» — составляют вторую часть трилогии; первая часть трилогии опубликована несколько лет назад в двух частях под названиями «Утро, день и ночь» и «Из праха» (См. статью Г. Злобина «Семена будущего», опубликованную в «Иностранной литературе» № 2, 1963).

Газета «Пиплз уорлд», напечатавшая рецензию на последние две книги Ларса Лоренса, пишет: «Трилогия эта — героический труд писателя. Можно сравнить ее по масштабу и по теме с эпической повестью о борьбе скандинавского рабочего класса, созданной Мартином Андерсеном Нексе».

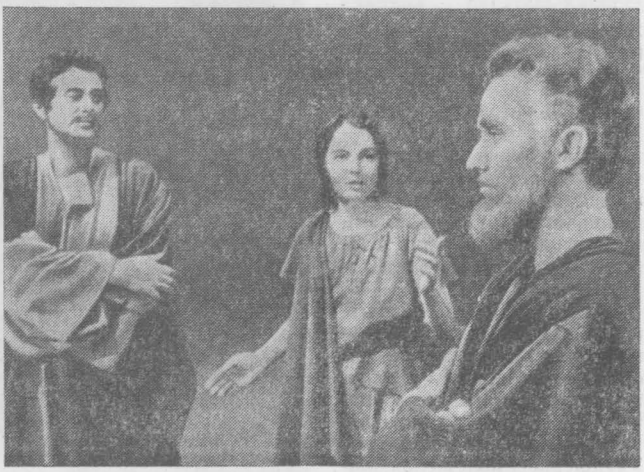
ФИНЛЯНДИЯ

60 ЛЕТ ЭРККИ ВАЛЫ

Недавно финская общественность отметила шестьдесят лет со дня рождения прогрессивного писателя Эркки Валы. В статье, посвященной его юбилею, газета «Кансан уутисет» подчеркивает большое значение деятельности писателя в борьбе против фашизма в Финляндии. Эркки Вала был одним из организаторов группы прогрессивных финских литераторов «Туленкантаят» («Носители огня»), выпускавшей журнал того же названия. Несмотря на преследования, журнал существовал до 1939 года и вел борьбу против господствовавшего в стране фашизма. «Вала,— отмечается в газете,— был одним из

В Хельсинки состоялось празднование девяностолетия финского театрального искусства. Финский Национальный театр поставил юбилейным спектаклем одноактную пьесу Алексиса Киви «Леа». Главный художественный руководитель театра Арви Кивимаа заявил, что первая постановка «Леа» «означала рождение финского театра, театрального искусства, пробуждение большого национального культурного движения». На снимке сцена из спектакля.

(Газета «Кансан уутисет»)



Недавно в помещении издательства «Тамми» в Хельсинки в знак заслуг известного финского писателя-сатирика Мартти Ларни был вывешен его портрет, написанный художником Ойва Хурме. Выступая на торжестве по этому поводу, директор издательства «Тамми» Унтамо Утрио отметил, что за последнее время книги Ларни больше, чем произведения каких-либо других финских писателей, переводятся на иностранные языки и имеют большой спрос за границей. На снимке Мартти Ларни (справа) и художник Ойва Хурме у портрета писателя.

(Газета «Кансан уутисет»)

наиболее смелых и острых авторов журнала. Вокруг него сгруппировались и создали народный антифашистский фронт финские писатели и художники. При поддержке общества «Туленкантаят» Эркки Вала основал Издательство писателей, деятельность которого имела огромное значение в то черное время. Так, он издал роман Пентти Хаанпяя «Хозяева и их тени», «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, сборники стихов В. Каява и А. Туртиайнена.

Во время второй мировой войны Эркки Вала вынужден был эмигрировать в Швецию, откуда он энергично продолжал вести борьбу против фашизма и войны. После войны Вала вернулся в Финляндию и занял один из руководящих постов на финском радио. Однако в 1949 году его убрали оттуда по политическим мотивам. В течение последних лет Эркки Вала регулярно сотрудничает в журнале «Аянкуват», издаваемом обществом «Финляндия — Советский Союз». Писатель известен и как замечательный пропагандист в области просвещения рабочего класса».

«ОХОТА ЗА ДУШОЙ»

Так озаглавил свою рецензию на книгу молодого финского писателя Раймо Киннунена «Человек, потерявший душу» критик газеты «Кансан уутисет».

...Сакари Куртинсаари замечателен лишь тем, что он — герой романа Раймо Киннунена. И вот этот человек потерял душу и в то же время покой. Сакари Куртинсаари ищет повсюду пропавшую душу. Но врач утверждает, что души у Сакари никогда не было, поп же говорит обратное, и Сакари даже ухитряется получить у обоих письменные подтверждения их точек зрения...

Автор проводит своего героя, ищущего «душу», через многие земные испытания.

«Повествование Киннунена весьма своеобразно: фразы краткие, ясные, язык хороший, юмор острый»,— пишет автор рецензии, отмечая, что книга Киннунена стала положительным явлением в литературе Финляндии.

ФРАНЦИЯ

ПАРТИЯ И КУЛЬТУРА

В издательстве «Эдисьон сосиаль» вышел сборник «Коммунистическая партия Франции, культура и интеллигенция», включающий статьи Мориса Тореза, Вальдека Роше, Жака Дюкло, Роже Гароди, Луи Арагона, Анатоля Франса, Анри Барбюса, Поля Вайяна-Кутюрье, Жан-Ришара Блока, Жака Декура, Поля Элюара, Фредерика Жолио-Кюри и других.

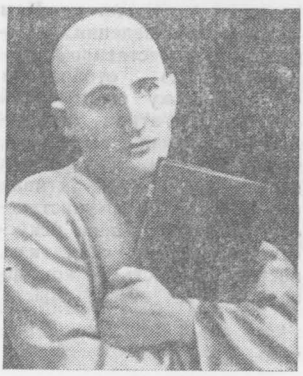
В книге, как сообщает газета «Юманите», показаны работа партии среди интеллигенции, вклад, внесенный интеллигенцией в дело, которому служит партия, разрыв части буржуазной интеллигенции со своим классом и с укоренившимися предрассудками и ее переход на позиции рабочего класса, постоянно растущее влияние идей марксизма во Франции.

КАК МЕРИМЕ СТАЛ СЕНАТОРОМ

В Париже состоялась распродажа ряда автографов, принадлежавших некоему

На сцене театра «Мартюрен», как сообщает газета «Юманите», ожил один из «униженных и оскорбленных» царской России. Это — Поприщин из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Постановщик и единственный исполнитель этого спектакля — молодой актер Роже Коджуо (на снимке).

(Газета «Юманите»)



Клеру, адвокату из Арля, который в свое время вел переписку с Проспером Мериме.

Среди документов, обнародованных во время аукциона, как сообщает еженедельник «Леттр франсез», было любопытное письмо Мериме. В этом письме писатель рассказывает, как он стал сенатором: «Несколько месяцев назад Его Величество позвал меня и предложил мне должность министра архивов. Я ответил, что если он доволен моими услугами, то я умоляю его сохранить мне мой маленький пост, так как я не нахожу в себе ни таланта, ни склонности к тому, чтобы занять предложенное мне место... Императрица побранила меня за отказ, но когда я ей объяснил, что истинной причиной его была только лень, она сказала: «Ну что ж! Мы вас посадим в сенат, где совершенно нечего делать, и если вы не согласитесь, то, значит, вы наш враг». Вот как я стал сенатором».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В редакционной статье «К дальнейшему развитию искусства» газета «Руде право» рассматривает основные вопросы искусства и культуры Чехословакии в свете решений XII съезда КПЧ.

XII съезд компартии Чехословакии, говорится в статье, положительно оценив достижения искусства и культуры страны, ставит перед творческими работниками следующие задачи: «Нам нужны произведения, которые с художественной убедительностью отобразили бы динамику современной жизни, обогатили бы духовную жизнь человека, чтобы он жил интересами своего времени и активно боролся за коммунистическое будущее. Такое искусство исключает схематизм, посредственность и консерватизм. В этом смысле художники должны искать и находить новые пути к творческому прогрессу. Развитие искусства требует решительно покончить с тенденциями либерализма, с влияниями буржуазной идеологии и мелкобуржуазной психологии...»

Пьесу Бертольта Брехта «Барабаны ночью» недавно поставил театр города Тешина. На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Свет в образех»)

В литературе и искусстве Чехословакии, отмечает газета, еще не всегда с должной критикой воспринимаются эстетические постулаты буржуазного Запада, коекто еще увлекается абстракционизмом. Это ослабляет общественную роль искусства и находится в противоречии с целью, которую ставит партия. Наряду с этим XII съезд КПЧ ориентирует деятелей искусства и литературы на то, что тенденции изоляции от мирового искусства не менее вредны и в свое время уже нанесли ущерб здоровому развитию культуры Чехословакии.

В статье подчеркивается, что на решение ряда идейных и творческих проблем в Чехословакии оказал большое влияние XXII съезд КПСС, а также все достижения искусства и культуры Советского Союза.

ЧИЛИ

ПОД ГНЕТОМ ЦЕНЗУРЫ

В редакционной статье «Нам противопоказаны шедевры мирового киноискусства» чилийский еженедельник «Вистасо» выступает против цензуры, установленной в Чили в отношении фильмов иностранного производства. В статье приводятся многочисленные факты произвола и беззакония, учиняемых «Советом кинематографической цензуры», который противопоставляет себя чилийскому общественному мнению. Невозможно определить, пишет еженедельник, тот критерий, которым руководствуются чиновники цензуры, запрещая показ того или иного фильма на экранах страны. Если верить самим цензорам, что ограничительные рамки они устанавливают только для фильмов, содержащих политическую пропаганду и порнографию, говорится в статье, то, судя по количеству забракованных ими картин, мировое кинопроизводство занято исключительно этой тематикой...

Безоговорочно цензурой были отвергнуты кубинские фильмы «Реаленго — 18» и «Львы получили свободу», в которых речь идет о создании сельскохозяйственных кооперативов на Кубе. По мнению цензоров, оба фильма таили в себе «левую политическую пропаганду».

Еженедельник «Вистасо» сообщает о случае, происшедшем при просмотре цензурным советом экранизации «Сна в летнюю ночь» Шекспира в исполнении марионеток. Увидев в одной из сцен, что фея-королева целует ремесленника, превращенного волшебником в осла, член цензурного совета, он же чиновник министерства финансов, воскликнул: «Это же безнравственно!.. Осел целуется!» И фильм был запрещен как безнравственный.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ — VERONICA PORUMBACU (род. в 1921 г.) — румынская поэтесса, лауреат Государственной премии. Ей принадлежат сборники стихов «Эти годы» («Anii aceştia», 1950), «Свидетельство» («Mărturii», 1951), «Мои друзья» («Prietenii mei», 1953), драматическая поэма «Дева вод» («Fata apelor», 1954) и другие произведения.

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

■

БЕРНГАРД ЗЕЕГЕР—BERNHARD SEEGER (род. в 1927 г.) — писатель ГДР. Автор поэтического сборника «Царство миллионов и один грош» («Millionenreich und Hellerstück», 1956), сборника рассказов «Где кружит ястреб» («Wo der Habicht schiesst», 1957) и многочисленных очерков. В 1956 году получил премию имени Фонтане за книгу о Вьетнаме «Буря из бамбуковых хижин» («Sturm aus Bambushütten»).

Роман «Осенний дым» («Herbstrauch», 1961) получил премию имени Генриха Манна.

■

ПАБЛО НЕРУДА — PABLO NERUDA (род. в 1904 г.) — чилийский поэт и видный общественный деятель, член Всемирного Совета Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Перу П. Неруды принадлежат многочисленные сборники стихов, поэмы, оды.

Напечатанные в этом номере стихи взяты из книги «Камни Чили» («Las piedras de Chile», 1960).

■

ХАРПЕР ЛИ — HARPER LEE (род. в 1926 г.) — американская писательница.

«Убить пересмешника...» («To Kill a Mockingbird», 1960) — первое произведение Харпер Ли. Книга удостоена премии Пулитцера за 1960 г.

■

ФИЛИС АЛЬТМАН — PHILLIS ALTMAN — южно-африканская писательница, автор романа «Закон стервятников» («The Law of Vultures», 1952), изданного на русском языке.

В этом номере мы публикуем рассказ из сборника «Идя за солнцем» («Following the Sun», 1960).

■

ЮС КРИГЕ — UYS KRIGE (род. в 1910 г.) — южно-африканский писатель, пишет на английском языке и на африкансе. Рассказ «Смерть зулуса» был опубликован в сборнике «Южно-африканские рассказы» («South African Stories», 1960).

■

РЕНЕ ФИЛОКТЕТ — RENÉ PHILOCTÈTE (род. в 1933 г.) — гаитянский поэт. Ему принадлежат стихотворные сборники «Время людей» («Saison des hommes», 1960) и «Марга» («Margha», 1961).

Мы публикуем в этом номере отрывок из поэмы «Барабаны солнца» («Les tambours du Soleil»), напечатанной в журнале «Семанс» и стихотворение из сборника «Время людей».

■

ЖАН-РИШАР ЛАФОРЭ — JEAN-RICHARD LAFOREST (род. в 1941 г.) — гаитянский поэт. Публикуемые стихи взяты из его сборника «Неведомое» («Insoupçonné», 1960).

■

ЛЮСЬЕН ЛЕМУАН — LUCIEN LEMOUANE (род. в 1923 г.) — гаитянский поэт, автор еще неопубликованного сборника «Дневной сторож» («Veilleur de jour»).

Помещенное в этом номере стихотворение воспроизводится по рукописи.

■

РОЛАН МОРИССО — ROLAND MORISSEAU — гаитянский поэт. Напечатанное в номере стихотворение взято из сборника «5 поэм благодарности» («5 poèmes de reconnaissance», 1961).

■

ЖАК ЛЕНУАР — JACQUES LENOIR (род. в 1917 г.) — автор нескольких неопубликованных сборников стихов. Стихотворение «Охота на людей» получено в рукописи.

АНТОНИ ФЕЛПС—ANTHONY PHELPS— гаитянский поэт. Ему принадлежат сборники стихов «Присутствие» («Présence», 1949), «Лето» («L'été», 1960), «Взорванное молчание» («Eclats du silence», 1962).

Стихотворение «Дерево» взято из сборника «Взорванное молчание», стихи «Час придет» и «Не время спать» были опубликованы в журнале «Семанс», №№ 2, 3, 1962 г.

ДЖОН ЭРНСТ СТЕЙНБЕК — JOHN EARNST STEINBECK (род. в 1902 г.) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии 1962 года, автор книг «Люди и мыши» («Of Mice and Men», 1937), «Гроздья гнева» («Grapes of Wrath», 1939), «Луна зашла» («The Moon is Down», 1942), «Консервный ряд» («Cannery Row», 1945), «Заблудившийся автобус» («The Wayward Bus», 1947), «К Востоку от рая» («East of Eden», 1952), «Благостный четверг» («Sweet Thursday», 1954).

В 1961 году вышел роман Стейнбека «Зима тревоги нашей» («The Winter of Our Discontent»), напечатанный в №№ 1, 2, 3 «Иностранной литературы» за 1962 г. В этом номере мы публикуем главы из новой книги Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки» («Travels with Charlie in Search of America», 1962).

МИЛАН ЮНГМАН — MILAN JUNGMANN — чешский критик и публицист. Материал, напечатанный в этом номере, получен редакцией в рукописи.

КАРЛЛЮДВИГ ОПИЦ — KARLLUDWIG OPITZ (род в 1914 г.) — западногерманский писатель, автор ряда книг, в том числе переведенного на русский язык антимилитаристского романа «Мой генерал» («Mein General», 1955).

В № 4 за 1959 г. нашего журнала была напечатана его радиопьеса «Люди, будьте настороже» («O Mensch, gib acht», 1958).

В 1960 г. вышла книга «О ты, моя Германия» («O du, mein Deutschland»), затем сатирический роман «Страдайте за Германию» («Leidet für Deutschland», 1961).

Публикуемая статья получена в рукописи.

МАРИЯ МАЙЕРОВА — MARIE MAJEROVÁ (род. в 1882 г.) — чехословацкая писательница, автор книг «Прекраснейший мир» («Nejkrásnější svět», 1923), «Сирена» («Siréna», 1935), «Шахтерская баллада» («Havířská balada», 1938), «Десять тысяч километров над Советским Союзом» («Deset tisíc kilometrů nad Sovětským Svazem», 1948), «Путь молнии» («Cesta blesku», 1951) и др.

Публикуемые в этом номере очерки взяты из книги «Сапожническая полька и другие радости», («Ševcovská polka a jiné radosti», 1961 г.).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 01557 Сдано в производство 11/I-63 г. Подписано к печати 28/II-63 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 85.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

78

ИНДЕКС
70391